

|| 3 ||

Н О В Ъ И Т Ы  
М И Р

Н О В Ъ И Т Ы  
М И Р

|| 1962 ||

3



1962

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 3

Март, 1962 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Тишина, роман	3
Д.М. СУХАРЕВ — Четыре стихотворения	46
С. ЗАЛЫГИН — Тропы Алтая, роман. Окончание	49
Ю.Л. КОРНИЛОВ — Волжская пристань, стихи	130
БАГРАТ ШИНКУБА — На скале, стихи. Перевели с абхазского С. Липкин, Ю. Нейман, Я. Козловский	132
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — Хмель, или Навстречу осенним птицам	134

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ — Куприн	190
---------------------------	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ — Разведчики сибирской нефти	211
--	-----

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Неопубликованная статья А. И. Герцена. Публикация и вступительная статья И. Птушкиной	231
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЛЕБЕДЕВ — Чернышевский или Антонович? (К проблеме революционно-демократических традиций в критике)	239
---	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	255
Валерия Герасимова. <i>Добрая повесть.</i> — А. Громова. <i>Герои в пути.</i> — А. Синявский. <i>Поэтический сборник Б. Пастернака.</i> — Н. Прянишников. <i>Об изучении мастерства Толстого.</i>	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	268
С. Струмилин, академик. Энергетика и коммунизм.— Е. Немировский. «Книга — огромная сила».— Сергей Львов. Хороший рассказ о хорошей стране.— В. Молчанов. Верный сын Африки.	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
<b>СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛУБОВ</b>	287

---

---

---

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

★

## ТИШИНА

*Роман*

Часть первая. 1945 год

Глава первая

**С**ерые громады домов пустынного города с черными провалами окон окружали его.

Выбиваясь из сил, он бежал посреди лунной мостовой мимо зияющих квадратов подъездов, мимо разбитых фонарей, поваленных заборов.

Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты беззвучно кружили над ним, тени их с хищно вытянутыми лапами проплывали меж заводских труб, снижаясь над ущельем улицы. Он ясно видел, что это были не самолеты, а угрюмые гигантские пауки, но в то же время это были самолеты, и они выследили его, одного, бегущего по городу.

Он бежал к окраине, там, на высоте — хорошо помнил, — стояла единственная неразбитая пушка его батареи, а солдат уже не было никого.

Задыхаясь, он выбежал на каменную площадь и вдруг заметил впереди, в дымном от луны полете улицы, новые самолеты. Они вывернулись из-за угла, неслись в двух метрах над булыжником мостовой навстречу ему.

Это были черные кресты, с воронеными пулеметами на плоскостях.

Он ворвался в подъезд какого-то дома — все пусто, темно, вымерло. Все квартиры на этажах закрыты. Лифтовая решетка затянута паутиной. Не оборачиваясь, спиной ощутил распахнувшиеся двери парадного, понял: за спиной — смерть.

Хватая кобуру на бедре, он попытался дотянуться к «ТТ». Но пальцы перестали слушаться, не находили кнопку — ногти царапали кожу.

Он с усилием обернулся. В проеме парадного тихо стоял плоский крест самолета, шупающими человеческими зрачками глядел на него, и этот крест из досок должен был сделать с ним что-то ужасное. Тогда, прижимаясь к стене, напрягаясь всем телом, он ватной рукой охватил ускользящую рукоятку «ТТ», с трудом поднял руку и выстрелил. Но выстрела не было...

— А-а!.. Где патроны? Где?

Сергей закричал. И сквозь сон услышав задушенный, рвущийся крик, вскочил на диване, сел на смятой простыне, с изумлением озираясь: где он находится?

— Черт! — сказал он и облегченно, хрипло рассмеялся.

И сразу почувствовал сухую теплоту комнаты.

Было морозное декабрьское утро. На полу, на занавесках, на диване — везде солнечный снежный свет, везде блеск утра. Толсто заиндевел-

шие, сверкали белизной окна с узорчатой чеканкой пальм по стеклу; на столе мирно сиял бок электрического чайника. И в комнате пахло дымком, свежим горьковатым запахом принесенных с холода березовых поленьев.

Жарко и ровно гудело пламя в голландке. Старая Мурка лежала возле печи в коробке из-под торта, купленного Сергеем в день приезда в коммерческом магазине; кошка, жмурясь, старательно облизывала беспомощно пищание серые тельца котят, тыкавшихся слепыми мордочками ей в живот.

Сергей увидел и солнечный свет, и Мурку, и новорожденных котят и с радостным приливом свободы улыбнулся оттого, что он в это декабрьское утро проснулся у себя дома, в Москве, что только что ощущаемая им опасность была сном, а действительность — это уютное солнце, мороз, запах поленьев.

В квартире тихо по-утреннему. Он с каким-то наслаждением услышал в коридоре серебристый голосок сестры; потом мерзло хлопнула наружная дверь, проскрипел снег на крыльце.

— Сережка, спишь? Газеты!

Вошла Ася, худенький подросток, в стареньком отцовском джемпере, посмотрела, весело и заспанно шурясь, на Сергея, почему-то засмеялась, кинула газету ему на грудь.

— Проснулись, ваше благородие? Лучше вот... почитай. Наверно, от жизни совсем отстал?

Сергей потянулся всем телом, взял газету, свежую, холодную с улицы. Она пахла краской, инеем — и тотчас отложил: читать не хотелось. Лежал и курил. И с особым удовольствием видел, как Ася, присев возле печи, раскрыла дверцу, обожгла пальцы, смешно поморщилась, лицо было розовым от огня. Потом подула на пальцы, опять засмеялась, косясь на Мурку, лениво и безостановочно лижущую своих котят.

— Знаешь, я стала затапливать печку, наложила дров, зажгла, вдруг — раз! — кто-то молнией как метнется из печки, только дрова полетели! Смотрю — Мурка, глаза дикие, в зубах котенок пищит. Оказывается, она хотела детенышей в печь перенести, устроить их потеплее. Вот дура, дура! Дурища, а не мамаша!

Ася со смехом погладила утомленно мурлыкающую кошку, одним пальцем нежно провела по головам ее мокрых, жалко некрасивых котят.

— Не такая уж она дура, — улыбнулся Сергей. — По крайней мере шла на риск.

«Ведь все это мне тоже снилось, — подумал Сергей, — и морозное утро, и кошка с котятами, и печь, и Ася...»

Он сказал:

— Ася, брось папиросу в печку. Я встаю.

— Интересно, это приятно?

Ася взяла папиросу, покраснев, поднесла к губам, вобрала дым и закашлялась.

— Ужасно! Как ты куришь?

— Ты это зачем?

— У нас в школе некоторые девочки пробуют. Ты знаешь, я два раза вино пила.

— Это такие соплячки, как ты? Бить вас некому. Марш в другую комнату! Я оденусь.

— Подумаешь! — Ася дернула плечами, вышла в другую комнату, оттуда сказала обиженным голосом: — Ты грубый. В тебе осталось благородного только твои ордена и довоенная фотокарточка.

— Ладно, Аська, — миролюбиво сказал Сергей и потянул со стула обмундирование.

В этот час утра кухня, залитая морозным светом, была пустынной. Солнце сияло и на цементном полу в ванной, тонкие веселые лучики играли, искрились на инее окна, на пожелтевшем глянце раковины. Старое, еще довоенное зеркало над ней отражало потрескавшуюся стену с облупленной штукатуркой старой маленькой комнаты, в которой летом всегда было прохладно, зимой — тепло.

Он мечтал об этой ванной в те дни, когда думать о доме казалось невозможным.

Сергей брился, радуясь переливу солнца на пузырьках в мыльнице, легкой пене мыла, щекочущей подбородок, мягкой и острой безопасной бритве. Впервые за этот месяц ощущал он, что обыкновенный процесс бритья — разведение душистой пены, намыливание теплой пеной щек, прикосновение лезвия к распаренной коже лица, которая становится чистой, молодой, — приносит острое удовольствие.

После бритья он по обыкновению вставал под душ в ванной, ровный шум прохладной воды, теплые иголочки по всему телу, махровое полотенце — и он чувствовал себя в отличном настроении, когда казалось, что все прекрасное в себе и в жизни он только что понял и оно не должно исчезнуть.

Он знал, что это ощущение до сумерек.

Вечером или особенно декабрьскими мглистыми сумерками, когда фонари горели в туманных кругах, это чувство полноты жизни исчезало, и боль, странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружала пустота погибших и пропавших без вести; в живых остались двое.

Стоя под душем, растираясь под колючими струями, Сергей услышал шаги в коридоре, хлопанье дверей, потом возле ванной раздался голосок Аси:

— Сережка, к тебе Константин. Что ему сказать?

— Пусть подождет. Без штанов я к нему не выйду.

— Фу, какой грубиян! — сказала Ася за дверью.

Когда он вышел, на ходу надевая китель, — мокрые волосы были зачесаны назад, — спокойно, весело и твердо посмотрел на сестру. И Ася, будто не узнавая, с удивлением и восторгом пальцем провела по длинному ряду зазвеневших орденов и медалей, спросила то, что спрашивала уже не раз:

— Сережка, за что ты получил все это?

— За грубость.

— Пожалуйста, ты не городи, а скажи серьезно. Опять какую-то чепуху отвечаешь!

— За грубость, честное слово, — повторил Сергей.

Он вошел в комнату, чувствуя, как после душа горячо звенит все тело, сел к столу, не здороваясь, сказал шутливо:

— Давай, Костька, завтракать. Вот этот омлет из яичного порошка жарила моя сестра. Проникся, какие у нас сестры? Ася, подели нам это пополам.

Константин, высокий, худощавый, с узким лицом, с темными усиками, куря сигарету, сидел на маленькой скамеечке возле печки, с брезгливым интересом разглядывал тоненько пищащих котят. С хрипотцой в голосе он говорил сквозь затяжку сигаретой:

— Красивое создание кошка, а? Что-то есть от женщины. Или, наоборот, в женщине — от кошки. — Он покосился на Асю. — Ася, вы меня не слушайте, я по утрам болтаю чушь, когда не выплюсь. А, черт, трещит башка после вчерашнего!

— Не потрясай болезнями, — сказал Сергей.

— Оставьте в покое котят,— сердито проговорила Ася.— Я просто не знаю, чем я буду теперь кормить их — молока нет, ничего нет...

— Ася, у меня остаются иногда талоны на хлеб. Будете менять на какой-нибудь кошачий продукт.

— Вы просто богач.

— Иногда.— Константин по-военному одернул кремового цвета пиджак с шегольским разрезом сзади, потом потер двумя руками голову, коротко засмеялся, показывая из-под усов великолепные белые зубы. Вышел в коридор и тотчас вернулся, неся бутылку с цветной этикеткой.

— Под твой омлет с салом или наоборот — ямайский ром.

Вынул из кармана немецкий ножичек с искристой перламутровой отделкой, ногтем подцепил штопор. Не спеша вытащил пробку, разлил по стаканам, приготовленным для чая, дружески подмигнул Асе.

— Вам бы рюмочку, а? — И вдруг продекламировал:— О донна Ася, донна Ася, как я люблю твои глаза, когда глаза твои большие ты подымаешь на меня.

— Пошлость! — сказала Ася.

— Нет, за твои параллели я тебе сегодня накостиляю по шее,— сказал Сергей прежним тоном и посмотрел стакан на свет, улыбнулся.— Неужели ты, Костыка, обыкновенную родную водку можешь променять на какой-то паршивый ром?

— После войны решил попробовать все вина мира — своего рода идея фикс!

— Аська, ты слышала? — спросил Сергей.— Он тебя не удивляет?

— Давайте рюмку, Асенька,— живо сказал Константин.

И Ася, достав из буфета рюмку, поставила ее на стол, говоря виновато:

— Немножечко... капельку...— Взглянула на Сергея быстро.— Не воспитывай меня, пожалуйста!

— Видишь? — Константин поощрительно налил Асе полную рюмку.— Какого лешего лезешь в личную жизнь сестры?

Сергей молча вылил из Асиной рюмки себе в стакан, взял бутылку из рук Константина, накапал в рюмку несколько капель, будто лекарство, произнес тоном, не терпящим возражений:

— Одному из вас я в самом деле нахлопаю по шее, другую, соплячку, выставляю за дверь!

— Где нет доказательств — там сила! — Константин захохотал, чокнулся с Сергеем, с рюмкой Аси, выпил, крякнул ожесточенно. Опять подмигнул сердито нахмурившейся Асе, стал вилок тыкать в ускользящий на сковородке кусочек сала, зажевал с аппетитом.

— Аська, выйди,— сказал Сергей.— У нас мужской разговор.

— Нет, Сергей, ты... невозможный!

Ася, краснея, швырнула полотенце, вышла на кухню.

— Так ты можешь продать часы? — спросил Сергей, помолчав.

— Подожди,— сказал Константин.— Твои часы? Какая марка?

Сергей снял часы с черным циферблатом, с тоненькой, как волосок, пульсирующей секундной стрелкой — отличные швейцарские часы, положил их на белую скатерть.

— Трофейные. Взял в Праге. Лежали в ящиках. В немецкой комендатуре.

Константин взвесил часы на ладони.

— На фронте я никогда не брал часы. Часы напоминают человеку, что он смертен. Полторы косых дадут за эти часы. Повезет — две. Постараюсь.

Сергей снова улыбнулся, разлил в стакан ром. Спросил:

— Что это за «полторы косых»?

— Полторы тысячи рублей. О, наивняк! Привыкай к понятиям «карточка», «лимит», «коммерческий магазин», «Тишинский рынок».

Константин, еще жуя, достал коробку «Казбека», придвинул Сергею, чиркнул зажигалкой-пистолетиком, прикуривая, договорил по-домашнему:

— К вечеру у меня будет солидная пачка купюр. Вернут долг. Можешь часы не продавать. На шнапс бумаг хватит. Оставь часы для худших времен. Зачем тебе деньги, когда у меня есть?

— Надо купить костюм. Отцовский не лезет.

— Купим! Деньги — это парашют, дьявол бы их драл! — сказал Константин. — Пустота под ногами — и тогда открываешь парашют! — От выпитого вина смуглое лицо его стало весело-отчаянным. — На Тишинку поедем хоть сейчас. К спекулянтским мордам визит сделаем.

В его манере говорить, в его движениях ничего сходного не было с прежним аккуратным Костей — всегда умытым, застегнутым на все пуговички сшитой из теткиной юбки курточкой, всегда приготовившим уроки, всегда детски красивеньким, чинно и пряменько сидевшим за партой. Был он робок перед учителями, жаден той особой жадностью прилежного ученика («свою резинку надо иметь», «задачу списывать не дам — сам решай»), которая постоянно раздражала Сергея. Они жили в одном доме, но не были друзьями. Даже в десятом классе Константин ходил в своей аккуратной курточке, был замкнут, тих, нелюдим.

Они встретились полмесяца назад, и было странно видеть на Константине офицерскую шинель, спортивный пиджак с двумя нашивками ранений, с тремя орденами под лацканами и гвардейским значком и — странно было видеть — как бы чужие темные усикки. Он изменился так, как будто ничего, даже смутных воспоминаний, не оставалось от прежнего.

— Наш план на сегодня? — быстро спросил Сергей, испытывая знакомое по утрам чувство легкости, оттого что жизнь, казалось, только началась.

— Рынок и танцы с девочками, — произнес Константин весело, встал, сунул часы в карман, неожиданно пропел задумчиво: — «О поле, поле! А что растет на поле? Одна трава — не боле. Одна трава — не боле...» Пошли... Асенька, привет! — крикнул он из коридора в кухню, когда, надев шинели, они вышли. — Плюньте на мелочи и берегите нервы. Сережка — известный бурбон!

Ася выглянула из кухни, сердито стягивая тоненькой тесемочкой передник на муравьиной талии. Темные длинные глаза скользнули по лицу Сергея с беспокойством.

— Опять до ночи, Сережа?

— Нет, — ответил он с нарочитой грубостью и поцеловал ее в лоб.

## Глава вторая

Двор без заборов (сожгли в войну) и весь маленький тихий переулок Замоскворечья были завалены огромными сугробами — всю ночь густо метелило, а утром прочно ударил скрипучий декабрьский мороз. Он ударил вместе с солнцем, все будто сковал в тугой железный обруч. Ожигающий воздух застекленел, все жестко и до боли в глазах сверкало. Снег скрипел, визжал под ногами; звук свежести и крепости холода был приятен после теплой комнаты, гудевшей печи.



Этот жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск были знакомы Сергею по Сталинградским степям — наступали на Котельниково; звон орудийных колес по ледяной дороге, воспаленные лица солдат с примерзшими к щекам, как пластыри, подшлемниками, деревянные негнувшиеся пальцы в железном холоде рукавиц; и снова скрип шагов, и звон колес, и беспредельное сверкание шершавого снега... Хотелось пить — обдирая губы, ели крупчатый снег. Когда конец этой степи? Где? Он шагал в полуяви, и представлялась ему парная духота метро, шумящие экскалаторы, смех, лица, а он ест размякшее эскимо с теплым шоколадом... Очнулся от глухих, сдавленных звуков, вскинул голову, не понимая. Рядом, держась за обледенелый щит орудия, толчками шагал заряжающий Капустин, сморщив обмороженное лицо, тихо стонал, сдерживаясь; слезы замерзали на подшлемнике: «Не могу... не могу... Умереть лучше, под пули лучше, чем мороз».

Ничего этого не было сейчас. Вспомнилось же неожиданно — вдохнул запах холода.

Вспомнилось тогда, когда он шел по улице бодрый, сытый, шинель, облежавшая его, хранила домашнее тепло, руки мягко грелись в меховых перчатках.

Дыша паром, плотнее натягивая перчатки, Сергей сказал:

— На фронте ненавидел зиму. После Сталинграда на передке возил с собой железную печь даже летом.

— Мороз и солнце — день чудесный, — оглядываясь по сторонам, проворчал Константин. — Какую-нибудь машину бы, дьявола, поймать. Хорошо было дворянам раскатывать на тройках, под волчьей полстью! — Он потер одно ухо, принялся за другое, говоря быстро: — Я тоже под разрывными вспоминал милую старину. Тепло, настольная лампа, вьюга за окном, папироса и томик Пушкина... Сто-ой! — заорал он с тротуара и щелкнул пальцами. — Стой, бродяга!

«Эмка», плотно заиндевевшая от радиатора до крыльев, с шорохом пронеслась мимо, покатила в глубину белого провала — улицы. Там, в конце этого провала, над снежной белизной, над опущенными трамвайными проводами висело оловянное декабрьское солнце.

— На кой тебе машина? — сказал Сергей. — Доберемся пешком. По-топаем по морозцу, Костыка.

— В такую погоду хорошо ослам, — захохотал Константин, усики его поседели от инея, лицо, ошпаренное холодом, стало красным. — Идет себе и занимается гимнастикой ушей. Я, к сожалению, двигать ушами не в силах.

— Опустит ушанку. Не на полковом смотрю.

— Иди ты... знаешь куда? Видишь, попадают хорошие женщины. После войны стало больше красивых женщин... Я прав, девушка?

Константин ласково подмигнул бегущей навстречу по тротуару высокой девушке — полы потертого пальто колыхались, мелькали узкие валенки, под шерстяным платком — мохнато опущенные инеем ресницы, нажатые морозом щеки. Она не ответила, только с выражением, похожим на улыбку, пробежала мимо.

Константин оглянулся, ожесточенно потирая ухо кожаной перчаткой.

— Природа иногда создает, а Сережка? Иногда смотрю, и грустно вато становится, ей-богу. Меня хватило бы на всех. — Он взглянул на Сергея с оживлением. — Ладно, заскочим в забегаловку. Симпатичный павильончик. Тут, недалеко. Погреемся.

Павильончик стоял, синяя крышей, в глубине заваленного метелью бульвара. На пышных от вчерашнего снегопада липах каркали вороны,

сбивали снег. Он струей стекал по ветвям. Забегаловка в этот утренний час была пуста, разрисованные морозом стекла сумеречно затемняли ее. Кисло пахло устоявшимся табачным перегаром, холодным пивом. За стойкой, опершись локтями, в халате поверх пальто стояла широкая в плечах продавщица, игривым голосом разговаривала с молодым парнем, пьющим пиво,— шинель без погон горбилась на спине, к стойке прислонен костыль.

— Привет, Шурочка! — воскликнул Константин, потирая руки.— Холодище адово, а посетителей нема! Один Павел тебя, что ль, тут велсит? А ну-ка, налей нам по сто грамм коньячку для приличия!

— Здравствуй, Костя! На работку собрался с самого ранья? Мороз-то надерет сегодня...

Женщина, не без кокетства улыбаясь чуть подкрашенными губами, зазвенела на мокрой стойке стаканами, повернувшись толстым телом, погрела ладони над огненной электрической плиткой. Красными пальцами взяла коньячную бутылку. Парень поставил недопитую кружку, детски-светлые глаза настороженно обежали фигуру Сергея, задержались на погонах.

— Познакомьтесь — мой школьный друг Сергей! Капитан артиллерии, весь в орденах, хлебнул дыма через край,— представил Константин, смахивая крошки со стола.— Шурочка, мы торопимся!

Парень подхватил костыль, ковыльнул к Сергею, протянул жилистую руку, сказал:

— Павел. Сержант. Бывший шофер. При «катушках». — И удивленно спросил: — А ты капитан? Когда ж успел? С какого году? Лицо-то у тебя...

— С двадцать четвертого,— ответил Сергей.

— Счастливец,— сказал Павел и повторил твердо:— Счастливец... Повезло.

— Почему счастливец? — спросил Сергей.

— Я, брат, по этим врачам да комиссиям натаскался,— заговорил Павел с хмурой веселостью.— «С двадцать четвертого года? — спрашивают.— Счастливец вы. К нам, говорят, с двадцать четвертого и двадцать третьего года редко кто приходит». А я с двадцать третьего... Ранен был, капитан, нет?

— Три раза.

— Все равно счастливец,— с упрямством повторил Павел.— Только оно, капитан, счастье-то, по-разному выходит...

— Эй, хватит там про счастье! Его, как подарки на елке, не раздают! — крикнул Константин из-за столика, раскладывая бутерброды.— Садись, Сережка! Ты будешь, Павел?

— Нет, не буду я. Пива можно,— ответил Павел, садясь вместе с Сергеем и вытянув левую ногу.— Нельзя мне с градусами пить. Спотыкнешься еще. Я ногу лечу. По утрам часа два гимнастику ей делаю.

— А что с ногой? — спросил Сергей.

— Так. Ничего. Осколком под Кенигсбергом. А работать надо?... — вдруг спросил высоким голосом.— Работать-то надо? — повторил он, глядя на Сергея.— И вот тебе оно, капитан, мое счастье... Куда ни кинь— везде клин. Ни в грузовые, ни в такси не берут. Кому нужен я? Нога... Как жить? Вот и говорю: счастливец ты, капитан,— с откровенной завистью сказал Павел, жадно осушил кружку, перевел дух, раздувая ноздри коротенького носа.

— Завидовать мне нечего,— сказал Сергей, профессии никакой. Десять классов и четыре года войны. Как жить — это в первую очередь касается меня.

— Ты бы, дорогой Павлик, на курсы бухгалтеров поступал. Сам читал объявления,— сказал Константин.— Милая, тихая профессия. Счеты, накладные, толстая жена. У бухгалтеров всегда толстые жены, много детей. Верно, Шурочка? — Он подошел к стойке, положил новенькую, шуршащую сотню перед улыбающейся продавщицей, ласково потрепал ее по розовой щеке.— Сдачу потом, Шурочка.

— Счастливицы,— с упорством бормотал Павел, глядя в пол.— Эх, счастливицы...

— Ты хочешь сказать ни пуха, ни пера? — спросил Константин.— Тогда — к черту!

Они вышли на морозный воздух, на яркое зимнее солнце.

Рынок этот был не что иное, как горькое порождение войны, с ее нехватками, дороговизной, бедностью, продуктовой неустроенностью. Здесь можно было купить все. Разбитные, с небритыми лицами парни, носившие солдатские шинели с чужого плеча, могли сбуть и перепродать что угодно. Здесь из-под полы торговали хлебом и водкой, полученными по норме в магазине, ворованным на базах пенициллином и отрезами, американскими пиджаками и презервативами, трофейными велосипедами и мотоциклами, привезенными из Германии. Здесь торговали модными макинтошами, зажигалками иностранных марок, лавровым листом, кустарными, на каучуковой подошве полуботинками, немецким средством для рашения волос, часами и поддельными бриллиантами, старыми мехами и фальшивыми справками и дипломами об окончании института любого профиля. Здесь торговали всем, чем можно было торговать, что можно было купить, за что можно было получить деньги, терявшие свою цену. И рассчитывались разное — от замусоленных, бедных на вид червонцев и красных тридцаток до солидно хрустящих сотен. В узких закоулках огромного рынка с бойкостью угрей шныряли, скользили люди с нервными лицами, с быстрым мутно-хмельным взглядом, с кольцами на грязных пальцах, хрипло бормотали, секретно предлагая тайный товар; при виде милиции стремительно исчезали, рассасывались в толпе, вновь появлялись в пахнущих мочой подворотнях, озираясь по сторонам, шепотом зазывая покупателей в глубину прирыночных дворов. Там, возле мусорных ящиков, собираясь группами, коротко, из-под полы, показывали свой товар, азартно ругались.

Рынок был наводнен неизвестно откуда всплывшими спекулянтами, кустарями, недавно демобилизованными солдатами, пригородными колхозниками, московскими ворами, командировочными, людьми, продававшими на хлеб, и людьми, торгующими, чтобы вечером после горячего плотного обеда с водкой (целый день был на холоде) со сладким чувством спрятать, пересчитав, пачку денег.

Морозный пар, пронизанный солнцем, колыхался над черной толпой, все гудело, двигалось, сновало; выкрики торгующихся голосов, довольный смех, окрики, скрип вытоптанного снега, крутая ругань, звонки продаваемых велосипедов, звуки аккордеонов, возбужденные, багровые от холода лица, мелькание на озябших руках коверкотовых отрезков, пуховых платков — все это, непривычное и незнакомое, ослепило, оглушило Сергея, он выругался сквозь зубы. На какое-то мгновение он почувствовал растерянность.

Тотчас его сжала и понесла толпа в своем бешеном круговороте, чужие локти, плечи, оттеснив, оторвали Константина, уволокли вперед, голоса гудели в уши назойливо и тошно:

— Коверкот, шевиот, бостон, сделайте костюмчик — танцуйте чарльстон! Даю пощупать, попробовать на спичку!

— Кто забыл купить пальто? Сорок восьмой размер!

— Полуботинки, не будет им износу! Эй, солдат! Не натерли те холку сапоги? Бросай их к хрену! Наряжайся в полуботинки! Гарантирую пять лет!..

— Что-о? Это кто спекулянтская морда? Сволочь... я Сталинград защищал — вон, смотри: двух пальцев нет! Осколком... Я тебе дам спекулянт! Так морду и перекусорю!

— Штаны, уважаемые граждане, кому теплые ватные женские штаны? Прекрасны в холодную погоду!.. Я, гражданочка, вполне русским языком ответил: за вашу цену я их сам сношу! Все! Закон!

— Вы, товарищ капитан, на костюмчик, вижу, смотрите? Глядите, пожалуйста. Модные плечи. Двубортный, на шелку. Прошу вас... Я дешево...

Стиснутый кипевшей сутолокой и криками толпой, Сергей очнулся от искательного простуженного голоса, увидел перед собой морщинистое, с виноватыми глазами лицо, несвежее кашне, торчащее к подбородку из облезлого воротника; через руку как-то робко перекинут темно-серый костюм. Сергей резким движением освободился от сковавшей его толпы, продвинулся вперед, к этому человеку, сказал:

— Да, мне нужен костюм. Вы, кажется, продаете?

— Очень дешево,— забормотал человек, мигая,— именно вам, товарищ капитан... Именно вам...

— Почему именно?

— Костюм носил сын... Лейтенант... Два раза надел перед фронтом... Не вернулся...

— Нет,— сказал Сергей.

— Что вы?

— Костюм не возьму.

— Товарищ... Я прошу. Вы посмотрите костюм! — поспешно заговорил человек с мольбой.— Мне нужны деньги... Я прошу очень маленькую цену. Я даже ее не прошу. Вы назначьте...

— Костюм я не возьму,— повторил Сергей.

То, что он подумал, не мог объяснить этому человеку. Он никогда не брал и не носил вещей убитых. Преодолевая брезгливость, мог снять оружие с мертвого немецкого офицера, посмотреть документы, записные книжки. Это была чужая жизнь. После случая под Боромлей он не испытывал любопытства к непрожитой жизни убитых солдат. Убитый под станцией Боромля лежал лицом вверх в смятой пшенице, все тело, лицо было неправдоподобно раздуто от жары, будто туго налито лиловой водой, вздыбленная грудь покрыта коркой засохшей крови — был убит пулеметной очередью,— трудно узнать: молод был или в годах. Сергей достал из кармана его гимнастерки слипшуюся красноармейскую книжку и тотчас почувствовал, что задыхается... «Сержант Аксенов Владимир Иванович... 1923 года рождения... Домашний адрес: Москва, Новокузнецкая улица, дом 16, кв. 33...»

Он, Сергей, жил рядом. В переулке. Пять минут ходьбы. Может быть, они встречались на улице. Может быть, учились в одной школе... И в том, что убитый был москвич, жил в Москве, рядом, но они не знали друг друга, было что-то противоестественное, разрушающее веру Сергея в то, что его не убьют.

— Товарищ... Товарищ... вы посмотрите, вы осмотрите со всех сторон... костюм... Я не спекулянт. Вы лучшего не найдете. Это довоенный материал,— лихорадочно говорит человек и все виновато, робко, тесни-

мый толпой, совал костюм в руки Сергея.— Вы отказываетесь не глядя. Так нельзя. Это костюм сына...

— Эй, чего прилип к человеку? — хрипло крикнул кто-то, проталкиваясь к Сергею.— «Костюм, костюм!» Может, военному брючки надо. Есть. Стальные. Двадцать девять сантиметров! Ну? По рукам? Твой рост! Проваливай, папаша!

Он локтем оттолкнул человека с костюмом.

— К черту! — сквозь зубы сказал Сергей, увидев хмельное, с наглыми глазами лицо.— Я сказал — мотай со своими брюками!

— Но, но! Здесь не армия, а рынок... Не черти! Сам умею!

— Я сказал — к черту!

Впереди, в гудении голосов, послышался возбужденный оклик Константина. Он бесцеремонно — против крутого движения толпы — протолкался к Сергею; в сдвинутой назад меховой шапке, казалось, было ему жарко. И как бы сразу все поняв, оценивающе окинул робкого человека, потом нагловатого парня с брюками, сказал с усмешкой:

— Уже атаковали? Я сам тебе выберу костюм. Пошли!

Место, куда вывел он Сергея, было тихое — в стороне от орущей толпы, закоулков за галантерейными палатками возле забора. Несколько человек с поднятыми воротниками стояли около забора, возле ног на зимнем солнце блестели кожей чемоданчики. Эти люди были похожи на приезжих. Двое в армейских телогрейках сидели, как на вокзале, на чемоданах, от нечего делать лениво играли в карты.

— Подожди здесь,— сказал Константин.— Твои офицерские погоны могут навести панику. Там иногда ходят патрули. Я сейчас.

Он подошел к забору, тотчас двое в телогрейках поднялись и не без уважения пожали руку Константину. Тот, прищурясь, оглянулся на Сергея, по сторонам, потом все трое полезли через дырку в заборе — на пустырь. Оставшиеся люди с чемоданчиками не обратили, казалось, на них внимания. Стояли, хлопали рукавицами, крикая от мороза, переговаривались простуженными голосами.

«Черт его знает, какая таинственность»,— подумал Сергей.

Рынок своей пестротой, своей накаленной возбужденностью вызывал в нем раздражение и одновременно острое любопытство к этому скопищу народа.

Рядом с галантерейными палатками, за которыми непрерывно текла толпа, метрах в тридцати от забора стоял высокий узкоплечий человек в солдатской шинели, с подвижными чертами лица, стоял возле многочисленных ящичков с блюдечками и подставкой, похожей на мольберт, обращаясь к смеющейся толпе, зазывно-бойко выкрикивал:

— Граждане, не что иное, как эврика! Послевоенное открытие! Мыльный корень очищает все пятна, кроме черных пятен в биографии!

В двух метрах от него на раскладном стульчике перед расстеленным на снегу брезенте сидел парень-инвалид (рядом лежал костылек<sup>1</sup>), ловко, быстро трещал колодой карт, перебирая ее пальцами, метал карты на брезент, оглядывая толпу насильно улыбающимися глазами.

— Моя бабка Алена подарила мне три миллиона, два однополчанам раздать, один — в карты проиграть! Подходи, однополчане, фокусом удивлю, много не возьму! Подходи, друга не подводи! Туз, валет, девятка... По картам угадываю срок жизни!

В редкой толпе недоверчиво посмеивались, вытягивали шеи, следя за картами. Однако никто не просил показать фокус. Видимо, не доверяли.

Со смешанным чувством грусти и любопытства к этому зарабатывающему на хлеб инвалиду Сергей долго стоял, наблюдая за ожидающим худым лицом парня.

— Что ж... покажи фокус.

— Трояк будет стоять, товарищ капитан. Загадывайте карту! — обрадованно сказал парень.

— Загадал.

Сергей знал нехитрый этот фокус с фронта, но не подал виду, когда парень стремительно выщелкнул из колоды карту на брезент. От движения под распахнутой телогрейкой зазвенели медали.

— Дама! — сказал парень. — Червонная. Ваша невеста.

— Дама-то дама. Да не моя невеста. Давай следующий фокус.

— На десятой карте угадываю срок жизни.

— Угадывай.

Парень выложил карту с неуверенным азартом.

— Три года!

— Ба-атюшки-светы, такой молодой! — ахнул в толпе голос.

Сергей невольно оглянулся: в черном пуховом платке сморщенное старушечье личико, мигающие веки. Ему стало смешно.

— Не беспокойтесь, бабушка. Я вернулся с фронта с надеждой жить сто лет. Сто лет и три года.

— Сдается мне, товарищ капитан... — неожиданно проговорил парень, наморщив лоб. — Мы с вами нигде не встречались? Голос и лицо вроде знакомы... А?

— Слушай, и мне кажется, я тоже тебя где-то... — вполголоса сказал Сергей, вглядываясь в дернувшееся лицо парня. — Ты был на переправе в Залещиках? На Днестре? Был на Днестре?

Бросив колоду карт, парень медленно привстал, глядя в глаза Сергея растерянным взглядом. По толпе прошелестел шумок удивления; кто-то прерывисто-долго вздохнул, старушка в пуховом платке набожно зашевелила губами, мелко перекрестилась; засуетившись, с испугом пощупала, оглядела свою кошелку, отошла. И тотчас стали расходиться люди, оглядываясь с сомнением — все могло быть: рынок не вызывал доверия.

— Не был я на Днестре, — выговорил парень. — Может, на Одере, на Первом Белорусском. В разведке. Я в полковой разведке...

— Мы шли через Карпаты, в Чехословакию, — ответил Сергей, еще минуту назад веря, что они где-то встречались.

— Обознались! — засмеялся парень и повторил: — Обознались, значит!

Бледность сходила с его лица. Сергей молча смотрел на его решительный с горбинкой нос, на его медали под распахнутой телогрейкой — был он похож на тот заметный на войне тип людей, о которых говорят: этот не пропадет.

— Сколько зарабатываешь тут в день?

— Полсотни. — Парень запахнул телогрейку. — Инвалид второй группы. Пенсии — с воробьиный нос. Чихнуть дороже!

— У меня только сотня. Возьми, — проговорил Сергей с некоторой неловкостью. — На кой тебе этот цирк? Придумать что-то нужно.

— Ежели бы эту сотню на год! — едко хохотнул парень. — С тебя, капитан, денег не возьму. С тыловиков беру.

— Сергей, давай сюда!

От забора к палаткам быстрой походкой шел Константин, с веселым видом похлопывал снятыми перчатками по бедру.

— Ну как? — спросил Сергей.

— Все в порядке, — сказал Константин. — Можешь швырять чепчик в воздух. Не полторы, а две косых дали за твои часики. — Он перчатками похлопал по боковым карманам. — Здесь твои — две, здесь мои — пять. Вернули долг.

— Кто вернул? — спросил Сергей, взглянул на забор, где стояли люди с чемоданчиками. — Те двое, в телогрейках?

— Долго объяснять. Не все ли равно? Пошли, выберу костюм. Только прошу — в торговлю не лезь. Все испортишь. Кстати, тебе пойдет строгий цвет. Ну, темно-серый. Верно?

— Этого я не знаю.

#### Глава третья

В комнате Константина было жарко натоплено. Сергею нравилась хаотичная теснота этой комнаты с ее холостяцкой безалаберностью, со старой мебелью: громоздкий книжный шкаф, потертая тахта, на которой валялись кипы английских военных журналов и американских голливудских выпусков с улыбающимися кинозвездами; и везде были беспорядочно разбросаны стопки газет на креслах, галстуки на спинках стульев; раскрытый патефон стоял на тумбочке — веяло от всего чем-то полузабытым, мирным, довоенным, что видел он в комнатке холостяка-соседа по квартире, лысеющего, улыбчивого инженера Паняева, погибшего в войну.

Сергей лежал на тахте в новой сорочке с распушенным галстуком, рассеянно листал затрепанный иллюстрированный журнал сорок второго года. Константин стоял перед зеркалом в белейшей, свежей майке, задирая намыленный подбородок, брился, говорил, указывая глазами на книги:

— Все это покупал на Центральном рынке, когда вернулся... Два месяца лежал на этой тахте и читал, как с цепи сорвался. Хотелось копнуть жизнь по книгам. Запутался к дьяволу — и пошел в шоферы. То, что говорили нам в школе о жизни, — примитивная ерунда. Помнишь, только думали о подвигах на пулеметной тачанке. «Если завтра война...» Красиво несешься на тачанке в чапаевской папахе и полосуешь из пулемета. «Полетит самолет, застрочит пулемет, и помчатся лихие тачанки...»

Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, будто рассеивая пулеметные очереди.

— Какими романтичными сопляками мы были! — снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стаканчика пену. — Сейчас мне ясно почему. Вспомни: везде побеждали — челюскинцы, рекорды летчиков, Стаханов. В этом-то и дело. О, все легко, все доступно! И наше школьное поколение жило, как на зеленой лужайке стадионов. Нас приучали к легкой победе. Но зачем? А, бродяга! — Константин пощупал щеку. — Режется, кочерга несчастная! Выпускают лезвия как для лошадей. А войну выиграли, леший бы драг, большой кровью. Не дай бог нам этих зеленых лужаек!

— Противоречишь сам себе, — сказал Сергей, рассматривая на обложке улыбающегося молодого оберста, из бронетранспортера в бинюкль глядящего на снежно сверкающий Казбек. — Мне хочется, чтобы вернулось то время. Но без криков «ура». По каждому поводу. Я хотел бы еще пожить в то время, среди ребят...

Он отбросил журнал, заложил руки под голову, глядя в потолок на абажур, наполненный зеленым огнем. Было тихо, тепло. Сквозь зашторенное окно с далекой улицы слабо донесся шум и звон трамвая. Сергей с размягченным, задумчивым лицом прислушался к этому быстро стихшему шуму, долетевшему сюда во двор через вечерние заснеженные крыши замоскворецких переулков, сказал:

— Иногда вот так, как сейчас, лежишь ночью, а на улице где-то прозвенел трамвай, и вдруг вспомнишь школу, метель, сидишь у окна, дре-

безжит стекло, последний урок... Витька Мукомолов сидит рядом, рисует яхты. Хотели пойти в мореходку, в торговый флот... Черт знает, о чем только мы с ним не мечтали.

Константин в зеркале внимательно посмотрел на Сергея, поглаживая выбритый подбородок.

— Я понял так: ты хотел, чтобы то вернулось?

— Может быть,— ответил Сергей.

— А мне кажется — только начинаю жить. Понял, Сережа? Только начинаю!

Константин рывком стянул майку, перекинул полотенце через плечо, вышел на кухню. Было слышно в тишине, как зашепелявила вода в раковине, звонко полилась, заплескала в раковину, как принялся фыркать, звучно шлепать себя ладонями по телу Константин, восклицая: «Ах, хорошо, дьявол! Отлично! Превосходная штука — вода!» Видимо, он испытывал возбуждение и удовольствие не только потому, что был здоров, крепок, но и оттого, что многое было отчетливо ясно ему, раз и навсегда понято в жизни, будто точно знал, что надо делать. И Сергей подумал с удивлением: Константин в чем-то опытнее его, может быть потому, что вернулся с фронта раньше. И от этой Константиновой уверенности возникало ощущение покоя, не хотелось думать о том, что не было решено и было неясно, непонятно.

— Долго будешь плескаться? — сказал Сергей задумчиво, хотя сам все время испытывал странную тягу к воде, как будто хотелось смыть прошлую окопную грязь, пот, едкую гарь — порой даже казалось, что от рук все еще дымно пахло порохом.

— Ах, дьявол! Ах, здорово, ах, вундершен! — ахал, умываясь, Константин и крикнул: — Я тебе покажу сегодня, Серега, роскошную жизнь! Завалимся в ресторан. В «Асторию»! Будем жить по коммерческим ценам!

Сергей снял со спинки стула, надел новый, шелестящий серебристой подкладкой пиджак. Затягивая галстук, подошел к зеркалу. И посмотрел на себя с беспокойством. Костюм шел к нему, был только тесен в плечах, облегал фигуру, как китель; это ощущение (не хватало лишь тяжести пистолета на боку) было знакомо.

Было незнакомо лицо — сильно обветренное, с новым, чуть смягченным выражением, от которого за четыре года он будто отвык, белая сорочка подчеркивала грубую темноту лба, шеи, темноту глаз.

— Комиль фо, вернувшийся в свет,— усмехнулся Сергей и долго с грустным интересом разглядывал себя, не узнавая.

Никогда до войны он не носил ни галстуков, ни хороших костюмов, вернее, не успел носить, и сейчас в этом галстуке, модном костюме, казалось ему, было нечто полузабытое, далекое, вычитанное когда-то из книг.

— Костя! — позвал Сергей неуверенно. — Оценивай и рявкой «ура». — И машинально провел по поясу, словно поправляя на ремне кобуру пистолета. — Ну как?

Причесывая мокрые волосы, вошел Константин, свежий, с кирпичным румянцем на скулах, серьезно оглядел Сергея, дунул на расческу, сказал с иронией:

— Наверно, и перед свадьбой — если когда-нибудь женимся, — то, целуя невесту, будем хвататься за пистолет на задку... А костюм великолепный. И сидит здорово. Ты в нем красив. Девочки будут падать направо и налево. Только галстук, галстук! — воскликнул Константин и захохотал. — Нелепость в квадрате! Не то коровий хвост намотал на шею, не то шею на коровий хвост! Дай-ка завяжу.



— Ладно, завязывай! — согласился Сергей, подставляя шею.

Константин ловко завязал Сергею галстук, поправил воротничок, наморщил брови.

— Ты не скромничай. Надень ордена. Все, до последней медали. Сейчас их носят все.

— Обязательно портить костюм?

— Это принципиально-добровольно.

— Хорошо. Надену все — те, что дороги, и те, что не дороги!

— У тебя есть такие? — Константин пожал плечами.

— Трудно заработать первый орден.

Они вышли на улицу. К вечеру заметелило. Снег порывисто, вместе с дымом, сметало с крыш, густой наволочью стремительно несло вдоль домов, заметенных подъездов.

#### Глава четвертая

Огромный зал «Астории» встретил их нетрезвым шумом, жужжанием голосов, суетливой беготней официантов меж столиками — той обстановкой зимнего вечера, когда ресторан полон, оркестр устал, и музыканты, неслышно переговариваясь, курят, сидя за инструментами на эстраде.

Когда, скинув шинели в вестибюле, вошли с холода в зал, в теплое сверкание люстр и зеркал, в папиросный дым, эта обстановка гудящего среди блеска огней веселья ослепила в первую минуту Сергея. И вместе с тем все это тотчас вызвало в нем противоречивые ощущения, как и сегодня утром в хаотичной толпе Тишинского рынка.

Стоя среди прохода, он оглядывал столики, пестроту ресторана с чувством растерянности и ожидания. Здесь было много военных всех званий — от лейтенанта до генерала, были здесь и безденежные штатские в потертых отглаженных костюмах, и полуголодные студенты, получившие стипендию и скромно делящие один салат на четверых, и темные личности в широких клетчатых пиджаках, шумно пьющие водку с шампанским в компании медлительных девушек с подведенными бровями.

Свободных столиков не было Константин с небрежным прищуром скользнул взглядом по залу, сейчас же уверенной походкой подошел к стоявшему у крайнего столика седому метрдотелю и с серьезным видом сказал что-то ему. Метрдотель сонными круглыми глазами взглянул из-за плеча Константина на Сергея, кивнул Константину и, солидно наклонив голову, повел их в глубину зала.

— Прошу вас сюда, — сказал он бархатным баритоном, передвигая на столике чистый прибор. — Единственный столик. У нас в эти часы очень много посетителей. Кондеев! — строго окликнул он пробежавшего мимо сухопарого официанта. — Обслужите, будьте любезны, фронтовики... Располагайтесь. — Метрдотель снова кивнул, с достоинством занятого человека отошел, оглядывая соседние столики.

— Прекрасно, — сказал Константин.

Они сели.

— Как тебе удалось в такой толкучке? — спросил Сергей.

Константин, вынимая папиросу, сказал с улыбкой:

— Иногда не нужно умирать от скромности. Я сказал, что ты только что из Берлина. И, как видишь, твой иконостас произвел впечатление. Результат — столик. Как говорится, шерсти клоч.

— И это неплохо,— пожал плечами Сергей.

Он посмотрел на ближние столики. Багровый, потный человек с налитой шеей, на лацкане тесного пиджака — орденские колодки, быстро жевал, разговаривая с двумя молоденькими, вероятно только что из училища, младшими лейтенантами, сиявшими новыми погонами, скрипучими ремнями и улыбками. Младшие лейтенанты, явно смущаясь бедностью своего стола, отхлебывали из бокалов пиво, растерянно хрустели убогой соломкой; сосед их, багровый человек,пил водку, аппетитно закусывал ножкой курицы, говоря, дирижировал ею.

Сергей перевел взгляд, мелькнули лица в дыму, и ему показалось — недалеко от эстрады девушка в сером костюме посмотрела в его сторону, чуть улыбнулась и сейчас же снова заговорила о чем-то с молодыми людьми и полной белокурой девушкой, сидевшими с нею и за соседним столиком возле колонны. Сергей сказал серьезно:

— Посмотри, Костя, у меня слишком пресная морда? Или идиотское выражение?

— Не нахожу,— произнес Константин, с интересом изучая меню.— А что? Обращают внимание? Пожинай славу. Молодой, красивый, весь в орденах. И с руками и ногами.— Он проследил за взглядом Сергея, спросил с усмешкой: — Вон та, что ли, со вздернутым носиком? Ничего особенного, середняк. Впрочем, не теряйся, Серега.

— Циник чертов.

Лавируя меж столиками, подошел сухопарый официант, озабоченно махнул салфеткой по скатерти, наклонил голову, сказал с приятностью в голосе:

— Слушаю, товарищи фронтовики..

— Бутылку коньяку — это во-первых. Какой у вас — «старший лейтенант», «капитан»?

— Есть и «генерал», — улыбнулся официант, вынимая книжечку для записи заказов.— Все сделаем.

— Тащите сюда «генерала». И сочините что-нибудь соответствующее. От вашей расторопности зависит все дальнейшее.

— Одну минутку.— И официант понесся в проходе среди столиков.

— У меня такое впечатление, что ты целыми днями торчишь в ресторанах,— сказал Сергей.— Пускаешь пыль в глаза, как миллионер!

— А, гульнем, Сережка, на всю катушку, чтоб дым коромыслом. Не заслужили, что ли?

— Когда ехал от границы по России,— проговорил Сергей,— почти везде керосиновые лампы, разрушенные станции, сожженные города — страшно становилось.

— Мы победили, Сережка, и это — главное. Что ж, придется несколько лет пожить, подтянув ремень.

— Может быть...

Внезапно заиграла музыка, зазвучали скрипки, говоря о печали мерзлых военных полей. В тени эстрады стояла певица с худеньким бледным и стертым лицом, руки подняты к груди.

Я кручину никому не расскажу,  
В чистом поле на дороге упаду.  
Буду плакать, буду суженого звать,  
Буду слезы на дорогу проливать.

В зале нервно покашливали. «Что это? Кажется, еще и война не кончилась?» — подумал Сергей, сжатый волнением, видя, как внимательно вглядывались в эстраду молоденькие младшие лейтенанты и, уставясь в одну точку, медленно жевал багровый человек.

— «Буду плакать, буду суженого звать». Ничего гениального. А просто нервы у нас никуда,— услышал он голос Константина.

Тот разливал коньяк в рюмки, покусывая усики; поставил с преувеличенной твердостью бутылку на середину стола.

— Я понял одно: прошли всю войну, сквозь осколки, пули, сквозь все. И остались живы. Наверно, это счастье, а мы его не ценим. Так, может быть, сейчас, когда мы, счастливы, остались живы, она нас подстерегает, глупая случайность подстерегает. На улице, за углом, на самолете, в какой-нибудь неожиданной встрече ночью. Остерегайся случайностей. Не летай на самолетах — бывают аварии. Не рискуй. Только не рискуй. Мы всю войну рисковали. Только не рискуй по-глупому.

Сергей, нахмурясь, выпилжигающий коньяк, сказал глухо:

— Если бы я понял, что должен сейчас делать! На войне я рисковал, и в этом была цель. Я часто иду по улицам и завидую дворникам, убирающим снег. Уберет снег во дворе и войдет в свою жарко натопленную комнату, к семье. Что ж, пойти в институт? В какой? Да мне кажется, я не смогу учиться. Я завидую людям с профессией, каждому освоенному окну по вечерам. У тебя бывает такое?

Константин перебил его:

— У меня? Ты счастливее. Остался жив. Вся грудь в орденах. В двадцать два года — капитан. Перед тобой все двери распахнуты! У меня! — повторил он, хмыкнув. — Я, очевидно, не обладаю тем, чем обладаешь ты. Мы живы. Разве это не счастье, Сережка? Слушай, ну ее к дьяволу, болтовню. Пойдем танцевать. Танго. Здесь вперемешку — военные песни и танго. Выбирай любую, кто понравится. Кого бы мне выбрать на сегодня?

Константин подтянул спущенный узел галстука, встал, оглядел соседние столики. Сергей видел его легкую походку, его уверенную беспечность, когда он приблизился к какому-то столику, и то, как, наклонив голову, он смело пригласил молодую темноволосую женщину и она охотно пошла с ним. «Он живет ясно и просто,— подумал Сергей.— Он понял то, что не понял я. Да, мы остались живы — это, вероятно, счастье. Странно, я об этом не думал, даже после боя. А вот когда нет опасности, мы думаем об этом. Случайность?.. Какая случайность? Вся жизнь впереди, что бы со мной ни было. Мне только двадцать два...»

И он с легким ощущением ожидания взглянул на женщин, которые не танцевали.

Девушка в узком сером костюме в окружении штатских молодых людей сидела спиной к эстраде, говорила что-то, пальцами поглаживая высокую ножку бокала, молодые люди слушали молча, глядя на ее пальцы и ей в улыбающееся лицо.

Сергей встал, решительно подошел к столику, произнес негромко:

— Разрешите?

Она повернулась, внимательно посмотрела снизу вверх прозрачно зелеными глазами, сказала удивленным тоном, обращаясь к молодым людям:

— Вы мне разрешаете?

Они, не отвечая, с натянутой вежливостью разглядывали Сергея, и он, понимая, что помешал им, все же повторил самоуверенно:

— Простите, но думаю, они разрешат.

— Тогда танцуем все,— оживленно проговорил один из молодых людей.

— Правда, я плохо танцую,— с улыбкой сказала она Сергею и встала.

Когда она, положив руку ему на плечо, пошла с ним, подчиняясь ему, слабо прижавшись грудью, задевая его коленями, он удивился условности людских взаимоотношений — эти выдуманные людьми танцы неумовимо разрушали человеческую разъединенность; он чувствовал ее сильные пальцы, сжимавшие его руку, будто была она давно знакомой и близкой ему, и вместе с тем чувствовал некоторую неловкость от этих движений близости. Он видел морщинку на ее лбу, глаза, чуть-чуть ласково улыбаясь, смотрели ему в грудь.

— Странно... — проговорил он.

— Что же странно?

Она вопросительно подняла взгляд. «Может быть, это и есть то, что я хотел? — подумал он с волнением. — Ничего не надо. Только это. Только вот так...»

И вдруг все исчезло. Это было мгновение, которое он не уловил. Он только посмотрел в зал, желтый от дыма, и тотчас как будто стремительно смолкла музыка, и он словно мгновенно опустился в вязкую глухоту, чувствуя, как пальцы в его руке шевельнулись, близкий голос спрашивал о чем-то. Он даже улыбнулся этому голосу, что-то сказал, не понимая слов, и когда говорил и улыбался, то подумал: «Еще раз повернуться... возле крайних столиков, посмотреть. Я не мог ошибиться. Еще раз повернуться...»

Возле крайних столиков он повернулся.

К этим столикам возле колонны шел человек, белело при свете люстр полное лицо, гладко зачесанные светлые волосы, ранние залысины над высоким лбом. Крупная рука держала папиросу... Человек этот сел; женская сумочка, блестя лаком, лежала на краю столика. И Сергея удивило то, что столик этот был вблизи от стола, за которым только что сидели молодые люди, и он раньше не заметил этого человека. И сейчас, облокотившись, человек этот медленно подносил папиросу ко рту, следя за танцующими.

Нет, он не мог ошибиться, не мог. Кто это — командир батареи капитан Уваров? Это он...

«Я сейчас подойду к нему, сейчас все кончится — и я подойду к нему, — мелькнуло у Сергея. — Я подойду к нему...»

— Что вы?

И он очнулся, будто вынырнул из горячей воды, почувствовал пот на лбу, и опять его словно обдуло ветерком — ее смеющийся голос:

— Вы перестали танцевать. Мы ведь стоим. Это что — новый стиль?

— Да, да... — почти машинально повторил он, так же машинально отпустил девушку, произнес беззвучно: — Простите... — И не увидел, а почувствовал, как кто-то пригласил ее тотчас же.

Он поднял голову: было несколько шагов до того столика, где сидел человек с полным белым лицом, было несколько шагов осенней карпатской грязи, засосавшей орудия, тела убитых, сброшенные с передков лотки со снарядами. Там среди убитых лежал на станинах раненый лейтенант Василенко...

Крупная рука этого человека поднесла папиросу ко рту. Потом он, задумчиво сдвинув брови, налил в бокал боржом. Не отрывая глаз от танцующих, выпил. Тыльной стороной ладони вытер губы. Помнил ли он сожженную деревню Жуковцы? Ночь в окружении и страшное серое октябрьское утро в Карпатах, когда орудия увязли на лугу и немецкие танки расстреливали их?..

Он курил и отхлебывал боржом, лицо исчезало в дыму, маленькая лаковая сумочка лежала на краю стола. Чья это сумка — жены, знакомой? Она, видимо, танцевала с кем-то...

— Капитан Уваров!..

Сергей не услышал своего голоса, только понял, что сказал это. Человек вскинул голову, двинув локтем по столу, от движения бокал с боржомом опрокинулся.

— А, ч-черт! — выругался человек, перекосив губы, и закрыл мокрое пятно салфеткой.— Что вам? — спросил громко, раздраженным голосом.— В чем дело?

— Не узнаете? — спросил Сергей медленно.— Правда, я не в военной форме. Трудно узнать.

— Подожди... Подожди, что-то я припоминаю... что-то в тебе знакомое...— заговорил Уваров; голубые, чуть покрасневшие глаза его быстро скользили по лицу Сергея, по его груди. И что-то дрогнуло в них.— Капитан Вохминцев? Ты? — налитым изумлением голосом воскликнул Уваров, вставая; раскатисто захохотал, протянул через стол руку.— Ты что? Демобилизовался? Из Германии?

Сергей стоял не шевелясь; глядел на уверенно протянутую ему широкую ладонь, и в ту же минуту в его сознании мелькнула мысль, что Уваров все забыл, и, чувствуя холодный, колющий озноб на щеках, стянувший кожу, сказал тихо:

— Сядем поговорим. Я демобилизовался,— хрипло добавил он.— Из Германии.

Он сел. Уваров отдернул руку, опустился на стул, сказал резким, командным голосом:

— Что за чепуха, хотел бы я знать! Не узнаю тебя! Контужен?

Брови Уварова раздраженно сдвинулись, но лицо как бы размягчилось, он досадливо потер подбородок кулаком, спросил снова, прищурясь:

— Ты что?

— Мы никогда не были на «ты»,— сказал Сергей, с напряженной неторопливостью закуривая, с удивлением видя, что руки его не дрожат.— Мы не были друзьями.

— Ах, дьявол! — качнув головой, засмеялся Уваров, с преувеличенной веселостью откинувшись на стуле.— Обиделся, что ли? Все ерунда это! Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на «ты». А? И не будем показывать свою интеллигентность!

Уваров поставил перед Сергеем рюмку, потянулся за графинчиком, добродушно морщась, только голубизна глаз стала жаркой, мутноватой, и по тому, как выступил пятнами нервный румянец на щеках, по тому, как он внезапно захохотал и потянулся за графинчиком, угадывались возникшее беспокойство и настороженность.

— Не пью,— проговорил Сергей, отодвинув рюмку.

— Да ты что? Трезвенник? Нич-чево не понимаю! — снова захохотал Уваров.— Встречаются два фронтовика, один не пьет, другой обижается, у третьего печенки, селезенки. Что происходит с фронтовиками? — Он накрыл сильной ладонью руку Сергея, спросил с доверительным добродушием: — Может, перехватил уже? Давно здесь веселишься?

— Брось, Уваров! Ты все помнишь! — сухо произнес Сергей и с силой высвободил руку из горячей его ладони.

Уваров, всем корпусом порывисто откинувшись на стуле, спросил с хрипотцой:

— Ты пьян?

— Помнишь, на станинах лежал Василенко, когда я со взводом вытаскивал орудия из окружения? Помнишь?

— Ты пьян,— сквозь зубы повторил Уваров и, подняв голову, оглядываясь, крикнул зычно: — Метрдотель, подойдите ко мне!

Он встал.

На соседних столиках оглядывались, Сергей вполголоса сказал:

— Если ты позовешь метрдотеля, я выйду на эстраду и скажу, что ты убийца. Я это сделаю.

— Ты что? — злым шепотом спросил Уваров, тяжело садясь. — Будешь вспоминать Жуковцы? Будешь перечислять фамилии убитых? Обвинять меня? Нет, милый, надо обвинять войну. Так ты можешь обвинить половину строевых офицеров, в том числе и себя. У тебя гибли солдаты? А? Гибли?

— В одну могилу врагов и друзей не положишь, — сказал Сергей с трудом. — Братской могилы не получится. — Он глубоко затянулся дымом, чтобы перевести дыхание, договорил отчетливо: — Ты сам взялся поставить багарею на прямую наводку, не зная, где немцы. Когда Василенко сказал тебе в глаза, что ты дуб и ни хрена не смыслишь, ты пригрозил ему трибуналом...

— Не было этого! Вранье!

— Вспомни еще — утром танки окружили Жуковцы и прямой наводкой расстреляли людей и орудия. Всех — двадцать семь человек и четыре орудия. Но Василенко даже в болоте стрелял. А ты притворился больным и как последняя шкура просидел сутки в блиндаже. Бросил людей... А потом? Все свалил на Василенко — под трибунал его! Мол, он, командир первого взвода, погубил батарею. В штрафную его! Ты, конечно, знаешь, что Василенко погиб в штрафной.

— Вранье!

— Ты отправил Василенко в штрафную. А в штрафную должен был пойти ты.

— Вранье!

Уваров стукнул кулаком по столу, лицо его туго набрякло, будто мгновенно постарело, потемнели мешки под веками, лоб и залысины облило потом; голубые с красными прожилками глаза скользили то по груди Сергея, то по скатерти. Вдруг он подался к Сергею, опустив крутой подбородок, неожиданно со сдержанной усмешкой заговорил:

— Ну, чудак ты, ей-богу! Если была какая неразбериха — на то война. Не косись, брат, на меня; я не хуже и не лучше других! Ты считаешь меня своим врагом, я тебя — нет. Просто думаю: ты хороший парень. Только мнительный. Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы... ко всем матерям это!.. Глупых смертей было много. Война кончилась — бог с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и все забыть!

Он повторил «все забыть» и словно успокаивался, голос набирал осторожную, фамильярную мягкость, рука легла на стол, быстро вправо-влево погладила скатерть, и эти движения будто хотели пригладить, сравнять все, что было осенью сорок четвертого года в Карпатах. Будто не было того октябрьского рассвета, залитого дождями луга, неудобно и страшно затонувших в грязи трупов солдат, четырех орудий, в упор разбитых танками. Василенко лежал на станинах, одной рукой прижимая скомканную, потемневшую пятнами шинель к плечу, в другой побелевшими пальцами судорожно стискивая масляный «ГТ», хрипло повторял: «Где он?.. Я прикончу эту шкуру... В штрафную пойду, а прикончу!..» — и плакал глухо, лающе.

Была тишина. Она пульсировала в ушах. Сергей почти физически почувствовал сырой запах гнилой воды луга, гнилого тумана, размокших шинелей, крови и чесночный запах немецкого тола... Тишина оборвалась.

Играл оркестр оглушающе непрерывно. бил очередями барабан, вибрировала труба.

— Тебя не судили потому, — как сквозь ледяную стену, пробился к Сергею свой голос, — что меня ранило на второй день на перевале.

Я знал цену Василенко и цену тебе. Ты всегда боялся меня, когда стал командовать батареей.

— Я? Боялся тебя? Я тебя никогда не боялся и сейчас не боюсь, сопляк! — Щеки Уварова стали молочно-бледными. — Все понял?

— Теперь я тебя нашел.

Молчание. Оркестр не играл. Как из-за тридевяти земель просачивались ватные голоса. Миню столика тенями шли люди. Говорили... Отодвигались стулья... Что это, кончился танец? Скорее... Сейчас подойдет эта женщина, чья сумочка, блестя лаком, лежала на столе. Скорее... Это мужское, не женское дело. Здесь никто не должен вмешиваться.

— Теперь я тебя нашел, — повторил Сергей, разделяя слова. — Я ничего не забыл.

Уваров вдруг навалился грудью на стол, глаза сузились, веки дрожали возбужденно.

— Если ты... если ты встанешь... поперек моей дороги... Я тебя сотру! Понял, Вохминцев? Понял? Ты меня знаешь!

Сергей видел, как почти беззвучно шевелились тонкие губы Уварова, крупная рука нервно соскользнула со стола, потянулась к заднему карману. «Что ж, у него может быть оружие... он мог не сдать оружия», — мелькнуло у Сергея, и, от возникшей этой мысли почувствовав острую злость, он сказал тихо, презрительно:

— Для этого... ты трус. — И добавил еще тише: — Встань!

— Что-о?

— Встань!

Уваров поднялся, и в то же мгновение Сергей резко и коротко, снизу вверх, ударил его по лицу, вкладывая всю силу в удар, ощутив на руке мясистое и скользкое, тотчас увидел отшатнувшееся мелово-бледное, с запрыгавшим подбородком лицо Уварова. С треском отлетел из-под его большого тела стул к соседнему столику, от толчка со звоном опрокинулись рюмки на столе. Уваров, охнув, хватая руками воздух, упал на ковер в проходе, ошеломленно провел ладонью по носу, глянул на нее бессмысленным, пустым взглядом и, переводя глаза на Сергея, издав горлом захлебнувшийся звук, прохрипел рыдающе:

— Держите его... Держите его...

Сергей стоял возле столика не двигаясь. Он стоял, как в пустоте, видя в этой туманной пустоте круглые глаза Уварова, ожидая, когда он встанет. Уваров не вставал. Размазывая кровь по полным щекам, он лежал на боку на ковре, покачиваясь, повторяя задыхающимся силным криком:

— Он меня изуродовал... Держите его!.. Он меня изуродовал! Держите его!..

— Подлец и сволочь! — отчетливо проговорил Сергей, повернулся и спокойными, очень спокойными шагами пошел к своему столику.

Он смутно различал чернеющую толпу перед собой, какое-то движение, крики, возмущенные взгляды, обращенные на него. Кто-то с багрово-красным лбом крепко схватил за руку, старательно повис возле плеча, сопя в ухо. Сергей вырвал руку, взглянул в пьяные зрачки этого негодующего багрового человека, сказал: «Не лезьте не в свое дело, разберется милиция», — и тотчас услышал за спиной женский плач, оглянулся: полная белокурая девушка с перекошенными сдерживаемым плачем губами наклонилась над Уваровым, что-то спрашивала его, трясущимися руками платочком вытирала ему щеки. И с неприятным ощущением увидел он рядом с ней ту девушку, с которой только что танцевал он. Уваров медленно поднялся. В эту минуту кто-то схватил Сергея за плечо, он различил голос Константина. Протиснувшись сквозь толпу, он, часто

дыша, стоял перед ним; в лице его, в блестящем взгляде — волнение, готовое мгновенно обернуться помощью.

— Что случилось? Ты кого или кто тебя?

— Ничего,— сказал Сергей,— пошли.

— Хулиган! — крикнул кто-то в спину ему.— Орденюв полна грудь, а хулиганит! Безобразия! Позовите милицию! Убил человека... Здесь не фронт — кулаками махать! Фронтювиков позорить!

Он увидел багрово-коньячное лицо того человека, что только что цепко схватил его за руку; багровый кричал с одышкой, бровки гневно взлетали — он забежал вперед Сергея, оглядывался на людей, жаждал деятельности, возмущения, наказания. Сергей со злостью оглядел его рыхлую фигуру — от новеньких тупых полуботинок до фальшивой рубиновой немецкой булавки в немецком галстуке,— молча оттолкнул его.

Они сели за свой столик. Сергей был бледен, внешне спокоен, горячие струйки пота скатывались из-под мышек, он подтянул галстук и, чтобы не вздрагивали пальцы, беря папиросу из коробки, крепко сжал ее. Константин, как бы все поняв, чиркнул спичкой, поднося ее Сергею, проговорил успокаивающе:

— Потом все расскажешь. Вытри пот с висков. Полное спокойствие. Придется дело иметь с милицией.

— Я этого и хочу,— сказал Сергей.

Он медленно выпил бокал ледяной фруктовой и отчетливо представил лежащего на ковре Уварова, искривленные плачем губы полной некрасивой девушки — вспомнил и слегка поморщился. «Кто она ему — сестра, жена?» — подумал он без жалости к Уварову, с болезненной жалостью к ней, к ее некрасивому, искаженному болью лицу. «Что это я? — спросил себя Сергей.— Нервы размотались? Я готов пойти ее успокаивать, просить извинения?» И, помедлив, ответил сам себе: «Нет. Это мужское дело. Она ничего не знает».

— Закажи еще фруктовой,— сказал Сергей.

Зал гудел голосами, возникло какое-то движение в проходе сбоку и возле вестибюля; оркестр молчал, музыканты, переговариваясь, с любопытством поглядывали на столик Сергея; донесся чей-то крутой голос:

— Куда смотрит милиция?

«Почему люди осуждают по внешним признакам? — подумал Сергей.— Конечно, не он, а я ударил его... Значит, ясно: виноват я... Видели кровь на его лице, его беспомощность, слышали его крик. Люди иногда судят просто: ударил человека — ты подлец, а не он; есть внешний факт, этого достаточно...»

— Почему вы его ударили, вы можете это объяснить? Что случилось? Вы, кажется, фронтювик? И тот человек тоже фронтювик, судя по наградам!

Подошли двое к столику — молодой сухощавый подполковник, рядом майор лет сорока, квадратный в плечах, рыжеватые брови мрачно насплелены.

— Вы можете объяснить? — повторил подполковник.

— Нет. Это не объяснишь так просто. Если вы встречали на фронте подлецов, все станет ясным.

— Но драться в общественном месте...— строевым басом пророкотал майор, гневно разводя руками; белый подворотничок врезался в толстую шею.— Нашли бы другие меры...

— Побить морду — не самое страшное,— вежливо заметил Константин.

— Другая мера — суд,— вполголоса сказал Сергей; сказав это, на какое-то мгновение подумал, что страстно хотел бы этого суда, где мог



сказать то, что знал. И добавил, подняв глаза: — Собственно говоря, разговора произойти у нас не может. Смешно объяснять здесь причины.

— Леший ногу сломит! — произнес подполковник, морща лоб. — Идите в вестибюль, здесь неудобно. Как я понял, вызвали милицию. Идемте, кажется, вы не пьяны?

— Думаю, нет. Пошли. Так будет удобнее.

Он поднялся, привычно — как китель — одернул пиджак.

В холодноватом вестибюле с натасканным снегом на коврах на диване под тусклой пальмой сидел Уваров — лицо умыто, бледно, чистым батистовым платком зажимал нос, веки полузакрыты, как у больной птицы. Некрасивая белокурая девушка — глаза красные, запухшие — что-то быстро объясняла всхлипывающим голосом низкорослому капитану милиции, стоявшему посреди вестибюля с хмурым, нахлестанным метелью лицом. Шинель была густо завьюжена, на плечах — пласт сухого снега. От него несло стужей улицы. Здесь же стоял с солидно удрученным видом седой метрдотель, возле него в распахнутом пальто, в сбитой на ухо каракулевой шапке суетился багровый человек, возбужденно и сипло выкрикивал:

— Это что же, а? Изуродовали человека!

Сергей, увидев столпившихся возле Уварова людей, капитана милиции, хмуро расстегивающего забитую колючим снегом сумку, шагнул к нему, сказал негромко:

— Вот документы. — Вынул и протянул офицерское удостоверение. — Это я ударил.

Капитан милиции мрачно пошевелил мокрыми бровями, взял удостоверение, молча полистал, недобро взглянул в лицо Сергея, перевел вопрошительный взгляд на Уварова, протянул руку ладонью вверх.

— Ваши документы, гражданин.

Уваров поднялся, придерживая одной рукой скомканный платок на носу, другой достал из кармана кителя удостоверение. Капитан развернул его, посмотрел неторопливо.

— Понятно. Студент...

— Слушайте, капитан, — глухо сказал Уваров. — Произошло недоразумение. Я не вызывал милицию. Мы фронтовые друзья. Повздорились, и только. — Помолчал и договорил спокойно: — Это недоразумение.

В вестибюле студено дуло от дверей, широкие стекла окон искрились от уличного фонаря. Метрдотель покосился в сторону багрового человека, тот, озираясь, заговорил с одышкой:

— Без-образие, фронтовиков поз-зорите!..

— Я вас дружески предупреждаю: лечиться надо от глупости, у вас серьезный недуг, — ровно и ласково отозвался Константин.

— Разойдитесь, граждане, по своим местам! — произнес капитан, натягивая шерстяные перчатки.

Сергей смотрел на Уварова; Уваров как бы не замечал его, не повернул головы — сел на диван, со злой брезгливостью следил за легким покачиванием на холодном сквозняке жестких пальмовых листьев. Нервный румянец медленно заливал молочно-белые щеки Уварова. «Кто он сейчас — студент? Он — студент?» — с недоверием подумал Сергей и еще подумал: ничто между ними не кончено, не может быть кончено. Сергей сказал, обращаясь к капитану:

— Я могу быть свободным?

— Н-да, — неохотно махнул перчаткой капитан милиции. — Однако адресок обоих возьму. Мы вызовем обоих.

— Пожалуйста. Я могу хоть сейчас...

— Нет, особо, гражданин, особо.

## Глава пятая

— Кто этот хмырь?

— Капитан Уваров. Я тебе о нем рассказывал. Командовал батареями в Карпатах. Не думал встретить его здесь. Испортил весь вечер. Ну, где твои левые машины?

— Метель, наверно, разогнала. Все «эмки» на вокзалах, ждут ночных поездов. А ты все же молодец, Сережка.

— Поди к черту! Идиотство все это!

Они стояли возле подъезда ресторана, возле высоких, ярко освещенных окон, проступавших среди темной улицы Горького. Около фонарей тротуары плотно завалило снегом, снежный дым несло вдоль огруженных в ночи домов. Сергей поднял воротник, сунул руки в карманы шинели. Сказал:

— Пойдем к Охотному ряду. Метро до часу.

— Глупо, но истина.— Константин затоптался, щурясь от снега, летящего в лицо.— Мне, Сережка, мешают деньги. Две тысячи. Их хочется вышвырнуть, иначе сожгут карман. К тому же я ничего не сказал Зоечке. Танцевал, раскидывал сети... Предлагаю: втроем завалиться куда-нибудь...

— Езжайте куда хотите! — сказал Сергей раздраженно.— Мне осталось пятнадцать минут — закроют метро.

— А может?..

-- Ничего не может. Пока!

— Физкультпривет! До завтра!

Константин стяхнул кожаной перчаткой белые пласты с груди; оставляя следы на снегу, быстро зашагал к подъезду ресторана. Завизжала промерзшая дверь, со стеклянным звуком захлопнулась.

Сергей шел вниз по улице Горького, чувствуя упругие толчки метели в спину; справа, смутно темнея, медленно проплыло здание Центрального телеграфа. Улица спускалась к Манежной площади, и впереди в мелькании, в движении снега весело засветились электрические часы на углу — без десяти час. Под часами бесшумно прошел пустой, с оранжевыми окнами троллейбус.

Были прожиты сутки и пятьдесят минут новых суток. В этот день он не чувствовал одиночества. Он почувствовал его лишь тогда, когда встретился с Уваровым, — люди, о которых помнил он и которых не было в живых, были, казалось, ближе, дороже, роднее ему, чем отец и сестра...

Да, вот он дома: зима, снег, фонари, тихие замоскворецкие переулки. свободные утра, горячая голландка, улица Горького, довоенный телеграф, метро — ночное, с заваленными снегом ступенями. Он все время ждал прежней мальчишеской легкости, теплых июльских дней, всплеска весел и фонариков на Москве-реке в сумерках, спорящего голоса Витьки Мукомолова, его белой майки, обтягивающей сильные плечи. И Надю в летнем платье, с загорелыми коленками. Это было. Витька Мукомолов погиб в ополчении. И Нади нет. Погибли почти все, кого он знал в девятом и десятом классах. Жизнь сделала крутой поворот, как машина, а на крутом повороте многие, почти все, вылетели из машины, а он остался один. Только он и Константин...

Сунув руки в карманы, Сергей шел по улице, порывы метели пронизывающим холодом хлестали по груди, по лицу.

Потом близко увидел желто освещенный изнутри вход в метро на той стороне.

Он перешел улицу, услышал впереди женский смех и поднял голову. Около ступеней метро, под широкими окнами, двое мужчин с веселым

оживлением придерживали за локти тонкую высокую девушку; она, смеясь, прокатилась по зеркально-черной, продутой ветром ледяной дорожке на тротуаре. Повернулась, слегка задыхаясь; они стали прощаться. Девушка в мужской меховой шапке, размахивая планшеткой на ремешке, взбежала по ступеням, обернулась, кивнула этим двум, стоявшим на тротуаре, исчезла в вестибюле метро. Морозный пар вылетел из махнувших дверей.

Сергей отогнул жесткий от снега воротник шинели, вошел в электрический свет пустынного вестибюля, машинально взглянул на ручные часы — без пяти час. Вчера он вернулся в три часа ночи. На какую-то долю минуты он увидел себя как бы со стороны — человека, ведущего странную жизнь, редко бывающего дома, — и с мгновенной жалостью к Асе, к отцу распахнул дверцу в крайнюю автоматную будку с потом на стеклах, поискал гривенник в кармане.

— Досада какая... Разъединили. У вас не будет десяти копеек? — услышал он звучный голос и взглянул, проталкивая гривенник в гнездо, — девушка в мужской меховой шапке, в сером пальто с поясом, выставив одну ногу в белом ботике из соседней будочки, рассматривала на кожаной перчатке мелочь, строго хмурилась. Планшетка свешивалась через плечо.

Он рывком повесил трубку, монета звонко ударилась в коробке врата. Он вышел из будки, сказал полусерьезно:

— Пожалуйста. Рад, что могу вам помочь.

— Спасибо.

Она задержала на его лице взгляд, и он узнал ее. Но не было уже той странной близости, рожденной ее послушными движениями, сильным пожатием руки при поворотах, когда они танцевали. Они уже были чужими, не знающими друг друга людьми, разделенными этим вестибюлем, автоматными будочками и намерениями, с которыми они подошли к телефонам. «Кому она звонила? — подумал он.— Кто были те двое, что были с ней? И, кажется, Уваров сел около них за соседний столик?.. Но, может быть, это показалось?»

Она взяла гривенник, опять посмотрела на Сергея.

— Я вас не ограбила?

— Звоните, я найду еще гривенник, — сухо сказал Сергей и шагнул в будку.

Она вошла в свою, не закрыв плотно дверь, оставив щелочку, как бы не стесняясь Сергея, — он видел меховую шапку, влажную от растаявшего снега, по-мальчишески сдвинутую со лба, край глаза, пар дыхания. Она набрала номер быстро, привычно, послушала и, задумчиво водя пальцем в перчатке по стеклу, повесила трубку. Он заметил это.

— Вам нужен еще гривенник?

— Нет. Никто не подходит.

В его трубке были длинные гудки. Он захлопнул дверцу, сказал:

— У меня тоже. Нам, кажется, не везет сегодня обоим.

Не ответив, вышла одновременно с ним, застегивая расстегнувшуюся планшетку, никак не могла справиться с кнопками, подняв одну колено.

— Разрешите, я помогу? — предложил он.— Я четыре года носил эту штуку.

И преувеличенно развязно взял планшетку, новенькую, гладкую — такие новые, неисцарапанные, не потертые в узких траншеях, никогда не носил он. Легко застегнул кнопки. Застегивая, услышал в пустом вестибюле сухие щелчки в тишине и выпрямился — она беспокойно и протестующе глядела на него. Он усмехнулся:

— Вы что, боитесь меня?

— Нисколько. Но зачем это? Я сама сумею щелкнуть кнопками. Спасибо.

— Пожалуйста.

Он надел перчатки, небрежно козырнул, пошел по гулкому безлюдному вестибюлю к лестнице, ведущей вниз, в теплоту огней подземного коридора метро. И тотчас остановился на повороте, задержанный простуженным голосом:

— Гражданин, придется вернуться, последний поезд отошел!

Навстречу, покашливая, шел в валенках с галошами милиционер, рядом усталая курносенькая девушка в форме.

— Черт! — сказал Сергей.

— Без всяких чертей, товарищ, — кашлянув, сурово произнес милиционер. — Ничего не поделаешь. По рельсам домой не потопаете. Вертитесь. Закрываем метро.

— Черт! — повторил Сергей.

Он стал подыматься по лестнице назад, увидел бегущие навстречу по ступеням белые боты, полы серого пальто, сказал с досадой:

— Возвращайтесь назад. Могу вас обрадовать. Метро закрыто.

— Как закрыто?

— Закрыто, закрыто! — на весь вестибюль начальственно крикнула усталая девушка в форме. — Освобождайте, граждане! Не задерживайте, я закрываю.

Снег закрутился на тротуаре, ожег кипящим холодом, когда они вышли из метро. Ветер ударил в спину, подхватил, замотал планшетку девушки. Она, щурясь на Манежную площадь, придерживала полы пальто у сдвинутых колен, проговорила с тоской:

— Хоть бы одна машина!..

Он увидел ее белое лицо, покрасневший нос, зажмуренные глаза от ударов снега, и лицо ее показалось ему тусклым и жалким.

— Вы далеко живете? — отрывисто спросил Сергей и, не услышав ответа, переспросил, сердясь: — Я спрашиваю: далеко живете?

— Вам-то что? — Она из-за воротника покосилась на него. — Вам-то что?

— Бросьте! — проговорил Сергей почти грубо. — Замерзнете ведь к черту в своих ботиках, в этих перчатках. Где вы живете? Не бойтесь! Я с женщинами не дерусь.

Она молчала, сжав губы. Он сказал по-прежнему грубовато:

— Ну? Вы думаете, провожать вас мне доставляет колоссальное удовольствие?

— Ерунда! Глупости! — Стоя к нему боком, она засмеялась и вдруг повернулась к нему. — Ну, положим, я живу на Ордынке. Это что-нибудь говорит?

— Это говорит: полчаса ходьбы. Вам повезло. Нам почти по дороге. Идемте!

— Спасибо! — Она с короткой улыбкой наклонилась, поправила застежку бота, выпрямилась, сказала: — Ну что ж...

— Тогда пошли!

Когда миновали Исторический музей, чернеющий мрачной громадой, и когда возник угрюмо чернеющий храм Василия Блаженного на краю Красной площади, по которой катились волны метели, оба замедлили шаги — ветер здесь, на открытом пространстве, выжимал из глаз слезы. Высоко, в стремительных токах сухого снега, гремели, дергаясь на ветру, мерзлые ветви деревьев. Шагали толчками. Полы ее пальто, план-

шетка хлестали Сергея по затвердевшей шинели, и прикосновения эти не сближали, а отталкивали их.

— Идемте быстрее! — поторопил он.

Оттого, что он говорил с ней дерзко, как с мужчиной, оттого, что она, сопротивляясь, пошла с ним, он почувствовал как бы грубое превосходство над ней, и вместе с тем возникала неловкость.

— Не торопите меня, пожалуйста! — глухим голосом проговорила она в воротник, остановилась, снова поправила бот с раздражением.— Я не хочу бежать, это мое дело! Мне не холодно, а жарко!

Он не ответил.

На мосту жгучим пронзительным паром окатило их, несло запахом ледяной стужи — стало невозможно дышать. Они ускорили шаги, видя через накаленные ветром перила черную воду незамерзших закраин у берегов. Но когда, минуя поток стужи на мосту, вышли по сугробам на угол Ордынки, Сергей почувствовал, увидел, что она споткнулась, и, повернувшись, произвольно взял ее за локоть, покрытый снегом.

— Ну, что?

— Ничего, — ответила она.

И, задыхаясь, сняла его руку с локтя. Спросила:

— Просто интересно — сколько сейчас градусов мороза?

— Двадцать пять по крайней мере.

Метель с гулом ударила по крыше дома, загремело железо, в снежном воздухе пронеслось гудение проводов.

— Придется подождать. На правой ноге жмет туфля. — Она пошевелила ногой в ботике. — Онемела нога. Это просто смешно, — сказала она, стараясь улыбаться. — Бывают в жизни глупые вещи. Можно не обморозиться в Сибири и обморозиться в Москве. Что вы смотрите?..

— Я не вижу ничего смешного, — ответил Сергей. — Заходите в какой-нибудь подъезд. И ототрите ногу. Иначе вам долго не придется носить туфельки. Идите сюда! — приказал он, морщась. — Слышите? Идите сюда!

И подошел к первому подъезду, рванул заваленную сугробами дверь. Дверь, завизжав, поддалась, и, держась за ручку, он оглянулся. Она, хромая, напряженно улыбаясь, подошла. Он пропустил ее вперед, с силой, крепко закрыл дверь и, очутившись в настуженной темноте, откинув жестяную от мороза полу шинели, стал шарить спички.

— Ищите место, садитесь, — снова приказал он, зажигая спичку за мерзшими пальцами.

Она посмотрела на него настороженно, дунула на огонек, сказала:

— И так видно. — И опустилась на ступени перед ним.

Подъезд был темен, грязен, с сизо искрящимися от инея стенами, пахнувший подвалом и кошками. Обшарпанная лестница уходила наверх, в черноту этажей.

Сергей, отвернувшись, нетерпеливо ждал. Он слышал, как она шелкнула застежкой бота, стукнула о лестницу туфлей, стала что-то делать, и тотчас как бы увидел, как, неловко сидя на ступенях, она озябшими руками осторожно растирает пальцы на онемевшей ноге, держа ее на весу, — и с мгновенной жалостью к ней он повернулся.

— Кладите ногу ко мне на колено! — сказал он тихо. — Давайте я разотру. Мне приходилось это делать.

— Я закричу, — сказала она неуверенно. — Слышите, закричу!

— Кричите, — ответил он охотно. — Сколько хотите.

И сел рядом на ступеньку, откинул полу шинели, положил ее ногу на колено — ладонями почувствовал тонкий шелковый чулок, скользкий

и ледяной от холода, твердую и крепкую икру. Он молча, сильными движениями начал растирать ей ступню, ощущая настороженный взгляд на своем лице.

— Ну как, лучше? — выговорил Сергей.

— Мне... неудобно сидеть, — прошептала она.

— Потерпите, — сказал он. — Нужно!

— Порвете чулок, — выдохнула она жалобно.

И замолчала. И он спросил, задохнувшись:

— Что ж вы не кричите?

— Мне больно... хватит, — прошептала она.

Было какое-то движение: искала рукой бот или туфлю, резко наклонилась к Сергею — он внезапно ощутил своей щекой холодную мокроту меха воротника, смешанную с теплотой дыхания, почувствовал на плече тяжесть ее опершейся руки и, чувствуя этот сырой, пахнущий мех, видя ее мокрое лицо, порывисто и неуклюже поцеловал ее в дышащий теплом рот.

Она, тряхнув головой, откинулась с удивленным смехом.

— Ого! Салют! Вы это что — в армии так?

— Именно... — пробормотал Сергей растерянно и рывком поднялся, плохо видя от внезапного волнения в сумеречном воздухе чужого подъезда ее поднятое лицо. И от неловкости этой, злясь на себя, стоял, застегивая шинель, будто был окутан жаркой пеленой. Потом услышал: в темноте скрипнула застежка бота, донесся неуверенный голос: «Я готова». Она быстро шагнула мимо, задев его полый пальто, снова его коснулся запах сырого меха.

— Как вас звать? — негромко и с неловкостью спросил Сергей. — Я с вами почти целый вечер... и не знаю.

Прислонясь к перилам, она глядела ему в лицо.

— Вы всегда так знакомитесь?

Он с силой толкнул дверь парадного.

Преодолевая порывы метели, шли по сугробам. Она шагала, наклоняясь, смотрела под ноги, дыша в мех воротника, и Сергей спрашивал себя: «Зачем? Что это я?»

На углу внезапно остановился, с хмурым видом закурил, прикрыв ладонями огонек спички, покосился на нее.

Она молча подняла голову, зажмурилась, на лице тенями мелькало движение снега. Вверху, окутанный метелью, горел фонарь. Она спросила:

— Что вы остановились?

— Далеко ваш дом? — спросил Сергей.

— Можете злиться, но не надо курить на морозе, — сказала она, решительно взяла из его пальцев папиросу, бросила в снег, затоптала каблуком. — Во-вторых, меня зовут Нина. Надо было раньше спросить. Ну ладно! — Она засмеялась и внезапно своей легонькой перчаткой стряхнула снег с его шапки, с плеч.

— Посмотрели бы на себя — вы весь в снегу, как индюк в муке! Называется — допровожились! Идемте ко мне, погреетесь. Я отряхну вас веником. Так и быть.

Он только кивнул.

Вошли во двор — темный, заваленный сугробами.

— Вот здесь, — сказала Нина, взглядом показав на чернеющие окна над крышами сараев.

Сергей опять не ответил. Снег таял в его рукавах, вызывая озноб.

Она открыла забухшую от мороза, обитую войлоком дверь. Оба шагнули в темноту коридора.

## Глава шестая

Сергей проснулся от странного безмолвия в незнакомой комнате, сразу не мог понять: где он?

Он долго лежал, не шевелясь, с тревожным, замирающим ощущением.

Стекла окон янтарно горели. Была тишина утра. За стеной в соседней квартире передвигали стулья. Голоса не доносились. Над головой звеняще тикал будильник. И вдруг он вспомнил отчетливо все, еще не веря в то, что было вчера.

Он помнил, как они поднялись на второй этаж, вошли в ее комнату. Метель обдувала дом, свистела в чердачных щелях, но ветер не проник сюда, в тишину, в ночной уют, в запах чистоты, покоя. И веяло теплом, домашней устроенностью; зеленым куполом в полумраке светилась настольная лампа в углу.

Потом они сидели возле открытой дверцы печи, в которой неистово кипело, трещало пламя, было паляще-жарко коленям, глазам, сидели молча, он не смотрел на Нину, а она смотрела на огонь. После того, как он вел себя с ней нарочито грубо, после того, как он вошел в эту маленькую комнату с холода, ему трудно было нащупать нить разговора с ней, преодолеть неловкость, быть прежним, таким, каким был на улице и в том подъезде; он чувствовал легкий озноб, боялся — голос будет вздрагивать.

— Кто вы? — наконец с усилием спросил он. — Военная медсестра, врач? Как вы очутились в ресторане?

— Закройте дверцу. Так лучше, — попросила она, и он закрыл ее, огненно засветились щели. — А то сгорят мои шелковые чулки. То есть как — кто я? — Она засмеялась, откинула волосы.

— Да нет, — сказал он, усмехнувшись. — Кто вы вообще?

— Ну, положим, я геолог. И вернулась с Севера. И очутилась в ресторане. Отмечали мой приезд. А вы как очутились? — Она поставила ногу на полено, взглянула на него.

— Просто так, — сдерживая голос, сказал Сергей. И повторил: — Просто так.

Она сказала неожиданно и серьезно:

— Зачем вы его ударили? Мстили за кого-то? Мне показалось...

— Не будем об этом говорить, — сказал он тихо.

— Но я хорошо знаю Таню.

— Какую Таню?

Она не ответила.

Он встал, сунул руки в карманы, с хмурым лицом прошелся по комнате, прохладной после колючего жара печи. Остановился возле окна, глядя в темное стекло, веющее холодом, и повторил:

— Сейчас не хочется говорить.

Он молча присел к печке, открыл дверцу, выбрал самое большое полено. Взвесил его на ладони, положил в огонь. Полено захрустело, горячо и быстро закипело в пламени, выделяя пузырящиеся капли сока на торце. Потом взглянул на свою шинель, висевшую рядом с ее пальто с мокрым мехом, и в этот миг отчетливо вспомнил, как он неуклюже поцеловал ее в подъезде. И после молчания негромко сказал, пытаясь шутить:

— Кажется, я выполнил свою миссию. И отогрелся.

Было тихо в комнате.

Она не ответила. Только повернулась и посмотрела как бы просящими помощи глазами, и он близко увидел виновато подрагивающие уголки ее губ.

— Нина, что ты хотела сказать? Что ты хотела сказать?..— с трудом, вполголоса заговорил он, видя эти ее виновато и робко вздрагивающие губы, и не договорил, и так порывисто и неловко обнял за плечи, целуя ее, стукнулся зубами о ее зубы.

«Кто она? Как это случилось?»

Он встал и оделся.

Прижатая ножками будильника, на тумбочке белела записка.

Кровь ударила в виски, когда прикоснулся к ней — мелкий круглый почерк был странен и незнаком, бисерные буквы летели.

«Сережа! Я ушла. Все на столе. Делай, что хочешь. До вечера. Нина».

Звонко тикал будильник. Этот звук подчеркивал пустоту квартиры.

Сергей стал ходить по комнате, в смолистом свете утра теплел воздух, становился розовым, и вещи Нины — ее серый свитер на спинке стула, ее узкие туфли под тахтой — тоже мягко теплели от зари. Это были ее вещи, которые она носила, надевала, которые прикасались к ее телу.

«Кто она? Как это случилось?»

Он посмотрел в окно.

Двор, крыши сараев были наглухо завалены розовеющим свежим снегом, на сараях четкими крестиками чернели следы ворон... И эти следы на утреннем снегу толчком тревоги отдались в горле, стиснули его.

#### Глава седьмая

Он вернулся домой в восьмом часу утра, упал на диван, будто нырнул в поглотившую его темноту.

Сквозь сон смутно услышал возмущенный шепот Аси, ворчливое бормотание отца — голоса жужжали, колыхались над ним, и в полудреме он старался вспомнить, что было вчера — неожиданное, оглушающее, счастливое,— все, что случилось с ним.

И потом, очнувшись от сна, Сергей все еще лежал с закрытыми глазами, отчетливо слыша голос Аси, и почему-то хотелось улыбнуться от ясного чувства радости.

— Папа, он сопьется — каждый день возвращается на рассвете! Уверена, ходит к каким-то гадким женщинам. Его пиджак пахнет отвратительными духами. Ты чувствуешь? Именно не одеколоном, а духами...

— Не замечаю,— ворчливо звучал голос отца.— Вообще скажи, пожалуйста, откуда это у тебя — «гадки женщины»? В твои годы странные познания! Духи... какие духи?

— У тебя нет нюха,— со слезами в голосе выговорила Ася.— Я давно говорила. Тебе что керосин, что духи — одно и то же! — И воскликнула: — Ужас какой!

Сергей вздохнул, как будто только сейчас просыпаясь, и с треском пружин повернулся от стены — снова. как вчера, весело ударило по глазам уютным солнцем морозного утра.

В комнате топилась печь, попискивали котятка в коробке, отодвинутой от багровеющего поддувала. Ася, заспанная, аккуратный передник повязан на талии, стояла посреди комнаты, зеркально-черные глаза с возмущением смотрели на пиджак Сергея, висевший на стуле.

— Ах, ты проснулся! — воскликнула она даже испуганно как-то.

Отец, в очках, с сосредоточенным выражением занятого человека ползал на четвереньках возле дверей с галошей в руке, подымал руку и шелкал этой галошей по полу, по солнечным полосам, кряхтел от усилий,



— Э, паршивцы! Пошла прочь!

Исхудавшая кошка сидя следила за движением галоши, изредка мягко протягивала лапу, лениво играя.

И Сергей, не поняв в чем дело, засмеялся, с озорной беспечностью откинул одеяло, сказал счастливо и громко:

— Что у вас тут? Клопов щелкаете? А ну, Аська, марш в другую комнату, одеваться буду!

— Он еще командует! Лучше бы молчал! — Ася, вспыхнув, выбежала, мелькнув передником, в другую комнату, хлопнула дверью.

Отец, нацелясь, хлопнул галошей, досадливо забормотал, обращаясь не к Сергею, а к кошке:

— Мураши. Откуда эти мураши зимой? Брысь, окаянная, все б тебе играть, а котята голодные. А ну — геть! Лезь к чадам. — Галошей подтолкнул кошку к коробке с котятами, потом снял очки, взглянул на Сергея близоруко. — Доброе утро, сын...

— Доброе утро... Николай Григорьевич!.. — живо ответил Сергей и запнулся с неловкостью человека, взявшего не ту интонацию.

Он часто ловил себя на этой фальшиво-фамильярной интонации в разговоре с отцом, которая не позволяла назвать его ни «отцом», ни «папой», создавала некоторую натянутость в их взаимоотношениях, заметную обоим.

Отец смущенно бросил галошу к двери, сел на стул, на спинке которого висел пиджак Сергея, повертел и сжал в пальцах очки. Густая седина светилась в волосах; и было, казалось, нечто жалкое в том, как он вертел очки, в том, что его потертая, довоенная пижама была незастегнута, открывая неширокую грудь, поросшую седым волосом.

Был он до войны статен, темноволос, ловок в движениях. поздним вечером приходил с работы, кидал портфель на диван, целовал мать — красивую, с весело-счастливыми глазами, с сережками, как две капли росы сверкавшими в ее ушах, садился за стол; рассказывая о случаях на комбинате, которым руководил он, хохотал заразительно и молодо.

Во время войны для Сергея навсегда кончилась молодость отца. И возник новый его облик, в который он не мог поверить. Из писем знакомых стало известно, что на фронте отец сошелся с какой-то женщиной — медсестрой из полевого госпиталя, и тогда Сергей с бешеной злостью написал ему, что не считает его больше своим отцом и что между ними все кончено.

Он узнал, что отец, комиссар полка, выводил два батальона из танкового окружения под Копытцами, с боями прорвался к своим, был тяжело ранен в грудь и после тылового госпиталя направлен на окончательное излечение в Москву. Отец застал Асю одну в полупустом, эвакуированном доме, мать умерла. Отец неузнаваемо постарел, обмяк и как бы опустился: лежал целыми днями на диване в своей комнате, плохо выбритый, безразличный ко всему, не ходил на перевязку, с утра до вечера читал старые письма матери, но не говорил ничего. После излечения его уволили в запас.

Он долго не работал. У Николая Григорьевича были серьезные неприятности, осенью его вызывали несколько раз в высокие инстанции — всплыло дело о потере сейфа с партийными документами полка во время прорыва из окружения, — отец жил в состоянии равнодушия и беспокойства одновременно и наконец устроился на тихую, совершенно не соответствующую его прежнему характеру работу — бухгалтером на завод с туманным названием «Днафото», объясняя все это своим нездоровьем.

Третьего дня вечером Сергей, вернувшись от Константина, вошел к себе и, раздеваясь, услышал из-за двери во вторую комнату, раздра-

женные голоса — отца и соседа по квартире Быкова. Он прислушался с удивлением.

— Никакой рекомендации я тебе не дам, никогда не дам! — говорил отец; слышны были его шаги. — Я отлично помню шестнадцатое октября. Ты сказал мне: «Конец! Погубили страну, дотанцевались!» И посоветовал порвать партийный билет, бросить в уборную! Так это было? Так! Мол, революция погибла! Так и расскажи в партбюро своей текстильной фабрики: был момент, когда не верил ни во что!

— Ты болен!.. — донесся надтреснутый голос Быкова, — ты болен тогда был, болен! В бреду все привиделось. — И Быков снизил голос. — Я твою коммунистическую совесть наизнанку знаю, как вот — пять пальцев. На фронте с бабой спутался, может из-за этого и жена твоя умерла, а? По себе о людях судишь!

— Вон отсюда... вон! — еле слышно выговорил отец.

Дверь распахнулась. Быков толкнул ее плотной, обтянутой кителем спиной, вышел, пятась, щеки розовые, глаза неподвижно остекленели, остановившись на сжатых кулаках отца, наступавшего из комнаты.

— Ты... ты убил свою жену, вот где твоя совесть старого коммуниста, во-от! — проговорил Быков и тотчас, перекатив глаза на Сергея, возвысил голос, помахав перед отцом пальцем. — Во-от каков твой отец, коммунист, во-от, смотри на него!..

— Вы что, с ума сошли? — спросил Сергей, видя болезненное лицо отца и багровое лицо Быкова, с угрозой махающего пальцем в воздухе.

Сергей двинулся к Быкову, едва сдерживая себя, взял его за ворот, коснувшись потной шеи, и, тряхнув так, что затрещал китель, вывел его, грузного, полного, в коридор, к вешалке, спросил отчетливо:

— Вы что, с ума сошли? Еще одно слово, и я вас вытряхну из кителя. Поняли?

— Пусти! Рукам воли не давай! — удушливо выкрикнул Быков и, одергивая китель, оглядываясь зло, засеменял новыми обшитыми красной кожей бурками по коридору к своей двери.

— Ты все слышал? — спросил потом отец, осторожно потирая левую сторону груди. — Все?

— Нет. Но я понял.

После Николай Григорьевич, казалось, все время с неловкостью и неудобством помнил эту сцену. Но сейчас, в это морозное солнечное утро, сидя возле весело одевавшегося Сергея, поглаживая дужки очков, спросил тоже весело:

— Как дела, сын? Настроение как?

— Настроение великолепное. Перспективы — шоферские. Умею водить «виллис», «студебеккер», «бээмвэ», — ответил Сергей. — Вчера слышал по радио — набирают на курсы шоферов: Шаболовка, пятнадцать. И говорил об этом с Костей, он старый шофер. Подучусь, буду водить легковую или грузовую, все равно. Аська, входи, я уже в штанах! — крикнул он, перекидывая мохнатое полотенце через плечо.

— Это, конечно, перл остроумия! — отозвалась из-за двери Ася. — Просто все падают от смеха! Ха-ха!

Ася вошла, худенькая фигурка очерчена солнцем, взгляд немигающий, ядовитый.

— Ты прожигаешь жизнь! Поздравляю! Ты возвращаешься в светском обществе! Поздравляю! Твой новый костюм пахнет отвратительными духами. На нем был женский волос — отвратительный, золотистого цвета. Покрашенный, конечно.

— Не думаю, — засмеялся Сергей. — Что касается волоса, то это наверхья Костькины. Вчера он щеголял по Москве без шапки. Был ветер, волосы летели с него, как с одуванчика. Он страшно лысеет.

Ася презрительно тряхнула головой.

— С каких пор Константин стал золотистый? Оставь, пожалуйста! Я не дальтоник. Не морочь мне голову. Все очень остроумно. Были пострадавшие от смеха.

— Мороз. Потрясающе действует мороз.

Он звучно поцеловал ее в щеку, Ася отстранилась, произнесла:

— Я не люблю эти неестественные нежности. Обращай их, пожалуйста, к... своему пиджаку.

— Ася, при чем здесь пиджак? — сказал Николай Григорьевич. — Что это такое? Хватит, пожалуйста!

— Ничего не хватит, папа! — перебила Ася, блестя глазами. — Он нас не видит и не хочет видеть. Он, видите ли, скучает!..

— Аська, только не молоти чертовщину! — сказал Сергей. — Не хочу ссориться, честное слово. Когда двое ссорятся по мелочам, оба виноваты. Я хочу быть правым.

Николай Григорьевич неуверенно, в раздумье потер колено.

— Значит, в шоферскую школу? Н-да. Ничего советовать не могу, ты взрослый человек. Только одно: у тебя десять классов, капитан артиллерии. Доволен будешь? В институт не тнешь?

— Все забыл, что учил в школе. Таблица Менделеева, бином Ньютона — тень в безумном сне. Не хочется начинать все сначала, с детских штанишек. Не усужу за партой.

— Зато усидишь в грузчиках, — сказала Ася. — Это ужасно находчиво и современно!

— Когда меня оскорбляют родные сестры, я ухожу в ванную.

Сергей засмеялся, взял Асю за талию, приподнял, опустил на пол, вышел в коридор.

Ванная была занята, ровный плеск воды, кашель, кряхтенье, доносились оттуда. Сергей, не задумываясь, постучал, узнав по сопению и вздохам Быкова.

— Здесь очередь, уважаемый товарищ!

Из кухни, освещенной солнцем сквозь замерзшее окно, пахнуло теплом — духом соленой поджаренной рыбы, картошки и жирным ароматом тушенки, кофе — запахами недавних квартирных завтраков. Возле плиты с обычным запозданием (вставали поздно) шумно и бестолково возились со сковородкой соседи по квартире: художник Федор Феодосьевич Мукомолов, высокий человек с бородкой клинышком, и его жена — художница Эльга Борисовна, женщина худенькая, спокойная, поблекшая, с полуседыми волосами. Мукомолов, выставив бородку с торчащей из нее погасшей папиросой, держал за ручку шипящую сковородку, Эльга Борисовна сыпала из пакета яичный порошок в баночку, говорила усталым голосом:

— Ты ничего не понимаешь, Федя, ты на редкость бестолков в этих делах. Надо сначала маргарин. Все сгорит. Отпусти, пожалуйста, сковородку. И вынь папиросу. Ты сыпешь пепел в разные стороны.

— Не может быть! — Мукомолов затряс бородкой над сковородой. — Надо искать, Эльенька, искать. Вода заменит маргарин. Я утверждаю. Маргарин — это каноны. Надо ломать каноны. Совершенно верно.

Он постоянно придумывал новшества в кулинарном искусстве, удивляя и убеждая всю квартиру: мясо надо жарить на воде, можно жарить и варить маринованную селедку, поджаривать овес и грызть его, как семечки, — великолепное средство от гипертонии, укрепляет физические силы, удлиняет жизнь.

С вечной папиросой в зубах, он при встречах старомодно снимал шляпу, раскланивался, зимой и летом носил демисезонное пальто, никогда не болел, по утрам гремел в своей комнате гантелями и гириями. Порою,

идя в ванную или уборную, появлялся в коридоре в галошах на босу ногу и в трусах, вслед неся оклик Эльги Борисовны:

— Федя, Федя, ты меня удивляешь! Вернись! Оденься приличнее!

Считали его безвредным человеком, с чудинкой, что и должно быть у художника, живущего в своем мире. Отец Мукомолов ничем не был похож на сына Мукомолова, Виктора, довоенного друга Сергея.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — с радостью произнес Мукомолов, не выпуская из левой руки держак дымящей сковородки и выкидывая Сергею правую ладонь, будто даря ее. — Гимнастику делали? Нет? Плюньте на ванную. М-м... Петр Иванович Быков подолгу, знаете... Слабость. Идемте ко мне. Нет, нет, идемте ко мне! У меня гири, гантели. Эля, держи сковородку. Я убегаю. Прошу вас, Сергей Николаевич.

Он выпустил сковородку, подхватил Сергея под руку, потащил по коридору к своей двери, провожаемый упрекающими глазами Эльги Борисовны.

Комната Мукомолова, большая, очень светлая от снега и солнца, с кучей дров около голландки, была увешана и заставлена картинами: портрет беловолосой девочки с наивной улыбкой полумесяцем; крымские пейзажи с морем, летнее росистое утро на лугу; глубинный мрак чаши с редкими пятнами на листьях; застывшая осенняя вода с туманцем в ожидании дождя. Сергей скользнул взглядом по стенам с недоверчивым любопытством — вдруг повеяло жарой, палящим солнцем от белых стен крымских домиков, до оскутлости запаха понесло прохладой из мрачной чаши, от осенней воды, — спросил с удивлением:

— Это все ваше?

— Вот великолепные гири, вы только обратите внимание, разного достоинства — от килограмма до пуда, вот вам! — торопливо говорил Мукомолов, сбрасывая со стула измазанные красками потрепанные штаны и показывая стоявшие на стуле гири. — Берите и занимайтесь. Я — каждое утро и даже вечером. — И, смеясь глазами, погладил бородку. — Видите ли, чтобы сделать что-нибудь полезное на этом свете, надо колоссальное здоровье иметь. Особенно в искусстве. Титаническое здоровье Льва Толстого. Несокрушимое здоровье.

— Это все ваше? — вновь спросил Сергей, глядя на картины, и улыбнулся. — Кажется, я все это видел. Через такой луг шли под Лисками. Здесь нас бомбили. В этом урочище под Боромлей... Орудия стояли на опушке.

— Вы ошибаетесь, это... это не Лиски и не... как это, Боромля, — оживляясь, ища по карманам спички, заговорил Мукомолов. — Но это так, так... ассоциации. Так, так... Вы правы. Садитесь, садитесь.

Торопясь, зажег спичку, прикурнул, помахал спичкой, гася бросил на пол, будто стряхнул что-то, обжегшее пальцы. В волнении стал искать свободный стул — свободных не было: два возле мольбертов неряшливо завалены тюбиками красок, кусками пестро заляпанного картона, заставлены чашечками с мутной водой. Мукомолов фыркнул в бородку дымом, произнес виновато-весело:

— Простите, все стулья сожгли в войну. Сухие венские стулья отлично разжигали печь. Пустяки. Минуточку, минуточку. Вот сюда. Вот сюда, сюда зайдите. Как это вам? А?

Взяв за локоть Сергея, завел его за мольберт, спиной к окнам, склонил голову набок, словно прицеливаясь.

На мольберте на холсте — заваленный сугробами московский двор без забора, часть улицы с белой мостовой: солдат с вешмешком растерянно стоит у двух столбов, где прежде были ворота, в нерешитель-

ности ищет глазами номер дома, мальчишка с санками, задрал голову, впился в молодое лицо солдата, рот приоткрыт.

Мукомолов сжал локоть Сергея, помолчал и тотчас перехватил его внимание на мальчишке, замахал папиросой, рассыпая пепел.

— Нет, нет, мальчишка не его сын! Нет, нет! Это еще до конца не выражено. Нет.

Он снова схватил толстую папиросу из коробки на стуле, стал зажигать, потом заходил по комнате чуть прыгающей, возбужденной походкой, словно думая вслух.

— Мне один критик говорит: у вас серая гамма! Нет света оптимизма. Вы понимаете? Но чувства, чувства, человеческие эмоции. «Серая гамма!» Все люди делятся на две половины: больных и здоровых. Для одних — диета, для других — нет. Так вот этот критик относится к тем, кто кушает только белый хлеб. Черный — несъедобен для него: боится, расстроится желудок! Он бы уничтожил Левитана, растряс бы Саврасова в ключья!

Мукомолов трескуче закашлялся, взглянул на Сергея, слушавшего и не совсем его понимавшего, снова взял за локоть, лицо подобрело неожиданно, заулыбалось ясно; мелкие морщинки звездочками собрались на висках.

— Простите, Сергей Николаевич, меня ужасно кусают эти критики.— И тотчас спросил поспешно: — А гири? Возьмите себе пудовую. Прекрасно по утрам. Вы молоды, но молодость проходит — не успеешь по сторонам посмотреть. А как нужно здоровье! — И, покосившись с грустным выражением на мольберт, добавил опять: — Ах, как нужно здоровье! Хотя бы, чтоб доказать, что ты недаром жил, недаром!

Раздался громкий стук из коридора. Дверь приоткрылась, в щель втиснулся Быков, весь распаренный, младенчески-розовый после ванны, пророкотал жирным баритоном:

— Ванна свободна. Эльга Борисовна сказала: тут вы. Пожалуйста.— И улыбнулся одной щекой Мукомолову.— Молодость, Федор Феодосеевич. Не терпится. Очередь, говорит, собралась...

— Входите, входите, Петр Иванович,— пригласил Мукомолов, кивая бородкой.— Что вы в дверях?

— А, показываете новенькое что?

Быков солидно и уверенно внес свое небольшое упитанное тело, был по-воскресному в полосатой пижаме, чисто выбритые щеки лоснились, запахло цветочным одеколоном.

— Все рисуете, все образы рисуете,— заговорил Быков, туманным, как бы распаренным после ванны взором глядя не на Мукомолова, а на Сергея, и, близко подойдя к мольберту, расставил ноги в широких штанах пижамы.— Н-да... Так...— Взглянул на Сергея.— Хм, н-да... Нравится вам, Сергей Николаевич?

Сергей промолчал — общество Быкова было неприятно ему.

— Вы отойдите, отойдите от картины, Петр Иванович.— Мукомолов смущенно потербил бородку.— Так нельзя... Когда Рембрандт показывал своего «Блудного сына», все подошли близко и ничего не увидели. Рембрандт сказал, чтобы отошли от картины — краски дурно пахнут. Все отошли и изумились. Я не прошу, разумеется, изумляться, но нужно уметь смотреть картины.

Быков с оценивающей улыбкой обежал глазами комнату, поинтересовался:

— А для кого же картины эти рисуете, Федор Феодосеевич? Для музея или для себя... так, для удовольствия? Деньги-то платят? Ну, вот этот солдат сколько стоит?

— Я не оцениваю своих картин! Я не продаю их даже в музеи, как

вы говорите! Их не покупают! Сейчас не покупают. Но я не гонюсь за деньгами, нет, нет! Я очень давно не продавал... не выставился! Но у меня около тысячи законченных акварелей, и, если каждую оценят минимум по две тысячи рублей, это два миллиона. Вот вам! Съели? — Мукомолов едко засмеялся.

— Эт ты, ого! — произнес Быков и хлопнул себя по ляжкам.— Выходит, с миллионщиком в квартире живем! Лады, лады... Разбогатеете — миллион займу.

Быков с видом понимания поглядывал на Мукомолова, на скучную обстановку комнаты, будто снисходительно сочувствуя, жалея и Мукомолова, и эту обстановку, и картины его. И Сергею стало неприятно, зло на душе.

— Вы знаете, что такое реле? — спросил он.

— Что? Какой реле? — не понял Быков.

— В машине есть реле, которое должно срабатывать.

— Хм, — произнес Быков настороженно.— Реле?

— Оно у вас не срабатывает!

Мукомолов ходил, почти бегал по комнате, дымя папиросой, наталкиваясь на разбросанный багет.

— Да, да, у меня, может быть, тысяча акварелей!

Вошла Эльга Борисовна, неся сковородку, поставила на маленький столик и, покрасневшая от жара плиты, тыльной стороной ладони отвела волосы со лба, проговорила с упреком:

— Федя! Ты всех заговорил. Ты просто удивляешь. Как не стыдно! Человек шел в ванную, ты затащил его... Человек стоит с полотенцем. Петра Ивановича тоже задержал.

— Я зайду к вам позже, — сказал Сергей и пошел к двери.

Мукомолов бросился за ним, на пороге схватил за руку, заговорил весело:

— Сергей Николаевич, мы должны с вами по утрам рубить дрова, пилить дрова в сарае. На свежем воздухе. Это лучшая гимнастика. Если вы составите мне компанию...

— Сережа, — тихо позвала Эльга Борисовна.— Зайди к нам вечером. Я прошу тебя, очень прошу.

— Да, я зайду обязательно, — ответил Сергей и тотчас увидел: Быков грузно выходил из комнаты, поднеся пальцы к губам, ухмыляясь в ладонь.— Я зайду, — повторил Сергей.

— Я никакие секреты не слушаю, — произнес Быков значительно.— Валяйте, валяйте, я ухожу.

#### Глава восьмая

Витькину комнату занимал Быков с женой. Прежде, до войны, он вселился в девятиметровую комнатку в конце коридора, затем, в сорок втором году, в «клетушку» эту, как называл ее Быков, въехал инженер-холодостяк. Работавший тогда в московском интендантстве, Быков по ордеру райисполкома занял большую светлую комнату, принадлежавшую прежде Мукомоловым. Она пустовала, Мукомоловы не входили в нее, будто пугало их пыльное безмолвие пезилья, школьные дневники на столе, книги Паустовского и Грина в шкафу, запыленные гири и гантели возле дивана. До вселения Быкова в этой комнате все оставалось так, как в тот день, когда Витька Мукомолов уходил в ополчение. Были только вынуты из ящика стола школьные дневники, и стояла на подоконнике чернильница-непроливайка в пыли, с засохшими по краям чернилами. И тишина здесь, в комнате, не стирала, не притупляла боль у Мукомоловых. Боль была тем сильнее, что никто не сообщил, не намекнул,

не рассказал, где и когда он погиб. Эльга Борисовна была уверена дикой, не соглашающейся ни с чем верой, что он погиб в плену осенью сорок второго года, что он прошел и окончил свой путь в ту ночь, физически ощутившую ее.

В ту октябрьскую ночь мокро шлепал, шумел по крышам дождь, ветер гудел, проникая в ходы голландки; в мрачно-холодной темноте комнаты было слышно, как старая липа во дворе, наваливаясь, корябалась, скребла стены дома.

Ей казалось, кто-то рядом, знакомый и незнакомый, приходил и уходил из зеленого мира, из шума деревьев, улыбался ей, смотрел в глаза, и она сквозь мучительную тяжесть полусна старалась вспомнить: чей это такой знакомый, такой родной облик, и не могла вспомнить, ощутить его. И вдруг отчетливо и как бы бестелесно выплыл из темноты внятный голос: «Мама!..» Она очнулась — дергалось судорожно горло, села на постели, пальцами вцепилась в подбородок, лихорадочно вспоминая: «Боже мой, кто это? Кто это?.. Да это Витя, Витя... Это он позвал меня...»

Она дрожала, озираясь на черные стекла.

Влажно плескал, стучал дождь, что-то шуршало в углах, дышало и ходило за стеной дома, будто шаги хлюпали в грязи, по лужам, широко и фиолетово светились окна, и она внезапно увидела среди этого света очертания человеческой головы, прильнувшей к стеклу.

— Мама!.. — слышалось ей.

— Витя?!

Вскочила с постели, упала, задев за что-то, больно ушибла ногу, босая выбежала в коридор. в пронизанный сыростью тамбур, плача распахнула дверь в темноту ночи, хлюпающую,двигающуюся, крикнула с мольбой:

— Витя!.. Витя!..

С плеском лил дождь, дверь резко и сильно ударяло о стену ветром. Никто не подходил к ней. Ей стало страшно.

— Витя, — снова шепотом позвала она, трясась от рыданий.

Федор Феодосьевич, перепуганный ее криком среди ночи, ничего не поняв, выскочил следом за ней в одном белье, с трудом увел в комнату, кашляя, тяжело дыша зажигал спички — никак не мог прикурить, — спрашивал, глядя ее по трясущимся плечам:

— Что? Что?

— Витя... Витя... Заглянул в окно. Я... слышала голос...

Мукомолов говорил растерянно:

— Что ты, Эля, что ты! Это же листья, смотри, прилипли к стеклам. Листья... Эля, успокойся. Где у нас валерьянка?.. Что с тобой?

— Это он... он, я слышала, — повторяла она. — Я видела его...

— Что ты, Эля, что ты!..

Потом, уже в постели, она проговорила тихо:

— Он погиб. — И, как бы прося пощады, уткнулась в худую волосатую грудь мужа. — Он погиб сегодня... в плену...

На фронте странно было читать Сергею в письмах Аси, что Витька Мукомолов пропал без вести. И, сопротивляясь этому, не верил, хотя мог поверить в тысячи других смертей, которые видел рядом.

С гибелью Витьки уходило что-то, отрывалось — и исчезал прежний зеленый и летний мир школы.

Вечером Сергей пришел.

Сидели, пили час с конфетами «драже», полученными по карточкам, абажур низко светился над столом, покрытым старенькой скатертью.

Мукомолов молчаливо отхлебывал чай и после каждого глотка набивал над табачной коробкой толстые гильзы, шумно сопел, двигал под столом ногами. Эльга Борисовна маленькой сухой рукой все время распрямляла уголок скатерти, взглядывая на Сергея беспомощно спрашивающими глазами, говорила виновато:

— Я помню его в последний раз... прислал нам письмо, мы совершенно не знали, где он находится. Просил сухарей, папирос. Совершенно случайно на открытке мы прочли штамп: «Бутово». Я пошла. Я пошла пешком до Красной Пахры. А там — леса... Я искала целый день. Везде солдаты... Не знаю, как меня не задержали. Он был в какой-то грязной майке и очень бледный. Как он был удивлен! «Мама, как ты меня нашла? — спросил он. — Ты ходила, искала в лесах?» Ты знаешь Витю! Я спросила: «Почему ты грязный?» Он ответил: «Учимся стрелять». — «А почему ты такой бледный?» — «Мама, ты знаешь какое время...» Он отпросился от вечерней поверки и пошел меня провожать — я торопилась в Москву. Я помню, он шел со мной слева, на голову выше меня, и грыз орехи. Я привезла ему орехи. А вечер был хороший такой, тихий... Витя смотрел куда-то, и глаза его были одинакового цвета с небом. Он уже смотрел по ту сторону мира. Он попрощался со мной, поцеловал меня в щеку, я и сейчас ощущаю... «Ничего, мама, все пройдет...» Это было последний раз, когда я его видела. На следующий день поехал Федор Феодосьевич, там уже никого не было. Валялись консервные банки, одежда, их там переделали...

Эльга Борисовна взяла чайную ложечку, переложила ее, передвинула сахарницу и по тому месту, где стояла сахарница, провела пальцами.

— Он погиб в сорок втором году, в плену. Двадцать седьмого октября.

— Эля! — Мукомолов, косясь на пальцы жены, задвигался на стуле, поднял бородку, нацелясь на синее окно. — Нам никто не сообщал, что Витя погиб в плену. По всей вероятности, из-под Бутова их направили под Ельню. Да, да, видимо, так. Там были страшные бои, самолеты ходили по головам, танки. А они, мальчишки, ополченцы — учителя, художники, профессора — с винтовками на двоих... против этих танков. Вот как было. Их окружили, несколько тысяч... Художник Севастьянов был в ополчении, бежал из плена, из Норвегии, Эля. Жив сейчас. Если Витя в плену...

— Если бы он был жив, он бы вернулся. Нет, теперь я ничему не верю. Я помню его глаза, когда он смотрел на небо.

Наклонив голову, Эльга Борисовна осторожно тронула пальцами правую бледную щеку, где будто жил нетронутый временем тот поцелуй в Бутове, виновато опустила руку на скатерть, улыбнулась Сергею влажными глазами. Сергей с хмурым вниманием помешивал ложечкой в стакане.

Он знал, что говорить сейчас о том, что пропавшие без вести возвращаются, как говорил об этом неловкими намеками Федор Феодосьевич, убеждать, что Витька жив и может вернуться, понимал, что говорить так — значило лгать.

Мукомолов закашлялся, не вынимая папиросу из зубов, внезапно встал. И заходил по комнате мимо синевших окон, стиснул до хруста пальцы за спиной.

— Ополчение... — заговорил он вскрикивающим шепотом, оглядываясь на дверь. — О, это московское ополчение! Школьники, студенты, профессора. Там погибли — я уверен, да, да! — Лев Толстой, Репин, Эйнштейн...

Эльга Борисовна заплакала, по-детски закрыв узенькими ладонями глаза, повторяя:



— Простите, Сережа, простите! Федя, прошу тебя, не кричи,— умоляюще, сквозь слезы попросила она, поднялась, плотнее закрыла дверь, постояла у двери, вытирая глаза. И с прежним выражением улыбнулась Сергею: — У нас Быков, когда поругается на кухне, то всегда кричит: «Я тебя посажу!» Странно как-то... Ведь коммерческий директор большой фабрики... Все же он был майор, воевал...

— Быков? — переспросил Сергей.— Какой он майор! Заведующий складом в Германии. Возле складов не воюют!

Мукомолов зажег папиросу.

— Эля, не переводи разговор, мне нечего бояться. Я пуганый воробей, старый, пожилой пес. Я хочу знать. Я хочу спросить у Сергея Николаевича. Он был другом моего сына, и я спрашиваю его как сына, да, да... Сережа, как вы думаете, знал ли это Сталин?

— Не знаю,— тихо ответил Сергей.

Мукомолов сконфуженно замигал, помял погасшую папиросу в пальцах, сказал: «Да, да» — и ткнул папиросу в пепельницу. Сел к столу, стал громко отхлебывать остывший чай. Налил еще, жадно выпил, будто утоляя жажду, и молчал долго, набивал гильзы табаком, повторяя серьезно: «Да, да». Эльга Борисовна по-прежнему гладила, теребила уголок скатерти, пальцы ее все время искали работу. Синие жилки выделялись на маленькой руке. Сергей взглянул на грустное лицо Мукомолова, спросил:

— Вы не договорили, Федор Феодосьевич?

Мукомолов кашлянул, поерзал, поздри широкого носа раздувались.

— Ваше поколение было прекрасно и благородно воспитано,— сказал Мукомолов, глядя в коробку.— Вы ни в чем не сомневались, вы верили — и это отлично. Ваши прекрасные школьные учителя вас прекрасно воспитали.— Мукомолов судорожно подергал бородку.— Странно... Странно и страшно получилось для отцов и матерей. Дети умерли, погибли в бою, в плену, а родители живут... Это непонятная, чудовищная несправедливость — старшее поколение не должно переживать молодое, никогда, никогда!..

#### Глава девятая

Час спустя Сергей лежал на диване в своей комнате, потушив свет,— был лимит на электроэнергию. Топилась на ночь голландка.

Разнеженная теплом кошка дремала возле постреливающей печи, покойно вытянувшись, мурлыкая. Котята, вылизанные ее языком, с мокрой шерсткой, жалобно пищали, искали ее открытый мягкий живот, нажимали лапами возле сосков.

Сергей взял одного из котят, влажного, теплого, растопырившего ланы; положил его себе на грудь; существо это беспомощно зашевелилось, дрожа слепой мордочкой, оскальзываясь лапами, заползло к горлу, тоненько пища, тыкалось дрожаще-нежно мокрым носом в шею, подбородок Сергея.

Он погладил его по шершаво-слипшейся спине.

— Дурак ты, дурак.

В слоистых потемках осторожно щелкали костяшки отцовских счетов в соседней комнате.

Сергей медленно гладил котенка, и было ему беспокойно, грустно, как не было с тех пор, как он вернулся. Лежа на спине, он вспоминал встречу с капитаном Уваровым в «Астории», Нину, вечер у Мукомоловых — и чувствовал, что был растерян и не хватало ему ясности и про-

стоты; и не было того, что представлял месяц назад в гремящем прокуренном вагоне, мчащемся домой, чего ожидал он, чего хотелось ему.

— Ну что пищишь, дурак ты, дурак? — шепотом сказал Сергей и положил в коробку растопырившего лапы котенка.

Кошка, подняв голову, понюхала его, лизнула дважды, потрепала языком его ухо, дремотно зажмурилась, успокоилась.

Вечерняя тишина стояла в квартире. Розовое пятно — отсвет печи — суживалось и расширялось на стене, еле слышно шелкали в тишине счеты, шуршала бумага, и будто сквозь теплую толщу слабо пробивалась едва уловимая музыка — то ли радио, то ли заводил кто-то патефон. Константин заводил радиолу? Он дома?

«Жить как Константин? — спрашивал себя Сергей. — А что потом? А дальше как? А завтра, а через год? Да что задавать вопросы? Видно будет... Все будет видно... Главное, я дома... Но почему именно мне повезло, Константину, двум из школы, — случайность?»

Звонок в прихожей. Три раза. Движение в глубине квартиры, шаги в коридоре, туго бухнула замерзшая дверь, голоса. Снова бухнула дверь, зазвенев пружиной. Тишина. Щелкнул выключатель, вкрадчиво постукали из коридора.

— Сергей Николаевич!

— Войдите! — крикнул Сергей, скидывая ноги с дивана.

Желтая полоса света из коридора легла на пол комнаты. В дверь протиснулась освещенная сзади фигура Быкова, голос сытый, как после обеда, он еще жевал что-то.

— Темнотища-та, ба-атюшки! Вам письмо или повесточка, шут разберет. Что же свет не зажигаете? Экономите?

— Давайте сюда, — сказал Сергей почти грубо, встал, протянул руку и тотчас при свете из коридора прочитал — повестка была из милиции, уведомляющая его явиться завтра в одиннадцать часов утра к майору Стрешнекову. — Вы мне что-то хотите сказать? — спросил он Быкова, заглядывающего с удивленно ласковым лицом на котят.

— К счастью, говорят, котята-то. Одного бы у вас взял, — улыбнулся Быков. — Люблю малышей, даже детеныши безобразного бегемота — прелесть симпатичны. Видели? Я в Лейпцигском зоопарке видел.

— Слушайте, милый Петр Иванович, это вы, кажется, грозитесь тут пересажать всю квартиру? — насмешливо спросил Сергей. — Вы? Быков возмущенно выпрямился.

— Глупости, какие глупости люди собирают! Я понимаю, я погорячился, ваш отец погорячился, но зачем глупости собирать? Вы меня еще не знаете, Сергей Николаевич, что ж, вы до войны вот как этот котенок были. Поживем — притремся, делить нам нечего. Нечего нам делить, да. В одной квартире.

— Будьте любезны... — сказал Сергей сдержанно. — Будьте любезны, прикройте дверь с другой стороны.

— Кто там у тебя? — услышался строгий голос отца из соседней комнаты, и по голосу ясно было — услышал баритон Быкова.

— Напрасно вы, напрасно. Покойной ночи, Сергей Николаевич, — заспешил, с сожалением наклоняя голову, Быков, попятился, деликатно закрыл дверь; заглохли шаги в коридоре.

Сергей сел на диван. При свете печи снова пробежал веющую морозной улицей повестку, сунул в карман.

В другой комнате загремел отодвигаемый стул. Шаги.

— С кем ты разговаривал? — спросил отец, входя и устало протирая очки. — Кто заходил? Подвинься, мы с тобой почти не видимся, сын.

— Заходил Быков. Передал повестку.

- Какую повестку? Опять в военкомат?
- Нет. Меня вызывают в милицию. Тебя это пугает?
- Но зачем в милицию?
- Вчера я ударил одну сволочь.
- Был пьян?
- Нет.
- Бить по физиономии — не так уж действительно, сын. Было тихо.
- Ты так думаешь? — спросил Сергей.

Отец протер очки, спрятал их в верхний карман пижамы, движения были спокойно-заученными, а глаза близоруко и утомленно прищурились на гудящие вихри огня в голландке. И все это раздражало Сергея своей добротой, домашностью, какой-то слабостью даже, которую он не хотел видеть в отце; и не в силах подавить возникшее раздражение, Сергей сказал с усмешкой:

— Вот ты, старый коммунист, даже старый чекист, скажи: почему ты терпишь Быкова? Не думал ли ты, что мы даем всяким хмырям взятки, именно взятки, чтобы они не беспокоили нас,— улыбаемся им, молчим, здороваемся, хотя знаем все? Так, что ли?

— Почему ты заговорил о Быкове?

— Ты знаешь, что он орет на кухне? Он что пугает вас всех — и вы лапки вверх?

— Его не подведешь под статью уголовного кодекса, Сергей. Он ничего не убил.— устало проговорил, опираясь на колени локтями, отец.— К сожалению, бывают вещи труднодоказуемые, сын. В августе сорок первого года я выводил полк из окружения, и мой растяпа политрук потерял сейф с партийными документами. Политрук погиб, а я едва не поплатился партбилетом. И хожу с выговором до сих пор. И ничего не сделаешь. Вот так, сын, не было четких доказательств. Не было. И ответил я как комиссар полка. А пятно трудно смыть. Особенно коммунисту.

— Что же тогда делать? — Сергей вызывающе посмотрел отцу в лицо.— Терпеть, молчать? Так? Не-ет! Лучше ходить с выговорами! Может быть, ты вину политрука тоже по доброте душевной взял на себя? Ты что — добр ко всем?

— Во-первых, Сережа, на мертвых свалить легко. Во-вторых, я не советую тебе связываться необдуманно,— проговорил Николай Григорьевич и с неуверенностью положил ладонь на колено Сергея.— Только терпение и факты. Мерзавцев надо уничтожать фактами, доказательствами, а не эмоциями. Эмоции не докажут состав преступления. У тебя есть какие-нибудь доказательства против того, кого ты ударил?

— Доказательства для военного трибунала.

— А свидетели есть у тебя, сын?

— Только один свидетель — это я...

— Тогда этот человек может обвинить тебя в клевете. И легко привлечь тебя к суду за физическое оскорбление, за хулиганство. Здесь закон оборачивается против тебя.

Сергей встал.

— Ты, кажется, трусишь? — раздраженно спросил он.— Или чересчур осторожничаешь?

Отец тоже встал, со сжатыми губами, сожалеюще-печально взглянул в лицо Сергея, после молчания проговорил вполголоса:

— После смерти матери мне уже ничего не страшно.— Помолчал и добавил: — Страшно только за тебя. И то после того, как ты вернулся и живешь непонятной мне жизнью.

И пошел в свою комнату, шлепая стоптанными тапочками, горясь, возле двери задержался, смутно видимый в темноте, договорил просто:

— Вот уже месяц ты никак не называешь меня. Слово «папа» ты перерос, я понимаю. Называй меня отец. Так легче будет и тебе и мне.

«Зачем я говорил так с ним? Он не заслужил этого! — несколько позже думал Сергей, шагая по улице, вдыхая шекочущие горло иголки морозного воздуха.— Я не имел права так говорить. Я раздражен все время... Почему я раздражен против него?»

На углу он зашел в автоматную будочку, насквозь промерзшую, до скрипа накаленную стужей. Снял скользкую от инея трубку. Подышав на пальцы, набрал номер Нины. Долго не подходили, и неопределенно длинные гудки в пространстве вызывали у него тревогу.

Когда шелкнуло в трубке и женский прокуренный голос пропел «алю-у», он попросил:

— Мне Нину Александровну.

— Нету ее, голубчик, нету.— Голос этот нехорошо фыркнул.— Ушла Нина Александровна.

Сергей резко повесил трубку. Некоторое время стоял в нерешительности — в раздумье глядел, как пар дыхания ползет по обледенелой стене, испещренной номерами телефонов, по инею на стекле, на котором кто-то гривенником вычертил рожицу с выпяченными губами, с комично длинным носом.

Стиснув зубы, он набрал номер Константина, сразу же услышал приятно-веселый голос: «На проводе», потом громкое чавканье, тоненькой струйкой влился фокстрот, как с другой планеты.

— Пошел... со своим проводом,— проговорил Сергей.— Что у тебя там — патефон, компания?

— Прошу государственную тайну не разглашать! — Константин жевал.— Никакой компании, за исключением радиолы и бутербродов на столе. Ты что звонишь, а не зашел? Подняться на второй этаж — дорожке плюнуть.

— Ты мне нужен. Приходи к метро «Павелецкая».

— Что стряслось? Деньги? Женщина? — Константин перестал жевать.— Мгновенно надеваю штаны. Нет таких крепостей, которые...

Возле метро в морозном пару, вылетающем из дверей, — беспрестанное движение толпы. Подземные скоростные поезда приносят людей из теплых недр туннелей, и здесь, наверху, металлический скрип снега раздавался в студеном воздухе; поднятые воротники, голоса, огоньки зажигаемых спичек, простуженно-бодрые выкрики продавцов папирос — развязных парней в телогрейках:

— «Казбек», «Казбек», покупай с разбега! Запасайся к Новому году! — И бормотание озябшими губами: — Штучный «Беломор», штучный «Беломор»!

Сергей всматривался в растекающуюся от дверей толпу, искал на лицах мужчин, в быстрой походке женщин каких-то особых примет взаимного понимания. Он заметил в толпе немолодого мужчину, несущего слку, завернутую в мешковину, и рядом с ним — женщину, молодую, весело заглядывающую ему в лицо. И Сергей вспомнил о близком Новом годе, но без праздничного холодка ожидания, а с беспокоейством.

— Категорический привет! Ты давно?

Подошел Константин в роскошной пыжиковой шапке, в кожанке на меху, красный шерстяной шарф подпирал подбородок. Сказал, протягивая руку, нагретую меховой перчаткой:

— Э-э, мордализация нахмуренная, решаешь мировые проблемы? Плянь, не решишь. Пойдем куда-нибудь пиво пить.

— Подышим свежим воздухом,— хмуро отозвался Сергей.

Когда отошли на сотню шагов от метро, уже не дуло баннным воздухом из дверей вестибюля, острые лезвия мороза резали по лицу.

— Американские миллиардеры для сохранения здоровья придерживаются гимнастики дыхания, — не выдержал молчания Константин. — На счет четыре — вдох, на счет четыре — выдох. Делай, братцы, вдох с левой ноги... Сделаем, братцы, по-армейски.

Сергей молча сбоку взглянул на смугло-красное, плещущее здоровьем лицо Константина, и Константин хмыкнул, перчаткой потер подбородок.

— Готов слушать. Что стряслось?

— Ничего. Иди и молчи.

— Не могу! — взмолился Константин плачущим голосом и потеревил остервенело ухо. — Приятно прогуливаться весной с хорошенькой девочкой под крендель, а у меня обморожены руки и уши — я нахватался сталинградских морозов, хватит! Зайдем куда-нибудь! Хоть в этот знаковый павильончик.

В закуской, кивая на все стороны знакомым, Константин бесцеремонно-вежливо растолкал стоявших и сидевших за стойками, потеснил, шутя («братцы, всем место под солнцем»), очистил край столика в углу, крикнул через головы:

— Шурочка, принимай гостей — две кружки!

Пили из толстых кружек, залитых пеной, подогретое пиво, Константин густо посыпал края кружки солью, отхлебывал, вздыхая, через ноздри, улыбался.

— Ей-богу, Сережка, здесь клуб фронтовиков!

Было многолюдно, тесно, накурено. Задушенная сизым дымом лампочка мутно горела под потолком. Голоса гудели, сталкивались в спертном пивном воздухе, пахло водкой, оттаявшей в тепле одеждой, и перемешивались разговоры, крики, не прекращающиеся среди серых шинелей; лишь уловить можно было недавнее, военное, знакомое: «плацдарм на Оudere...», «под Житомиром двинули танки Манштейна...», «в сорок третьем стояли на Букринском плацдарме, через каждые пять минут играли «ванюши...», «бомбежка — чепуха, самое, брат, неприятное — мины...»

Мужские голоса накалялись, гул становился густым, хлопали промерзшие двери, впуская морозный пар, он мешался с дымом над головами людей; из-за столпившихся возле стойки спин появлялось и пропадало молодо-румяное с четкими бровями лицо Шурочки, звенящей стаканами.

— Клуб, — повторил Константин, подул на шапку белой пены, спросил Сергея: — Что случилось? Чего ошетинился?

— Ерундовое настроение, — ответил Сергей.

— Почему «ерундовое»? Может быть, угрызение совести, что морлу набил вчера этому... в «Астории»?.. Плюнь! Но должен тебя предупредить: ты тактически вел себя неосторожно — на рожон лез, пер грудью, как паровоз. — Константин отпил глоток пива, покрутил пальцами в воздухе.

Сергей поморщился, с недовольством расстегнул на груди шинель (здесь было душно и жарко), сдвинул назад шапку, вынул папиросу; медленно чиркал зажигалкой с ощущением раздражения оттого, что Константин казался опытнее, осмотрительнее его. Сказал:

— Ну, а дальше?

Константин заговорил серьезно:

— Мы еще не живем при коммунизме, и в наше время, как это ни горько, еще волшебным образом действуют справки и прочие свидетельства. У тебя их нет. Бумажных доказательств. — Константин вытер усики, прищу-

рился.— Чем ты можешь козырнуть против него, Сережка? Сейчас орут: все воевали! Докажешь, что не все воевали честно? Не докажешь! Хорошо, что все хорошо кончилось. Плюнь на все это!..

— Еще ничего не кончилось,— перебил Сергей.— Меня вызывают в милицию. Завтра. Я постараюсь доказать все, что знаю...

Гул голосов все нарастал, в закуской все хлопали, впуская, выпуская людей, двери, пар, желтея, вздымался от порога, обволакивая лампочку.

— Не советую! Вот этого не советую! — отчетливо произнес Константин и подался к Сергею.— Ни хрена не докажешь. Мы победили, война кончилась, ну, кто будет разбираться в перипетиях? Тебе ответят: война — на войне убивают. Кто прав, кто виноват — разбираться поздно. Поверь, Сережка, просто я на год вернулся раньше тебя, пообтерся. Ты еще не обгорел. Этот хмырь не так прост. И на кой он тебе?

— Иногда мне хочется послать тебя подальше со всей твоей опытностью! — сказал Сергей зло.— И непонятна мне твоя дружба с нашим милым соседом Быковым!

— Напомню: я работаю у него шофером на фабрике. Следовательно, он — мое начальство. С начальством ссориться — плевать против ветра.

— Идиотство!

Константин грустно покивал, глядя в кружку.

— Ничего не навязываю. Сказал, что думал. Знаю, знаю,— неторопливо проговорил он.— Если бы тебе посоветовал Витька Мукомолов, ты бы с ним согласился. Я для тебя друг второго сорта. Со штампом — «второй сорт». Так ведь? — Константин посыпал солью край кружки, но пить не стал, сидел, разминая на пальцах соль.

— Пошли отсюда,— сказал Сергей с неприятным чувством к себе, к Константину.— Здесь обалдеешь.

Они вышли на улицу, изморозь слюдой сверкала в ночном воздухе.

*(Продолжение следует)*



---

---

ДМ. СУХАРЕВ

★

## ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### *Человек*

То большой человек, то маленький,  
То чернявый, то чубом рус,  
То тайгой идет в накомарнике,  
То взбирается на Эльбрус.  
Не обижены мы алмазами,  
Есть и нефть у нас и песцы,  
А ему все мало, все лазает,  
Все подальше его пусты.

Но порой до рассвета мглистого  
Он сидит, сидит у стола,  
А зрачки набухают истоиво,  
А бумага белым-бела.  
Отойдите, не стойте около:  
Мало смертному божества,  
Мало Пушкина,  
Мало Гоголя —  
Хочет сам отыскать слова!

\* \* \*

Что-то вновь тоска меня взяла,  
Вновь меня на Север потянуло,  
К тем пределам, где белым-бела  
Тишина в озерах потонула —  
Потонула и опять всплыла.

Вот и тянет к тем земным пределам,  
Где легко просторно было мне,  
Где во мне уверенность гудела —  
Весело! — как в мачтовой сосне.

Вот и рвется сердце в дальний путь,  
Колобродит, просится, колотится:  
Стоит только руку протянуть,  
Стоит подмигнуть — и все воротится!

А ведь не воротился.  
Ничуть...

## Песня

Мы живы покуда поем,  
Пока говорим без опаски,  
Пока мы легки на подъем  
И верим в дошкольные сказки.

«Ду-ду,— скажет поезд,— ду-ду»...  
Прощайте, мы дом покидаем.  
Пойдет грузовик на звезду —  
Мы в кузов мешки покидаем.

Мешки наши ах как тяжки!  
Там корочка хлеба ржаного  
Да в тоненькой книжке стишки —  
И нету запаса иного.

Мы живы покуда живем,  
Пока не кончаем похода,  
Пока мы стоим на своем  
И знаем, чего нам охота.

Охота нам много чего,  
Нам сны необъятные снятся,—  
Охота добиться всего,  
Охота с войною не зняться.

А где мы?  
А нас уже нет.  
А вы телескопом пошарьте.  
Прощайте, прощайте!  
Прощайте.  
Далеко до синих планет!

\* \* \*

Белый цвет, он не цвет, он — служенье.  
Смесь цветов воедино сведя,  
Он влагает их все в отраженье,  
Отрешенье, отдачу себя.

О Россия, слияние радуг!  
Не вторую ли тысячу лет  
Здесь со стен белокаменных градов  
Наши жены глядят нам вослед?

Цуть подернута даль бирюзою,  
От берез по дорогам бело,  
Где-то в белой ночи Белозерье  
На пути к Беломорью легло.



Все обнять и во всем раствориться!  
Только где я слова обрету?  
Для меня ли бесшумная птица  
Обронила перо на лету?

О Россия, и в выборе цвета  
Ты, крылатая, ты — впереди.  
Как отчетлива алая мета  
На твоей белоснежной груди!

Как ярка эта звездочка малая,  
Как глядит она зорко во тьму —  
В заповедное,  
Небывалое,  
Не известное  
Никому...



---

С. ЗАЛЫГИН

★

## ТРОПЫ АЛТАЯ

Роман \*

### Глава пятнадцатая

**О**днажды в полдень к лагерю экспедиции подошла вдруг чья-то машина.

Вершинин-старший заметил ее первый и сказал:

— За мной... Куда-нибудь просят на консультацию, какое-то начальство требует! Нигде не скроешься, везде тебя разыщут, из-под земли выкопают! Нет человеку покоя, и только!

Но это оказались Парамоновы.

— Вот и мы за вами! Поехали к Шаровым? — сказала Елена Семеновна, здороваясь и преодолевая смущение, за которым Рязанцев сразу угадал многое: и упреки Парамонова, продолжавшиеся, наверное, еще очень долго после того, как они расстались в тот раз, когда у «козлика» сломалась рессора, и снова ее тихие, но такие настойчивые уговоры: «Поедем, Леша, за Николаем Ивановичем, отвезем его к Шаровым... Поедем, Леша...»; так или иначе — она добилась своего.

— Нам теперь ехать хотя и дальше, — говорила Елена Семеновна, — зато через речку не плавиться на пароме. Жаль только, тот синий-то, необыкновенный ручей минуем.

— Ага, минуем, — подтвердил Парамонов.

Знали или нет Парамоновы, какое несчастье постигло недавно лагерь экспедиции?

Рязанцев не хотел спрашивать об этом у Елены Семеновны, тем более у Алексея Петровича. Ему казалось, что Елена Семеновна знала.

И в самом деле, поговорив еще о чем-то, она сказала:

— Поедьте... Дорога тут красивая, забудете о своей беде. А уж Шаровы-то такие люди, такие люди — на них посмотришь, и вроде жизнь по своим местам расстанавливается. — Тут же обратилась к Лопареву: — Очень прошу вас, Михаил Михайлович!

Кажется, следовало поехать.

Дорогой несколько раз снова приходилось идти пешком, пока «козлик» вползал в гору или спускался по крутизне вниз, и всякий раз при этом Рязанцев догадывался, что Елена Семеновна о чем-то хотела ему сказать.

Хотела, но не решалась...

И в ожидании ее слов он смотрел на горы, на небо, покрытое редкими и густыми облаками, на зеленую воду Аката и вспоминал ту, пер-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1, 2 с. г.

вую, неудачную, но в общем-то безмятежную поездку, когда у «козлика» сломалась рессора. Вспомнил сизый ручей с необыкновенной водой. Все это далеким-далеким казалось, хотя в действительности было совсем недавно — не прошло и месяца с тех пор.

На одном повороте, когда Лопарев и Парамонов ушли вперед, Елена Семеновна вдруг остановилась сама и Рязанцева тоже остановила рядом с собой, набралась смелости и сказала:

— Николай Иванович, вы тот раз, как приехали в наш совхоз, о жизни объясняли...

Рязанцев не понял.

— О жизни?! Вам?

— Ну да! На всем Горном Алтае как жизнь должна быть устроена. Говорили же?

— Да-да... Конечно.

— Так я вас о многом не спрашиваю, Николай Иванович. Знаю, несчастье у вас там было, в палатках, а все равно — о своем промолчать не могу... — Она вдруг сжала обе его руки в своих и с надеждой заглянула ему в глаза. — Вот предлагают моему Алексею Петровичу идти на выдвижение. В район. Даже в край. Либо другой совхоз взять под свое руководство — крупный, ответственный. Не понимаю, по злобе, что ли, предлагают? — Подняла к Рязанцеву лицо. — Николай Иванович, я от него же о вас слышала хорошее, я знаю, он вас послушается, скажите, чтобы выбросил из головы об этом. Да мало ли что хвалят, что грамотами награждают, скажите, чтобы и не думал об этом! Умоляю вас! Он же учеником вам приходится! Слово-то для взрослого какое — у-че-ник! А?

— Уче-ник... — повторил Рязанцев.

— Выскажите ему свое мнение. При мне, чтобы я слышала... — И пошли вперед так быстро, что они тотчас догнали Парамонова и Лопарева.

— Погода хорошая, — сказал Рязанцев, — уборочную проведете вы нынче и кормов заготовите, Алексей Петрович, вволю. И зимовка будет в совхозе спокойная.

— Стараемся, Николай Иванович, — ответил Парамонов. — Стараемся. Не подкачаем.

— Вот что значит, когда руководитель долго в одном совхозе работает! В сельском хозяйстве иначе и нельзя.

— Конечно! — согласился Парамонов. — Разве можно?!

— А вам, Алексей Петрович, наверное, предлагают хозяйство покрупнее! А то и в город? Хотят сорвать с насиженного места?

— Так ведь, Николай Иванович, не говори «гоп», куда не перепрыгнешь.

— Так-то оно так...

— А как же? Конечно! Как это заранее-то о себе говорить?!

Парамонов был нынче одет поскромнее и чувствовал себя гораздо проще с Рязанцевым, чем в первую встречу.

Лопарев поглядел на Рязанцева, потом на Парамонова, потом на Елену Семеновну, чуть усмехнулся и пошел вперед.

— И не жалко вам будет насиженного места, Алексей Петрович? Где столько труда вложено?

— Да что об этом говорить, Николай Иванович? Что о деле говорить, когда дело-то по воде вилами писано?!

Очень приятен был этот разговор Парамонову.

— А вы знаете, здесь, в совхозе, руководитель как-то даже и виднее. В Москве на выставке его показывают. Непосредственно производством человек руководит... — Еще что-то хотел сказать Рязанцев, но у него

не получалось. Поглядел на Елену Семеновну. Говорил он то, что она хотела, но сказал еще не все.— Я бы на вашем месте, Алексей Петрович, ни за что бы отсюда не поехал!

Елена Семеновна незаметно шепнула:

— Спасибо! Теперь я сама буду разговаривать. Ваше мнение внушать.— Задумалась. Потом встрепенулась: — А теперь я вам Шаровых покажу! Теперь смотрите, любуйтесь.

Совсем немного еще проехали вверх по узкой дороге вдоль ручья, в истоке которого стояла «заимка Шарова». Так называли мараловодческую бригаду, и на карте она была так же помечена.

Шаров встретил гостей, выйдя из сарая. Четыре бороды буйно росли на этом человеке: две из подбородка, две из-под щек, каждая едва не достигала пояса.

Бороды были сказочными, театральными, но и никак нельзя было представить себе Шарова безбородым. Такие огромные, волнистые, желтовато-льняного, не седеющего цвета, они должны были расти на крупном голубоглазом лице, и неестественно широкие плечи и грудь должны были прикрываться этими бородами. Сильный, не очень густой и не очень низкий голос мог слышаться только через эти бороды.

Наверное, на двух, а может быть, и на трех крепких людей хватило бы сил, вложенных в этого человека, на десятерых — синевы глаз.

Парамонов и Елена Семеновна объяснили, с кем они приехали. Шаров поздоровался с Рязанцевым и Михаилом Михайловичем вежливо, едва заметно поклонясь и тому и другому, тут же повел разговор с директором:

— Пантуем, Алексей Петрович.... Богато идут рога. На сегодня килограмм двести пятьдесят нарежали...

Еще о чем-то поговорили они, Рязанцев не слушал, смотрел, какими сразу стали маленькими и крупный Парамонов, и Елена Семеновна, и Михаил Михайлович рядом с Шаровым.

— Много ли еще осталось пантовать, Ермил Фокич? — спросил его Парамонов.

— Как сказать-то, Алексей Петрович... Не более дюжины наберется еще пантачей. Гляди, и того меньше. Вот-вот и кончим. Поглядите, как идет дело?

Первым подал голос Михаил Михайлович:

— Зачем и приехали, если не посмотреть?!

И, считая вопрос решенным, зашагал к высокой изгороди маральника. В загоне с вытопанной дочерна травой, трепеша многоголовым рогатым телом, теснилось три-четыре десятка маралов.

Двое парнишек на беспокойных неоседланных конях гарцевали вокруг стада. И все стадо покачивалось из стороны в сторону и вздрагивало на тонких ногах, то порываясь метнуться вперед, то назад, но всякий раз оставалось на месте, еще более робкое, трепещущее и испуганное.

Время от времени верховые отделяли нескольких маралов от стада и с криками гнали их вперед, в щель между двумя заборами. Заборы эти, высокие, с широкими промежутками между бревнами, были очень крепкими. Маралы врывались в щель, вытягивались в чей цепочкой, на мгновение глаза у них вспыхивали надеждой: впереди маячили горы, лес. Но тут же они останавливались у перегородки. Озирались, дрожали, а в это время Шаров внимательно глядел на них сквозь забор.

— Харбэй!...— говорил негромко он.

Два парня распаховали еще одни, боковые, ворота, и марал стрелой пролетал мимо Шарова, закинув назад рога и грудью рассекая воздух. Рога лежали у марала на спине, передние ноги сгибались под самую

грудь, задние распластывались вдоль туловища, и так марал улетал в гору, в лес, лишь мгновениями касаясь земли.

Еще одного марала осмотрел Шаров и снова сказал: «Харбэй». — и снова марал пролетел мимо Шарова, а Шаров дал знак рукой, чтобы Рязанцев подальше держался от ворот. Рязанцев же услышал долгий глубокий вздох, с которым марал пролетел мимо него, и спросил у Парамонова:

— Почему же их выпускают, маралов? Не срезают панты? Что за слово такое — «харбэй»?

Оказалось, Харбэй — название урочища, куда уходят маралы, выпускают же только тех, у которых не созрели еще панты.

— Как узнать, созрели панты или еще не созрели?

— На это Шаров и есть. Панты, если их срезать вовремя, девятьсот рублей за килограмм в подсушенном виде, а запоздай со срезкой на три, на пять дней или поторопись, качество уже не то... Не то качество, и цена, считайте, едва ли не вполовину...

— Ну, а признаки-то? Признаки созревания какие?

— Ни в одной книге об этом нету, Николай Иванович. Ни в одной инструкции! — вздохнул Парамонов. — Вот Шарову — хотите верьте, хотите нет, а только как он отберет пантачей на срез, так и будет... Ермил Фокич, когда пантовали в последний раз? — спросил он.

Шаров, не оглядываясь, ответил:

— Третьеводни...

— А когда следующий раз пантовать?

— Ден через пять! — Шаров махнул рукой: нельзя ему было мешать, приставать с разговорами.

И тут же, оглядев крупного оленя с седой грудью, совсем уже другим тоном Шаров сказал:

— Станок!

Теперь сняли перегородку, которая была поперек щели, и марал бросился вперед, но тут под ногами у него опустился пол. Он повис в станке.

Вот что это значит, когда говорят: «Попался в капкан». Марал вырывался каждым мускулом, каждым коричнево-седым волоском, рогатой головой, глазами, широко открытой, с обнаженными зубами пастью, но бессилён был ступить хотя бы шаг, повиснув в узком станке.

Два человека надвинули на голову ему деревянную колодку, с трудом согнули шею, прижали и крепко-крепко привязали к брускам станка.

Заскрежетала пила, кровь длинными струйками брызнула вверх и в стороны. Рога срезали, обрубки на голове присыпали порошком, сняли колодку, подвели под ноги марала пол. Он бежал теперь в урочище Харбэй робко, неуверенно, спотыкался, как будто земля стала незнакомой ему.

Рязанцев взял рога. В них билась еще кровь. Биение различалось через мягкую шерсть-пушок, через кожу, натянутую на бородавчатую тонкую роговуцу.

Через месяц-другой марал и сам бы сбросил рога, когда они омертвеют. Но только сейчас, покауда бьется в них кровь, они обладают чудесными целебными свойствами.

Парамонов тоже взвесил панты на руке:

— Килограммов десять... А верите ли, есть по восемнадцати и больше! До двадцати пяти бывают!

Не дождавшись, когда Шаров кончит пантовать, пошли в дом и тут увидели, что приехали не вовремя.

В доме белили женщины: хозяйка — полная, черноглазая, лет что-нибудь около пятидесяти — и три девушки. Все они были забрызганы известью, голоноги, были очень смущены появлением директора и незна-

комых людей. Бегом перетаскивали из комнаты в комнату сундуки, кровати, матрацы, еще быстрее пробежали мимо с ведрами и кистями, краснели при этом, отворачивались, и Рязанцев не знал, нужно ли здороваться или делать вид, что не замечает их. Только Елена Семеновна чувствовала себя в этой суматохе непринужденно, шелкала тыквенные семечки, оберегала свое голубое шелковое платье от брызг извести, но не уходила из дома, а весело и громко разговаривала со всеми женщинами сразу.

Мужчины потолкались около крыльца. Рязанцев сказал:

— Не вовремя приехали. Может, вернемся? — Однако подумал, что уезжать ему не хочется.

Парамонова же неудача ничуть не смутила, он сказал:

— Подождем...

Стали ждать. Обошли вокруг дома и установили, что по крайней мере три раза к нему делались пристройки, заглянули в пчельник — там было десятка полтора ульев, побывали в сушилке, посмотрели, как в чанах кипятятся только что срезанные панты, издавая острый запах крови и мускуса. Потом легли на траву в тени нового сруба из темно-желтой, почти коричневой лиственницы.

Время от времени хозяйка дома либо кто-нибудь из девиц выскакивал на крыльцо, кричал: «Витьша! Петьша!» — и тогда откуда-то мгновенно появлялись два мальчугана лет, верно, шести-семи, и тотчас им вменялось в обязанность сбегать с ведром на колодец.

Один раз на крыльцо вышла, по-прежнему оберегая свое платье, Елена Семеновна и тоже крикнула: «Витьша! Петьша!» — и тоже вручила им ведро, чтобы они вылили помои.

Потом пришел Шаров, снял рубаху и, весь белый, огромный, с золотыми бородами, крикнул: «Ваньша! Полей!» Прибежал Ваньша — этот был постарше Витьши и Петьши, он старательно поливал из ведра на голову и спину отца.

Немного погодя один за другим появились те два крепких парня, которые пилили пантачол рога, а позже всех пришли мальчишки, верхами загонявшие маралов в станок.

Каждый, кто приходил, даже эти мальчишки-наездники, тоже кричал по-отцовски строго, только тоненьким, петушиным голоском: «Ваньша! Полей!» — и Ваньша бегал с ведром взад и вперед и поливал их с головы до пояса.

Не прошло часу, все сидели уже за столом в одной из комнат с полосатыми, еще не просохшими стенами.

Стол был огромный, как в солдагской столовой, ничем не покрыт, но вымыт и выскоблен, и Рязанцев сказал:

— Вот, Михаил Михайлович, по этим доскам запросто можно сосчитать, сколько было лет деревьям, когда их свалили! Каждый слой виден!

Михаил Михайлович и в самом деле начал задумчиво подсчитывать слои вилкой. Шаров же усмехнулся и сказал:

— Ну, что же, Алексей Петрович, Елена свет Семеновна, знакомые, что ли, нас с гостями! Как следует быть!

Познакомились еще раз, заговорили о маралах и пантах.

— Вот вы сказали: работа не из чистых, — заметил Шаров, — а мало ли что? Здоровье делаем для людей. Лекарство. Крайне нужно оно человеку. Молодость приносит. А который атомную бомбу ладит, тот, может, и в чистоте сидит. Так ли говорю?

Потом стали считать шаровских детей.

Всего их было тринадцать — старшему двадцать четыре, младшему четыре. И Ермил Фокин, загибая пальцы на руке, вел счет от старших к младшим:

— Степша, Дуньша, Федьша, Маньша, Саньша, Таньша...

Но когда Рязанцев спросил, а нельзя ли вспомнить, кто и когда родился, Шаров вместо ответа крикнул:

— Мать!

Тотчас из дверей появилось полное черноглазое лицо хозяйки.

— Не призывал бы ты меня до времени, Ермил Фокич,— сказала она.— Не управились еще покуда, неказиста при гостях-то!

Рязанцев заметил, что совсем это не обязательно — отрывать хозяйку от дела, но Шаров пожал могучими плечами.

— Тринадцатерых родила, всех до едина вырастила — и опять же стесняться?! По какой же это причине — стесняться? Покажись, мать, ты на работе, не как-нибудь... Вот, глядите, хозяйка моя, Дарья Феоктистовна.

Дарья Феоктистовна вышла из дверей, улыбнулась.

— Ну, что тебе, Ермил? Ах вы, мужики, мужики! Вам хотя бы каждого третьего, а то и пятого ребятенка родить, тогда бы вы накрепко умели им счет вести. Ну, что тебе? Степша, значит, первый — тридцать четвертого года. Дуньша — та вторая, погодок, то есть с тридцать пятого, Федьша, выходит, уж снова с тридцать шестого, с декабря месяца. Маньша — про эту все в доме у нас знают, та с тридцать восьмого и опять же с декабря.

Дарья Феоктистовна говорила торопливо — ее ждало дело, — но все-таки уважительно и к мужу и к гостям. Забрызганная известкой, в ситцевой косынке, в ситцевом же в горошинку халате, перехваченном черной тесьмой, она все-таки была очень хороша — и живыми черными глазами и без единой морщинки лицом. Сосчитав до тринадцати, поклонилась и мигом исчезла в соседней комнате, где все еще не кончились побелка и приборка.

— Ну, как? — спросил Шаров и лукаво улыбнулся.

Рязанцев не знал, к чему относится вопрос, — о жене Шаров спрашивал: «Ну, как — какова?» — или о ребятишках, о детях, которым наконец произвели полный подсчет.

— Здóрово! — кивнул Рязанцев.— Здóрово, честное слово!

И это «здорово» относилось ко всем — и к Дарье Феоктистовне, и к ее детям, и к самому Ермилу Фокичу.

Михаил Михайлович спросил:

— Слушаются вас дети, Ермил Фокич?

Алексей Петрович и Елена Семеновна переглянулись. Шаров же ответил:

— Когда как. Вот сегодня, с утра... Марал, значит, вырывается бежать на Харбэй — боковые-то ворота не успели зачинить, — а он в самый раз, марал-то, на пантовку годен. Степша, значит, увидел такое, пантачу встречу кинулся. Руками его за роги и к земле гнетет, сам его по коленям ногами-то, по коленям, чтобы тот, значит, пал на землю. А у них же сила великая, у пантачей, когда они страхом объаты. Они же чувят, будто это смерть. В нем все, что есть живое, все противится. Ну, вот я, значит, кричу Степше: «Ума лишился! А ну, бросай зверя!» А Степша-то, значит, гнетет его к земле. Не слушается и гнетет... Вот-то и сын. Не слушается!

— Ну и как же?! Что же дальше с пантачом?

— Обошлось. Вот оба мы со Степшей живы и непокалеченные. Я тоже навалился на пантача, скрутили мы его, а отпустить боимся. Не уйдешь от него... Отпустить рога-то, он и наденет тебя на пих... Уже Федьша да Саньша — те прибегли, по ногам связали зверя...

Степан сидел тут же, за столом, улыбался смущенно, делал вид, что разговор не о нем. Был он парнем совсем невидным: в веснушках, и не-

широк в плечах, и невелик ростом, и было удивительно, когда отец проговорил вдруг:

— Степша-то, он, что говорить, двухпудовку побрасывает с правой на левую.

Елена Семеновна громко смеялась и хозяйничала за Дарью Феоктистовну, но, смеясь, все-таки сокрушалась, что хозяйки еще нет за столом.

— Управится, мы ее рядом с Николаем Ивановичем посадим! Хорошо, Ермил Фокич? — спрашивала она то и дело Шарова, будто это было очень-очень важным вопросом — рядом с кем будет сидеть Дарья Феоктистовна.

Подали огромный чугунок с супом из маралятины, нежной, чуть-чуть сладковатой, — в этом доме приезд к обеду пятерых незваных гостей был делом незаметным.

Разговор о воспитании детей Шаров не считал законченным и сказал, обращаясь к Рязанцеву и Михаилу Михайловичу:

— Порядок, я считаю, такой: покуда у меня в доме, живи, как весь дом живет. Работай, как весь дом работает. Какие есть в дому законы — соблюдай, что все пьют-едят — и ты пей-ешь. Теперь вот Степша, к примеру, женится. Учителку приглядел на Центральной усадьбе. Ну что же, как знаешь! Чему от отца с матерью учился — смотри, годно ли тебе самому. Негодно — я не в обиде, живи, как сам удумал. Только я считаю — отцово-материно сгодится. По себе знаю.

Ермил Фокич не скрывал желания поговорить о жизни — у него не было и капли сомнения в том, что его будут слушать и что такой разговор вполне уместен с людьми, которых он видит впервые.

Когда он хотел привлечь внимание собеседника, то клонился к нему ближе, глаза в глаза, и Рязанцев сначала невольно подавался назад, но потом привык, и так, блистая яркой бородой, синевой глаз, большими и крепкими зубами, Ермил Фокич громко говорил ему:

— О родительской заботе по себе знаю. Мне было годка четыре, как нашему с Дарьей Феоктистовной младшенькому — Борьше. Придавило отца родного лесиной. Насмерть. Ну, какой там срок — мать пошла замуж за другого, за Шарова, значит. Как бы не тот случай с лесиной, я бы вовсе не Шаров был, а Седелников. Ребятишки мои — тоже Седелниковыми. А тут случилось, и вот — век Шарову буду благодарен! Как есть — за все! За себя, за мать! Как хочешь меня суди, не верю, чтобы и отец мой родной таким же был человеком.

Мать, она об отце моем не поминала ни хорошо, ни плохо. Ни словечка. Понимай это как хочешь. Старухой стала, и уже отчима моего сильно пережила, когда я спросил ее: «Мамаша, правильно ли я все ж таки Шаровым назван? Может, Седелниковым надо было записаться, по родному отцу?» Она мне говорит: «Не грехи, сын, против человека. Народить животное может, а детей вырастить не каждый может и человек. Погляди на себя: кто он тебе был, Шаров?» Когда у нас с Дарьей Феоктистовной их тринадцать, я цену этим словам понял. Скажу — цены им нету.

Зашел разговор о войне. Шаров опять вплотную приблизил возбужденное лицо к лицу Рязанцева, так что тот почувствовал на мгновение очень мягкое, едва-едва ошутимое прикосновение его бороды, и как-то особенно настойчиво спросил:

— А вот, Николай Иванович, знает ли человек, убьют его на войне либо он домой вернется? А? — Вытарашил глаза, раздул пышную бороду глубоким вздохом. — Хотите верьте, хотите нет: я о себе знал. Бью фашистов год, бью другой. Наступаю — бью, и отступаю — бью, и в ок-



ружение попал — бью. Бью из пулемета, пулемет я тот на себе таскал, и припасы который раз за второго номера — опять же на себе. Думаю: «Этакой, брат Ермил, войны не бывает, чтобы один бил, а сам бит не был. На то и война, думаю, чтобы не только ты, но и тебя били-убивали». Жду своего черед. Прикинешь — давно бы мне пора с копытков-то долой. Но, думаете, я с белым светом прощаться начал? Ни за что! — Шаров стукнул кулаком по столу, чашки и котел с супом и даже самовар, который с трудом принесла Елена Семеновна, — все подскочило и зазвенело.

Он переждал, когда звон этот умолк, посидел немного без слов, повторил:

— Ни за что! Знал — живой приду. И правильно — контузил меня немец, было за что ему с тяжелых калибров по мне палить, было за что, но убить не убил. Не достал он меня до самой души! — Посидел, помолчал. Совсем уже по-другому, задумчиво, улыбнулся: — Я думаю, что каждый про себя так знал. Обязан был знать. И тот знал, кто погиб, не вернулся...

Никого Шаров не принуждал, сам же доливал в граненый стакан прозрачный, почти невидимый в бутылке спирт. Пил не морщась и не вздыхая.

Рязанцеву боязно стало. «Вот, — подумал он, — перехватит Ермил Фокич — и конец нашему разговору! Да и заболит еще!» Потихоньку поделился своими опасениями с Михаилом Михайловичем. Тот сказал уверенно:

— Этому? Ничего не будет.

Рязанцев решил действовать через Парамонова. Толкая его локтем, незаметно показал глазами на Ермила Фокича, но Парамонов так и не понял его сигналов, поняла их Елена Семеновна и тихонько шепнула Рязанцеву:

— Ничего, ничего! Вы не беспокойтесь понапрасну, Николай Иванович.

Шаров улыбнулся в бороду, заглянул зачем-то в окно и крикнул:

— Мать!

Снова и так же быстро выглянула в дверь Дарья Феоктистовна.

— Что тебе снова, Ермил Фокич?

— Винтовку мне... Бинокль тоже давай, мать...

Бинокль и винтовку принесла одна из дочерей Шарова, Мария, черноглазая, очень похожая на мать и очень красивая. Рязанцев подумал, что Дарья Феоктистовна в молодости была точно такой же.

В наступившей недоуменной тишине Шаров протянул бинокль Рязанцеву, откинул затвор винтовки, поглядел в магазин. Потом распахнул окно, перейдя с Рязанцевым на «ты», спросил:

— Вон лесину видишь, стоит по-над ручьем? Во-он кедрач?

— Вижу! — крикнул Рязанцев. — А что?

— А что на маковке там, видишь? Нет? Не видишь? Так затем я тебе и бинокль велел принести. Гляди сквозь стекла-то — они в десять крат глазам силу дают, — там, на маковке, ворона прохлаждается...

Положил винтовку на подоконник, сам опустился на колено, раза два-три шевельнул локтем вправо и влево, замер — только борода шевелилась на нем от ветерка, залетавшего в окно.

Рязанцев вскинул бинокль, и тут как раз грянул выстрел... Птицу на вершине кедр Рязанцев так и не увидел, но несколько черных перьев, словно бабочки, покружились над вершиной и пошли вниз — это он захватил.

Михаил Михайлович пожал плечами.

— Не глаз — оптический прибор!

Парамонов усмехнулся, заулыбался с таким видом, будто стрелял не Шаров, а он сам. Елена Семеновна тотчас приняла из рук Ермила Фокича винтовку, унесла ее из комнаты.

Ермил Фокич спросил у Рязанцева:

— То ли пьяный Шаров, то ли нет? А? Как понять?

Запахи все перемешались в комнате... Через открытое окно доносился аромат трав и нагретого солнцем леса, заметно припахивало угарцем от самовара, известкой, не успевшей еще просохнуть на стенах, и еще сильнее был слышен душистый чай. Котел, опорожненный почти до самого дна, стоял теперь в углу комнаты и тоже издавал сытный запах мясного. Пахло спиртом, медом, порохом.

Ермил Фокич вел рассказ о себе.

— К примеру, один любит заняться пчелками, а по мне, так это вовсе и не то дело. Держу пчел, понимаю в пчелиной работе, а все ж таки это не мое. Почему? Пчела любит хозяина. Она туда-сюда летает, в горы, за самую речку Акат, а хозяин чтобы караулил ульи, да рой караулил, да еще и корму пчелкам готовил, когда нету настоящего взятка. Пчела, значит, летает, а ты сиди на пасеке. А я лучше по-другому люблю. Я марала в загоне держу — отращивай, браток, свои роги, а вот сам-то я тем часом в горы на дикого марала схожу, и на козла, и на волчишку, а бог даст и с косолапым сойдемся. Так-то больше, по мне, толку. Каждому человеку, считаю, свое в жизни положено.— Шаров взял руку Рязанцева в свою огромную теплую ладонь, снова коснулся его лица бородой.— Правильно говорю?

— А как вы сами понимаете, Ермил Фокич?

Шаров не потребовал еще пояснений к вопросу, кивнул.

— Мое — вот здесь быть... И вот там.— Показал в открытое окно на вершины гор.

— А почему так думаете?

— Думаю-то почему? — переспросил Шаров.— А вот.— Вытянул обе руки на стол, повернул их вверх-вниз ладонями, пошевелил пальцами — сначала всеми сразу, потом каждым по очереди.— Скажи хотя бы и ты, Елена Семеновна: где быть человеку с такими руками, ежели не в лесу, не в горах? В Москве или, к примеру, в Барнауле — к чему они там? К чему нужны? К какому делу?

Елена Семеновна протянула свою тоже сильную и крупную руку, и, когда положила ее на стол рядом с шаровской, оказалось, у нее не рука — детская ручонка. Она сама засмеялась этому неожиданному превращению весело и почему-то зажмурившись, а когда открыла глаза, осторожно, будто к горячему, прикоснулась к рукаву темной шаровской рубахи. Казалось, ждала, что Шаров вот-вот схватит ее руку, но все-таки нащупала под рукавом мускулы.

— Он верно говорит, Николай Иванович! Посмотрите-ка, посмотрите!

Парамонов тоже положил руки на стол рядом с шаровской, и Рязанцев тоже не удержался.

Все теперь смеялись шумно, как дети, даже Михаил Михайлович улыбался, а самым веселым ребенком был тот, что с бородой до пояса, а самой взрослой была Елена Семеновна. Она, хоть и смеялась вместе со всеми и первой затеяла игру, все-таки была единственной девчонкой между этими сорванцами, все время была готова их остановить, если они уж очень разбалуются.

Когда Парамонов и Рязанцев один за другим ударяли по тугому шаровскому бицепсу, она всякий раз пугалась:

— Ох! Ведь и больно же, наверно! Что вы только делаете, что делаете?

Рязанцев же подумал, что Елена Семеновна не вся сейчас здесь, не вся на виду — что-то она все время хранила в себе от других.

Видно это было по ее глазам — серый глубокий оттенок вдруг все в них заполнял временами, и веки чуть-чуть опускались у Елены Семеновны тогда, будто она издалека откуда-то глядела на все вокруг, и в выражении лица ее вместе с радостью отражалось еще какое-то чувство...

Парамонов и Рязанцев пытались разогнуть в локте руку Ермила Фокича, потом и Михаил Михайлович к ним присоединился, а сам Ермил Фокич ухмылялся через бороду и говорил, чтобы и «Елена мать моя Семеновна, помогла бы ты тоже хлопчикам!» Он говорил ей это очень уважительно, от «хлопчиков» ее отделял. Тоже чувствовал в ней что-то, чего ни у кого здесь не было.

Елена Семеновна «хлопчикам» помогла что было сил, но только и у четверых по-прежнему ничего у них не выходило — упираясь локтем в стол, непоколебимо стояла шаровская рука.

Потом Шаров убрал со стола руку.

— Вот так-то... Теперь еще спрошу: или по городу мне ходить с этикими плечами, а? — Развернул плечи, и опять все увидели, какие они могучие, прямо-таки былинные. — Ведь на меня в магазине-то и пиджачишко не сыщешь? Ладно. А борода? Бородища эта в городе и мне не глянется: ребятишки толпой бегают, что твои дикари. Спросить хотя бы и вас: должен быть на свете человек с такой бородой? Вот с такой? — Он склонился к Елене Семеновне, и та очень ласково, очень бережно пальцами обеих рук провела по бороде Ермила Фокича, зажмурилась на секунду. По рукам ее было видно, какие они мягкие, эти чуть-чуть волнистые, отливающие медью у самого подбородка и почти прозрачные у пояса тонкие длинные волосы в бороде Ермила Фокича. — Теперь какой это, скажите, порядок: покуда мечта о вековом-то житье, а человек, гляди, шесть десятков лет землю потоптал, и нет его — сам в земле. А который — лишь пятьдесят. А которому и того меньше довелось. Справедливо ли, спрашиваю? Нет, я с этим не согласный! Покуда ученый о многолетии головой думает, мне не сложа руки сидеть, я руками-то своими делаю, пантокрин добываю. Как полагаешь, нужно ли это дело, Семеновна?

Рязанцев глядел то в синие прищуренные глаза Ермила Фокича, то в серые, широко раскрытые Елены Семеновны. Смущение женщины и эти раскрытые в растерянности ее глаза доставляли ему радость.

В это время дверь из смежной комнаты распахнулась. Ермил Фокич торжественно встал и под руку ввел жену.

— Ну, вот, знакомимся нынче все да знакомимся! Супруга моя. Теперь она в полном виде. Глядите!

И гости нисколько не сомневались, что видят эту женщину в первый раз: такой она появилась неожиданно свежей, красивой, в коричневом платье, с ярким искусственным тюльпаном, с медалью матери-героини, на которую она несколько раз и сама повела вишневым глазом.

Одна за другой появились и старшие дочери Шаровых, и та черноглазая, быстрая Маша, что приносила винтовку и бинокль, была среди них. На минуту все исчезло со стола, а когда стол снова был накрыт белоснежной скатертью, Рязанцев не заметил. Дарья Феоктистовна села рядом с ним, пышная, заботливая, ласковая.

Все, что гости ели и пили до сих пор, было объявлено не в счет, все, что говорено было, — только для начала знакомства. Все посвежели при Дарье Феоктистовне, стали будто новыми, а Елена Семеновна уступила роль хозяйки за столом и мигом превратилась в гостью разборчивую, даже чуть-чуть привередливую. Только по-прежнему нет-нет возникало в глазах ее что-то свое, никому не доступное.

Пили медовуху, ели жареного поросенка, моченую, еще прошлогоднюю очень вкусную клюкву. Песни пели.

Потом Дарья Феоктистовна вывела Рязанцева под руку на крыльцо, вытерла платочком глаза и спросила:

— Во-он ту гору-то под белком видите ли?

Рязанцев поглядел на вершину. Золотистые, похожие на бороду Ермила Фокича снега лежали там под лучами тускнеющего уже солнца, возвышались темные, почти черные скалы, издали похожие на бесконечный ряд неприступных бастионов.

— Вижу. А что?

— Дочь туда взамуж выдаем, Николай Иванович. Дочку. Да и не старшую вовсе, а Маняшку-то, черноглазую-то, верно, заметили, которая очень на меня похожая? Вот ее выдаем туда, умнушку мою.

— Что вы, Дарья Феоктистовна? Кто же там живет?

— Геологи живут, Николай Иванович. Уже год бурят, еще, говорят, на два, а то и на три года хватит им. Радист у них там, радист-то, значит, частенько за питанием с гор спускается, ну и вот приглянулись они друг дружке. Сердце болит, а как ее удержишь? Маняшку-то? Удержишь, потом себе же и места не сыщешь!

— Ну, не век они там будут на горе жить, Дарья Феоктистовна. Через год или через два кончат буровые работы на вершине и где-нибудь внизу поселятся.

— И не говорите, Николай Иванович. Это вы, чтобы мать успокоить, не более того. Дальше-то время, так они еще и выше заберутся. Каждый год все выше да все выше лезут по горам, скоро уже на самую маковку, на Белуху, подымутся, а далее и не знаю уж куда!

— А может быть, Дарья Феоктистовна, Маняше там будет хорошо?! Очень? Там ее счастье?

— Верю, Николай Иванович! Еще раз скажите мне слова эти, пожалуйста! Еще поверю! Сколько сил моих есть!

— Счастье будет для Маши там. Будет... будет... будет...— тихо повторял Рязанцев.

Дарья Феоктистовна слушала жадно. Будто не дышала. Взмахнула наконец рукой: довольно, давайте молча поглядим на ту вершину.

Вершина сияла в это время солнцем; солнце было еще высоко в небе, но уже набегали те легкие, едва приметные тени от скал, которые так рано, лишь только-только минует полдень, возникают в горах.

Сколько прошло времени, покуда вдвоем глядели они на эту вершину, Рязанцев не заметил, встрепенулся, когда услышал голос Дарьи Феоктистовны:

— У товарища-то вашего аппарат я увидела. На память бы сняться нам всем.

Чувствуя всю ответственность своей работы, снимал Михаил Михайлович, заставлял пересаживаться всех десять раз, то и дело глядел на солнце, в экспонометр, а Парамонов все пытался рассказать как можно подробнее Ермилу Фокичу, что это за человек Николай Иванович, как этот Николай Иванович учил его на курсах директоров совхозов.

Елена Семеновна говорила мужу:

— Обожди, Леша. Об этом не надо торопиться. Не в последний раз встречаемся с Ермилом Фокичом, с Дарьей Феоктистовной.— И тепло глядела на Рязанцева.

Уезжали... Шаровы вышли проводить гостей к машине. Кто-то что-то забыл в доме, потерю искали Ваньша, Петьша и даже Борьша, кто-то торопился что-то досказать недосказанное, а кто-то хотел что-то еще раз услышать и запомнить. Все эти хлопоты и суета никак не могли убедить Рязанцева, будто он в самом деле уезжает. Еще несколько минут — и

уедет, и не будет перед ним волнистой бороды Ермила Фокича и пронзительных его глаз, и Дарью Феокистовну он тоже перестанет видеть, и Маняшу.

Однако расставание приближалось.

Дарья Феокистовна поцеловала Рязанцева в губы, сказала:

— Будет когда путь-дорога мимо, ужю не обижайте нас, Николай Иванович, ради бога! Знаю: не позволите себе этого...— Помолчала и позвала: — Маша! Машенька! Пойди сюда, голубка!

Девушка приблизилась. В начинавшихся уже сумерках еще темнее и еще больше казались ее глаза на тонком и трепетавшем от смущения и нерешительности лице. Глядела она вопросительно, приподнялась даже на цыпочки, угадывала и не могла угадать: что матери от нее нужно? Только сразу почувствовала: нужно что-то необычное...

Ермил Фокич глянул на дочь будто между прочим, но проговорил твердо:

— Подойди, коли мать зовет.

Тут она догадалась, что гостям известна ее тайна, прикрыла лицо рукой, вздохнула глубоко, подошла к Рязанцеву и матери. Протянула Рязанцеву руку.

— До свидания. Приезжайте к нам!

Теплая ее рука вздрагивала, глаза же не мигая глядели прямо в его глаза.

Дарья Феокистовна низко поклонилась Рязанцеву:

— Так вы пожелайте, Николай Иванович, цыпушке-то моей счастливой жизни. От сердца пожелайте. От всего! Как там люди думают, не знаю, а только я очень верю в напутствия. Чему ж и верить, как не хорошему человеку? Правду ли говорю? Чувствую, правду! Мы ведь еще людям-то об этом и не говорили. Сегодня вот сказали.

Маленькая и твердая ручка задрожала еще сильнее и чаще. Рязанцев сказал:

— Желаю вам счастья, Мария Ермиловна. От всей души.

Теперь она вздрогнула вся, всем телом, услышав, быть может, в первый раз в жизни обращение к себе по имени и отчеству.

— Спасибо.

Дарья Феокистовна вздохнула. Все оглянулись на ее вздох, и только Маша продолжала стоять неподвижно.

Михаил Михайлович, должно быть, тоже узнал все и сказал серьезно:

— Ну, чумазенькая! Или не видишь, как твоя гора играет, радуется за тебя? А?

Там, на вершине, и в самом деле возник теперь, кажется, какой-то иной мир, весь пронизанный наклонными, хорошо видимыми лучами заката. Скалы, которые еще так недавно возвышались мрачными, почти черными бастиями, засияли из самой своей глубины и яркими и едва видимыми легкими акварельными красками. Краски были желтоватого оттенка — розовое с желтым, красное с желтым, синее и голубое тоже с прозрачно-желтым... Скалы эти самых разных, самых необычайных форм и очертаний все устремились ввысь, туда, откуда на них глядело небольшое нежно-розовое, почти призрачное, легкое и неподвижное, но готовое каждый миг взлететь еще выше облачко.

Оно только одно и было на всем горизонте, надо всеми вершинами, и для него одного, казалось, сверкали скалы и переливались волны желтоватого света по молочно-белым снегам, и даже сумрак, который лежал ниже освещенной вершины и в котором едва угадывались складки гор и зубцы леса, этот сумрак тоже затих ради него, чтобы его не спугнуть, не потревожить.

А это облачко, если внимательно смотреть на него, оказывается, не стояло на месте, а плыло, медленно-медленно плыло над скалами, и на скалах отражалась его нежно-розовая тень... Даже не тень, а отблеск...

Поехали.

Дорогой Елена Семеновна спросила Рязанцева:

— Развеялся ли ваш Михаил-то Михайлович или нет? Все еще грустный очень...

### Глава шестнадцатая

В лагере теперь было всегда тихо.

Никто не смеялся. Ни на чьем лице нельзя было увидеть улыбки. Как-то внимательно все смотрели вокруг, словно ждали, что вот-вот откуда-нибудь из леса вернется Онежка.

Молчаливее других был Лопарев. Он только изредка разговаривал с Андреем и только о каком-нибудь деле.

Сейчас, показывая ему топориче, сказал:

— Послушай, Челкаш, какая музыка! шебаршить стало в руке! То ли я мозоль набил и настоящего ухвата у меня не стало?

Они внимательно рассмотрели топориче, и Андрей ушел куда-то в лес, а Лопарев достал из полевой сумки маленький точильный брусок и стеклышко. Одну кромку стекла он обернул носовым платком, чтобы удобнее было держать, другую выровнял на бруске, а потом, сидя на коленях, осторожно-осторожно стал снимать едва заметную стружку с топорича.

То и дело поднося топориче к глазам, Лопарев прищуривался, глядел на него, а в это время на самого Лопарева внимательно посматривал Вершинин-старший.

Давно ли возникло у него желание поговорить по душам со своим аспирантом? Кажется, давно... А может быть, и недавно: после смерти Онежки, после того, как, не сказав друг другу ни слова, они всю ночь проходили вокруг четырехугольного здания больницы... После спора, который произошел у него в ту ночь с Рязанцевым...

Вдруг показалось Вершинину-старшему, что в Лопареве он обязательно найдет какое-то понимание, какую-то поддержку. Должен найти.

И, повременив еще, он спросил:

— Ну, как дела, Михмих? — И сам же сказал: — Кажется, вы очень интересный материал собираете по листовнице сибирской? Противников своих сумеете разбить в пух и прах! Опровергнете теорию вымирания этой породы. Молодцом!

Лопарев отложил в сторону стекло, о чем-то подумал, но как был сосредоточенным, даже угрюмым, так и остался. Не заметил тепла в словах Вершинина-старшего, его похвалы и того, что шеф назвал его Михмихом. Всегда и все в отряде так звали Лопарева — Вершинин же старший назвал впервые.

— А толк? Какой? — спросил, подумав, Лопарев.

— Ну, знаете ли, дорогой, найти доказательства, подтверждающие судьбу распространения древесной породы, — это ли не наука? Вы же в века заглядываете!

— Может, и заглядываю. А толк какой?

— Утилитарно... Скажите-ка, если бы наука жила требованиями нынешнего дня, только ими, она бы существовала? Или нет?

— А если бы она совсем не учитывала нынешний день, она бы откуда взялась? Она бы существовала? Или нет?

Вершинин-старший усмехнулся.

— Положим, и то и другое — крайности. Надо исходить из среднего. Надо искать понимания друг друга.

— От золотой середины. Сегодня с нас не спрашивайте — мы работаем на завтрашний день. А завтра — другие проблемы, и о нас забыли. Хороша середина! И никакого мошенства!.. Цирк!

Тут Вершинину показалось, будто Рязанцев стоит рядом и внимательно ждет, куда разговор повернется. А за Рязанцевым, позади — угловатая фигура Андрея...

Оглянулся... Рязанцева не было, Андрей же в самом деле появился. Прошел в свою палатку, ухом не повел.

Вершинин-старший сказал:

— Ну, ладно, Михаил Михайлович, коли вам не нравятся ваши собственные успехи, пусть так и будет. Пути развития науки мы обсудим с вами в другой раз. Отложим разговор.

Лопарев приподнялся, оперся обеими руками на топор. Он хотел сказать что-то злое, сердитое и останавливал себя. Но не остановил.

— Вот бы всех заглядывателей в будущее, которые от заседаний ученых советов в леса спасаются, их бы и за жалованием отправлять к потомкам! Потомки бы рассудили! Навели бы порядок! — Лопарев изменился в лице и чужим голосом спросил: — Кто тут из вас, ученых, Чихачев Петр Александрович? Получите за ваши описания! Следующий — Сапожников Василий Васильевич! Келлер! Тронов! Стальным причитается за переписку, за чистписание. Как тому Акакию Акакиевичу, только без наградных шестидесяти целковых.

— Образно! Не знавал за вами литературных способностей, — медленно проговорил Вершинин. — А что бы причиталось Лопареву Михаилу Михайловичу? Знаете такого? Он еще имеет привычку поучать по любому поводу? Что бы ему пришлось? А?!

— Номер не пройдет, — решительно возразил Лопарев теперь уже в своем обычном тоне. — И думать нечего — пустой номер. Лопарев сегодня заработанную им плату получит!

— Вот как?

— Ага, так! Бензопильщик и чокеровщик Лопарев на сегодняшний день лесу нарубал — целый лес! Там и шпалы, там и срубы, и крепки, и еще всякого добра на миллион! Так что Лопарев уже себя прокормил. А что касается леса, который он для будущего выращивает, о котором он заботится, так претензий у него к потомкам нет — он это для души делает! Не для их души — для своей!

— Неплохо. Особое положение у Лопарева. Благородное исключение? Неплохо.

— Положение самое обыкновенное, как у всего рабочего класса. Рабочий построил дом — и тут же за свой труд получил. А за то, что в доме люди будут жить и через пятьдесят и, может, через сто лет, — за это ему и в голову не придет с них получать. Ясная политграмота?

Ответа Лопарев ждать не стал — повернулся и пошел. Сквозь кустарник, потом через ручей, потом в гору.

Почему молодежь так часто полагает, будто неразрешенные моральные, да и всякие другие проблемы не разрешены только по лености и тупоумию старшего поколения?

Когда-нибудь аспирант профессора Михаила Михайловича Лопарева, а то и его собственный сын, бросит ему такой-же упрек. Профессор Лопарев возмутится. К тому времени он забудет, как сам когда-то грубо упрекал других.

Вершинин вспомнил вдруг спор с генералом Иосифом Ипполитовичем Жилинским...

Может быть, Лопарев откуда-то узнал об этом споре? Узнал, что шеф, когда едет в Москву, берет железнодорожные билеты на те поезда, которые проходят Барабу ночью, чтобы не видеть ее?

Да, все это было в жизни Вершинина. Но для чего было? Чтобы наука и вся деятельность людей составили нечто разумно целое и гармоничное.

А теперь мальчишка Лопарев, едва разглядев краешек этой великой задачи, едва только о ее существовании догадавшись, уже начал его, Вершинина, упрекать. И как упрекать? Думает, будто сделал великое открытие, едва заметив, что такая задача существует?! Наверное, полон священного трепета и негодования на своего шефа. Полон презрения к профессоршке Вершинину за то, что он — Вершинин, а не Паллас, не Чихачев, не Сапожников и не Келлер?

Наверное, смеется над Вершининым, издевается: Вершинин был географом, а стал узким геоботаником, но ни географы, ни ботаники не считают его своим.

Издевается за то, что Вершинин труды по ботанике называет, как географ: «Растительные ресурсы Горного Алтая»? Вспомнил, как зовут Вершинина в институте за глаза: «Наш Ресурс!», «Потенциал!»

Жалеет Андрея — у него такой незадачливый отец.

Сколько возникло еще этих «наверное», этих догадок!

Вершинин опустил на складной стульчик, а потом вскочил, пнул стульчик и со всеми своими «наверное» ушел в лес, в горы, в сторону, противоположную той, где Лопарев отточенным топором валил какое-то дерево.

Прислонившись к камню, из расщелины которого торчали небольшие колочие веточки караганы, Вершинин сорвал с головы шляпу и продолжал слушать, что эти «наверное» ему говорят.

Он искал на Алтае покоя, искал своего Лукоморья, а что нашёл?

Уже давно среди природы Вершинин чувствовал себя гораздо спокойнее, чем в институте, где звонили телефоны, заседания назначались и проводились без конца, появлялись какие-то незнакомые люди, приходили письма от соискателей ученых степеней, где методики, тезисы и программы он требовал от кого-то срочно, и кто-нибудь срочно требовал их от него. Он возмущался, говорил, что для серьезной работы не остается времени, что это невыносимо. А на самом деле? Не было покоя, так он был спокойнее, увереннее. Может быть, потому, что все тревоги рабочего дня в институте сводились у него к тому, как сделать, как написать, как наметить, и совершенно не оставалось времени подумать, что сделано, что написано, что было уже когда-то намечено, что прожито? «Что будет?» всегда звучало для него безмятежнее, чем «а что было?» и «что есть?».

Он убеждал себя, что так и должно быть: что прошло, то уже прошло, и больше логики в том, чтобы заботиться о будущем. Это возвышеннее.

Правда, люди судят о тебе не по тому, каким ты хочешь быть и что намерен сделать для них, а по тому, какой ты есть и что уже сделал. Даже великое дело, если оно окажется людям не ко времени, — они его не оценят, пошлют к черту! Гренландские колонисты побывали в Америке за пять веков до Колумба, но в ту пору Европе не нужна была Америка, и вот истинные первооткрыватели были забыты.

О, если бы люди судили о нем только по тому, каким он хочет быть, что он стремится сделать, уж он бы постарался — предстал перед ними в невероятном блеске!



Вместо этого желанного блеска снова и снова являлась к нему Бараба.

Всякий раз, как приходилось Вершинину поездом или на самолете ТУ-104 миновать Барабу, она смущала его обезоруживающей простотой — круглыми бесцветными озерами, березовыми колками, сероватым травяным покровом. За всем этим скрывались непосильные для него тайны, неисполненные дела.

Ощущение какой-то педоговоренности появлялось вместе с воспоминаниями о Барабе, и оно стремилось затем распространиться на всю его жизнь.

Казалось, почему бы ему не любоваться Алтаем всегда? Почему бы не успокаиваться при виде Алтайских гор?

Наверное, вот почему: Алтай был для науки ребенком, у которого без числа прекрасных задатков, но ни один из них еще не определился, не стал главенствующим, а пока это главное не возникло, науке предстояло с одинаковым тщанием описывать все задатки: и геологию, и водные и растительные ресурсы, климат и почвы. И ребенком больше любовались, чем требовали от него, а ребенок больше приносил людям наслаждений, чем требовал от них. Он и от Вершинина ничего не требовал, хотя тот и слыл знатоком номер один Горного Алтая.

А Бараба требовала...

Спрашивала его: каков ты человек? Человек был горяч, оригинален, но нередко начинал вдруг подозревать собеседника в том, что тот чего-то самого главного не говорит. Сначала собеседника, потом себя.

Возникало у этого человека какое-то убеждение, какое-то понятие — так он торопился поскорее поставить над ним точку. Знал: стоит ему замешкаться, стоит продолжить размышления — и возникнут доводы, которые все, в чем он только что уверился, начнут расшатывать.

В молодости этот человек обладал фантазией, но ему не хватало фактов и собственных исследований, он мечтал о таком времени, когда все это будет у него. Долгожданное время настало: экспедиции, которые он каждый год совершал в свое Лукоморье, в Горный Алтай, все это дали ему, дали множество фактов и не лишили фантазии. Но теперь, и тем и другим обладая, он не мог и то и другое соединить между собой...

С годами он больше узнал и без устали продолжал узнавать. А становился ли он от этого умнее?

Все чаще и чаще он стал ощущать себя, свою жизнь как предисловие к чему-то, чего так и не было. Чего доброго, так и умрешь в перечне действующих лиц какой-то странной пьесы: «Вершинин Константин Владимирович. Профессор. Лет шестидесяти».

Если возраст будет указан другой — «лет шестьдесят пять», — тогда и другое звание должно бы появиться: «член-корреспондент». Будут в этом перечне еще имена: «Андрей, его сын... Вега, его дочь».

В прежние времена драматурги, бывало, делали еще примечания: «член земской управы», «с моноклем», а в комедиях отмечали: «с приятными уверенными манерами». Теперь примечание сделают другим: «один из руководителей научно-исследовательского института. В прошлом активный комсомолец». Однако же что за роль у этого бывшего активного комсомольца? Что это за пьеса, действующим лицом которой он является?

Или он начинал думать о «следующем».

Этот «следующий» за тобой ученый, может быть, только на один день моложе по возрасту, но ему, вероятно, придется дочитать ту книгу, которую ты однажды заложишь где-то посредине любимой китайской закладкой да так и не перевернешь больше ни одной страницы... «Следую-

ший» будет очень на тебя похож, но тобой не будет, будет продолжать твои мысли, но продолжать не по-твоему. Угадать бы, как он будет их продолжать? Как будет жить за тебя?

И ведь нельзя, грешно подумать, будто какая-нибудь серенькая жизнь прожита! Вовсе нет. Событий, переживаний, трудов хватило бы, верно, на три-четыре непритязательные жизни! Вполне. Но...

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

Любил он в молодости эту песню! Любил, но давно уже ее не пел. Только хотел, чтобы Андрей ее пел. Голоса у Андрея нет — в том ли дело?

И как все это Андрею объяснить? Как с ним объясниться? Все тот же вопрос...

Препятствие в том, что с Андреем нельзя разговаривать с одним. Невозможно, и только.

К сыну отец может приблизиться только через других людей. Станешь другом с друзьями Андрея, с холодком будешь относиться к тем, кого он не любит, — тогда, пожалуйста, разговаривай и с ним самим! Вот ведь какой деспот этот шилишпер!

И с Реутским в присутствии Андрея Вершинин-старший старался быть холоднее, начальственнее. Немного было неудобно, но только немного, потому что Андрей и в самом деле прав: так и надо к этому Льву относиться. Другое дело, что жертвуешь доброжелательством к тебе Реутского.

А Рязанцев? А Лопарев? Они словно с двух сторон зажимали его в какие-то тиски. Действовали каждый сам по себе, а получалось, что сообща. О Рязанцеве Вершинин-старший думал: «Пустяки все! Все высокие и отвлеченные материи! Беспочвенная интеллигентность!»

Но тут поспевал Лопарев и схватывался не с кем-нибудь — со своим шефом о делах нынешнего дня. Программы исследований его не устраивали, план работы на день он оспаривал, с маршрутом, который назначил начальник, он не соглашался. И Вершинин-старший говорил себе: «Пустяки все! Практицизм! Ползучий эмпиризм! Этакая приземленность!»

В другое время, при других обстоятельствах Вершинину-старшему казалось бы, наверное, что расхождений у него и с Рязанцевым и с Лопаревым не так уж много. Скажем, если бы в отряде не было Андрея.

Андрей не болтлив, разговаривает и с Рязанцевым и с Лопаревым тоже немного, но между ними — понимание друг друга. То самое понимание, которого Вершинину-старшему так не хватает.

В последнее время Андрей все ближе становился с Лопаревым. Это ясно. Должно быть, они сходятся во мнениях о том, кто и для чего нужен на этом свете. Они обо всех это понимают. Не понимают только, для чего нужен на земле Вершинин-старший, начальник экспедиции, который к тому же для одного из них приходится руководителем, для другого — отцом.

Попробуй что-нибудь сказать о Лопареве — у Андрея сразу на лице выражение, которое можно истолковать только в оскорбительном смысле: «А посмотри сначала на себя!», «Что ты, батя, баба, что ли, сплетничать!», «Сам все знаю, без тебя!», «Помолчи-ка лучше, я делом занят!» и так далее, без конца.

Вершинин-старший никогда не обладал особой проницательностью по отношению к людям, но иногда это случалось с ним. Краеведов в городке Н. он понимал очень хорошо. Теперь понимал тех, кто стоял между ним и Андреем. Кажется, так: он понимал тех, кто ему был очень

нужен, и тех, кому он сам был совершенно не нужен. Свою собственную дочь Вегу, например.

Лопарева он понял, пошел на уступки, пожертвовал самолюбием, достоинством и примирительно первый заговорил сегодня с ним...

А что же из этого вышло? Что вышло, спрашивается?

Вершинин вздрогнул от негодования. Нет, не простит он нынешнего разговора Лопареву. Никогда!

Было у него воспоминание далекого детства, воспоминание о том, как бородатый человек с красной повязкой на папаше схватил его, мальчишку, посадил к себе на колени и сначала сказал, что у него дома, в деревне, остался точь-в-точь такой же «шустряк», а потом объяснил, что не позже весны, когда скворцы вернутся с теплого края, на земле не останется ни одной гниды, ни одной ворюги, ни одного эксплуататора и еще — ни одного несчастного.

Позже Вершинин не однажды встречал этого человека с красной повязкой, в потрепанной шинели. В «Человеке с ружьем», в «Любови Яровой» и еще и еще. И никогда над этим человеком нельзя было засмеяться. И он думал, что и над ним, Вершининым, тоже нельзя. До сих пор он так считал: над ним нельзя смеяться, хотя и постигали его неудачи.

И он вспомнил табачный запах кудлатой бороды, тепло колен и широкой груди в расстегнутой шинели — все-все возникло, даже неловкость, которую мальчишка пережил тогда: он уже не маленький был, чтобы сидеть на коленях, — четырнадцать лет! Вспомнил...

Подумал: а не вселился ли в него какой-то сожитель, который к науке не имеет никакого отношения, зато во всем, что составляет собственное «я» профессора-доктора Вершинина, вдруг становится первым и даже единственным лицом?

## Глава семнадцатая

Косуля шла над ущельем, в сизой глубине которого время от времени вспыхивали белые искры порожистого ручья.

Она шла очень тихо, в ней было столько спокойствия, сколько его может быть в истинной и живой красоте, в живом, а не изваянном изяществе и грации... Шла по узкой тропинке, заметной среди пестрых камней, подсохшей травы и лишайников только потому, что кто-то шел по ней.

Она чутко слушала всплески ручья, доносившиеся к ней из глубины ущелья, слушала все, что сейчас молчало, но могло бы вдруг зазвучать: чей-то замерший вздох, чей-то притаившийся шорох, треск какого-то камня, который только еще нагревался под солнцем, чтобы едва слышно затрещать, словно что-то живое...

Но как будто все кругом, кроме одного только ручья, замолкло, ощущая на себе непостижимо чуткий слух; и настороженные ушки косули, даже внутри освещенные солнцем, с бесцветными волосками, тянувшись наружу, не могли уловить ничего и сначала недоумевали перед этой тишиной, а потом чуть наклонились, и косуля стала прислушиваться к шороху собственных копыт.

Цок-цок-цок! — прикоснулись копытца к россыпи камней, и ушки ее вздрагивали: раз-раз-раз! Еще несколько шагов и — пха-пха-пха! — ступала косуля на засохшую, жесткую траву, а чуть наклонившиеся вперед ушки снова вздрагивали, но теперь уже по-другому: теперь они угадывали, куда копытца ступят следующим шагом — на камни, на траву или в мох, — их все больше одолевало любопытство, и они склонялись к самой головке и заглядывали вперед...

Ей встретился камень — она перепрыгнула через него без толчка, без усилия, снова как будто заботясь лишь о том, чтобы нечаянно не улететь куда-то ввысь, чтобы остаться на земле.

На другой камень — черный, глянцевитый, с отвесной стенкой — она встала передними ногами и так замерла на мгновение, высокая, с выпрямленной шеей, словно позируя перед солнцем и всем окружающим ее миром.

Еще долго-долго был виден на тропе белый пушистый почти круглый хвостик, не то шуточный, не то очень серьезный, и белые же пятнышки вокруг него.

Ушла так же спокойно, грациозно, как и появилась.

Ушла, чутко вглядываясь в темное ущелье, в вершины скал, в светлое небо, но так и не заметив, что за всеми движениями ее, за каждым шагом следил человек.

Этим человеком была Рита.

Лагерь экспедиции пятый день стоял в верховьях ручья Туярык, и каждый день Рита поднималась на эти скалы и молча, неподвижно часами сидела в расщелине между двумя камнями, в чуть сыроватом сумраке, который сперва осторожно прикасался к ее разгоряченному лицу, рукам и ногам, потом успокаивал громко стучавшее, вздрагивающее после крутого подъема сердце, а потом как будто бы заполнял ее всю, всю растворял. А тогда, не чувствуя больше себя, Рита глядела и глядела на осенние горы, совсем не думая о том, что открывалось ее взгляду, подолгу ни о чем не думая и только изредка вздрагивая, когда к ней приходили мысли — трудные, безответные и жестокие мысли.

Были первые дни августа.

Еще так недавно всеобщая осенняя грусть ей, Рите Плонской, не доставляла ничего, кроме ощущения полноты своих чувств, которые становились особенно отчетливыми и сильными потому, что вокруг нее умирало что-то, что-то уходило раз и навсегда из этого мира, она же в нем оставалась как будто тоже раз и навсегда.

Никогда прежде Рита не спрашивала себя, отчего это какому-то существу вдруг не стало места на земле, и только ощущала, как все, что умирает, умирает ради всего живого.

Она по себе судила об этом: оставаясь жить, все сильнее и сильнее чувствовала свое право на жизнь, свое превосходство над всем тем, что уходило.

Ей легко было так думать, приятно было не жалеть уходящее, потому что оно всегда оставалось для нее незримым. Уходило что-то и делало это так тихо, так ласково, так незаметно, чтобы ничуть не потревожить ее, не задеть, не остаться в ее памяти, не причинить ей никакой боли, не задавать ей никаких вопросов...

И никогда прежде Рита не подозревала, что человек может жить или не жить, в зависимости от того, понял он что-то вокруг себя или не понял, ответил сам себе на какой-то вопрос или не ответил. Никогда не подозревала...

Появление косули заставило ее выйти из расщелины, внимательно вглядываясь в едва заметную тропинку, на которой кое-где отпечатаны были следы копытца.

Вдруг она почувствовала необходимость вспомнить, когда и где она сама двигалась так же, как эта косуля, — с трудом сдерживая себя, чтобы нечаянно не оторваться от земли, не улететь куда-то ввысь, куда-то вдаль...

На берегу Черного моря — это было.

В купальном костюме она входила в воду, и хотя многолюдно было

кругом и море плескалось и ворчало от нетерпения и каких-то невысказанных чувств, ей тогда казалось, что тишина стоит кругом немая.

По солнечному песку, закинув руки за голову, она медленно-медленно, то и дело перешагивая через тела людей, загоравших на пляже, приближалась к морю. Целую жизнь она проходила здесь — между палаточным навесом и вздрагивающим теплым морем, а в море, как только она вступала в него, начиналась еще другая жизнь: погрузившись в него, она видела оттуда всех, но все уже не видели ее, уже не любовались ею, не замирали больше перед ней в удивлении...

«Это ужасно! — подумала она, тихо двигаясь над самым ущельем, а потом встав у самого его края. — Конечно, я какой-то ужасный экземпляр рода человеческого, если меня поражает мое сходство с животным! Пусть это животное прекрасно, пусть косуля, которая прошла передо мной, самая красивая из всех, сколько их существует на свете, но все равно — разве это не ужасно?!»

Рита пошарила по карманам вязаной кофточке, но зеркальца не нашла. Тогда, остановившись над пропастью, она стала рассматривать себя: она ясно себя видела в разном возрасте, в разных платьях, с разными прическами — это было даже лучше, чем рассматривать себя в зеркало.

Она видела себя разной, но ни в одной не находила того, что должна была найти, ни одна Рита ее не успокаивала.

Еще недавно она спешила к Левушке, бежала к нему по крутой тропе и, когда на рассвете, с рюкзаком за плечами, вся в холодной росе, увидела его — поверила, что спасена, что человек этот ее поймет, простит. Даже раз и навсегда забудет, что простил когда-то.

И он действительно простил, а когда уже было такое чувство, что она снова может жить, быть счастливой, мечтать и верить в свои мечты, он сказал, как он ее простил.

Наклонившись над нею глаза к глазам, он сказал:

— Все прощаю... Вот сейчас то, что будет у нас с тобой, было у тебя с Андреем... Его ненавижу, а тебе даже это прощаю...

Он сказал еще: «милая!» и «мое счастье!», а она ударила его по лицу. Ждала, что он ее растерзает или проклянет, ждала, что он вселит в нее страх, испуг, какого она никогда в жизни не переживала, чтобы только не было безразличия и бесчувствия. А он заплакал...

Все, все одинаковы! Нельзя никого любить и ненавидеть — нельзя! И себя тоже нельзя любить без конца. Так по крайней мере нужно кончить, пока ты еще не до конца себя возненавидела!

И она выпрямилась, поглядела вниз, в пропасть, и с силой надавила ногами на тропу, чтобы в каменной крошке отпечатались следы ее каблучков.

Сделала шаг в сторону. Следы были видны отчетливо: две маленькие ямочки и две полоски от подошв, протянувшиеся к самому краю обрыва.

И тут она подумала, что сначала ей нужно вернуться в лагерь. За обидой. Ей нужна была еще хотя бы совсем маленькая обида. Великая горечь у нее была, но после того, как она только что приняла свое решение, к ней явилось желание маленьких забот, несерьезных тревог и даже капризов. Она почувствовала, что, прежде чем кончить все, ей дано право на какие-то часы вернуться к самой себе, к той, которая всю жизнь была веселой, вздорной и красивой.

И ей хотелось, чтобы в лагере ее кто-нибудь еще обидел на прощанье, хотя бы по пустяку. После пусть этот обидчик думает, что хочет, пусть мучается, переживает и догадывается: не он ли виноват во всем, что затем случится?

Рита знала, что в лагере должно быть собрание, знала, что опаздывает, и надеялась, что кто-нибудь упрекнет ее за опоздание, вернее всего Лопарев или Вершинин-старший. Она возразит, а ее упрекнул снова, сразу в несколько голосов, и никто не будет знать, что она за этим и пришла к ним в лагерь: за упреками.

Около лагеря она увидела лошадей. Их было три, они все, опустив головы, дружно подбирали губами невысокую травку и поглядели на Риту: не помешает ли она им и дальше заниматься этим.

Зачем понадобились в лагере лошади?

Вершинин-старший замолк на минуту, когда увидел Риту, подождал, когда она села на чей-то плащ и облокотилась спиной на палаточный колышек, хотя каждому было известно, что облакачиваться на эти колья нельзя.

— У нас собрание, Рита,— сказал Вершинин-старший,— комсомольское и партийное. Слушай внимательно.

«Как это я кстати вернулась,— подумала Рита.— Если собрание — значит, меня проработают, а если проработают — так завтра об этом пожалеют. Очень кстати, очень кстати я пришла...»

Теперь она не сердилась на этих людей, у нее не было чувства негодования к ним или презрения — никакого чувства. Просто ей нужно было, чтобы эти люди ее обязательно обидели.

Рита стала слушать. И даже внимательно слушать.

Удивилась: Вершинин говорил о «Карте растительных ресурсов Горного Алтая», что работа над ней потребует еще нескольких сезонов. Два, а может быть, даже и три.

Никогда Рита не вникала в споры, которые вели Вершинин-старший, Лопарев и Рязанцев, но все-таки она знала, что Вершинин хотел закончить работы как можно скорее, уже в этом сезоне, Лопарев же говорил, будто такая «скороспелка» нужна только для отчета.

Прислушалась и удивилась снова: Вершинин повел речь о том, что он обещает «организовать для экспедиции вертолст», что нужны конные маршруты. Но ведь Лопарев всегда иронизировал, что без верховых маршрутов экспедиция создает труд под названием «Растительные ресурсы по обочинам Чуйского тракта».

Что-то случилось с Вершининим-старшим, и, должно быть, все это заметили.

Лопарев сидел угрюмый, но спокойный и ни разу не перебил шефа.

Андрей же стал поглядывать на нее сдержанно, но как-то упрямо.

Реутский был обеспокоен, волновался, и Рита подумала, что это при ее появлении он вдруг начал так волноваться.

А может быть, все происходит потому, что в отряде появился новый человек?

С правой стороны от Рязанцева сидела женщина — это могла быть Свиридова Полина Матвеевна, больше никто. Еще в самом начале полевого сезона Вершинин-старший собирался отправить Риту в луговой отряд, но Реутский каким-то образом его убедил не делать этого. И если бы Лопарев только на несколько минут позже вынес Онежку из леса, Рита уехала бы в лагерь Свиридовой. Теперь она смотрела на эту женщину как на какую-то свою, хотя и несостоявшуюся, судьбу.

Свиридовой было лет тридцать шесть — об этом можно было догадаться по глазам и по ее задумчивому, даже усталому выражению лица; вся же ее фигурка, небольшие руки, которыми она тихонечко играла с невысокими стебельками травы около себя, ее тонкая талия, загар на розоватых щеках и носу — все было не очень изящным, но каким-то девическим.

Она не была красива — ничто не останавливало на себе взгляда: ни глаза, ни овал ее лица с чуть приплюснутым подбородком и аккуратным, с двумя резкими морщинками лбом, ни серые, слегка пушистые волосы, но все вместе, вся она была из тех женщин, которые как будто между прочим бросают вызов самой яркой красоте.

Такие женщины всегда вызывали в Рите чувство недоумения, может быть даже неприязни, и даже какое-то оскорбление они наносили ей, и сейчас Рита разглядывала ее, ничуть не таясь.

Андрей же все смотрел на Риту так серьезно и так внимательно, что она, на мгновение перестав разглядывать Свиридову, тоже взглянула на него и ответила ему мысленно: «Что, Челкаш, догадываешься? Все равно не догадаешься, не пытайся. Завтра узнают все, а сегодня никто!» Потом она увидела на нем сапоги, и вдруг ей захотелось спросить у Свиридовой: «Вот с этого лопухого угрюмого мальчишки я с чувством необыкновенного счастья стаскивала сапоги... Во дворе лесниковой избушки... А потом еще прибежала к нему, встала перед ним на колени и поцеловала его! А ты, можешь ли ты сделать так же? Вдруг? Неизвестно почему?» Немного спустя погладила каблук своих поношенных ботинок, и перед глазами возникли две небольшие ямки на каменной крошке и две полоски... «А можешь ли ты сделать то, что сделаю завтра я?»

После Вершинина заговорил вдруг Лопарев, и заговорил спокойно, без обычного злословия, только с прежней своей угрюмостью. Он, кажется, сам был удивлен собою и прислушивался к названиям гор, рек и ручьев, по которым он предлагал совершить конные маршруты.

Рита на Лопарева не смотрела, она следила за тем, как внимательно следит за ним Свиридова.

За Лопаревым обязательно должен был сказать что-то Реутский, и он действительно заговорил, торопливо поднявшись с земли, одной рукой поглаживая бородку, а другой держась за ремень полевой сумки.

Лишь только он сказал: «Позвольте!» — по лицу Свиридовой пробежала легкая и быстрая улыбка.

Лева же вдруг начал делать резкие замечания по поводу «Карты растительных ресурсов» и ошеломил этим всех, особенно Вершинина-старшего, но было видно — он заговорил вовсе не ради «Карты». Он должен был сказать какие-то слова, которые коснутся Риты. Что бы такое это могло быть? Может ли он ее сейчас чем-то задеть? Рита ждала и вспоминала, как ударила Леву... Если бы он не отпрянул прочь, она ударила бы его еще раз и еще... А если бы и после этого он не оставил ее, ну, что же, ей уже стало бы все равно... что жить, что умереть... Как жить, как умереть — совершенно все равно. Но он и безразличия ее не понял, заплакал. Если бы сейчас ему объяснить все это, он, верно, от обиды заплакал бы снова. Он может — заплакать. При всех.

— К сожалению, — сказал Реутский и помолчал, — к очень большому сожалению, я... да!.. я должен покинуть экспедицию. Вероятно, завтра же... Я должен был сделать это давно, потому что давно получил извещение из университета. Но события, да, события в нашей экспедиции заставили меня задержаться до сих пор...

Уж не из-за нее ли Реутский во всеуслышание объявил о своем отъезде? Может быть, хочет ее удивить? Разжалобить? Какой же глупый!

— Как заместитель декана, — продолжал Реутский, — я считаю, что пора вернуться в университет и студентке Плонской... Да, как заместитель...

— Не имею права возражать... — сказал Вершинин; ему трудно было ради вежливости что-то добавить, ему давно уже хотелось, чтобы Риты

не было в лагере, но тем не менее он сказал еще: — Это дело ваше — решать!

«Кажется, он все-таки хороший!» — успела подумать Рита о Вершинине-старшем и, глядя в его коричневые на выкате глаза, проговорила: — Нет! Я не поеду! Я останусь!

После собрания к ней подошел Андрей.

— Пойдем-ка...

Отошли в сторону. Сквозь вечерний сумрак и не растаявшую еще тень какого-то деревца на нее смотрели небольшие пристальные глаза...

Рита вспомнила, как Лопарев говорил с нею недавно — схватил ее за руку, сжал и не мог сделать ей больно... Все они одинаковы, все хватают за руку, а ей не больно!

Но тут же она вскрикнула: «Ай!» — так сильно сжал ее пальцы Андрей.

Потом он сказал:

— Дошло? Не то еще будет...

Она негромко засмеялась.

— За баловство? Да? Ах, Челкаш, Челкаш! Разве мне до баловства? Ничего-то никто не понимает. Ты тоже...

— Зачем сегодня торчала на скале?

— Ты видел? Был?

— Мое дело... Твое отвечать: зачем?

— Что ты хочешь от меня? Чтобы я разревелась? Да?

— Хочешь уезжать — уезжай вместе с бородкой! Но штучки брось!

— Разве это штучки?

— Ничего больше.

— Скажи, а что будет, если я уеду? Ты знаешь?

— Конечно...

— Неужели?!

— Чего же тут не знать? — Он пожал плечами.

— Что же?

— Будешь такая, как этот лев — Реутский...

— Почему это?

— Женщина всегда будет такой, какой ее хочет видеть мужчина. Смелой — так смелой. Красивой — так красивой. Тряпкой — так тряпкой.

Ее оставили, кажется, все чувства, кроме удивления.

— Челкаш?! Мальчишка! Откуда тебе известно? Откуда знаешь?

— Не знаю, откуда знаю. Просто так догадываюсь...

— Может быть, ты и еще о многом догадываешься?

— Может быть... — согласился он. — Не могу только догадаться: нужно мне тебя караулить на скале завтра или не нужно?

Он нагнулся и сорвал какую-то травку, очень внимательно разглядел ее, держа около самого носа, потому что сумрак становился все гуще, а когда бросил, Рита все еще стояла неподвижно и не спуская с него глаз... Она так и не ответила ему, а снова спросила:

— Скажи, ты хотел бы видеть меня хорошей? Очень хорошей? И очень доброй?

— Конечно. Как же иначе?

— А для кого это нужно?

— Для тебя... — Он все так же серьезно и строго опять поглядел на нее из-под рваной шляпы. — И для меня...

— Это... правда?

Наверное, ей не нужно было так спрашивать... Наверное, не нужно... Молча Андрей шел к лагерю, она — за ним. Около палаток он замедлил шаг, пригрозил:

— Так вот смотри, за баловство... Понятно?



Потом она долго-долго не могла заснуть, лежала в палатке, а к ней доносился приглушенный разговор, который вели у костра Рязанцев и Свиридова.

Всякий раз после паузы Свиридова начинала первой и всякий раз с одних и тех же слов: «А знаешь ли, Ника...» Немного погодя снова: «А знаешь ли, Ника...»

Рите же казалось, будто этот голос заглушает другой: «...за баловство... Понятно?» И снова: «...за баловство... Понятно?»

### Глава восемнадцатая

Вершинин-старший проснулся часа в два ночи и тотчас стал вспоминать день 15 августа 1939 года. Как это было.

День был ясный, солнечный, и солнце одинаково щедро ласкало родильный дом и военный госпиталь. На улице, на блестящих нитях рельсов, стоял поезд из моторного трамвайного вагона и нескольких платформ, и с этих платформ санитары сгружали раненых. Это были раненые с Халхин-Гола, из Монголии.

В приемной же родильного дома неподвижно сидело несколько посетителей, пахло аптекой, а сквозь стеклянные двери, занавешенные белым, доносились непрерывающиеся, ровные голоса младенцев... Как будто они все, едва родившись, принялись за свое земное дело, а этим делом был для них неназойливый, но обязательный плач.

В распахнутое окно приемной, казалось, была вставлена картина с изображением ярко-красного трамвайного вагона, серых платформ, ярких простынь и бледных мужских лиц, сосредоточенно вглядывавшихся в голубое, почти безоблачное небо.

Пришла няня, взяла у Вершинина цветы, и пока он с няней говорил, на картине произошли изменения: у платформ появились санитары в поварских колпаках и с носилками... Они старались и никак не могли открыть борта платформ, суетились и не знали, куда девать носилки, без которых выглядели и смешно и ненужно.

Когда няня вернулась и Вершинин прочел записку от жены о том, что все хорошо, что сын весит три килограмма четыреста пятьдесят граммов, санитары, вытянувшись цепочкой, снова деловитые и строгие, несли раненых, поднимаясь сначала с улицы на тротуар, а с тротуара — по ступеням госпиталя.

Через стеклянную дверь, откинув марлевою занавеску, няня показала Вершинину сына... Цезарь оказался необыкновенно смуглым. Он тоже очень деловито плакал, закрыв глаза и старательно разевая ротик, как будто полагая, что этот ротик слишком мал для него.

Выйдя на улицу, Вершинин увидел, как трамвай толкнул пустые платформы, потом весь состав стал заворачивать за угол, заблестели на солнце рельсы, а по ступеням госпиталя санитары подняли последнего раненого, улыбавшегося растерянно и виновато, как будто извиняясь за что-то перед людьми.

«Должно быть, — подумал Вершинин, — тяжелораненых госпитализируют ближе к району военных действий, а эти скоро все встанут на ноги, и никто из них не умрет...» И он пошел вслед за трамваем, который звенел уже где-то далеко впереди... «Ну вот, — размышлял он, прислушиваясь к этому звону, — смуглое существо — это мой сын. Довольно странно. И даже очень странно. Вот уже третий ребенок, а все не могу привыкнуть к тому, какими они рождаются! Кажется, и ученые тоже до сих пор не знают, что служит причиной завершения утробной жизни

человека и началом родов. Знают только, что одно должно кончиться, а другое начаться...»

Вслед за этим он перестал думать мыслями, он не думал больше ни о жене, ни о сыне, ни о войне, которая вдруг дохнула ему прямо в лицо, а весь поддался ощущению, возникшему в нем оттого, что на Земле родился человек, что этот человек — его сын, что в какой-то сущности своей он сам вдруг изменился, потому что теперь он будет продолжен, а может быть, прерван не только своею собственной жизнью или смертью, но еще и жизнью или смертью другого человека...

Ну вот и прошел с того дня двадцать один год. Все дети выросли — и Орион, и Вега, и Цезарь стал Андреем... Всех миновала война. Все здоровы. Ни у кого не изломалась судьба... Чего бы, кажется, еще желать отцу?

Когда Андрей проснулся, Вершинин-старший сделал вид, будто спит. Андрей выскочил из палатки и в трусах, в сапогах на босу ногу помчался по тропе. Это была у него утренняя пробежка. Потом с полотенцем через плечо — к ручью. А иней еще лежал кругом.

На ручье к нему присоединились Лопарев и Рязанцев, они поговорили тихо и серьезно. Серьезность была смешной, потому что они то и дело подпрыгивали и взмахивали руками и ногами, чтобы окончательно не замерзнуть. И грустной она была: все трое, они ведь тоже не могли не вспомнить об Онежке...

Андрей вернулся в палатку; он был весь красный, и на груди, на животе, на спине то и дело шевелил мускулами — замерз-таки. Отцу трудно было поверить, что это тот самый Цезарь, которого няня показала ему сквозь стеклянную дверь. К тому же Цезарь смуглым был, а этот совсем светлый.

Вершинин-старший открыл глаза, потянулся.

— Собираешься?

— Собираемся...

— Не забыл — тебе сегодня двадцать один? Ровно.

— Не забыл.

— Поздравляю!

— Спасибо, отец. Будь и ты здоров!

— Поедете через Карым — не забудь на почту. Тебе будут поздравления от матери, и я жду корреспонденцию. Рассчитайте, чтобы на почту попасть в рабочие часы.

— Само собой...

Вершинину казалось, что Андрей стал внимательнее к нему, стал не таким суровым. Заметил, шилишпер, все, что произошло вчера на собрании. Понял: нелегко было отцу объявить во всеуслышание о своем намерении работать над «Картой растительных ресурсов» еще два сезона, может быть даже три. Каково это было сказать, если институт уже запланировал окончание «Карты» в текущем году, если он сам горячо обещал ее нынче закончить?

Перекинувшись еще несколькими словами с отцом, Андрей побежал седлать светло-гнедого... Приторочил к английскому седлу спальный мешок, а на седло кинул дождевик: правильно сделал, это не прогулочный вояж, чтобы красоваться новеньким седлом. Попробовал подпругу, оглядел коня со всех сторон и — раз! — в седле.

Вершинин-старший вышел из палатки.

— Уже трогаетесь?

— Уже.

Светло-гнедой — с сильной грудью, на груди, на шее и на голове выпуклые жилы но бабки очень тонкие, как у степняка.

— Посмотрели ковку? Ладно ли? — спросил Вершинин.

— Хозяева! — отозвался Михмих. — Зимние подковы в июле ставили.

Михмих тоже был уже верхом на буланой кобылке, и только Рязанцев что-то еще суетился около своего белоглазого, с острой мордочкой конька.

Вершинин-старший, когда-то, в молодые годы, немало поездивший в экспедициях верхом, вспомнил почти уже забытую науку.

— У твоей, Михаил Михайлович, заднее правое копыто белое. Не слабое ли будет?

Лопарев, кажется, заметил это дружелюбное «у твоей», ответил на своем обычном жаргоне, но как-то ласково:

— Там не копыто — железобетон! Да и ездить-то нам всего дня три. Может, четыре.

Вершинин знал, что значит это «может, четыре», а Михмих, помолчав, и в самом деле пояснил:

— В лесхоз надо будет заехать...

— Обязательно вам в этот самый лесхоз?

— Обязательно!

Пусть заезжает, если без этого никак не может! Вершинин спорить не стал. «Надо! Обязательно!» Можно ведь и сказать, зачем надо, почему обязательно, а тогда окажется, что и не надо и не обязательно. Нет, так и не мог Вершинин-старший простить Лопарева! Старался, а не мог!

Тронулись...

— Будь здоров, Андрюха!

Вершинин-старший тоже пошел к ручью и вдруг остановился. Почувствовал, как плохо стал видеть вокруг: все затянулось каким-то туманом — тропа, ручей, горы, небо и солнце, поднявшееся уже над горами... Не сразу понял, что случилось, пошарил по карманам брюк, носового платка не нашел, тогда кистью руки, как это делают маленькие дети, вытер глаза.

Уже невозможно больше убеждать себя, будто все еще почему-то не готов для разговора с сыном. Уж если до сих пор у него не находилось ни сил, ни возможностей, ни слов, вряд ли он все это найдет еще позже, когда еще больше постареет.

«А вдруг умрешь, так и не успев переговорить с Андрюхой? Или начнешь разговор уже при смерти, и Андрюха вынужден будет понять тебя не потому, что он захочет это сделать, не потому, что это ему нужно, а просто потому, что человек умирает?..!»

Нельзя этого допустить! Ни за что!»

...Бывает, жизнь вдруг зажмет человека со всех сторон, поступая с ним так, как ей взбредет на ум. При этом ум, оказывается, у нее невелик.

Одних она делает безразличными, тоскливыми, а Вершинин, когда чувствует, что не он руководит своей жизнью, а его жизнь им, не он делает какое-то дело, а дело бесцельно гоняет его взад-вперед — как раз в эти дни и часы начинает громко говорить, много обещать и вытирать капли пота с лица. И что же — никто и никогда его не останавливал. Наоборот, люди тоже поддавались обычно его нервозности и даже склонны были называть ее «рабочим накалом» и «высоким напряжением».

Только один Андрей никогда не обманывался. И только он один мог остановить отца на полуслове, на полустаге, поглядев молча, внимательно и строго.

В эти моменты Вершинин говорил себе, что для Андрея он готов на все: даже исчезнуть с лица земли.

Теперь во всем, во всем они поймут друг друга, обо всех найдут сказать друг другу что-то такое, что не будет их разъединять. Через четыре дня, как только Андрей вернется.

Не будет между ними Риты.

Что произошло между Ритой и сыном в маршруте, Вершинин-старший так и не знал. Не знал, верить или не верить Реутскому. Не зная, все-таки верил. И тогда чувствовал, как эта девчонка оттесняет от него сына. Иногда не верил. Но чувство все равно не покидало его. Когда же Реутский объявил о своем отъезде и Риту тоже стал уговаривать уехать с ним, Вершинин перестал ему верить совсем.

Но все-таки? Вдруг?

Бывало и такое чувство, будто все опасности миновали, что теперь никто уже не сможет отнять у него сына, не сможет Андрея увести куда-то прочь от него. Никто... А она?

Но Рита даже не вышла из палатки проводить Андрея. В последние дни совершенно ничего не было заметно в отношениях между ними. Никаких отношений.

И Вершинин-старший успокоился... Еще раз поглядел всадникам вслед и увидел, будто Андрей обернулся в-седле, улыбнулся и помахал ему рукой... Показалось или нет?

На этот раз Вершинину-старшему не показалось — Андрей, уезжая, поглядывал через плечо на отца и думал: «Растрогался батя... День рождения его растрогал. Как же — взрослый сын». А день — и в самом деле — необыкновенный. Отец не знает, что из-за этого дня Андрей нынче и поехал с ним в экспедицию... Ничего этого отец не знает, и если подойти к нему сейчас и затеять разговор, так с его стороны, как всегда, последуют нотации взрослому сыну: «Мы в ваши годы...» И пойдет и пойдет...

Прекрасно знал Андрей, каким отец был в свое время — двенадцати, пятнадцати, семнадцати, двадцати и тридцати лет...

Он переживал войны, устанавливал советскую власть, решал проблемы Кузбасса, Кулунды, Турксиба, жил впроголодь, не носил галстуков, пел только революционные песни, не знал ни фокстротов, ни танго и даже просто патефонов.

И нечего Андрея в этом убеждать — так оно и было, лишние уговоры никогда не приносят проку.

Но для чего он все это делал, отец? Чтобы его дети не воевали, чтобы они не голодали, чтобы, кому нравится, мог бы носить галстуки, танцевать и слушать патефон. Андрею вот и до сих пор галстуки не нравятся, он их не носит. Наконец, чтобы дети выбирали профессию, которая им по душе.

Дело в другом. В том, что, если понадобится, Андрей пойдет воевать, будет бороться за советскую власть и жить впроголодь. А если не понадобится, отдаст силы биологии. Той части биологии, которая смыкается с географией. Непонятно?

Непонятно отцу. Отец ему многое дал: жизнь, знания, закалку в экспедициях. Наверное, дал для того, чтобы сын был человеком самостоятельным.

Но теперь он вдруг начинает обижаться на самостоятельность Андрея. Не понимает отец, что учить часто бывает легче, чем учиться, учиться не словам, а делу, и что дать бывает легче, чем взять.

Отца в свое время занесло каким-то случаем на географический факультет, изон-был доволен — выбирать ему не приходилось. Не из чего было.

Перед Андреем все двери были открыты — попробуй, выбери. В физику идти или в географию? Или в биологию?

Но Андрей вовсе не собирается решать, кому легче, кому труднее. Каждому свое.

В разном возрасте у него было разное отношение к отцу.

В детстве он в нем души не чаял.

Лет в пятнадцать или в шестнадцать стал тяготиться тем, что путешествует каждое лето с отцом: в его годы люди юнгами уходили на парусниках в кругосветные плавания, а Джек Лондон командовал сторожевым катером и был грозой устричных пиратов,— он же каждое лето держится за папочкины штаны.

На младших курсах университета Андрей страшно тяготился тем, что его отец — профессор, что это дает ему какие-то преимущества. Профессорскому сынку легче постигать науки, он уже натаскан. А тут еще один болван доцент, принимая у него экзамен, разулыбался: «Сын Константина Владимировича? Как же, как же! Мы вместе с вашим папашей...» Андрей взял зачетку, поднялся и ушел.

Ему поставили двойку, и он остался без стипендии.

После этого Андрей с особенной страстью хотел быть своим среди своих университетских ребят. Он не был ни буяном, ни выпивохой, но два-три раза в год считал долгом выпить и пошуметь в общежитии, чтобы комендант потом бегал по комнатам и доискивался, кто же все-таки шумел.

Кроме стипендии, Андрей получал деньги от отца и, чтобы не обижать ни отца, ни своих ребят, «сбрасывался» на любое мероприятие своей комнаты и еще двух-трех соседних комнат общежития, а в конце месяца занимал у кого-нибудь пятерку.

Приезжая домой на каникулы, он обо всем этом рассказывал, все эти события были чуть ли не единственной темой его домашних разговоров, об остальном он молчал. Вершинин же старший раздражался и недоумевал. Еще бы: «Мы в ваши годы...» Понятия если не мужской, то уже и не мальчишеской чести были чужды Вершинину-старшему.

Вершинин-старший не принимал в расчет, что если комсомольское собрание «своих» ребят решало сдать осенью сессию на полном серьезе, так это решение имело больше силы, чем все вместе взятые увещания профессоров и доцентов.

Он не понимал, как это сын изменил ему и присоединился к Тунгусской экспедиции каких-то мальчишек и девчонок. Мальчишки и девчонки вот уже несколько лет на свой страх и риск пытались разгадать тайну знаменитого метеорита. И Андрей отправился на Тунгуску — своими глазами увидеть то, о чем шли споры.

Он вносил свою лепту в сокровищницу знаний и понятий, но только не в ту, которую создавал Вершинин-старший и которую легко можно было постигнуть, перечитав и даже просто перелистав его многочисленные труды, а в другую — ютившуюся не в очень-то опрятных комнатах студенческого общежития, в курилках и на подоконниках старого университетского здания и только изредка достигавшую таких инстанций, как доклады в кружках НСО — Научного студенческого общества. Андрей отнюдь не собирался соперничать с отцом, просто на пути в науку он не мог миновать мудрость курилок, подоконников и кружков НСО. Отец не понимал очевидного: у него не хватало какого-то смысла ко всему — ко всему самому главному. И когда Андрей захотел узнать, кто прав в дискуссии между академиками Сукачевым и Лысенко, отец не смог этого сказать. «Ладно,— подумал тогда Андрей,— это область биологии, а отец говорит о себе, что он «в основном» географ. Узнаю,

кто прав из двух академиков-географов — И. П. Герасимов или А. А. Григорьев?» Но отец и в этих спорах не имел приверженности.

Андрей хотел узнать, в каком направлении сыну пойти, а тот горячо говорил о том, какая тема самая податливая, лежит на поверхности, так что ее легко взять и защитить кандидатскую диссертацию.

Но если ты только вступаешь в науку, если у тебя вся жизнь впереди, разве не обидно уже в это время оказаться не на главном, а на каком-то второстепенном направлении?

Напрасно, оказывается, Андрей так стеснялся отца-профессора, так боялся, что отец повсюду будет навязывать ему свои мнения!

Наконец, он решил узнать, каким образом профессор Вершинин пришел к своей «Карте»? Почему он ею занимается? Для чего? Если человек занят очень большим делом, все остальное ему можно ведь и простить.

Что же оказалось? Что отец взялся за эту «Карту» потому, что дело было совсем нетрудным. Существовали уже почвенная карта Горного Алтая академика Корабельникова, карта растительности А. В. Куминовой, карта и типология лесов Алтая доктора наук Г. В. Крылова. Были классические исследования растительности Алтая таких ученых, как П. Н. Крылов и Б. А. Келлер. Обобщить все эти карты и сведения, свести их, только чуть пополнив собственными наблюдениями, — и будет новая «Карта растительных ресурсов». Вот и все.

Для Левы Реутского такое дело, наверное, оказалось бы солидным. А для отца, который занимался проблемами Кузбасса и Барабы? Голодал и пел только революционные песни?

И Андрей почти год не приезжал домой, а прошлое лето провел в Тунгусской самодеятельной экспедиции.

Но вот что он выяснил за этот год: что он любит своего старика и не хочет с ним расставаться. Здорово любит.

Не будь в свое время отцовского влияния, Андрей пошел бы в радиотехнику или в другую отрасль физики, где, ему казалось, он обязательно нашел бы самое главное для себя, где было что открывать и делать своими руками. Но отец пристрастил его к путешествиям, к живой природе. И география и биология нынче всё в поисках главного, и беда не в том, что отец главного не знал, — он его и не искал. Ему без главного было удобнее.

Тогда-то и понял он, почему отец так любит Н-ских краеведов: краеведам в этом городке ничего не надо было объяснять по существу, с ними можно было обмениваться фактами, словно почтовыми марками из коллекции. Факт за факт. Иногда за факт два и три. Отец при обмене не скупился, был щедрым. Н-ские краеведы его любили.

Им было просто, краеведам, а за эту простоту Андрей их не любил.

Андрей долго и нелегко думал. И не напрасно — понял, что нужно сделать: нужно стать с отцом на равных. Не получилось дружбы студента с профессором, получится дружба двух равных. И в нынешнем году он снова отправился в экспедицию с отцом, надеясь, что отец откажется и от поучений и от каких-то заискиваний, которые были еще хуже поучений и которые Андрей не хотел называть своим именем, так оно было нелепо: «заискивание».

На равных... А тогда все будет просто и ясно. Перестанет иметь значение, что у отца где-то и в чем-то не хватает. Не хватает толку...

Если бы года два назад какой-нибудь друг Андрея сказал это об отце, так, наверное, очень просто мог бы схватить в морду: друг должен *знать*, куда не следует совать свой нос. Если бы друг сказал это нынче, он,

вероятно, перестал бы быть другом. Но для самого Андрея это факт — бестолковость отца. Что ж из того — у Андрея тоже ведь чего-нибудь да не хватает, и это не мешает ему иметь друзей.

Однако прежде всего отцу нужно было доказать, что они могут спорить, могут сходиться и расходиться во мнениях. А для этого необходимо приобрести то, что отец назвал бы открытием. Самостоятельным открытием.

И оно — открытие — было, было совершено еще в позапрошлом году, но тогда Андрей сам-то оказался мальчишкой и не придал ему значения.

В позапрошлом году он открыл на Алтае никому не известные почвы. Буроземы. О которых все учебники говорят, будто в Союзе они существуют только в условиях субтропиков, на Кавказе. Буроземы, которых нет и в помине на почвенной карте Корабельникова, которую в свою очередь отец кладет в основу собственной «Карты растительных ресурсов».

И вот Андрей ехал в кедрачи с необыкновенными надеждами.

Тропа была черной и влажной, довольно глубоко втопанной в землю, но уже в нескольких шагах впереди она терялась в высокой густо-зеленой траве, которую лошади раздвигали грудью и рвали на ходу, не нагибая головы. Кольца уздечек, удила и губы лошадей были покрыты каплями зеленой пены... Прихотливые изгибы тропы, подъемы и спуски, валежины и камни, по которым вдруг звонко и неожиданно начинали стучать подковы лошадей, — все это было закрыто от глаз, и казалось, что лошади поворачиваются то в одну, то в другую сторону, прыгают вверх и приседают вниз по какой-то прихоти, исполняя один и тот же танец, иногда с головой погружаясь в зеленые волны трав, иногда почти растворяясь в темных тенях, отбрасываемых деревьями, иногда же они вскакивали на каменные глыбы, залитые лучами солнца. Было любопытно смотреть, как за лошадью Лопарева этот танец повторяла и лошадь под Рязанцевым, а потом и сам, придерживаясь за луку, тоже падаешь вниз, или вздымаешься вверх, или просто клонишься всем телом в сторону, чтобы миновать лапы кедров и лиственниц.

Сначала все эти движения требовали от Андрея сосредоточенного внимания, но спустя час или полтора он уже научился предугадывать внезапные прыжки и падения своего гнедка, его резкие повороты и только поглядывал на едущего впереди Лопарева, который всякий раз, когда встречалось серьезное препятствие, поднимал руку над черным кожаным картузом.

Пропало ощущение седла и стремян, и Андрей, словно одно целое с гнедым, уже сам двигался по невидимой тропе, для своего собственного движения он припадал лицом к гриве гнедка или откидывался назад, и вместе они держались какого-то ритма, так что гнедко скоро заметно повеселел, раза два или три поржал, задрав слегка розовую морду с пестрыми губами, на которых повсюду торчали тонкие прямые волоски, и приветливо покосил на Андрюху прозрачно сизым глазом, не переставая при этом торопливо жевать и ронять капли зеленой пены.

Запах трав и деревьев слился с запахом гнедка, пение птиц и перезвон ручьев — с цоканьем подков, и, приподнятый над землей, оказавшись на уровне как раз самых лохматых и раскидистых ветвей кедров и лиственниц, Андрей словно уже видел, будто он приехал в кедрач с буроземами и берет образцы.

Временами тропа выбегала на крутобокий, выжженный солнцем и осыпанный мелким камнем берег реки, и тогда внизу начинала сверкать зеленая-зеленая вода, но зелень ее была совершенно ни на что не похожа вокруг, она была прозрачной, каждое мгновение готовой раствориться в отражениях облаков и в то же время очень глубокой.

В таких местах тропа двоилась, троилась, и одна чуть повыше другой узкими ступенями прорезала берег, а Лопарев то и дело ловко перебрался ногами на одну сторону седла и оказывался лицом к Андрею.

Лопарев часто шурился, снимал картуз и натягивал его на пологую луку алтайского седла, даже удивительно было, на чем картуз держится. Пришурившись и помолчав, он из-под руки оглядывал далекие вершины, а на плавном, словно циркулем очерченном повороте сказал Андрею:

— Значит, по буроземь?

В словах было что-то настороженное. Андрей догадался — Лопарев думал, что открытие буроземов на Алтае будет встречено отцом равнодушно и недоверчиво: поправки к почвенной карте Алтая заставили бы изменить и «Карту растительных ресурсов».

Андрей этого не опасался. Он как раз этого и хотел — обладать фактами, с которыми отец обязан будет считаться.

— Надо! — Андрей кивнул, сомневаясь только в том, стоит ли и ему проделать такой же прием — перебросить обе ноги на одну сторону — или не стоит, потому что гнедко может не понять седока, испугается и оступится над кручей...

— Порадуешь батьку! — снова сказал Михмих.

— Факт есть факт... — пожал плечами Андрей и перенес левую ногу на правую сторону.

— Я тоже так думаю, — ответил Михмих, подождав, покуда Андрей будет сидеть в седле боком, а лицом к нему.

Они ехали так довольно долго — один по верхней, а другой по нижней тропе, а потом Лопарев сказал:

— А вот еще что, Челкаш. надо будет тебе заехать со мной в лесхоз. Обязательно...

Это не входило в планы Андрея. Часа через два он собирался свернуть к своим заветным кедрочкам, поездку же Лопарева в лесхоз считал делом его личным, к которому он никакого отношения не имеет и не должен иметь. Он тотчас прикинул, как сложится его маршрут, если заезжать в лесхоз, и сообразил, что потеряет лишний день. У него же для начала все складывалось так, как нужно: конный маршрут был назначен отцом вовремя, и гнедко попался симпатичный, и погода была хорошей, а главное — наступило время для мужского разговора с отцом.

— Тороплюсь, — сказал он. — Есть соображения...

Лопарев снял с луки картуз, надел его на голову и повторил почти слово в слово, только изменив обращение:

— Вот что, Андрюха, друг, надо будет заехать тебе со мной в лесхоз. Обязательно...

— Это что — полный серьез?

— Полный...

Собственно, ничего не менялось от того, что Андрей вернется в лагерь днем позже. И все-таки начиналось уже что-то не то. Не то, чего он хотел.

Однако гнедко бежал по-прежнему деловито и шустро, тропа становилась все положе, река внизу все шире, а нежаркое солнце заливало светом деревья, камни, черный картуз Лопарева и снежные вершины, по остриям которых потекли уже ручьи солнечных красок — ярких и бледных, совсем прозрачных и густых, словно металл. Километров семь-восемь ехали крупной рысью и останавливались только один раз, когда Рязанцев решил крепче привязать очки бечевкой.

Село, в котором размещался лесхоз, пристроилось в долине реки и по двум ее небольшим притокам в виде приземистой буквы «П»,



в середине которой возвышалась зеленая гряда — вся в мелком березняке и в пестрых пятнышках: это паслись коровы, овцы, лошади.

Лопарев сказал:

— Жди тут возобновления, как же! От жилетки рукава!

Он был недоволен пастьбой, после которой вся огромная гряда навсегда уже лишится способности к возобновлению хвойных.

Сверху, с холма, казалось, что буква «П» подкована на одну ногу; подковой этой были постройки лесхоза — десятка полтора жилых домов и производственных помещений, на крыше одного из них белый крест — знак для самолетов лесной авиации.

Подъехав еще ближе, осмотрели небольшой питомник лиственницы, и Лопарев сказал:

— Отрава! — Недоволен был состоянием питомника.

Въехали в просторную ограду лесхоза. Здесь шла своя жизнь: плотники ставили несколько срубов, повизгивала пилорама, стучал движок, в дальнем углу на травке лежали лошади, машина с поднятым капотом стояла около деревянного гаража.

— Так... — сказал Лопарев, спешился и забросил повод на необструганный кол ограды. — Значит, так... Вы меня, Николай Иванович, к своему знакомому привозили, помните? К директору совхоза Парамонову?

— Конечно, помню. А что? — отозвался Рязанцев.

— Ничего... Теперь вот я вас познакомлю с лесным деятелем.

Вошли в дом. Кабинет был пуст, и Лопарев, выглянув в коридор, сказал кому-то:

— Найдите-ка Саморукова! Скажите: ждут!

Потом он сел за письменный стол лесничего и принялся внимательно рассматривать бумаги под стеклом. Одну, разлинованную на графы и заполненную цифрами, вынул из-под стекла и, что-то прикинув на огромных счетах, лежавших тут же на столе, сказал:

— Умеют, черти, сводки составлять. Сила!

Позвонил телефон. Лопарев ответил:

— Лесхоз слушает!

Должно быть, кто-то спрашивал лесничего.

— Через полчаса освободится! — сказал Лопарев и повесил трубку.

Андрей и Рязанцев сидели на черном потертом диване и разглядывали лесоустроительную карту.

— Государство! — усмехнулся Рязанцев. И Андрей подтвердил:

— Люксембург! А может, и целый Бенилюкс!

Оба они вдруг оказались словно на приеме у Михаила Михайловича Лопарева, а тот не торопился начинать с ними разговор.

Наконец пришел Саморуков — невысокого роста, без фуражки и в форменной расстегнутой тужурке, в желтых сапогах. Брюки и сапоги были у него в опилках, веселое лицо, кажется, тоже в них же, но на самом деле это были веснушки, а руки он нес впереди себя — они были у него в чем-то вымазаны, — и первое, что спросил у него Лопарев, было:

— В чем это они у тебя?

— Солидол! — ответил Саморуков. — Фляга, понимаешь ли, срочно потребовалась, никак не опростаешь проклятую!

— Вели плеснуть бензина с литровку, а потом спичку туда. Выгорит — будет, как в аптеке. За пивом можно посылать!

— Точно ведь! — сказал Саморуков, перегнулся через подоконник и крикнул: — Антоныч! Эй, Антоныч! Скажи Черенкову — пусть плеснет во флягу литровку бензина и спичку туда! Понял? Чудненько!

Лопарев, представив лесничему Рязанцева и Андрея, спросил:

— Что, и в самом деле за пивом? Ты садись-ка! — И уступил место за письменным столом, а сам сел сбоку. — Сводки у тебя — железобетон! Ажур, да и только!

— Насчет пива: суббота ведь. А насчет сводок: шуруем! У меня бух — сплошное золото. Статистика тоже не подкачает. Директора вот нету по сю пору. Сам за двоих.

— Идут дела?

— Срубы — это раз! Из степей приезжают, с Алея, с Кулунды — срубы покупают на корню! Сначала мы шесть на шесть метров всего-то и рубили, а теперь уже до двенадцати на четырнадцать дошли! Тарная дощечка — это два! Пиломатериал. Сначала необрезной, теперь обрезной — тоже технический прогресс. Само собой, дрова...

— С начальством в районе как живешь?

— Нормально! Для райкома беседы проводим, плакаты вот повесили, а райисполком мне что? У райисполкома у самого-то одни бумаги! А у меня срубы, пиломатериал, дрова, поделки разные, ширпотреба, ну и — пролетариат! Между прочим, пролетариат на меня ни-когда не обижается! Живем душа в душу! С коровешкой помочь, с постройкой, с ульями — как часы иду навстречу. И в лесу не притесняю. Доверие: кому выпишет лесник билет, кому откажет — с моей стороны полное доверие!

— Значит, сила.

— А как же.

Зазвонил телефон, снова Лопарев снял трубку.

— Минут через двадцать освободится.

— Может, по личному... — сказал Саморуков и куском газеты стал вытирать руки.

— И по личному обождут. Вот еще что скажи, — задумчиво спросил Лопарев, — вот ты индустрию на своей ограде развиваешь, а энергетика? Топливо на движки из Бийска возишь или с Тузкты? Бешеные деньги платишь?

— Узкое место! — вздохнул Саморуков и даже как-то сник, живое выражение с его некрупного лица в веснушках исчезло, он стал сосредоточен. — Самое узкое. Отсюда себестоимость продукции. Отсюда же автоколонну надо содержать, для транспорта горячего, ей-богу! А тут с деловой древесиной не управляемся возить!

Здесь, в этом месте разговора, Рязанцев стал весь внимание: еще как только в кабинет вошел Саморуков, он чем-то напомнил ему заведующего райкомхозом и встречу на разрушенной плотине в Усть-Чаре. Только тот был каким-то более мягким, Райкомхоз, податливым и даже лиричным, а этот очень был живой, предприимчивый, наверное и жуликоватый. Рязанцева до сих пор тревожили вопросы, на которые он не смог ответить Райкомхозу и управляющему банком. И вот все повторяется сначала — те же вопросы. Все сначала...

— Общее положение на Алтае, — сказал Рязанцев. — Источники энергии на каждом шагу, а использовать невозможно. Очевидно, надо ждать большой электрификации, ГЭС на Бии и Катуня.

— Ждать надо. А нынешний день куда денешь? — сказал Лопарев и потер ладонью лоб.

— Вот и в Усть-Чаре тоже... ГЭС разрушена, жидкое топливо возить далеко и дорого, дрова чуть ли не сорок рублей за кубометр... — И сказав это, Рязанцев даже почувствовал какое-то облегчение: «Кто и что на это сможет ему ответить?»

Саморуков вытер пальцы и бросил газету в корзинку.

— Там, в Усть-Чаре, лесхоз ничего не придумает. Там Бородкин за главного — ученый шибко, все в газетку факты пишет. Про охрану лесов! — И кивнул на корзину.

— А вы придумаете? — спросил Рязанцев.

— Так ведь куда денешься? Жизнь, она заставит! А вот с ним, с Михалом Михалычем, вдвоем даже определенно смараковали бы. А? Михал Михалыч? Или ты тоже в ученые подался? Нынче, брат, все в теорию. А на кого же практику покинули?

— Вот что, — проговорил задумчиво Лопарев. — Если так: порубочные остатки и отходы производства не возить, а сжигать прямо на лесосеке или на производственной площадке? В локомотиве. От локомотива — генератор. Трехфазный. Линия передачи — сюда. — Лопарев постучал по стеклу письменного стола. — Тут — трансформатор и моторчики. Ясно?

Рязанцев словно в первый раз видел ушастую голову Лопарева, его приплюснутый нос и угрюмоватые, сосредоточенные глаза...

Саморуков же вдруг засмеялся, хлопнул себя по коленкам, а потом Лопарева по плечу.

— Я же говорил: «Мы с ним вдвоем...» Да что там! Я Лопареву всегда толковал: «Зачем тебе теория, когда ты практически способен решать?» Только вот что, Михал Михалыч, все это электрическое хозяйство и особо линию передачи — мне не поднять! Считаю семь, а то и десять километров.

— Тогда кооперируемся с райкомхозом, — сказал Лопарев. — Согласуем с ним фазы, напряжение и — порядок! Они нам днем подбрасывают моторную энергию, мы им ночью — осветительную.

— Ежели дело выгорит, враз развернусь на полную катушку. Р-развернусь!

— Не развернешься... — пожал плечами Лопарев. — Не очеь.

— Почему это?

— Да так... Так думаю.

Саморуков вопросительно поглядел на Лопарева и что-то стал соображать.

— Слушай, Лопарев, а зачем ты ко мне приехал? Зачем он приехал? — спросил Саморуков еще и у Рязанцева.

Лопарев на вопрос Саморукова не ответил, сам спросил:

— Подсобное предприятие развертываешь — так. Под-соб-ное! А лесные культуры? А возобновление? А лесосеки как отводишь — через пень-колоду, с полным доверием к лесникам?! А семена не заготавливаешь? Ты что же, леспромхоз или лесхоз? Ты кто?

Саморуков, ничуть не задумываясь, ответил:

— Я, брат, хозяйственник! Ясное дело и понятное: хозяйственник. И меня подсобным предприятием стимулируют. Говорят: «Это твой стимул».

— И премии дают...

— А без премий на кой черт мне стимул? Мы, брат, в теории тоже кое-что схватываем. По академику Павлову: «Стимул» — значит, у меня и у всех моих лесничих и лесников рефлекс враз срабатывает. Безусловно!

— Ладно, — махнул рукой Лопарев. — Это еще посмотрим — безусловно или условно. — И вдруг неожиданно спросил: — Алтайский язык знаешь?

— Какое! Русский скоро забуду, на один хозяйственный перейду: «Ты — мне, я — тебе! Я — тебе, ты — мне!» Все!

— А надо знать... Надо легенды алтайские изучить. Поверия. Пословицы. Все, что касается леса, на алтайском языке.

— А вот я хотя и хозяйственник, но скажу: современность у тебя где, товарищ Лопарев? Легендами заниматься, а современность обождет? — Саморуков помолчал и вздохнул: — Значит, меня зажимать будешь вот так? — И показал кулаком как.

— Крепче...

— Ты зажмешь! С тебя хватит по старой дружбе! Знаю я вашего Лопарева, — кивнул Саморуков Рязанцеву и еще раз — Андрею. — Ну так что же, зачем вы его ко мне привезли?

Рязанцев и Андрей молчали, и Саморуков спросил:

— Что, Михал Михалыч, догадался я?

— Может, и догадался... — согласился Лопарев.

— Что же твои дружки все еще секрет делают? Да что там, за мной не станет, я это дело отмечу, как надо! А расчет ваш правильный: суббота. — И Саморуков, встав и перегнувшись через подоконник, крикнул в ограду: — Антоныч! Эй, Антоныч!

— Чо тако... — отозвался густой неторопливый басок.

— Флягу отвезли?

— Отвезли...

— А привезли?

— Привезли...

— Порядок полный?

— А как ешшо-то — полный...

— Зайди-ка сюда!

— Чо тако?

— Зайди, зайди!

Почти тотчас по коридору раздались быстрые шаги и распахнулась дверь. Человек всего лет около тридцати, смуглый и кудрявый, в форменной фуражке, в пестрой рубашке-безрукавке на выпуск оглядел приезжих и сказал тем самым басом, который только что слышался со двора:

— Знакомы будем!

Это было так неожиданно, что Рязанцев и Андрей переглянулись снова и засмеялись, а Саморуков был очень доволен произведенным эффектом и сказал:

— Антоныч наш! Командир всему конскому поголовью и первый хозяин на ограде! Вот глядите, какой нынче на Алтае кержак пошел: одет по моде, девкам-бабам смерть, курит-выпивает и работает ударно. Разговор дооктябрьского происхождения, я считаю, простим. А? Простим?

Очень доволен был Саморуков, наслаждался удивлением гостей и совсем не заметил, как они были поражены, когда он снова обратился к Антонычу:

— Вот, Антоныч, пошуруй насчет второй фляги, поскольку встречаем нового директора! Знакомся: Лопарев Михаил Михалыч!

— Признаю, — кивнул Антоныч, широко улыбувшись. — В прошлом годе ездили в старые маральники по Заячьему ручью... Под вами серый еще захромел. Помните? На переднюю правую?

В небольшом кабинете бас Антоныча был еще гуще, но ни Рязанцев, ни Андрей этому басу уже не удивлялись, не замечали его. Лопарев же спросил:

— Вылечили серого?

— По самую зиму ходил по бюллютню. Лисы в питомнике по ем уже облизывались, мяско причуяли. Однако выходил. Значит, вы к руководству?

И Саморуков тоже спросил:

— Слушай, Михал Михалыч, ну а как же с диссертацией? Крест поставил?

— Зачем это? Я тут, в лесхозе, материал буду иметь побогаче, чем в экспедиции...

— Значит, на два фронта... Дела когда принимать будешь?

— Не торопись, Саморуков,— сказал Лопарев.— Подождем. В октябре, не раньше. Уже после того, как экспедицию закончим.

— Слух-то был,— кивнул Саморуков.— Управление тебе который раз будто предлагало, ты все отказывался. Но хитер: нет, чтобы сразу объявиться?

— А что ты хочешь: «Здорово! Я твой директор!»? Даже неудобно.

— Так-то вот снова встретились! Может, к лучшему: зажмешь меня? А то дело мое хозяйственное такое, что бабушка надвое сказала: то зажимают-зажимают, потом выгонят, а то не зажимают, не зажимают, а после посадят. Точно! А с Лопаревым у нас такая история — в управлении вместе служили! — пояснил Саморуков. Пояснил и снова засмеялся: — Бумажки вместе писали! — Воспоминание удивило его самого, он ткнул чумазыми пальцами в бумаги на столе: — Вот такие же, только с утра до вечера! Между прочим, я и там, в управлении, пообвык. Ничего, жить можно, только последние часа два каждый божий день сидишь, как на иголках! Проклятый звонок ждешь.

— Какой звонок? — не понял Рязанцев.

— Ну, об окончании рабочего дня. Известно ведь — ждать да еще догонять хуже нет! А в остальном привык. Говорят же: человек такое существо, ко всему привыкнуть может. А ты вот, Михал Михалыч, к науке не привык. Не вышло!

— Вышло! — сказал сердито Лопарев.— Вот и тебя к науке приручу — почувствуешь, что вышло.

— Да ну-у! Ты, может, и женился уже?!

— Нет. Не женился.

— Так я тебя женю! Заживем: я с наукой, ты с женой. И уговор: не разводиться.

— Вот что, за пивом ты не посылай, Саморуков. Не надо. Пить не будем. Коней наших, Антоныч, накормишь. Со светом завтра мы тронемся. Насчет проводника сообразишь? Нам с Николаем Ивановичем две-три переправы показать через речки, больше ничего. В остальном сами разберемся.

— Не хочешь, значит, купаться?

— Сезон прошел.

— Без купания обойдетесь! Поедете с Антонычем — он все броды-переправы как свои пять пальцев знает... А ты вот что скажи: стимул у нас будет? Или ликвидируешь, как вступишь в должность?

— Будет.

— Какой?

— Моральный.

— Моральным я, брат, и без тебя за сто двадцать рублей в год буду сыт вот — выше головы!

— То есть как?

— Просто: две газеты по шестьдесят рублей каждая.

— Ну что же, для морали у тебя, видать, свои единицы измерения. Саморуков неожиданно смутился.

— Ладно,— махнул он чумазой рукой.— Наука, всякие там статьи да еще решения с постановлениями — это одно. А практика — другое. Погляжу я, как ты их будешь в одно соединять. Интересно.

— Погляди,— сказал Лопарев и посмотрел на Андрея.

Андрей чуть кивнул... Понял все.

Вот почему Лопарев настаивал на поездке Андрея в лесхоз: чтобы

он услышал все, что здесь говорилось, и как-то подготовил отца к уходу аспиранта. Лопарев решил порвать с отцом.

Еще отчетливее возникло перед Андреем его желание: скорее-скорее ехать в кедрачи, найти там буроземы и вернуться к отцу, чтобы стать с ним на равных.

### Глава девятнадцатая

Отдохнувший гнедко шагал бодро, только в самом начале пути все оглядывался на усадьбу лесхоза, удивляясь, должно быть, почему это вдруг он остался один, где два вчерашних его спутника — остромордый конек Рязанцева и рассудительная неторопливая кобылка Лопарева?

Но уже километра за два от лесхоза гнедой понял, что ему предстоит шагать одному, что дело это ответственное, совсем иное дело, чем тянуться вслед за лошадью, которая идет впереди и первой преодолевает неожиданные повороты, подъемы, спуски, валежины и камни... Он посерьезнел, походка стала у него осторожнее.

Еще спустя некоторое время у гнедого, наверное, появилась мысль, что тропа ведет его обратно к дому, — он стал расторопнее, смысленее, как-то весь подтянулся и на ровных местах без всяких понуканий переходил в рысь, а однажды даже пошел было наметом.

Андрей догадывался, откуда у гнедого появилось этакое служебное рвение. По крайней мере до вечера им предстояло двигаться вчерашней тропой в обратном направлении. Ну, а потом он резко свернет вправо. В том месте, где река дробится на протоки и протоки эти неглубокие, удобные для брода.

Опустив повод, Андрей покачивался в седле и вспоминал вчерашний разговор Лопарева с Саморуковым.

Интересный был разговор. И обижаться было на Лопарева совершенно не за что — правильно поступает Михмих!

Позавидуешь: если он что изучает, так обязательно к делу. Сегодня изучал, а завтра пошел и сделал. Сегодня он считает, что в науке для него главное, а завтра главное оказалось не в науке, а в практике — и он спокойно идет туда, не задумываясь, где и какие для него будут условия, где труднее, а где легче.

Андрей так не смог бы — нужно еще пожить на свете. И отец тоже не смог бы — стар для этого.

Нынче утром, когда прощались, Лопарев поглядел на Андрея вопрошительно: не обиделся ли он за отца? Ведь это же обида, если от руководителя уходит аспирант? Нет, Андрей не обиделся. Нисколько. Уж кто-кто, а он-то знает, что отец — не учитель. Не учитель, но из тех профессоров и доцентов, которые считают своим долгом обязательно прочесть лекцию обо всем, что им самим сколько-нибудь известно.

Такие доценты не догадываются, что если бы они сами пошли сдавать экзамены, то засыпались бы на первой же сессии и уж во всяком случае остались без «степешки». Очень просто: им не осилить было бы сразу всех наук, которые они все вместе сваливают на голову каждого студента. Они забыли те времена, когда сами были студентами и точно так же думали о своих назойливых доцентах. Забыли, что вместе с наукой развивается и память и способности каждого поколения.

В университете Андрей слушал и других профессоров и доцентов — те даже и не пытались говорить обо всем, что знают. Но некоторым в молодости, должно быть, не так уж много дали, зато все объяснили, не научив объяснять вещи самим, и вот они следуют этому примеру.

Еще отец очень чувствителен, подвержен бесконечным настроениям.

Вершинин-младший слышал, будто к людям приходит плохое или хорошее настроение, но никогда не мог сообразить, что это значит.

Девчонки, те, может быть, и в самом деле рождаются с настроением; что же касается мужского пола, так он сам был его представителем и понимал цену мужских вздохов: блажь!

Был у них один такой на курсе философ — поглядишь, так можно подумать, будто у человека страшное несчастье, а это у него настроение.

Какое там настроение, с чего ему взяться, если парень бездельник? Забот у него никаких, ко всему относится спустя рукава, даже за волейбольную команду не болеет...

Кажется, впервые Андрей пережил настроение, когда умерла Онежка. Пришло ощущение чего-то постыдно ненормального и необъяснимого, тягостного и тревожного. Он с этим ощущением боролся.

Всегда и во всем самое главное — это знать о себе, что ты делаешь самое главное. Когда ты это знаешь, все становится на свои места. Печальное, глупое, неразумное — все отступает куда-то прочь.

Вслед за этой мыслью к нему пришла другая: «А что, если переправиться через реку? Тогда и заезд в лесхоз будет оправдан, и маршрут по кедрачам будет не от лагеря, а к лагерю, опять экономия времени и точнее можно будет установить границы распространения буроземов».

Все доводы были «за». Против — одна только река...

Река была зеленой, такой же, как и вчера, но теперь Андрей видел, что вся она — прозрачная, зеленая и глубокая — наполнена движением... Андрей представил себя где-то на середине реки в этом движении, которое увлекает его слева направо, он же вопреки действующим на него силам пересекает реку поперек... Получалось, можно это сделать...

Подумал о своем брате-спортсмене: «Ориона бы сюда, Орьку! Он бы реку переплыл саженками!» Андрей помахал руками и убедился — он тоже может. Одно дело — спортивные рекорды по прыжкам в длину. Другое — вот такая река. Тут дорожки для разбега никто не разравнивал, ящики песком и опилками не набивал. Тут надо с толком выбрать место для переправы и еще справиться с конем!.. В конце концов успех зависел от гнедого, на себя Андрей надеялся. Конечно, может что-нибудь приключиться, но утонуть — нет, он до этого не допустит! Гнедко же — бодрый и сообразительный — внушал ему доверие.

И Андрей внимательно вглядывался в берега, в струи, которые угадывались в русле реки, и думал о том, какой он благоразумный: не лезет очертя голову куда попало, а выбирает самое подходящее место. Не торопится.

Сознание своего благоразумия он испытывал все время, покуда бросал в воду сухие ветки, чтобы проследить направление струй в реке, и делал гимнастику, чтобы подготовить себя к предстоящему заплыву. Когда затеешь правильное дело, так и непредвиденные обстоятельства начинают тебе служить: заехали вчера в лесхоз — сегодня это оказалось совсем кстати!

Осмотрел подпругу и уздечку: все ли надежно, все ли крепко. Тщательно приторочил рюкзак, спальный и вещевые мешки и свою одежду. Оставшись в одних трусах, в порядке подготовки организма окупнулся в холодную воду и еще раз проделал комплекс гимнастических упражнений.

Все. Счастливая же мысль пришла ему! В последний момент он задумался, что лучше: взнуздать гнедого — и тогда с ним легче будет управляться в реке, или оставить разнузданным — тогда лошади будет легче плыть? Андрею и раньше доводилось переправляться с лошадьми, но почему-то не запомнилось, как в таких случаях поступают с уздеч-

ками. В конце концов он решил сделать облегчение гнедому и не стал его взнуздывать.

После этого Андрюха вошел в воду и повел за собой гнедого. Берег был из обкатанных крупных камней, и гнедой ступал уверенно до тех пор, пока вода не стала ему по грудь. Тут он вдруг начал упрячиться, садиться на круп и задирать морду. Тогда Андрюха намотал повод на правую руку, этой же рукой взял гнедого за узду и с силой дернул на себя. Гнедой соскользнул в воду, и они поплыли.

Все было так, как Андрюха предполагал: гнедой плыл, задрав кверху голову, часть рюкзака и спальный мешок подмокли, но одежда оставалась сухой. Андрюха плыл рядом, держась правой рукой с намотанным на нее поводом за шею гнедого, а левой он греб сильно и размеренно, в такт своему дыханию. На воде самое главное — работать руками и ногами в такт дыханию. Правда, сейчас это было не совсем просто: ему приходилось еще соизмерять свои движения с движениями гнедого, но Андрей быстро уловил ритм, в котором гнедой плыл. Хорошо, что Андрей не левша и не правша: еще в детстве позаботился, чтобы руки были развиты одинаково. Пригодилось!

— Ну-ну! Ну, гнедой! — говорил он изредка и как можно спокойнее, чтобы подбодрить коня и в то же время не испугать его, не подействовать ему на нервы. — Ну-ну! Дело идет нормально!

Все шло так, как было задумано... кроме одного: они оба старались, а противоположный берег почти совсем не приближался к ним, течение быстро-быстро несло их вниз. Но усталости не было, и Андрей подумал, что, если устанет, сможет минуту подержаться за шею гнедого обеими руками. Минуты хватит для отдыха. Кроме того, Андрей надеялся, что скоро они уже достигнут струи, которая была в сторону противоположного берега, и это поможет им.

Так они плыли довольно долго... Унесло их далеко, гнедой стал дышать и фыркать громче и чаще, а голова торчала теперь у него из воды совсем немного — пестрые губы, глаза и уши.

Струя, на которую Андрей так надеялся, мчалась, обгоняя все другие струи, он увидел ее глазами — впереди засверкали зеленые острые лезвия; ее стало слышно — глухое ворчанье перемежалось иногда тонким звоном, будто лезвия скрещивались между собой, и она ощущалась всем телом, как бы сжимаясь и разжимаясь, она еще издали посылала несильные пульсирующие удары по плечам, рукам и ногам.

— Ну-ну! — говорил Андрей гнедому, чувствуя, что и тот ощущает эти удары и, кажется, боится их. — Все нормально! Давай-давай!

Струя вспыхивала все ярче, сильнее, и чаще были толчки в плечи и руки. Пронеслась черная, блестящая на солнце шепка... Вслед за этой шепкой промчался перед глазами жук-дровосек. Жука вращало сначала в одну сторону, потом останавливало и начинало вращать в другую с такой быстротой, что длинные усы не успевали за ним, и один ус оторвался, а другой был сломан почти посередине. И хотя она была сильной, эта струя, она была совершенно гладкой — не бурлила, не вздымалась над поверхностью реки.

— Ну-ну, гнедой! Давай-давай!

Струя отталкивала их прочь. Андрей и не стремился пересечь ее — берег силы, хотел вплыть в струю постепенно и сильнее наваливался на жесткие ребра гнедка, стараясь повернуть его под острым углом к течению...

И вдруг он оказался впереди лошади, его с силой дернуло за правую руку — это натянулся повод, и почти тотчас гнедого развернуло к нему задними ногами, так что он задел копытом ногу Андрея.



Шея у гнедого была согнута в сторону, с трудом он удерживал голову над водой. Повод тянул его вниз, не давал ему выпрямить шею, а на повод висел Андрей. Нужно было поднять руку над водой и ослабить повод, но вместо этого Андрей стал погружаться в воду и погружать за собой гнедого... Мгновение было для размышлений, и Андрей понял, что нельзя отпускать гнедого, потому что гнедой видит сейчас берег, с которого они поплыли, и, оставшись без повода, вернется на тот же берег, но и удерживать его в поводу можно было еще каких-нибудь одну-две секунды: после этого он захлебнется. Андрей сделал отчаянную попытку приблизиться к лошади и ослабить повод — это ему не удалось... Он отпустил повод. Работая теперь обеими руками, он звал гнедого, стараясь не испугать его и в то же время заглушить рокот воды... Гнедой плыл обратно.

Андрей хотел было его догнать и повернуть, но не чувствовал уже в себе достаточно сил и еще меньше был уверен в силах гнедого. Он решил вернуться, отдохнуть, обдумать, что и как, а после этого начать все сначала.

Они истратили много сил, и притом напрасно. «Это надо будет учесть, когда поплывем снова...» — думал он, все еще сознавая свое благоразумие. Но потом пришлось упрекнуть себя: выбирая место переправы, он внимательно всматривался в противоположный берег, не подумав о том, что, может быть, придется вернуться обратно. А вдруг им нигде будет выбраться на берег, если берег отвесный?

Андрей еще зацепится за какой-нибудь выступ либо за прибрежный куст. А гнедой?

Дело могло кончиться неважно — ниже по течению берег был отвесным, как стена; однако гнедой тоже сообразил, что нужно стараться, и выплыл к последнему пологому участку — дальше уже шла сплошная крутизна. Андрей ему помог: вышел на берег первым, а потом вернулся в воду и подхватил повод.

— Ты что же это, лошадь, соображать надо, где право, где лево. Голова у тебя большая, а поплыл обратно!

Сняв с седла сапоги, он надел их и повел гнедого вдоль берега на прежнее место, откуда они начали переправу.

«В общем, — думал он, — все правильно! Место выбрано хорошее, и все действия тоже правильные. Ошибка в том, что позволил струе оторвать себя от гнедого... Пока мы вместе, пусть крутит и вертит — все равно выберемся!»

Перед новым заплывом Андрей долго лежал на спине и на животе, стараясь прогреться под солнышком и как можно больше расслабить мускулы. Он прикидывал, сколько у них с гнедым оставалось в запасе сил и сколько их еще требовалось, чтобы достигнуть противоположного берега. Величины получались, кажется, равные.

Гнедой ни за что не хотел снова идти в воду, и Андрей сел верхом, сильно хлестнул его, а потом соскользнул в воду, и они начали все снова.

На этот раз струю на середине реки было почти не видно: падала тень от облака, и неравномерное освещение мешало разглядеть ее. Но Андрей уже научился чувствовать пульсирующие удары, которые сначала были совсем слабыми, а потом становились все сильнее. Он вовремя обхватил шею гнедого двумя руками, по-прежнему, однако, оставаясь сбоку от него, и не противился, когда струя захватила их и закрутила, как того жука-дровосека, которого она унесла теперь куда-то далеко-далеко...

Дело оказалось сложнее, чем он думал, потому что гнедой теперь уже сам решил повторить все в точности, как это было в первый раз, и

вернуться на тот же берег. Но Андрей был тоже учен и сильно ударил гнедого по морде справа, сам по-прежнему оставаясь слева от него и ласково его утешив:

— Ну-ну, лошадь! Все нормально! Давай-давай!

Гнедой взял правильное направление и не пытался больше действовать самостоятельно. Андрей же отчетливо понял, что от него требовалось: требовалось согласовать все силы, которые сейчас действовали, — силу течения, силу лошади и свою собственную. Их нужно было соединить во что-то одно, направленное к противоположному берегу. Он не знал, как это можно сделать, но зная, что это нужно, что без этого нельзя, рванулся вперед, потом прижался к скользким ребрам гнедого, переждал мгновение, когда гнедой выдыхал воздух через вывернутые наружу ноздри, а когда он вдыхал — приподнял ему голову. Так он проделал несколько раз, заставив гнедого дышать ровно и размеренно, а в такт его дыханию, которое он чувствовал, как свое собственное, стал грести левой рукой. Третья сила — течение — боролась с ними двумя, слитыми вместе, но и в ней была какая-то составляющая, которая не отрывала их друг от друга, а прижимала как можно плотнее, подталкивая к берегу. Этим прижатием и этим подталкиванием нужно было пользоваться. Ничего лишнего нельзя было допустить — ни лишних движений, ни дыханий, ни торопливости, а тем более ни малейшего замешательства...

Еще труднее было выплыть из струи, которая не приближалась, оказывается, к берегу, а снова уходила на середину реки.

В зрачке гнедого отражался уже берег — со скалами и кедрами, с зеленой каймой прибрежной полосы, и Андрей чувствовал, что это отражение — самое главное, что оставалось еще у гнедого в этой жизни и что он, Андрей, как-то сразу стал гнедому в тяжесть. Гнедой его слушался, но слушался только потому, что у него больше не было сил сопротивляться. Из пестрой, по-собачьи раскрытой пасти его вырывался тяжкий храп.

Андрей перебрал в руке повод, подsunул его под седло, перехватил гнедого руками... Оказавшись сзади, он изо всей силы ударил его в круп и заорал:

— Пошел!

Гнедой рванулся вперед. Андрей же схватил его за хвост, чувствуя, как жесткие волосы врезаются ему в пальцы. Минуту он тянулся за гнедым, когда же гнедой снова стал оседать вниз, он снова крикнул: «Пошел!» — и разжал руки.

Но еще преждевременно было вкладывать все свои силы, сколько их есть, в последний рывок и менять ритм движений... Когда же Андрей почувствовал, что еще немного — и будет уже поздно, он закрыл глаза и, погрузив голову в воду, приподнимая ее только для вдохов и выдохов, вложил всего себя в эти движения.

На берегу Андрей лежал неподвижно до тех пор, пока не продрог окончательно и камни не разрисовали ему живот и руки синими и красными рубцами. Он повернулся на бок.

Оглянулся...

Гнедой лежал неподалеку, подогнув ноги и упершись носом в серый с красными пятнами камень.

Андрей подумал, что гнедой вот-вот может повернуться на бок, а потом на спину, а тогда поломает седло и помнет все имущество в рюкзаке.

Это соображение заставило его встать, а как только он оказался на ногах, появилось множество дел.

Он подошел к гнедому, расседлал его и осмотрел ноги. Не очень хо-

рошо, когда только что подкованный конь пускается вплавь! Ссадин на тонких и светлых бабках не было, гнедой нигде себя не засек. Он только впал в дурное настроение: оттопырил нижнюю губу и, словно дворняжка, высунул язык. Время от времени он громко икал, содрогаясь всем телом.

— Пройдет! — сказал ему Андрей.— Вот увидишь, пройдет!

И он вынул из рюкзака ручные часы, завернутые в пергаментную бумагу, которой взял с собой довольно много, чтобы завертывать обрзцы бурозема. Часы шли, серьезно и деловито отбивая свои «тик-так, тик-так».

— Порядок!

Патроны подмокли, и Андрей вынул пыжи, а порох рассыпал по пергаменту, чтобы подсох. Спички были совсем влажными, и хотя в этом было мало проку, он тоже разложил их по камням. Высохнут или не высохнут? Андрей погладил сырой порох, пощупал спички и вздохнул: «Не то качество!»

Гнедой, все еще лежа около пестрого камня, повел на Андрея грустным взглядом.

— Что, лошадь, думаешь, ничего не выйдет у меня с огоньком? — спросил Андрей.— Учись жить, лошадь!

И он достал из рюкзака лупу, направив ее на солнце, зажег маленькую веточку, а через несколько минут у него пылал уже костер, он принялся сушить спальный мешок и решил тут же, на берегу, готовить обед.

Нужно было восстановить силы, к тому же и в самом деле с заходом солнца он уже не сможет добыть огня и приготовить горячую пищу.

Он стал соображать, хватит ли ему одной консервной банки для обода или следует вскрыть сразу две, и тут заметил, что задний левый торок развязан. Он мгновенно сунул руку в отверстие и там на самом дне под тепловатой водой, заполнившей кожаный мешок, нащупал консервную банку... Одну... Другую... И всё — их только две осталось.

Каким образом развязался торок? Или он нечаянно дернул его, когда вертелся в шальной струе, или плохо заторочил на том берегу?

Две небольшие банки — одна с говяжьей тушенкой, другая с мясными щами — подмигивали веселыми солнечными зайчиками, и, поглядев сначала на них, а потом на гнедого, Андрей сказал:

— Действительно, еще неизвестно, кто из нас лошадь...

Потом он подумал, что прежде всего нужно одну из этих банок съесть, а за обедом как следует обдумать вопрос: что делать? Возвращаться за продуктами в село или не возвращаться? На голодный желудок такие вопросы не решаются.

Кусок хлеба превратился в месиво. Андрей посолил его. Ложка соленого хлеба — ложка горячего варева. Это было здорово! Это было бы очень здорово, если бы аппетит не портил проклятый вопрос...

Журчала вода в реке, словно ладонями шлепала о берега, глухо постукивала камнями, перекатывая их по дну... Ярко светило солнце. Андрей ел и думал...

Гнедой тем временем встал, вяло и очень задумчиво начал пощипывать травку, а потом повалился на песке, а еще спустя некоторое время заржал как-то пронзительно громко, словно жеребенок.

И Андрей собрал все свое подсушенное у костра снаряжение и заседлал гнедого.

До темноты предстояло проехать километров десять—пятнадцать вверх по ручью, где, по соображениям Андрея, должны были уже начаться буроземы.

Тропа была найдена довольно быстро, и, сориентировавшись по карте, он внимательно и чутко стал всматриваться во все окружающее.

Лес был лиственнично-кедровым, однообразным, но травяной покров и типы этого леса сменялись по мере того, как тропа шла все выше и выше, и Андрей думал о том, что самую правильную и точную типологию алтайских лесов создал профессор Г. В. Крылов... Андрею очень хотелось бы когда-нибудь встретиться с Крыловым, который тоже из года в год путешествовал по Алтаю и на работы которого очень часто ссылался Михмих. Отец при этом неизменно раздражался. Напрасно. Когда Андрей будет на равных с отцом, он сделает так, чтобы у них было больше общих друзей.

Еще Андрей думал, что он сильно виноват перед отцом: давно ему следовало стать с ним на равных, а он все откладывал это дело. Все из-за того, что был мальчишкой. А как же иначе — два года тому назад встретил на Алтае буроземы, но отнесся к этому факту совершенно по-мальчишески: не попытался определить границ их распространения, не описал как следует, не взял хороших образцов.

Потом, на зимних каникулах, когда кошки все-таки заскребли у него на душе, он послал эти плохонькие образцы академику Корабельникову, авторитету и первейшему знатоку почв Сибири, по карте которого отец составлял свою «Карту растительных ресурсов».

Старик Корабельников ответил. Ответил очень скоро, вежливо и точно таким образом, как отвечают пионерам и школьникам: «Дорогие ребята! Спасибо вам за то, что вы участвуете в серьезной и нужной работе! Образцы, которые вы мне прислали, я буду хранить, а если мне когда-нибудь еще раз придется посетить Горный Алтай — обязательно побываю в тех местах, где вы обнаружили эти почвы. Будьте здоровы, растите большие! Будьте исследователями с юных лет, а тогда вы обязательно станете людьми, очень полезными для науки!»

Ей-богу, так и выглядел ответ академика Корабельникова, даже еще обиднее, потому что он был адресован не вообще ребятам, а одному конкретному «ребенку». Это была наука: куда Андрей жив, будет ее помнить!

И все-таки обиду надо было преодолеть сразу же, но тут он снова оказался мальчишкой: рассердился на всю геоботанику и отправился в Тунгусскую самостоятельную экспедицию искать метеорит Кулика. Метеорит — это, конечно, серьезно, несерьезно было его решение попытаться счастья в другой области науки.

Не так это просто — изменить своей специальности. Нет, прошлое лето не пропало даром, но ведь можно было ухитриться в течение лета побывать и там и здесь?

Можно было!

Вечер застал Андрея в верховьях ручья, и так как спички действительно никуда уже не годились, он поторопился устроиться засветло: спутал гнедого, наломал кедровых веток и постелил на них потник, а на потник еще не совсем просохший спальный мешок.

Было очень холодно, не то от свежего воздуха, не то от влажного мешка, и Андрей не мог уснуть. Прележал, должно быть, с полчаса и все сердился на себя за то, что попусту теряет время: нужно было спать, набираться сил. Он даже мысли всякие гнал от себя прочь, чтобы они не мешали ему, но потом ему пришла в голову одна, от которой стало как будто теплее: он догадался, что нужно сделать, чтобы завтра ночевать у костра... Днем он подожжет лупой какую-нибудь сырую валежину изнутри, чтобы она только тлела без сильного огня. А ночевать придет к этой самой валежине. «Чем будет не камин? — подумал Андрей. — Только валежину нужно выбрать у самого ручья, чтобы потом легко можно

было сбросить ее в воду... Иначе наделаешь пожару!» И представив себе во всех подробностях, как тепло ему будет завтра вечером, Андрей заснул.

Ночью он проснулся снова и начал соображать, что бы такое придумать, от чего стало бы теплее.

«А вдруг,— подумал он,— я сплю уже на буроземах? Здорово!» И он опять погрузился в сон, твердя себе, что не должен больше просыпаться, что это баловство — не спать по ночам.

На рассвете очень трудно было дожждаться часа, когда солнце проникнет наконец в лес, а с ветвей и трав исчезнет густой серый иней. И Андрей не стал этого дожждаться, а выскочил из мешка и голый начал прыгать, что было сил.

— Черт подери,— сказал он, слушая, как зубы стучат у него о зубы,— турецкий марш, да и только! Сейчас мы с этой музыкой кончим!

И он принялся копать шурф.

Расчет был простой: когда солнце достигнет подножия леса, у него уже будет готов шурф, и с первыми же лучами он узнает, на буроземах он нынче спал или это еще не буроземы.

Солнце едва-едва касалось самых вершин огромных кедров, и там, вверху, возник какой-то иной лес, очень красивый, сияющий, из одних только вершинок, а ниже стоял зябкий сумрак, почти тень, в которой блуждали первые робкие лучи, иней же, казалось, твердел до состояния льда... Тихо было, только где-то неподалеку слышалась воркотня горлинки.

Андрей хотел было начать с записей, но подумал, что записи он сделает позже, при дневном свете, и саперной лопаткой принялся за работу.

Он копал, стоя на коленях и стараясь не разглядывать разрез, потому что сумрак мешал этому и путал краски почвы, словно одевал ее в маски. Он не заметил, когда ему стало жарко, и работал, обгоняя солнце: чувствовал, что шурф будет готов раньше, чем солнечный свет достигнет земли и осветит вертикальную стенку шурфа, обращенную на восток. Эта стенка называлась у почвоведов челом, название сейчас очень нравилось Андрею. Он то и дело поднимал голову и следил за тем, как солнечный свет опускался к земле. Когда лопата стукнулась о твердую породу, свет все еще блуждал в кедровых ветвях.

Он замерил глубину шурфа по зарубкам на рукояти лопаты — лопата была размечена через десять сантиметров длинными зарубками, через пять — короткими. Глубина семьдесят три сантиметра.

После этого лег на живот и стал ждать, когда же шурф окажется освещенным...

Солнце стекало по ветвям все ниже и ниже, в одно мгновение растворяя иней. Проникая внутрь каждой хвоинки, в складки коры и рассеивая неясные тени, которые еще клубились в ветвях, оно приближалось к шурфу — коснулось маковок высокой травы, потом их листьев, потом земли...

Андрей еще выровнял чело шурфа, и тут же на него упало солнце.

Первой была лесная подстилка, влажная, толщиной шесть—восемь сантиметров, она состояла главным образом из хвои, неразложившейся травы и кусочков мха... Солнце в мельчайших подробностях осветило подстилку, заблестело на остриях, гранях и зубчиках каждой хвоинки, сверкнуло в каплях влаги, заплело узор тонких, но четких теней от лепестков, хвоинок и даже от этих капель.

Подстилка обладала некоторой особенностью: резко выраженным ярко-желтым слоем микоризы — грибного корня, о котором полвека тому назад русский ученый Воронин впервые высказал предположение, что он, внедряясь в корни растений, способствует усиленному питанию де-

ревьев. Это было радостное предисловие — Андрей очень хотел, чтобы его буроземы оказались плодородными, чтобы они, как никакие другие почвы, способствовали росту и развитию кедра, чтобы они обладали мощной микоризой.

И он глядел на желтый слой подстилки, и сердце у него стучало гораздо громче и сильнее, чем вчера, когда он переплывал реку.

Несколько секунд все решали — сейчас должен был возникнуть в солнечном свете собственно бурозем.

И он возник — самый верхний почвенный горизонт «А» — темная, рыхлая, зернистая масса, пронизанная корнями, в которой без труда угадывалась, однако, связанная суглинистость, нечто целое и такое, что называлось почвенным организмом и еще буроземом... Ничего более бурого, чем это чело, Андрей никогда не видел. Там и здесь виднелись в буроземе кусочки серого щебня, значительно выветрившегося и еще больше подчеркивавшего иную, чем они сами, природу почвы.

Андрей вспомнил вдруг голос Рязанцева, который когда-то объяснял Рите и Онежке, что такое перегной, что значит на Земле этот тончайший почвенный слой.

Андрей тоже был тогда поблизости, но возвышенный стиль, в котором беседовал с девочками Рязанцев, его смутил, он ушел в сторону, тем более что Рязанцев не говорил ничего такого, чего Андрей бы не знал. Издали он видел, как Онежка изумлялась и как безучастна ко всему оставалась Рита. Онежка как будто его радовала тогда чем-то, а Рита сердилась... Все это вспомнилось на одно мгновение.

Солнце же текло и текло еще ниже по челу, с глубиной бурозем темнел, зерна в нем мельчали, и весь он становился более плотным, бесструктурным, переходя от горизонта к горизонту.

Потом все чаще и чаще солнце начало освещать в буроземе частицы щебня, и, наконец, оно стекло на самое дно шурфа... Последний горизонт «ВС» был сильно щебнистым, элювиоделювиальным, а промежутки между щебнем были заполнены тяжелосуглинистым коричнево-бурым мелкоземом.

Все...

Андрей прислушался: ему показалось, будто он слышит, как солнечный свет все течет по челу... Он долго еще лежал перед разрезом, наблюдая, как чело подсыхает на солнце, вдыхал испарения бурозема и ждал момента, когда наконец почувствует, что ему пора встать, сделать записи и обдумать все, что предстоит ему нынче предпринять — открывателю буроземов на Алтае.

Такой момент наступил. Он оторвал взгляд от чела, достал дневник.

«Кедрач злаково-мшистый, — была первая запись в соответствии с типологией профессора Крылова. — Полнота древостоя 0,9». Поглядел вверх. «Высота деревьев — 27 метров. Возраст — 200 лет. Подлесок...» Андрей поглядел в глубь леса, ощущая свою зоркость и точность глаза. «...рябина, жимолость алтайская, березка круглолистная...» Сориентировался по карте: «Высота над уровнем моря 1200 метров».

Потом он снова вернулся к шурфу, присев на корточки, описал подстилку, особо отметив ярко-желтый слой микоризы, почвенный горизонт «А» был от нуля до двенадцати сантиметров, «АБ» — от двенадцати до двадцати семи, «В» — двадцать семь — пятьдесят шесть и «ВС» — до самого дна шурфа.

Все это заняло несколько минут, и он вдруг почувствовал, что вот так же быстро и зорко сможет теперь работать трое, а то и четверо суток без отдыха.

— Вот что, лошадь, — сказал он гнедому, — мы вышли с тобой на орбиту, и теперь в нас по тысяче лошадиных сил!

## Глава двадцатая

Вершинин-старший не один раз приглашал с собой Рязанцева в луговой отряд. Но Рязанцев только передавал через него приветы Полине Свиридовой и от Полины тоже всякий раз, как возвращался Вершинин, получал приветы, а раза два-три она присылала коротенькие записочки: жива, здорова.

В нынешнем году луговой отряд выехал в экспедицию значительно раньше, чем высокогорный. Программа работ была у него меньше — Свиридова совсем не занималась лесами, а самым важным периодом для луговиков были часть июня—июль (время цветения трав), и полевые работы они тоже закончили раньше.

Вершинин отправил луговиков в институт, всех, кроме Свиридовой, — ее он включил в высокогорный отряд.

Приезда Свиридовой ждали с каким-то особенным нетерпением: новый человек обязательно нужен был в отряде. Хорошо, что этим новым человеком была женщина.

И хотя Рязанцев ее ждал, встреча произошла для него неожиданно.

Было за полдень, в лагере стояла та сосредоточенная тишина, когда каждый молчаливо занимался своим делом. Теперь бывало, что и час и другой никто не произносил ни слова.

Рязанцев сидел у входа в палатку, приводил в порядок абрисы и переносил на крупномасштабную карту данные последних маршрутов. И вдруг услышал женский голос:

— Здравствуй, Ника...

Вздрыгнул — перед ним стояла Свиридова. Загоревшая, в платочке, в красной кофточке и в темных шароварах. В сапогах.

Оказывается, Владимирогорский со своей машиной задержался в ближайшем поселке, чтобы пополнить продуктовые запасы отряда, а Свиридова его ждать не стала, пришла пешком.

— Как ты загорел, Ника-а... — протянула она с каким-то детским недоумением. — Как изменился! Не узнаешь!

— Все-таки, может быть, узнаешь?

— А я изменилась? По-твоему?

— Такая же.

Вечером было собрание. Свиридова слушала внимательно, молчала, что ей было непонятно — тихонько спрашивала у Рязанцева и только однажды усмехнулась — это когда Реутский заявил о своем отъезде.

Она серьезно, подолгу смотрела на всех. Спросила Рязанцева:

— Так ты уезжаешь завтра, Ника? В маршрут?

— Уезжаю...

— Ты хорошо умеешь верхом?

— Ну... прилично. — Рязанцев пожал плечами и хотел сказать ей, как она кстати приехала в отряд, хотя совсем уже немного оставалось работать нынче в поле. Но так и не сказал.

Они знали друг друга давно. Сеня, бывало, скандалил — то ли чай был слишком горячим, то ли он ругал весь белый свет, а в первую очередь врачей, которые говорили, будто он не может поехать на Суматру лично осмотреть самое южное в северном полушарии болото, — и Полина говорила ему:

— Не ругайся, Сеня. Бери пример с Ники: выдержка и спокойствие, спокойствие и выдержка. И вообще Ника хороший, если будешь ругаться, я уезжу к нему.

Сеня ухмылялся.

— Ты в Нике глубоко ошибаешься, Полина! Это однолюб и консер-

ватор. Никудышный мужчина. Ни одна порядочная женщина к такому не убежит. Никогда!

— А Зоя? Живет же с Никой? И не жалуется.

— Не в счет. Такая же.

— Нет, ты не верь, Ника, Сеньке. Ты — хороший. В тебя ничего не стоит влюбиться. Да еще как! Если уж на то пошло, в Нике есть драгоценное качество. Может быть, девушка его и не заметит, но женщина заметит обязательно.

Сеня и Рязанцев удивлялись вместе:

— Ну-у-у?!

— В Нике нет ничего лишнего.

— Бедный ты, Ника, право бедный. Это же для тещи. Женщины же, куда они женщины, как раз ценят в мужчинах все лишнее.

Разумеется, спор ничем не кончался. Полина уходила хлопотать по дому:

— Оставайтесь вдвоем. Мужчины, как девчонки: до смерти любят уединенные беседы. Поболтайте.

В другой раз Сеня сказал о жене:

— Хитрая... Всех моих поклонниц делает своими приятельницами.

— Сама не знаю, как это получается! — согласилась Полина. — Действительно, Аленушка Верховская, Вера Николаевна, и Верочка, и Кла-вочка — все стали моими приятельницами. Всего, наверное, человек десять. И ты знаешь, Ника, у моего Сеньки удивительный вкус! Они все очень неглупые женщины, очень интересные. Иногда думаешь: чего он в этой нашел? А познакомишься — в самом деле что-то есть. Удивительно, как он их распознает?!

— Позволь, в чем же тут хитрость? Твоя жена — исключительная женщина, вот о чем это говорит!

А Сеня засмеялся:

— Тупой семьянин! Это и есть высшая женская хитрость!

— Не понимаю! — сказал Рязанцев. — Не понимаю, Сеня. Для самого себя ты вырабатываешь одни правила, для жены — другие?

Сеня пожал тощими плечами.

— Ну что же, никогда я не убеждаю женщину, будто она единственная для меня. Не плачусь в жилетку. Не прошу меня по какому-нибудь поводу пожалеть. Все это недостойно мужчины. Не выдаю себя за ангела и не поворачиваюсь к женщине спиной, чтобы она посмотрела, не прорежутся ли у меня на лопатках ангельские крылышки. Я как Гёте: люблю двух женщин, первая — это моя жена, вторая — все остальные!

— Нелегко же этой, первой!

— Еще бы, — согласился Сеня.

Позже, после всех забот и хлопот, связанных с уходом человека из этого мира, Рязанцев зашел к Полине, и Полина сказала ему:

— Какое было счастье — завоевать любовь такого человека, как Сеня! Когда я этого достигла, мне показалось, я достигла всего, научилась всему, чему только могла научиться!

Рязанцев был поражен: оказывается, не Сеня завоевывал Полину, а она его!

— Чему же он тебя научил, Сеня? Все-таки?

— Чувствам. Чувствам, Ника...

Только иногда Полина казалась Рязанцеву либо счастливой, либо несчастной, но определенной. Это его успокаивало. Но так бывало редко и недолго. Обычно он не мог ее истолковать — ни взгляда ее глаз, ни приглушенного голоса, ни быстрых движений. А неистолкованная, она все время его тревожила.



И Рязанцев то и дело возвращался к ней мыслями, отрываясь от рукописей, в которых он уточнял величину притока солнечной энергии к разным широтам земного шара, величину испарения и осадков, градиенты этих величин, а затем выводил и градиент континентальности. Градиент континентальности должен был явиться новым словом в географии и климатологии, но определялся он медленно, зато однажды возникла у Рязанцева теория, с которой он должен был опять явиться к Полине. Он пришел к ней и сказал:

— В мире два гения — мужчины и женщины. Гений мужчины — это паровоз, самолет, открытие Америки, расщепление атома. Это Бетховен, Толстой, Репин, но все равно, все это открытия, открытия, открытия! Куда только одни открытия привели бы человека — никто не знает. Они ведь и соединяют людей и разъединяют их. Но есть еще гений женщины — как бы велик он ни был, он никогда не станет ни сенсацией, ни открытием, а между тем как раз он ставит людей в человеческие отношения друг к другу... И чем дальше идут открытия, тем больше необходим людям этот...

— Ну конечно,— как-то очень просто согласилась она. — Конечно, ты прав. Это знает каждая женщина. Если она — женщина... И, наверное, ты не сам пришел к этой мысли. Наверное, тебе подсказала ее женщина. Зоя?

Рязанцев и Зоя — его жена — были из одного класса, с одного двора и задолго до окончания школы они рассказали друг другу, кем они будут: он — географом, путешественником и ученым, Зоя — доктором.

Учились же в разных вузах и в разных городах, встретились только после войны.

И когда встретились, их несказанно удивило, что они такими и стали, какими хотели стать. Сколько жизней было унесено, сколько судеб искалечено — они же узнали друг в друге тех людей и те характеры, о которых мечтали, когда с людьми-то этих еще не было, а были мальчишки и девчонки из «А», «Б» и «В» классов 61-й школы, из первого, второго и третьего подъездов большого серого дома, с магазином охотничьих принадлежностей в первом этаже и с сердитым дворником Абдуллой во флигеле.

Должно быть, своим удивлением они были обязаны и своей любви уже не очень молодых людей — и тому и другому клонилось к тридцати.

И они думали, что это удивление будет сопутствовать им всю жизнь.

Рязанцев воевал в зенитной артиллерии, а потом война снилась ему каждую ночь, только он ее не видел, а слышал во сне — слышал грохот орудий и переживал невероятное напряжение боя, когда весь мир как будто превращается в цель, которую нужно сбить... И Зоя хотела бы забыть госпитали, палаты и коридоры, ампутации и трупы, но не верила, что когда-нибудь забудет.

А забыли оба уже через несколько лет. Школьные годы и те вспомнились гораздо чаще, словно они стали ближе, чем война. Наверное, так и нужно было — забыть войну, но вслед за тем исчезло и удивление друг другом. Как будто ничего особенного не было в их встрече, как будто иначе не могло быть. Любили, но уже не удивлялись.

Но вот лет пять тому назад Рязанцев заболел и оказался в областной больнице. Сосед по койке, немолодой, хворый, должно быть из больничных завсегдатаев, сказал ему:

— Повезло, парень...

— Какое же это везение — попасть в больницу?

— Третий раз ложусь и то христом-богом выпросился к доктору Рязанцевой. К Зое Павловне.

Доктор Зоя Павловна три недели ухаживала за Рязанцевым, наставляла его, поднимала на ноги, и когда она входила в палату во время обхода, снова и снова навещала больных в течение дня, а во время дежурства и ночью,— каждый раз при виде ее он удивлялся все больше и больше.

Какая она была твердая и ласковая — эта невысокая, довольно полная женщина, какие у нее были слова для больных, какие глаза, какие руки! В руках ее, очень сильных и нежных, люди становились как будто маленькими, послушными, они млели и по-детски улыбались.

То и дело врачи утверждают, будто они не могут лечить своих близких — жен и мужей, родителей и детей. Всегда ли они правы?

И когда Рязанцев вернулся из больницы и воплями радости его встретили двое мальчишек, он как будто впервые в жизни догадался, что эти мальчишки у него от нее, они ее дети — доктора Рязанцевой Зои Павловны.

Теща прослезилась, тесть принялся снимать с него пальто, а ему показалось чудом, что именно эти старики когда-то родили девочку, пеленали ее, носили на руках, вырастили из нее девушку, женщину — ту самую женщину.

Когда же он стал переодеваться в свой обычный костюм и увидел в гардеробе платья, то остановился в недоумении — это были ее платья, той женщины, которую дома муж называл Зайчиком.

Он обошел квартиру, разглядывая комнаты и закоулки: вот здесь эта женщина снимает пальто и боты, возвращаясь домой, вот этими чашками, кастрюлями и сковородками пользуется, чтобы приготовить еду, вот здесь обедает, завтракает и ужинает, вот здесь шьет на мальчишек штаны и рубашки, вот этот роман Митчела Уилсона она читает, этот журнал мод перелистывает, в этой ванне она моется, вот здесь спит.

У себя в кабинете он спросил: «А значит ли что-нибудь твоя география по сравнению со способностью одного человека возвращать жизнь другому? По сравнению с наукой ласково и твердо смотреть людям в глаза, вселять надежду?»

Но вот что случилось: как ни велико было его удивление, он в тот раз уже ни слова не сказал о нем Зое.

Почему не сказал?

Оказывается, дома ее трудно, невозможно было чем-то удивить и взволновать, разве только какие-то неприятности могли это сделать. Она возвращалась из больницы, умывалась, переодевалась, тотчас заходила к нему в кабинет и, усталая, расслабленная, рассказывала о своих заботах и неприятностях: о ссоре с главврачом, о том, что не хватает какого-то лекарства. Иногда она плакала и глядела на мужа мокрыми глазами до тех пор, покуда он не давал ей совета. В советы его она верила беспрекословно. Не в пример другим мужьям, жены которых тоже были врачами, Рязанцев не приобрел никаких познаний в медицине и не старался этого сделать, но все, что касалось отношений Зои с ее сослуживцами, все ее знакомства и размолвки постепенно перешли как бы в его ведение.

Такая — она не могла его удивить. Даже и в тот день, когда Рязанцев выписался из больницы, она, вернувшись спустя часа два, сказала: — Ну вот, ты же видел теперь, как у нас там...

И стала посвящать его в дальнейшие подробности больничной жизни — он уже не был для нее больным.

Наверное, нужно было сказать Зое что-то. Но никогда — ни юношей, ни мужчиной! — Рязанцев не умел говорить о любви.

Еще, бывало, студентом, если он видел в коридоре университета объявление: «В аудитории такой-то состоится дискуссия «Дружба, товарищество, любовь» или «Диспут «Есть ли любовь?» Записывайтесь для выступлений!» — так сторонился этих объявлений и думал, что для тех, кто запишется, любви, конечно, нет, если они пишут о ней на стенах.

Но больше всего поражали его тогда статьи в областной молодежной газете некоего писателя о том, что такое любовь, как надо и как не надо любить.

И однажды на улице ему показали этого писателя... Грудь вперед, четко отбивая шаг, навстречу двигался кудрявый и мордастый малый, косая сажень в плечах, без пиджака. Под шелковой рубашкой поигрывала мускулатура, и эта игривость то и дело нарушала задумчивое выражение лица.

С тех пор Рязанцев не читал статей на моральные темы... И вот настало время, когда он пришел к Полине и стал говорить ей и о своем удивлении Зоей и о том, как он разучился ею удивляться. Но тут же вдруг все это, все его слова показались ему чем-то несерьезным, совсем не самым главным. Кажется, он жаловался на свою жену, а он никогда в жизни ни на кого не жаловался. Кажется, он не то сам очень хотел быть похожим на того кудрявого и мордастого малого, который дотошно знал, как надо и как не надо любить, не то хотел, чтобы на него была похожа Полина.

Он замолчал.

Полина сидела в деревянном кресле с потертыми подлокотниками и низкой спинкой, не касаясь ни этих подлокотников, ни спинки. Лицо ее, как всегда, было чуть детским, с заметными щечками, с круглым и четким подбородком, глубоко посаженные глаза прикрыты ресницами. Все, как всегда, и только необычная, чуть растерянная улыбка...

И тут он понял, как он глуп, как бесконечно глуп перед нею, когда пытается что-то ей объяснить: объяснить себя, свои чувства. Она все понимала, не понимала только его глупости. И пришел он вовсе не для того, чтобы что-то ей объяснять, а чтобы увидеть ее вот такой — такой, какая она перед ним предстала.

Полина подняла к нему лицо. И вдруг поднялась сама.

— Знаешь что, Ника, я должна уйти. Сейчас же. У меня дело.

Это было прошлым летом, в июне, больше года назад. С тех пор они не встречались.

Не только не встречались, но Рязанцеву даже удавалось заставить себя мысленно не возвращаться к этой встрече. С трудом, но удавалось.

А нынче вспомнил...

Покуда ехал верхом в лесхоз и потом шесть дней в маршруте с Лопаревым по молчаливым, нетронутым, нетоптаным лесам — все время вспоминал, как это было...

## Глава двадцать первая

Андрей говорил себе, что ему повезло: в полной сохранности у него осталась жестяная коробочка с солью...

И он разводил костер, потряхивал этой коробочкой перед ухом — соль звенела, он слушал, как она звенит, а потом засыпал столовую ложку в котелок с луковицами кандыка сибирского.

Луковицы были крупные, сладковатые, слизистые, с очень высоким содержанием крахмала, и Андрей считал, что каждые две луковицы по питательным свойствам вполне можно приравнять к одной картофелине среднего размера.

«Чем не жизнь?» — спрашивал он, воображая, что кандык пахнет картофелем и что в руках у него кусочек хлеба, от которого он то и дело откусывает понемногу. Иногда же он старался не замечать этих запахов съестного — они его раздражали.

Еще не совсем созревшие кедровые шишки, поджаренные в золе костра, тоже издавали приятный аромат изысканного кондитерского изделия, но с ними было много возни, с этими шишками. Вышелушишь десятка два белых, неокрепших семечек, набьешь ими рот, прожухнешь, а пока все это проделаешь — снова проголодаешься... Нюхаешь, а не ешь. Ягод было достаточно, но они же тоже не столько еда, сколько запах.

Раза два или три Андрей пытался подстрелить горлинку, но влажный порох был ненадежным, и он решил, что затраты времени на такую охоту себя не оправдывают.

«Ничего,— говорил он себе,— в течение трех-четырех дней самой важной пищей может быть и духовная!»

Несмотря на это, неизменно один мешок был заполнен у него кандыком — на всякий случай. Этого растения из семейства лилейных, называемого еще собачьим зубом, было сколько угодно в кедрачах, но приходилось делать запас: а вдруг заедешь в такие места, где его не окажется?

Все-таки эта пища посерьезнее, чем ягоды и кедровые орехи и даже чем саранка, которая к тому же встречалась редко и только на полянах.

Всходило солнце, а у него уже готов был первый шурф. Он заставлял солнце опускаться вниз по челу, освещать буроземы горизонт за горизонтом, от «А» до «ВС», а сам лежал на животе и вдыхал запахи влажной земли.

Вставал, делал записи, и начиналась работа, как в первый день его путешествия по кедрачам, когда он проснулся на буроземах. Но однообразия не было никакого: перед ним возникала картина распространения буроземов, которую он создавал словно своею рукой.

Ему неизменно удавалось оставлять огонь в сырых валежинах, и ночевал он около костра, засыпая по собственной команде «Спать!», утром же какая-то сила вдруг выталкивала его из спального мешка, лишь только солнце прикасалось к вершинам кедров.

Все было похоже на то, как он переплывал реку: он тогда знал, как должен дышать, как должен двигаться в воде, управлять гнедым и бороться с течением; и теперь тоже совершенно точно знал, что должен делать, как двигаться каждый час, каждую минуту.

«Самое главное,— говорил он себе,— это знать, что ты делаешь самое главное!»

Только изредка Андрей отвлекался, чтобы передохнуть, отрегулировать напряжение, которое им владело. Чаще всего это случалось в седле, но и тогда мысль приходила к нему одна и та же: как много может человек, если он делает самое главное! Мысль была одна и та же, но Андрей почти не узнавал ее, потому что всякий раз она приходила к нему по-новому: вспоминал он что-то из ботаники, думал о буроземах, о себе или об отце, определял типы леса — она, эта мысль, присутствовала во всем. И он думал о каком-то одном человеке: как много он смог, потому что делал самое главное; о другом: как много он мог бы, если бы делал самое главное; о третьем: как многое он сможет, если будет делать самое главное; а обо всей окружающей природе, обо всем, что видел вокруг, он думал: как много можно узнать, если узнавать самое главное!

При всем том Андрей вовсе не был погружен в философию, совсем нет — у него было желание все время посмеиваться над кем-то, а так как он был один, он посмеивался над собой: «А ну, открыватель, копника еще один шурф!»

Еще он шутил над гнедым, по-прежнему называя его «лошадью»,— ему казалось, будто это немножко задевает гнедого.

Андрей даже перестал ощущать ту смутную неловкость перед Онежской, которую испытывал все эти дни, потому что она умерла, а он остался жить. Все то, что он сейчас делал, пусть немного, но оправдывало его.

К вечеру четвертого дня почувствовалось приближение грозы.

В лесу стало душно, а в небе, развесив белые космы, поплыли с запада на восток огромные белые тучи.

«Вот,— подумал Андрей,— я заканчиваю свой маршрут, и начинается гроза. Всему свое время. Порядок! Жми, лошадь, наверху мы лучше спрячемся с тобой в какой-нибудь уютной расщелине. Там скалы!»

И в самом деле, наверху нашлась уютная небольшая пещера, в ней можно было и развести огонь и вытянуться во весь рост.

Андрей натаскал хвороста, сделал подстилку, расстелил спальный мешок и стал ждать, когда гроза ударит, а она так и не собралась. Брызнул дождь, и снова стало ясно.

«Хитрая,— подумал Андрей о грозе.— Все равно, если уж грозовые явления возникают так поздно, лето нынче не уйдет без грома и без молнии. Еще будет дело...»

Тут он в первый раз ощутил, как устал за эти дни, как проголодался. Гошнило, голова кружилась...

Можно было тотчас тронуться в обратный путь, тем более что переправ на этом пути теперь не было, но ему показалось разумнее сначала немного отдохнуть. Оказывается, он устал страшно. Даже чувство голода заглушала усталость, хотя он почти непрерывно думал о том, что завтра, как раз в обед, подъедет к чайной в селе Карым.

Андрей никогда не любил отдыхать и не любил мыслей, которые приходят сами по себе и ни с того ни с сего — только потому, что выпало свободное время,— которые так же просто могут исчезнуть, как просто появляются. Ему нравилось до чего-то додумываться, ставить перед собой вопросы и отвечать на них, если же это не удавалось, так хотя бы думать, что ты на пути к этому.

Теперь же он испытал недоумение и еще какую-то тревогу, потому что мысли были о Рите.

Нельзя сказать, чтобы он о Рите никогда не думал,— думал, и довольно часто, но только тогда, когда он видел ее и слышал, а мысленно ни в чем с нею не соглашался — даже с ее существованием.

Она претила всем представлениям Андрея о жизни, всем, сколько их было, и с некоторых пор не соглашаться с нею стало даже чем-то необходимым для него.

Правда, накануне отъезда в нынешний маршрут, Андрей, очень удивившись своим словам, сказал Рите, чтобы она была лучше, что ему этого хочется. Слова не могли иметь никакого смысла — невероятно было, чтобы Рита стала другой, а он не в состоянии был ее другой представить, но они были сказаны, эти слова.

Он стал обдумывать, почему сказал их, и тут вспомнил, как увидел ее на скале, на самом обрыве... Рита стояла, глядя в пропасть, Андрей же был на противоположной стороне ущелья, в лесу, и видел ее.

До сих пор он ни в чем не соглашался с нею, но никогда она не могла его удивить, хотя, кажется, и старалась это сделать. Но тут он был удивлен. По-настоящему. Он подумал: «А вдруг не только я не согласен с ней и еще кто-то, а она сама с собой не согласна? Как же тогда она живет?» Это ему было совершенно непонятно — несогласие с самим собой.

Когда Рита пришла на собрание, села напротив только что приехавшей Свиридовой и стала на нее смотреть, он стал смотреть на Риту... «А вдруг смерть Онежки ее мучает?!» — появилась у него догадка.

Догадка была серьезной. А еще было одно несерьезное обстоятельство, которое Андрей не мог забыть.

Не мог забыть, как Рита поцеловала его в избушке пасечника. Прибежала к нему в комнату, опустилась перед ним на колени, схватила за голову и... «А ну ее к черту, — думал он сначала. — Если красивая, так ей все можно! Кукла!» Если бы он на этом с самим собой и порешил...

Но когда все вернулись в лагерь и отец, рассердившись так, как он редко сердится, вдруг захотел отправить Риту в луговой отряд к Свиридовой, Андрей решил отправиться вместе с ней именно из-за этого ее поцелуя: появилась, оказывается, какая-то обязанность перед нею, какая-то необходимость быть таким, каким она его видела и каким отец его видеть не хотел. И он, конечно, ушел бы тогда следом за Ритой в луговой отряд, но...

Вот кого ему не хватало — Онежки! С Онежкой они понимали друг друга всегда и во всем, и только когда вместе с ними бывала еще и Рита, она это понимание тотчас разрушала. Своими песнями, всем своим видом, просто своим присутствием.

Смеркалось... Из пещеры Андрей видел вершину, через которую уползали тучи несостоявшейся грозы, уползали неохотно, как будто то и дело собираясь вернуться и разразиться громом с молниями.

Они как будто делали загадку из своих намерений — вернемся, а когда?

Андрей поглядывал на них, а думал все время о Рите.

В своем университете Рита, конечно, пребывала в той компании, где совершенно необходим «треп» — остроты, каламбуры, насмешки и беспрерывное состязание в остроумии, а самый первый парень в этой компании — какой-нибудь «хохмач».

В общем-то Андрей ведь и сам был не прочь «потрепаться», но только недолго. С полчаса. Потом ему становилось скучно, и, вероятно, потому, что происхождение «трепа» казалось слишком очевидным.

Если кто этого не понимает, пусть сядет на студенческую скамью и с девяти утра до трех дня на лекциях, а вечерами еще на консультациях и коллоквиумах каждый день слушает истины. Не единими же истинами сыт человек!

Умудренный многочисленными экспедициями, встречами, а еще больше книгами, которых он уже немало успел прочесть на своем веку, Андрей предпочитал прямой разговор с теми, кто истины преподносил.

Он не спрашивал у лекторов «как?» или «почему?» — когда возникали эти вопросы, он считал делом чести разобраться в них самому, забившись в угол университетской библиотеки. Зато он обязательно поднимался с самого заднего ряда аудитории — любил задние ряды! — всякий раз, когда мог спросить лектора: «А может быть, правильное будет вот так?..»

Опять-таки далеко не всегда вопрос ставился в поисках истины. Андрей даже любил преподавателей, на занятиях у которых возникало как бы соревнование между учителем и учениками. Если преподаватель смущался, путался, Андрей шурил на него свои и без того узенькие глазки: «Учишь? Учи-учи, браток!» Если же преподаватель отвечал: «Ну что же, давайте разберемся вместе!» — это было как раз то, что требовалось.

И Андрей в своем университете сам был героем бесконечных «хохм» на тему о том, как «засыпаются» ассистенты, доценты и профессора.

Рита такого соревнования, конечно, не понимала: ей просто было бы скучно следить за тем, кто там прав, а кто неправ по существу. Андрей слышал, как она говорила Онежке:

— В ту зиму у меня было четыре пары новых туфельек! Один раз в неделю потанцевать в каждой — и то для занятий времени не оставалось!

Совсем рядом с ее туфельками Андрей ставил и Реутского.

Ничего Андрей не знал, но обо всем догадывался. Догадался сразу, что не случайно они оказались в экспедиции вместе — Реутский и Рита. А это вот что значит: грош цена девчонке, которая путается с начальством. Даже если бы Реутский был настоящим парнем, и тогда Рита не нашла бы у Андрея оправдания: кончай университет, если не можешь дотерпеть — бросай учиться или переходи в другой вуз, но среди своих будь своей, не теряй достоинства и не подрывай авторитета своей группы! Сразу ведь всем курсам и специальностям станет известно: «Это в вашей группе такая учится девчонка, которая..?»

А встречал Андрей славных девчат. И прекрасно знает, какими они бывают.

В прошлом году в самостоятельной Тунгусской экспедиции мошка жрала беспощадно, а насчет еды тоже было очень скудно: консервы таскали на себе и постреливали дичь, но дичи, как назло, было мало. Нынешние маршруты по Горному Алтаю — легкие прогулочки по сравнению с тем, что было в прошлом году. Работа была с мозолями — без конца копались в земле и пилили деревья, чтобы рассмотреть срезы.

Но какими замечательными оказались там девчонки! Отовсюду: из Томска, из Красноярска, из Ленинграда. Ни одна ни разу не заплакала, не всхлинула, не сделала ничего такого, что в тайге нельзя делать. У костра вместе с ребятами они судили о предстоящих маршрутах, о тайне метеорита и о жизни на других планетах. Судили, правда, по-своему, по-женски: вдумчиво, но несмело. Зато они понимали, что без них все эти суждения очень скоро стали бы скучными и утомительными, они понимали, когда им нужно пошутить, чтобы прервать слишком далеко зашедший спор между ребятами, а когда умолкнуть, чтобы не мешать спору очень интересному и серьезному.

И, глядя на них, слушая их песни, а иногда и потихоньку им подпевая грубоватым нескладным голосом, которого он сам стеснялся, Андрей подумал однажды, что в общем-то это неплохой закон природы, по которому все мальчишки женятся, а все девчонки выходят замуж. Вовсе нет... Еще он подумал тогда, что вот захочет и полюбит любую из них. Какая больше понравится, ту и полюбит и будет при этом думать: а почему бы и ей тоже не полюбить его?

И если в прошлом году он не полюбил ни одной и ни одна его не полюбила тоже, так зато он совершенно точно узнал, какой должна быть та, с которой все это случится. Вот какие это были девчонки! Они все похожи были на Онежку, а Онежка на них.

Рита такой не была. Больше того, любое слово, сказанное им Рите, он сам же воспринимал как измену тем девчонкам, которые его не полюбили, которых не полюбил он, а все-таки он был перед ними чем-то обязан, и они перед ним — тоже.

Нет, Рита совсем другая: она никогда не поймет, как это у костра, в лесу, в путешествии может быть дом человека... Ее дом должен выходить окнами на главную улицу большого города — она и об этом говорила как-то Онежке, Андрей же и это тоже слышал. Все он слышал и ничего ей не прощал. И не простит!

Но тут Андрей вдруг подумал, что если бы он не обнаружил буроземов, если бы позапрошлогоднее его открытие оказалось не открытием,

а просто недоразумением, ему было бы очень стыдно перед этой девчонкой. Стыдно, да и только!

Перед ней он хотел быть мужчиной. Он был младше ее, а хотел быть взрослее. Она была безразлична к науке, а он должен был заставить ее сдать, покончить с этим безразличием.

Теперь образцы бурозема, завернутые в пергамент и закупоренные в бюксы, лежали у него в рюкзаке, в ногах... Когда Андрей вернется в лагерь, он, может быть, ни слова не скажет Рите об этих образцах, зато, что бы он ей ни сказал, все будет сказано так серьезно, так уверенно и даже так смело, как никогда он еще не говорил ни с одной девчонкой.

Что, как и для чего он скажет отцу, Андрей знал в точности. Это было им обдуманно давным-давно... Что он скажет Рите, не знал совершенно. Может быть, ничего. Но все равно, ему нужна была эта уверенность.

И он терпеливо ждал утра. Становилось холодно, и голодно тоже было — Андрея это не тревожило. Дело им было сделано. Дело!

Команда «Спать!», которую он отдал сам себе, на этот раз не подействовала так же безотказно, как она действовала все дни в нынешнем маршруте.

Зато на рассвете он снова проснулся в тот самый момент, когда солнце едва коснулось вершинок невысокого кустарника перед входом в его пещеру.

Снова он ехал влажной тропой, чтобы гнедой не поскользнулся, — ехал осторожно и не думал о том, что очень хочется есть.

И о Рите больше не думал. Стало легко оттого, что он расстался с мыслями о ней, и он погрузился в ощущение предстоящей дружбы — дружбы с отцом. «Ну вот, старик, мы с тобой на равных! Теперь все встанет на свои места! Все-все! Голова что-то кружится, но это пройдет. Надо только добраться до Карыма и пообедать...»

Было тихо в лесу, лишь один раз какая-то пичуга заставила его прислушаться к себе, повторяя то и дело: «Витя, я здесь! Витя, я здесь!» А потом вдруг Андрею показалось, она щебечет по-другому: «Витя, ты где? Витя, ты где?» Он слегка улыбнулся, вспомнил, как в детстве тайком от матери и отца менял имя Цезарь на имя Андрей и долго сомневался, а не назвать ли себя Виктором? Ишь ты, что пичуга знала! Что же все-таки она щебетала: «Витя, я здесь!» или «Витя, ты где?»

Осенний лес и вся природа вокруг — уже отцветшая и притихшая — поблескивала каплями росы, боясь обронить эти яркие капли с ветвей.

С первой экспедиции Андрей привык обязательно что-то узнавать вокруг себя — зрением, слухом, памятью, размышлением, а тогда он и чувствовал себя как дома, чувствовал, будто он там, где должен быть.

У него было правило: если что вдруг покажется или послышится незнакомое в лесу — обязательно выяснить, что это такое. Сейчас тоже надо было бы остановиться и подсмотреть, что за птаха. Какое оперение? Какого размера? Где держится — в кустарниках или в ветвях деревьев? Позже в справочнике узнать, как птаху зовут.

Но на этот раз он изменил своему правилу, хотя и упрекнув себя. Торопился. Есть хотелось, голова кружилась... И он так и не догадался, щебечет ли птаха: «Витя, я здесь!» — или спрашивает: «Витя, ты где?»

В полдень Андрей приехал в село Карым, получил на почте письма и телеграммы. Поздравления с днем рождения были от матери, сестры и от Ориона из какого-то населенного пункта, который невозможно выговорить, а еще от своего друга по студенческой группе, по комнате общежития и по кружку НСО, который путешествовал нынче на Тай-



мыре. На имя отца оказалось два письма — от матери и от академика Корабельникова. Андрей сунул письма в карман рюкзака: «С вами, товарищ академик, мне еще предстоит потолковать!» Телеграммы пробежал глазами, прочесть же их внимательно решил в лагере.

В столовой Карыма были зеленые щи, яичница и черный хлеб. Андрей ел щи, яичницу и хлеб за прошедшие дни и за нынешний день тоже. Ел бы и еще, но вовремя остановил себя: может ведь случиться заворот кишок или какая-нибудь другая неприятность. Он почувствовал, как ослабел от еды, кажется, больше, чем от голода... Захотелось спать, он не помнил, чтобы еще когда-нибудь сон так преследовал его. «Ну нет, — подумал он. — Этот номер не пройдет — сегодня же я буду в лагере! Душа вон — буду! Надо показать отцу буроземья!»

Первым, кого Андрей встретил, был шофер Владимировский. Почему-то Владимировский вывел обе машины на пригорок. С пригорка открывался вид в небольшую долину и на скалы, которыми эта долина замыкалась. Только одно узкое и глубокое ущелье было прорезано ручьем в этих скалах, стоявших отвесной стеной и кое-где покрытых пестрыми лишайниками. За скалами, на запад, открывалась величественная картина снежных хребтов.

Владимировский далеко не всегда бывал вместе с отрядом — чаще со своим помощником Севкой и с обеими машинами оставался где-нибудь на тракте, и только если дорога позволяла пригнать машины, жил в отряде, требуя, чтобы его называли старшим шофером.

Теперь, лежа в кузове газика без рубахи, очень похожий на преуспевающего дачника, правда не успевшего еще растолстеть, старший шофер неторопливым жестом позвал к себе Андрея.

— Задание выполнил?

— Чье? Какое?

— Начальника экспедиции.

— Выполнил.

— Так-так.

Андрей тронул гнедка, но старший шофер снова его остановил.

— Вот люблюсь... Ничего себе природка? Как думаешь?

— Что? — не понял Андрей.

— Природка, говорю, ничего себе?

Андрей пожал плечами, а Владимировский сказал:

— Ездишь ты ездешь, а вкуса настоящего не сработал! Вот — объясню тебе — природа в этом направлении — правильная, подходящая, а ты затылком на ее глядишь! Путешественник!

За рулем Владимировский был сосредоточен и неразговорчив, на отдыхе же становился привередлив, а иногда и сварлив, отказывался от обеда, если суп был недосолен или пересолен, и говорил, что вся интеллигенция в отряде, то есть весь отряд, без него, без рабочего класса, составляет ноль без палочки.

Смерть Онежки он переживал как-то уж очень откровенно, говорил, что экспедицию нужно немедленно свертывать; когда его о чем-либо спрашивали, молчал, а когда все молчали, чтобы не напоминать друг другу о том, что случилось, он вдруг начинал говорить об Онежке.

Теперь Владимировский уже успокоился окончательно, но именно беспечный и начальственный вид первого человека, которого Андрей встретил в лагере, вдруг как-то озаботил его... Он вздохнул и подумал, что ласковый, трогательный образ Онежки все еще витает над лагерем. Вот кто был бы рад Андреевым буроземьям! Потому что — открытие!

Андрей и слово-то это — «открытие» — научился произносить, когда Онежки не стало. В ее память. Сам он вовсе не ждал каких-то открытий.

На его взгляд, дело обстояло гораздо проще: существовали на Алтае буроземы, а люди о них не знали, и это незнание было досадным недоразумением, случайностью, чем-то ненормальным. Он такое недоразумение устранил. Вот и все. Всю свою жизнь Андрей собирался посвятить изучению Сибири, но никогда при этом не мечтал совершать открытий, он просто хотел устранять такие же досадные случайности и недоразумения, а ненормальное положение приводить к нормальному. Больше ничего.

Но теперь это слово — «открытие» — его волновало. Очень хотелось сказать его отцу...

Отец, стоя около своей палатки с палкой в руке, нетерпеливо ждал, скоро ли Владимирогорский закончит беседу с Андреем, и когда эта беседа кончилась наконец и Андрей тронулся с пригорка вниз, он бросил палку, заторопился навстречу.

Он шел быстро, по-солдатски, но не в такт шагам взмахивая руками около туловища и не обращая внимания на полевую сумку, которая то и дело ударяла его по сапогам, болтаясь на слишком длинном ремне.

Он здорово уже был сед, старик; короткие волосы, отступавшие к вискам от большой и выпуклой лысины, были сейчас пронизаны скользящими по пригорку солнечными лучами, и стало видно, что волосы совсем редкие, что седина их рыжеватая, тусклая... Андрей помнил отца с густой шевелюрой...

Соскочив с седла, Андрей взял гнедого в повод, и тот, чуть боком спускаясь с пригорка, подталкивал его в спину теплыми и мягкими губами.

— Здорово, Андрей,— сказал отец.

— Здравствуй...

— Ты что же, один ездил? Так я и знал! Без Лопарева? Без Рязанцева? По технике безопасности одному в лесу нельзя. Да!

— Мы вдвоем,— сказал Андрей и, не оглядываясь, погладил гнедого по теплым, чуть влажным губам.

— Ну как дела?

— В порядке.

— Устал?

— С чего бы это? Нисколько.

— Есть хочешь?

— Сыт за троих. В Карыме столовую опустошил.

— А что-то похудел. И заметно.

— Наверно, просто так...

Стали расседлывать гнедого, и отец принялся суетиться с поклажей. Андрей не возражал. «Не знает батя, мой Тарас Бульба, что там, в рюкзаке. Сейчас удивится, почему тяжелый!»

— Тяжелющий! — проговорил отец, когда в руках у него оказались лямки рюкзака. — Чем нагрузил?

— Кое-что... Довольно интересное, я думаю.

— Конечно,— сказал отец,— не все сразу... Передохнешь — посмотрим.

— Покажу и расскажу. Поговорить надо. Есть о чем.

Вершинин-старший выпрямился над рюкзаком и сложил руки на груди.

— Есть... Ты вот что — отдыхай, а если не устал...

— Да нет же, не устал. Нисколько. Вот сейчас и побеседуем. О почках и вообще...

— Вообще... — повторил Вершинин-старший снова. — Обязательно! — И, все еще держа на груди руки, он внимательно стал глядеть на Анд-

рея, а потом вдруг засмеялся... тихо и ласково. Спросил: — Да, а письма есть?

— От матери и еще от Корабельникова.

— Что ты говоришь? Где? — Держа одной рукой конверты, он другой искал по карманам очки, принимаясь шарить по нескольку раз в каждом кармане.— Подожди-ка, Андрюха. Схожу в палатку за своими глазами. Сию минуту!

— Не торопись! Пока читаешь, я тут кое-что тебе приготовлю!

Может быть, не следовало торопиться, но Андрей уступил желанию показать отцу буроземы немедленно, сейчас же. Он закинул повод за сучок лиственницы, чтобы гнедой не ушел к ручью и не напился раньше срока, расстелил дождевик и, быстро развертывая шелестящий пергамент, стал раскладывать образцы на дождевике. Один ряд, другой. Отец не приходил, и Андрей построил еще два стройных ряда металлических бюкс. Он торопился, отца все не было... Он лег на дождевик и стал смотреть на буроземы.

На него пахнуло запахом мшистых кедрочей, кандыком сибирским, чем-то, от чего на мгновение прервалось дыхание и что заставило его вспомнить, как солнце опускалось в его первый шурф, а он глядел на потное чело, обонял прохладные, еще ночные испарения бурозема и как бы снова слушал Рязанцева, говорившего о перегное...

Теперь солнце не было ни светлым, ни прозрачным. Опускаясь на самое дно неглубокой и узкой долины, оно отбрасывало в лагерь тени двух машин с пригорка, а между этими черными тенями покрывало все густым слоем желтой охры и красной киновари, особенно же эти две краски четко и явственно отражались на образцах бурозема, как на палитре.

Но и сквозь незнакомое одеяние Андрей видел до странности знакомую землю всю в рисунках, созданных зернистой структурой, тончайшими корнями растений и мозаикой вкрапленных кусочков гранита. Как будто это он сам создал все бесчисленное количество рисунков и узоров и сам только что покрыл их слоем охры и киновари.

Андрей слышал, как торопливо подошел к нему отец. Отец опустил рядом с ним на колени — Андрей лежал неподвижно, ждал удивленного отцовского возгласа, а потом его еще более удивленных вопросов, а потом своих ответов на эти вопросы.

В голосе отца прозвучало возбуждение, поразившее даже Андрея: — Поздравь меня! И себя тоже поздравь! Наконец-то!

Желто-красный пахнувший образец бурозема заслонила рука отца, в руке был тоже красный, почти как солнечный луч, граненый карандаш и листок плотной розовой бумаги... Машинописный текст в самом конце листка был подчеркнут этим карандашом.

«Итак, дорогой Константин Владимирович, если Ваша «Карта растительных ресурсов Горного Алтая» будет готова в будущем году, Вы, вероятно, можете считать себя членом-корреспондентом после ближайших же выборов. Это общее наше мнение. Других кандидатур мы не видим. Все зависит от Вас.

Искренне Ваш академик...»

«Корабельников», — прочел Андрей. Она была ему знакома, эта подпись...

Вздохнул, положил голову на руки, а отец тормозил его, чтобы он оглянулся.

— Ну! Ну, Андрюха! Что ты скажешь? Каково? Сам Корабельников! Ну скажи, разве я неправильно поступил, когда взялся за составление «Карты ресурсов»? Не лесных, не кормовых, а всех, сколько их есть,

растительных ресурсов и притом на основе почвенной карты Корабельникова?!

Андрей повернулся и сел, обхватив руками колени. Он, и не глядя на отца, мог бы видеть его... Видеть, как отец тремя пальцами левой руки быстро-быстро поглаживает узкий подбородок то с одной, то с другой стороны, как наматывает на палец длинный ремень полевой сумки, а потом резким движением выдергивает палец из петель... Видеть глаза — яркие, коричневые, выпуклые, с тонкими натянувшимися жилками на белках... Видеть и догадываться по этим глазам о том, что сейчас для отца не существует ни доводов, ни доказательств, ни споров, даже попросту каких-то мнений не существует для него и чувств, кроме радостного и ненавидимого Андреем возбуждения.

Должно быть, случается и так, что надо говорить даже тогда, когда знаешь, что это бесполезно...

— Накануне нашего отъезда, отец, на собрании ты объявил, что будешь работать над своей «Картой» еще два, может быть, и три года... Для пользы самой же «Карты». Корабельниковская почвенная карта, на которой ты строишь свою, тоже неточная, неправильная. Не учитывает, например, что на Алтае существуют буроземы. Вот они. Смотри!

— Может быть, может быть,— ответил Вершинин-старший, скользнув по образцам нетерпеливым взглядом. Потрепал Андрея по волосам.— Ты у меня молодец. Я всегда это знал!

— Как ты думаешь, отец, чье это требование — закончить «Карту» так быстро? Нынче же?

— Науки. Производства. Самой жизни! Наконец, если хочешь, это даже твоё требование, Андрюха. Только ты этого еще не понимаешь. Поймешь!

— Так, как ты хочешь, не пойму. Никогда. Скажи: кто требует твою «Карту» здесь, на Алтае? Мы ездим много лет — кто, когда, зачем ее у нас спросил?

— Будет «Карта» — ее потребуют все, все поймут ее и меня: ты, твой друг Лопарев, Рязанцев. Все люди, для которых она будет необходима.

— Лопарев уходит от тебя. В лесхоз. Директором. И ему, директору, твоя «Карта» тоже будет ни к чему. Она нужна Корабельникову, потому что подтверждает его труды. И твоя будет нужна кому-нибудь для того же — чтобы еще что-то подтвердить!

— Лопарев?! Подозревал! Догадывался! Но что он скажет, твой Михмих, когда увидит это письмо? Не говори ему, что ты сказал мне о лесхозе. Как будто я ничего не знаю. Он и груб и неблагодарен, но я-то выше всех этих мелочных обид! Я могу его простить. Он защитит у меня диссертацию! Через год. Максимум — через два!

Когда отец нервничал, он говорил всем вокруг, будто никто не умеет себя сдержанно вести; когда терял смысл своих рассуждений, обвинял других в отсутствии всякой логики; когда торопился неизвестно куда, упрекал первого же попавшегося человека в том, что тот суетлив и совершенно неорганизован. Сейчас он замолчал, Андрей же подумал, что вслед за этим его молчанием последует какое-нибудь несурзное заключение.

Отец сказал:

— Дело надо делать уверенно! Не понимаю, что это все хотят быть умнее друг друга, все спешат куда-то, словно не сегодня-завтра соберутся взорваться на атомной бомбе! Да? Я последователь Корабельникова и горжусь этим... А в тебе вижу своего последователя. Преемственность прежде всего. Когда-то я последовал указаниям профессора Алпатьева, своего учителя. Что же, сейчас я ему благодарен. Да, много лет спустя — благодарен! — Вершинин-старший замолчал, молчание

было теперь торжественным. Потом еще раз повторил: — Конечно, благодарен! Вот как!

— Пора поить лошадь...— Андрей поднялся, сдернул с ветви повод и повел гнедого к ручью, но поить его рано еще было — гнедой не остыл как следует. Андрей видел через плечо, как отец взял в руки один, потом другой образец — положил оба, взял сначала одну, потом другую буюсу, открыл обе, заглянул в них и тоже положил... Увидел, что Андрей смотрит на него, и громко сказал:

— Молодец! Ты у меня молодец! Давно я хотел тебе об этом сказать, очень давно. И вот говорю: ты у меня молодец! Слышишь? Я твои буроземы, твое открытие не оставляю без внимания.

Андрей шел вдоль ручья.

Когда гнедой остыл, он напоил его. Потом снял с шеи гнедого волосяное путо и, пригнувшись, легонько толкнул его плечом. От этого толчка гнедой переставил одну переднюю ногу ближе к другой, Андрей спутал их не глядя, ошупал гладкую деревянную застежку — не проскочит ли она обратно,— потом снял с гнедого узду и погладил его между выпуклых глаз. Глаза в сумерках уже немного посинели, а остывший лошадиный пот пахнул остро и сильно.

— Теперь питайся, лошадь. Питание — дело очень серьезное... Для тебя.

Перекинув узду через плечо, Андрей сел около воды.

Года через два или три у старика пройдет этот академический восторг. Прошел же в свое время восторг кандидатский и докторский тоже. И этот пройдет. Уж он-то знает своего старика — пройдет! А после начнутся снова недомолвки, вздохи и тягостное, еще больше, чем прежде, заискивание. Начнутся...

Но будет поздно. Если уже сейчас старик не может понять, что выход у него один — стать на равных со своим сыном, так позже не поймет и совсем. И за себя Андрей тоже не ручается: через два, через три года он все еще будет стремиться стать другом своего отца, на равных с ним, или уже не будет? Кто знает, кто знает...

Андрей достал из кармана гимнастерки поздравительные телеграммы от Веги, от Ориона, от своего друга с Таймыра и последнюю, от матери: «Дорогой мой сын ты стал совсем взрослым таким и будь».

Андрей задумался. Он думал очень долго.

Никогда нельзя откладывать главного! Если бы еще в позапрошлом году он сделал то, что сделал нынче — привез такие же образцы бурозема,— он давно уже был бы с отцом на равных. Отец никогда не стал бы таким, каким он стал сегодня. Никогда! Зачем он отложил самое главное? Поступил, как мальчишка?

В палатке женщин послышались голоса... Там внутри светил электрический фонарик. Из двух невнятных женских голосов один что-то в нем всколыхнул, куда-то поднял его из нынешнего дня, закружил.

Но тут же он понял, что и перед Ритой ему теперь стыдно, страшно стыдно! Упрекал ее, девчонку, упрекал, как взрослый. А сам?

М-мальчишка!

## Глава двадцать вторая

Когда Вершинин-младший, Лопарев и Рязанцев уехали из лагеря, дни потянулись за днями как будто где-то стороной, не касаясь Риты. Стояла тихая солнечная осень, а Рита смотрела на эти дни, как смотрят на ненастные тучи, когда они медленно и безразлично ползут в одном направлении. Как будто время кончилось, была только смена никому не нужных, каких-то отрывочных, не связанных друг с другом дней и ночей.

Единственно, что Рита могла понять — что она всегда была несчастной... Оказывается, всегда, всю жизнь!

Школьные мечты ее не осуществились, в Горном институте были одни только неприятности, в университете ей было скучно, дома ее неизменно ждали ссоры с отцом и особенно с матерью.

Как это до сих пор она считала себя удачливой, даже думала, будто она — баловница судьбы, замышляла все новые и новые удовольствия, загадывала новое счастье, как будто прежние мечты когда-нибудь сбывались? Была счастлива своим детским убеждением, что она счастлива, больше ничего...

Вот она хотела подружиться с Онежкой — и погубила ее. Хотела убежать из лагеря — и вернулась. Хотела возненавидеть Андрея — и поцеловала его в избушке пасечника. Хотела броситься со скалы — и не бросилась. Не могла на скалу вернуться — доказала себе, что у нее не хватит для этого сил, что это невозможно. А зачем доказала? Ну зачем?

Хотела полюбить Реутского — и возненавидела его...

Возненавидела, а теперь, когда Реутский заканчивал сборы, чтобы уехать из отряда, ей обязательно нужно было бы уйти куда-нибудь, не видеть его... Вместо этого она думала: «Он ко мне подойдет и заговорит перед отъездом... А я буду его слушать. Буду. Вдруг поверю каким-то его словам, вдруг он что-то объяснит мне... Чему-то ведь нужно поверить!»

Реутский подошел с продолговатым саквояжем в руке, в широкополой зеленой шляпе. За плечами в зеленом чехле было у него ружье, на ремне — бинокль.

Поглядел ей пристально в глаза, опустил саквояж на землю и, ничего не спрашивая, ни в чем не убеждая, заговорил тихо:

— Я хочу сказать вам, Рита, что вы не вправе обо мне забывать. Никогда! Хотя бы потому, что я никогда не забуду вас. И если через пять, через десять, через двадцать лет кто-нибудь вам скажет, будто я забыл вас, — не верьте! Если когда-нибудь вас постигнет несчастье, разочарование, любые невзгоды и вы вдруг почувствуете, что нуждаетесь во мне, — позовите. Я приду. Что бы мне ни пришлось для этого оставить, чем бы ни пришлось пожертвовать — я приду к вам!

У него были голубые ласковые глаза. Он еще и еще хотел ее убедить, будто она ошиблась в нем. Рита же его видела, его понимала, и тем страшнее было его желание перешагнуть через все, что она знала о нем. Во что бы то ни стало он хотел ее заблуждения.

Он говорил неправду и знал, что она знает о его неправде, но говорил.

Кроме Риты, его слышала еще и Полина Свиридова — она что-то шла в это время у входа в палатку.

И Реутский хотел, чтобы Свиридова его тоже слышала, хотел, чтобы она видела его, когда, повернувшись, он быстро пошел к машине — высокий, стройный и оскорбленный...

Свиридова смотрела ему вслед.

Запытел газик; Вершинин-старший, будто он был в чем-то виноват перед Реутским, немного смущенный, попрощался с ним, помахал рукой, и — вот и все! — экспедиция закончилась для Реутского; не оглядываясь, он скрылся за пригорком. Зеленая шляпа была еще видна некоторое время.

И пока Лева Реутский удалялся прочь, Рита думала, что уходят ее мечты о берегах Черного моря и о теплоходе «Россия»... Стыдно, что уходили они только сейчас, не покинули ее давным-давно. И в то же время жалко было эти мечты.

Может быть, она могла призвать свое «это»? Но всегда бывало так: стоило ей упрекнуть себя — и оно исчезало, уходило куда-то, оно было

недостижимо для упреков, и начинало казаться, будто «это» только по ошибке тебе принадлежит.

Все очень просто и ясно: ей оставалась нелепая и безрадостная жизнь.

Та, которая неизменно по самому ничтожному поводу жестоко ссорилась между собой ее родителей — красивую и злую мать с некрасивым, но добрым отцом...

Которая ограниченную и даже глуповатую тетю «Что такое хорошо» сделала прямо-таки гениальной по части разных знакомств, особенно тех, о которых ничего не должен был знать тетин муж — самый сильный логик в городе.

Которая погубила Онежку.

Которая только что заставила лгать Реутского, хотя он и знал, что лжет.

Которая заставляет Вершинина-старшего составлять какую-то «Карту», а этой «Карте» не верят ни Лопарев, ни его собственный сын.

Которая делает из добрых людей злодеев, из честных негодяев, из дружбы недоразумение, из любви обман...

Вот сейчас возьмет и поверит, будто все это — все, что осталось. Что по-другому не может быть и не бывает.

Рите, бывало, нравилось изобразить себя ужасной пессимисткой, она не прочь была недолго позавидовать людям отчаявшимся, угадывая в них что-то таинственное, возвышенное и даже героическое.

Но вот мысль пришла к ней всерьез: «Поверишь? Или не поверишь? Навсегда?» И откровенная простота этой мысли, простота, которая все раз и навсегда решала, ужаснула ее. Она должна была такой мысли отказать. А могла ли?

Оставалось такое ощущение, будто где-то рядом с нею обязательно должен быть Вершинин-младший, будто ей необходима не своя жизнь, в которой уже ничего не было своего, а жизнь его, Андрея.

Любовь?

Когда прежде она влюблялась, когда увлечение настигало ее — всякий раз это было радостью, далекой от каких-то трудных мыслей. От всяких мыслей это было далеким, а скорее всего предчувствием еще неизведанного счастья. Потом это проходило, предчувствия не сбывались, она не огорчалась: значит, все самое счастливое еще предстояло впереди.

Теперь она разумно могла себе объяснить, что за человек был Вершинин-младший: ему были чужды ее тревоги и сомнения, ее растерянность. Что бы с ним ни случилось, он всегда будет у себя дома среди этих гор и лесов, среди людей и всего того мира, который отвергнул ее, Риту Плонскую.

В его отсутствие она особенно ощущала свое бессилие и эту отверженность.

Она умела доверять только себе, но сейчас доверилась бы каждому, кто объяснил бы ей: неужели может быть такая безрадостная любовь?

В лагере было тихо.

Рите казалось, будто она в лагере не вся, а только какой-то своей частью, вся же остальная она бродит где-то в горах по узким тропам и никак не может оттуда подать голос.

Изредка появлялся Владимировгорский, привозил из ближайшего поселка молоко, еще кое-какие продукты и нервным фальцетом нарушал эту тишину.

Рита подолгу сидела у костра, дожидаясь, когда наконец в палатке уснет Свиридова, или сама забивалась в спальный мешок, едва только начинало смеркаться, и делала вид, что тотчас засыпает. Свиридова обращалась к Рите на «ты», Рита же говорила ей «вы», должно быть пото-

му, что, как бы сурово Рита до сих пор ни судила себя, как бы она ни была равнодушна к людям, какой-то невысказанный приговор Свиридовой внушал ей страх.

По ночам было свежо, в холодном воздухе как-то холодно звенели ручьи, луна гасила вокруг себя звезды, а между тем лунный свет совсем почти не касался земли, не проникал в лес, и только вглядываясь в двойное полотнище палатки, можно было различить, что полог с одной стороны едва-едва светлее, чем с другой.

В той же самой палатке Рита засыпала прежде вместе с Онежкой...

И вот однажды, когда Рита, чуть высунувшись из спального мешка, угадывала, где палатка темнее, а где она светлее, Свиридова вдруг заговорила:

— Ты знаешь, Рита, Лев Иннокентьевич Реутский — не настоящий человек. Тем более не настоящий мужчина. Нет!

Рита притихла, не могла ответить, подать голос...

Свиридову это не остановило.

— Мужчина не сделал бы так... Нет, не сделал бы. Не стал бы прощаться с тобой, как прощался Реутский.

Что-то еще она сказала о Реутском, а потом должна была произнести слова о Рите... Какие?

— Тебе нравится Андрюша?

Этот вопрос вот так же, ночью, Рита сама однажды задавала Онежке.

— Не знаю...— ответила она.— Не знаю.

И тогда Полина засмеялась. Очень тихо, как смеются над собою вечером, погружаясь в сон и вспомнив что-то такое, что происходило днем.

— А вам?— спросила Рита.

— Он настоящий...

В следующую ночь Рита хотела и долго не могла спросить у Полины, что она думает об Андрее. Наконец собралась с силами.

— Ну, какой он, Андрей? По-вашему?

А Полина снова засмеялась и снова повторила, что Андрей настоящий.

Когда Андрей вернулся, Рита легла поверх спального мешка и, зажав голову обеими руками, стала глядеть через приоткрытый полог палатки.

Уже через минуту она возненавидела Владимировского за то, что он задержал около себя Андрея какими-то глупыми вопросами. Вопросы не слышно было, но другими они не могли быть...

Восстала против старшего Вершинина: он стоял, сложив руки на груди, и глядел на сына, словно памятник своей собственной нежности, а полевая сумка раскачивалась на нем в это время, как маятник, и время текло нестерпимо медленно...

Но потом все эти переживания оказались сущими пустяками. Они в одно мгновение ими стали, потому что на ее глазах Вершинин-старший обидел Андрея.

Когда же Андрей сел на берегу ручья и долго-долго, задумавшись, сидел там, Рита смотрела на него, стоя неподалеку за стволом огромной лиственницы. Знала, что не должна подходить к нему близко... Уходила в палатку и снова возвращалась.

Сколько раз она твердила раньше: «Нам — женщинам...», «Мы — женщины...», «Нас — женщин...»— и никто не мог ответить ей, что это значит. Без размышлений ответил Андрей, когда сказал: «Женщина будет такой, какой хочет видеть ее мужчина. Смелой, так смелой. Красивой, так красивой. Тряпкой, так тряпкой».

Она же в ответ назвала его мальчишкой: «Откуда тебе известно, мальчишка?» Зачем сказала так? Мальчишкой он мог быть для всех, для нее



он был мужчиной... Для нее он уже сейчас был таким, каким для других когда-нибудь будет.

У нее было множество мыслей, и все — о нем. И все — безрадостные. Наверное, она совсем напрасно научилась думать и размышлять?

А на другой день Вершинин-старший уже суетился и доказывал, что это преступление — столько времени проводить на одном и том же месте, что давно пора двигаться к новой, и последней, стоянке, пора свертывать экспедицию, возвращаться в город и форсировать камеральную работу над «Картой растительных ресурсов».

И лагерь уже тогда снялся бы, но все еще не возвращались Рязанцев и Лопарев. Приходилось их ждать.

Поспешность Вершинина-старшего пугала Риту. Она думала о какой-то неправде всей их экспедиции, которую так легко было и свернуть и развернуть, доказывая, что «Карту» нужно составлять еще два или три года, а спустя несколько дней, что ее необходимо закончить к весне.

Ее пугало, что уже завтра она может не увидеть горных вершин на западе, которые день ото дня все плотнее, все ниже закутывались в белые пологи — там шли и уже не таяли снега; не увидит узкой и покатою долины, по которой, пенясь, сбегал ручей и, минуя лагерь, прыгал еще ниже, рассекая почти отвесную гряду желтоватых скал. По этим скалам, она знала, вьется тропа, проложенная косями.

Потом вернулись Рязанцев и Лопарев...

Вернулись они после обеда, а нужно было еще отвести лошадей в колхоз, и лагерь снова не мог сняться с места. Вершинин-старший с каждым часом торопился все больше и больше:

— Срываем планы! Срываем государственное задание!

Рязанцев сильно загорел, оброс бородкой, в нем стало как будто меньше интеллигентности. Рита подумала, что он стал чем-то немного похож на Лопарева, Лопарев же, сдержанный и задумчивый, наоборот, напоминал теперь Рязанцева.

Но эта сдержанность Риту не обманула: вот-вот Лопарев должен был что-нибудь сказать Вершинину-старшему, что еще больше поссорит Вершинина с сыном, и Андрей станет после их ссоры еще угрюмее, еще недоступнее.

Так и произошло.

Разговор с Лопаревым первым начал Вершинин-старший, а Рита была в своей палатке, все слышала.

Вершинин спросил:

— Так это верно, Михаил Михайлович, что...

О чем именно спросил Вершинин-старший, Рита не поняла, Лопарев же ответил четко, словно солдат:

— Так точно! А это верно, что вы уже сматываете экспедицию? Что «Карту» собираетесь выпустить к весне? Вместе со скворчиками?

Как бы подражая Лопареву, Вершинин ответил очень бодро:

— Точно так!

Но шутка не удалась, и Вершинин принялся что-то горячо и быстро объяснять. И вдруг он замолк, прервал себя для того, чтобы найти слова, которые нелегко и непросто шли к нему...

— Хотите поиграть... поиграть... поиграть... — И не знал, во что хочет поиграть Лопарев. Это с ним случалось: мысль приходила к нему, но не до конца, приходила и пряталась. Но сейчас Вершинин нашел то, что искал. — Поиграть в правду! — сказал он громко, насмешливо и вызывающе.

Тихо стало... Вершинин, должно быть, думал над тем, что он сказал, Лопарев — над тем, что услышал. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова, пока пауза не иссякла.

Потом Лопарев ответил:

— Играйте вы! У вас получается. Я буду ее добывать!

Рита бросилась из палатки: слышал или не слышал все это Андрей? Его не было поблизости.

Она вздохнула с облегчением... Но все равно и это облегчение было ей тяжким.

Ссорились Вершинин-старший и Лопарев, а ей казалось, они оба делали это нарочно, чтобы увести от нее Андрея, чтобы сделать его еще более молчаливым, ничего не видящим вокруг себя, ничего не слышащим, не чувствующим...

Нельзя было и дальше ждать чего-то... К лучшему ничто не изменялось, солнечные дни казались ей хмурыми, бесцветными, беспорядочными, они как будто и приходили и уходили против своего желания, а все, что совершалось в эти дни вокруг нее, не имело никакого значения, никакого смысла.

И она решилась.

Посмотрелась в зеркальце, но руки у нее дрожали, она не захотела видеть себя испуганной, и как будто не ее, а чье-то чужое лицо промелькнуло перед нею.

Хотела надеть те же шаровары, и майку, и шляпу, в которых она была когда-то в избушке пасечника, но потом подумала, что не надо терять время, разыскивать все эти вещи в рюкзаке, и, повязавшись платком, в стеганой курточке, вышла из палатки...

Андрей увязывал гербарные папки.

Она подошла к нему. Молча постояла рядом. Андрей оглянулся. Она стояла и смотрела на него. Он оглянулся еще и еще. Наконец спросил, положив на землю папку:

— Чего тебе?

Спросил тревожно, а эта тревога, и неуверенность, и какая-то детская улыбка заставили Риту подумать: «Да, я сделаю то, что должна сделать! Вот теперь — сделаю!»

— Ты что же, Челкаш, хотел караулить меня на скале — помнишь? — а сам уехал в маршрут? И не боишься за меня? Нисколько не боишься? Напрасно!

Засмеялась в его серьезное и недоуменное лицо, не оглядываясь, пошла по течению ручья. Миновала округлые каменные глыбы, поднялась к желтовато-белым мраморным скалам, с которых открывался вид на долину, на лесные края, на далекие снежные хребты.

На все это — что было вблизи и что было вдали — она бросила взгляд, а потом, кажется, уже ничего не видела больше. Вот и отпечатки ее каблучков на каменной крошке этой тропы — едва приметные, крохотные углубления в страшной близости от обрыва. Здесь она остановилась и медленно-медленно стала приближаться к пропасти, пока не почувствовала, что каблучки ее ботинок стали в эти углубления.

Как просто и легко было стоять здесь в первый раз и как страшно теперь! Голова кружилась, сердце стучало глухо-глухо.

Только на один шаг ей нужно было отступить, только на полшага, на четверть шага, чтобы избавиться от ужаса... Неужели она в самом деле упадет? Неужели это может в самом деле случиться?

Как будто послышался шорох — Рита не оглянулась, еще подвинулась вперед.

Неужели...

— За баловство — не то будет! — сказал Андрей, с силой сжав ее руку.

Лицо у него было в серых пятнах, маленькие глазки открылись широко и тревожно, а в руках заключалось такое тепло и такая сила, которая

могла совершить все. Если бы этими теплыми руками он удержал ее в избушке пасечника, еще тогда, когда ей так просто было поцеловать его?

Он посадил ее на камень... Кажется, это был тот самый камень, на котором, вся освещенная солнцем, стояла когда-то косуля... Рита чуть-чуть улыбнулась — поверила в предчувствие: ее «это» уже было совсем близко, она ощутила его прикосновение. Андрей сел рядом с камнем и молча смотрел ей в глаза снизу вверх.

Потом приподнялся и положил руки ей на плечи...

В лагерь они вернулись, когда было уже совсем темно. Но их, кажется, еще не ждали, а ждали Лопарева, который отправился в колхоз вернуть лошадей... Все в лагере было готово к тому, чтобы на рассвете двинуться к новой стоянке.

### Глава двадцать третья

Вертолет покачался, будто переступил с ноги на ногу вправо, влево, потом снова, и очень заметно, накренился вправо и словно не полетел, а только медленно приподнялся над кустами, потом над вершинами деревьев. Как будто собирался вот-вот опуститься на землю, а между тем высота становилась все больше, и вот уже, кренясь на правый борт, все так же неторопливо он стал разворачиваться, повторяя в воздухе ту самую дугу, которую на земле описывал небольшой зеленоватый ручей.

Рязанцеву приходилось летать и на ИЛах, и на ТУ, и на многих других машинах из Сибири в Москву и обратно, из Красноярска в Норильск, из Новосибирска в Якутск, но всякий раз это, казалось, были не полеты, а передвижение — удобный, быстрый способ передвижения, и только.

Ощущение же полета неизменно оставляли в нем небольшие двух- и трехместные машины — амфибия Ш-2, именуемая «шаврухой», «кукурузники» ПО-2 и особенно ЯК-12.

Эти машины летают не быстро, низко, и земля под ними видна во всех ее подробностях: дороги, реки, дома, люди — все рядом, ничто не уходит прочь, вдаль, остается самим собой, а не превращается в изображение, подобное карте или мелкомасштабному плану. Остаешься среди всего земного, только видишь его сверху, а переживаешь, должно быть, то самое изначальное чувство полета, которое впервые пережили люди, с помощью искусственных крыльев парившие вниз с колоколен и башен. Икар тоже это чувство должен был пережить.

Полет кажется тем более ощутимым и естественным, что можно видеть все движения летчика, его лицо и наблюдать, как это делается — как он, выжимая рычаги, идет вверх, вниз, вправо или влево.

На вертолете Рязанцев поднялся впервые и был доволен тем, что случилось это среди природы — среди гор и лесов, где по-другому ни подняться, ни приземлиться попросту невозможно. Скоро пассажиров станут перевозить из Внукова и Шереметьева в Москву на комфортабельных вертолетах, пассажиры будут капризничать, сетовать на минутную задержку, потому что одному срочно нужно быть в министерстве, а другому в ванне, и ничего они не будут испытывать, никакого чувства полета, одно только нетерпение.

В то же время, как только Рязанцев поднялся в воздух и посмотрел вперед и в стороны, ему показалось, будто он уже не в первый раз летит вот так и отчетливо видит сверху эти горы, этот ручей и этот маленький аэродром — две избушки, цистерну с горючим и полосатый указатель направления ветра.

Это бывало с ним и раньше — вдруг увиденное впервые становилось

каким-то воспоминанием, чем-то пережитым не то во сне, не то так давно, когда его не было еще на свете...

Полеты должны были продолжаться три или четыре дня, но существовало одно «если» — если позволит погода.

Был очень хорошо виден лес. С большой высоты лес кажется зеленым контуром причудливого и все-таки почти всегда геометрически правильного очертания, лес вблизи — это опушка или отдельные деревья. С вертолета лес был виден сразу и вблизи и вдаль, жизнь его открывалась взгляду, ничего не скрывая... Среди кудрявого кедрача давно-давно когда-то появилась одна лиственница, и она обсеменила вокруг себя поляну, а теперь можно было различить и эту материнскую лиственницу, и молодую ее поросль, распространившуюся в направлении господствующих ветров, и те кедры, которые лиственницей уже стали угнетаться. Большая гарь оставалась слева, по гари и по ветролому, который затем образовался, потому что ветер валит наземь прежде всего мертвые деревья, буйно разросся папоротник. Вблизи ручья лес выглядел погуще и позеленее, на середине склонов деревья были словно стандартные, одно к одному, на вершины взбирались одиночки.

Все было видно: где лиственница теснит кедр, где — кедр лиственницу; где в тени таится ель, чтобы потом, набрав сил, все вокруг заглушить; где пролегает маралья тропа и сам рогатый марал вошел в густой куст и думает, будто никто на свете его не видит... Так четко были видны отдельные деревья, что на ветвях легко различались бусинки шишек.

Узнал Рязанцев и свой кедр. Он стоял, развесив огромные ветви, под которыми курился сизый, чуть заметный и таинственный дымок, занявшийся от соков деревьев, трав и мхов.

Этот кедр встречался ему нынче не однажды — то вот так же в глубине леса, то над пропастью, то на открытом склоне...

Лес цвел дневным осенним цветом.

Когда цветут цветы, они вспыхивают яркими лепестками и вскоре угасают. Лес цветет всегда, преображаясь столько раз, сколько раз над ним заходит и восходит солнце, сколько раз над ним проплывают облака, сколько раз освещают его луна и звезды.

Он цветет не только сам по себе, но и красками всего окружающего мира — в нем оттенки трав и туманов, облаков, озер и рек, а если где-то на лес набегаает степь, он впитывает и тень. Уже закатится солнце, земля погрузится в сумерки, а лес все еще вершинами своими ловит в высоте солнечные блики. Иногда одна какая-то вершина вдруг привлечет к себе яркий луч и сияет долго-долго, и по стволу ее, едва не достигая почерневшей уже земли, струится солнце.

Очень прост цвет леса. Неярок. Незаметен. Но когда Рязанцев произносил слово «цвет», он всегда вспоминал другое — «лес».

В кабине вертолета пилот тоже подвесил ярко-зеленую еловую ветвь с длинными шоколадными шишками, и Рязанцев положил одну из них на ладонь.

Его всегда поражала ювелирная, изысканная и как бы глубоко научная работа природы над органическим веществом и особенно над семенами и плодами растений.

Бывая в осеннее время под Москвой или на Дальнем Востоке, он всегда набивал карманы желудями, любовался их правильной формой, буровой, палевой и чуть зеленоватой окраской, удивляясь тому, что среди этих идеально правильных форм невозможно было найти хотя бы два совершенно одинаковых экземпляра.

Дома, в Сибири, он подолгу рассматривал березовые сережки, а иногда просто кусочек свежей древесины или тоненькую, почти прозрачную березовую кожицу.

Еловая ветка заглушала в кабине запах бензина запахом леса, земли. И земля становилась еще ближе, еще виднее.

Рязанцеву предстояло прокорректировать с воздуха материалы аэрофотосъемки, выполненные несколько лет тому назад. При дешифровке этих материалов геодезисты и картографы сделали краткие пометки: «лес хвойный», «лес смешанный»; а Вершинину-старшему нужно было другое — возраст леса, густота древостоя, процентное соотношение между породами. Дело это было не столько экспедиции Вершинина, сколько лесоустроительной партии, но Вершинин не хотел ждать, запросил Москву, лесоустроительный трест, начальника территориального управления Гражданского воздушного флота, начальника отряда лесной авиации, еще и еще кого-то — и вот добился: произошла «координация науки с производством».

Вертолет вел совсем еще молодой пилот, почти мальчик.

Он чувствовал себя в кабине как дома — повесил позади себя фуражку с серебристой эмблемой, расстегнул воротник, распечатал пачку сигарет и положил ее в карман так, чтобы в любой момент можно было вытянуть сигаретку.

Слева от Рязанцева сидел Иващенко — пожилой, выдавший виды лесоустроитель. Он был молчалив, должно быть не очень одобрял «координацию», потому что раза два или три напомнил Рязанцеву о лесной экспедиции профессора Крылова.

Рязанцев уже не в первый раз слышал о Крылове, и всегда в каком-то противопоставлении Вершинину-старшему.

Но и этот свой разговор Иващенко вел только на земле, покуда механик запускал мотор, а вертолет, распрямив обвисшие лопасти винта, а потом и задрал их чуть-чуть вверх, гнал вокруг себя потоки воздуха, так что с кустарников начал падать густой дождь уже поблекшей листвы.

Как только поднялись, Иващенко замолк совсем, может быть, ему трудно было преодолеть грохот мотора над головой: голос у него был старческий, негромкий.

Пролетели над лагерем высокогорного отряда.

Там были Вершинин-старший, Владимировгорский и Полина. Полина стояла, подняв голову и заслоняя ладонью солнечные лучи, которые почему-то очень ярко освещали ей руку. Она была в платочке, в красной кофточке, в темных шароварах и в сапогах. В уменьшенном виде и в каких-то общих своих чертах она никогда еще перед Рязанцевым не возникала, тем не менее он узнал бы ее и среди тысяч женщин в красных кофточках.

Специально для Вершинина-старшего сделали круг и сбросили вымпел: «Все в порядке. Летим на задание».

Вершинин вымпел поднял, прочитал и помахал руками крест-накрест. Он утверждал, что назубок знает простейшую морскую сигнализацию.

Вид сверху на лагерь, трогательно маленький, затерявшийся среди лесов и гор, в котором, однако, все было, как всегда и как должно быть — палатки, крохотный кострище, от которого слегка тянуло прозрачным дымком, блестящая на солнце утварь — ведра и миски, примятая трава, тропинка к ручью, — еще раз и еще больше приблизил Рязанцева к земле, но только не к маленькому ее островку, видимому с высоты человеческого роста, а снова к земле с ее протяжением и пространством, в котором легко и как-то естественно двигаешься, отмечая в поле своего зрения лагерь, сразу несколько вершин, хребтов и рек и ту даль, которой земля, не торопясь, разворачивается тебе навстречу.

Эта готовность земли человеку открываться — неизменно вызывала

у Рязанцева возбуждение, необходимость двигаться все дальше и дальше и еще какое-то нетерпение, потому что все увиденное представлялось чем-то не главным, главное же как будто оставалось за горизонтом. «А вдруг так и не увидишь его? Никогда?»

Рязанцев мысленно спросил себя: «Возраст, что ли?» И пока летели к высоте 1406,6, откуда предстояло корректировать аэрофотоплан, он все больше убеждался, что это возраст. Не только его собственный, но и возраст того времени, в котором он жил...

Легко судить прошлое — упрекать его, иногда завидовать его простоте...

В начале века томский профессор Василий Васильевич Сапожников с одним-двумя студентами, а иногда только в сопровождении своей дочери Наденьки, навьючив лошадок и наняв проводника, из года в год кочевал по Горному Алтаю. и все, что видел вокруг и что записывал в путевой дневник — названия сел, рек, хребтов, перевалов, трав, минералов, — все это становилось наукой, все составляло капитальные труды «Пути по Русскому Алтаю» и «Пути по Монгольскому Алтаю», все звучало лирической и гордой песней первооткрывателя.

«...дни, полные напряженной работы, — записывал Сапожников, — сопровождаемые новыми открытиями, чувствуются недаром прожитыми. Несмотря на крайнее физическое утомление, где-то глубоко живет и радуется существованию другой, бодрый и не уставший человек. Эту здоровую радость бытия в исследовании завещаю моим друзьям и ученикам».

Еще мальчишкой вместе с Василием Черновым и Сеней Свиридовым мечтая о путешествии на Алтай, к загадочному населенному пункту Усть-Чара, Рязанцев пробрался как-то на заседание местного географического общества, где зачитывались страницы из дневников Сапожникова. Тогда он и услышал эти слова и запомнил их. Значительно позже он прочел труды Сапожникова. Страницу за страницей, книгу за книгой.

И когда он прочел все, он увидел, что науки в том смысле, в котором он ее понимал, в этих книгах не было совершенно. Было что-то очень похожее на песню казаха пастуха: «Еду на белом коне. по правую руку вижу голубую сопку, по левую вижу зеленую траву, а впереди ничего не вижу — там солнце ярко светит...»

Вот когда Рязанцев понял трудность проторенных дорог и даже позавидовал тем еще недавним годам, в которые так просто можно было стать первооткрывателем!.. Понял, что прошло время, когда в поисках Индии можно было открыть Америку, а географию петь точно так же, как поют свои песни пастухи казахи.

В словах Сапожникова по-прежнему был для него призыв, но еще больше сомнений: какой же нынче должна быть география?

Как будто нельзя уже было первооткрывать обетованную землю, а между тем разве вся она была теперь известна и понятна?

Еще в школе география стала для Рязанцева целью, и, как всякая цель, она была ясной, сияющей, а главное — единственной.

Он повзрослел, и тут показалось ему, что география так и осталась в школьном возрасте — существовала как предмет, изучение которого заканчивается в девятом классе.

Прямо из девятого класса она вступала в жизнь.

А как жизнь с ней обходилась? Дробила ее на части — на геологию, гидрологию, геоботанику, климатологию, и каждую часть приспособляла к задачам сегодняшнего дня, каждой в отдельности позволяла достигнуть некоторых успехов, а в завтра Земли — цельной и нераздельной — заглядывала редко-редко.

Тем самым жизнь как бы изменяла самой себе, но только с помощью науки, с помощью любимой Рязанцевым географии.

Химия проникла в физику, а физика — в химию. Эти нашли достаточно сил и здравого смысла, чтобы понять, что они смотрят на одни и те же предметы и явления, только с разных сторон. Вот уже и математика проникает в биологию. А когда проникнет она в географию?

Многие науки шли нынче от достижения к достижению, потрясали мир грандиозными открытиями, но еще больше потрясали самих себя, потому что открытия эти были невиданными средствами дальнейшего развития их самих.

География такого открытия не совершила.

Другие науки смело выдвигали человека в те сферы, где ему было легче всего, — в энергетике она вручала ему атом; механика вот-вот обещала вывести его в космос, туда, где нет сопротивления движению.

А где эта сфера была для географии?

Но опять-таки разве в действительности не было единой природы, в которой климат влияет на растительность и почвы, почвы — на растительность, разве выдающийся русский ученый Воейков не определил, что и реки — тоже продукт климата?

Рязанцев видел эти связи, чувствовал единство природы, чувство было для него правдой, но он не мог выразить ее достаточно ясно в своих трудах. Так, как хотел выразить.

Он легко мог судить и Сапожникова и таких классиков, как Докучаев или Воейков, с позиции своего времени, но все, чего достиг сам, было лишь незначительным развитием их мыслей и открытий.

Вот он путешествовал нынче... Палатки, костры, планерки, которые так любил Вершинин-старший и не любил младший, хлопоты шофера Владимирогорского, пути-дороги, которыми двигался отряд, необыкновенной красоты пейзажи, шумы леса, ручьев и трав — все это и еще множество других событий и впечатлений создавало настроение бодрой и, казалось, истинной озабоченности отряда.

Но ведь о каждом растении, о каждом минерале, о каждой тропе па Горном Алтае столько было уже написано, что так называемые научные факты давно составили целый океан. И вот твоя судьба в этом океане фактов — либо раствориться в них, еще увеличить своим существованием уже бесконечную их сумму, увеличить число научных отчетов, маршрутов, дневников и диссертаций, увеличить какой-то непостижимо огромный накладной расход, который и без тебя уже создан на каждое подлинное и значительное научное достижение; либо достигнуть каких-то обобщений, как-то по-новому увидеть уже тысячу раз виденное до тебя, добиться той правды, которую ты только угадываешь, только чувствуешь... Но как добиться?

Давно уже возникали перед Рязанцевым все эти вопросы, но споры с Вершининым обострили их до предела.

Рязанцев долго думал о Вершинине: как его понять?

Он, кажется, догадался, почему профессор — доктор то и дело говорил: «Нет на вас Барабы!», «Не поседели вы в Барабе!» — и гладил при этом свою лысину.

Рязанцев восстановил в памяти труды Вершинина тридцатых годов, вспомнил некоторые его выступления на ученых советах и научных конференциях и, кажется, понял, что значат для профессора эти восклицания.

Но упрекнуть Вершинина Барабой он не смог бы: Земля — такая трогательно знакомая, обжитая, простая — и там и здесь могла обернуться Барабой, и Рязанцев не понимал тех географов, которые этого не понимают или не хотят понять.

И вовсе не потому он испытывал к Вершинину-старшему все большее и большее недоверие, что тот тревожился судьбой географии — тревоги были у них одни и те же. Дело было в том, что Вершинина эти тревоги ввергали либо в отчаяние, чуть ли не в истерику, либо он готов был все свои тревоги и сомнения отбросить начисто, судя по обстоятельствам. И Рязанцев сказал себе в конце концов о Вершинине то, что давно должен был сказать: «Союзник. Но такой союзник хуже противника!»

Все еще летели по прямой к высоте 1406,6, не торопясь, минуя одну горную складку за другой, Алтай виден был далеко-далеко без остроко-нечных скал, почти без троп и поселков — Алтай между Катунью, Телецким озером и его притоком, рекою Чулышман, а Рязанцеву казалось, будто он видит всю Сибирь, чувствует Азию, и почти одновременно с теми сомнениями, которые так сильно тревожили его, он испытывал какую-то мальчишескую радость оттого, что самое первое в жизни ощущение Азии никогда не изменяло ему, а подтверждалось всегда. Сейчас подтверждалось снова.

Пришло же оно тоже на Алтае, только на западных его отрогах, в верхнем течении Иртыша.

Он поднялся тогда на безлесную вершину, и дали вот так же открылись ему бесконечным множеством округлых, безлесных, но будто подернутых лесною дымкою вершин, уходящих к горизонту через совершенно равные расстояния. Было ли такое освещение или вершины эти, соединенные в цепи, чем дальше, тем становились понемногу все выше и выше, — только они не сливались между собою, и самая последняя цепь, замыкающая поле зрения, очень далекая, все равно была четкой и ясной, хотя за нею уже ничего не было, кроме прозрачного неба, опять-таки точно такого же, какое стояло прямо над головою...

Это бесконечное повторение одного и того же пейзажа, одной и той же, будто отраженной в огромных зеркалах картины, этот ритм и вызвал в нем ощущение Азии.

По существу Рязанцев был азиатом — только окончив университет, он впервые перевалил через Урал с востока на запад, посмотрел в лицо Средней России — задумчивой, неяркой, а если сильной, так прежде всего своею сдержанностью, тем самым, что в поэзии называется под-текстом.

Он был встревожен тогда и взволнован. Среди множества других стран он тотчас узнал бы свою родину. Она была такой, какой должна была быть, ничуть и ничем не обманув его...

Но Сибирь по-прежнему оставалась ему жилищем, была его делом и его помыслом, только она заставляла его задумываться над тем, как же он ее видит.

Русские равнины от него этого не требовали, они тотчас ему сами открылись, а Сибирь, в которой он провел всю свою жизнь, он, оказывается, еще должен был открыть для себя. И он искал этого случая и, вероятно, нашел бы его довольно скоро, но тут началась война.

Сама война и облик тех стран Европы, по которым Рязанцев прошел с зенитной батареей, надолго заглушили в нем это стремление. так что когда на переформированиях он вспоминал свое прошлое, то казался себе чудачком. Однако стоило ему вернуться из Европы и снова перевалить Урал, как всерьез вернулась и эта «причуда».

Командировки в Москву и в другие города за Урал следовали одна за другой, и, возвращаясь, Рязанцев каждый раз проверял себя, спрашивая: что же нового он видит в Азии, чего не было в Европе?

Оказывается, ничего, но как раз это «ничего» снова и снова подтверж-дало нечто азиатское.



Ничего нового за Челябинском или Шадринском — те же травы и кустарники, тот же плоский рельеф...

Было одно ощущение в Средней России, когда он видел там трогательный, милый сердцу и замкнутый со всех сторон пейзаж с неизменными березками на первом плане, и совсем другое, когда на протяжении сотен километров тот же березовый колок словно повторяет и повторяет сам себя; одно чувство вызывает лес с опушкой, с молодняком, выбежавшим на поляну, и другое — тот же лес, но бесконечный — тайга; одну картину создает поросшее мхом болотце, и другую — заболоченное пространство от горизонта до горизонта — тундра.

Это повторение, этот ритм его захватывал, кажется завораживал, и в то время, как там, вглядываясь в природу, он останавливался надолго, здесь для него возникала необходимость двигаться вперед и вперед, подаваясь ощущению все того же ритма и чему-то удивляясь.

Удивление Рязанцева никогда не смущало, разве только в детстве он стыдился его, с годами же удивлялся все чаще. Знания, которые он приобретал, ничуть этому не мешали, наоборот, он припоминал, что с возрастом люди удивляются больше: ребенка не удивляет ничего, все ему понятно и как бы закономерно. Древние, представив себе, будто мир покоится на спинах работяг китов, ничуть не удивлялись этому обстоятельству.

Пространства Азии словно выдвигали его куда-то на край земли, на самую ее границу с космосом, в котором уже вычерчивали свои орбиты искусственные спутники и куда вот-вот должен был проникнуть человек, так что люди вокруг Рязанцева как бы все время настороженно прислушивались, боясь пропустить тот час и ту минуту, которая возвестит об этом событии. Сам же Рязанцев привык к тому, что иной мир, в котором все «не так» — «не то» пространство, «не тот» счет времени, «не те» представления о жизни, — как будто вплотную придвинулся к миру «этому» — обыкновенному, сегодняшнему.

Ощущение почти доступной границы между «тем» и «этим» обостряло в нем еще и другое чувство — будто он живет на границе двух различных времен, когда кончается одна история человечества и начинается другая.

Так со всеми своими сомнениями, догадками и предчувствиями, которые внушала ему Земля всякий раз, как она открывалась ему навстречу и которые появились в нем совсем недавно, может быть только в этом полете, Рязанцев приблизился к высоте 1406,6.

Это была приплюснутая сверху сопка, хорошо различимая на фотоплане в виде чуть белесого пятнышка, а в натуре покрытая разреженным кедрово-лиственничным лесом по северному склону и буроватыми каменными глыбами по южному. Еще издали ее можно было заметить среди других таких же сопкок: на вершине ее возвышалась триангуляционная пирамида первого класса.

Когда пролетали прямо над пирамидой, она стала почти неразличимой — несколько деревянных порыжевших перекладин крест-накрест, и больше ничего, но когда зашли справа от нее, это снова был ажурный и стройный маяк, воздвигнутый среди бесконечных темно-синих гор, кое-где перемежавшихся желтоватыми каменными россыпями и молочными пятнами снегов... На маяки всегда нужно смотреть издали.

Рязанцев кивнул Иващенко, они расправили на коленях аэрофотопланы, подложив под них по толстому куску картона, и стали внимательно обозревать местность — Рязанцев с правого борта и вниз, в стекло почти под самыми ступнями ног, Иващенко — вниз и налево.

Темные контуры плана — одни чуть светлее, другие словно залитые черной тушью — представились на земле то разреженными, то густыми

лесами, белесые пятна были в действительности каменными россыпями, а тонкие причудливые извилилки — зеленоватыми ручьями.

Благодаря этим ручьям и речкам Рязанцев быстро ориентировался и прокладывал на плане курс вертолета, а справа от линии курса уже не составляло труда нанести все те подробности, которые требовались для «Карты растительных ресурсов Горного Алтая».

Задание было не совсем обычным, но никогда еще не встречалось ему дело совершенно чуждое, ничем не связанное с ним самим.

Память подсказала давно забытые понятия из курса картографии, который он когда-то слушал в университете; даже все его полеты, когда Рязанцев был просто пассажиром, и те пригодились, потому что он не любил дремать в пути, а всегда глазел в иллюминаторы и привык ориентироваться в местности, которая перед ним открывалась сверху. Кроме того, летать ему доводилось не только пассажиром — в молодости он участвовал в ледовых разведках, а на самолеты снизу, с земли, во время войны научился смотреть как на цель.

Это обнаруживание уже полузабытого самого себя в работе всегда придавало ей еще какой-то неожиданный смысл. И Рязанцев уже не замечал, как затем длился полет.

А потом был второй и третий день полетов.

Вертолет возвращался к базе лесной авиации, они ночевали в небольшой, жарко натопленной избушке, с утра механик долго осматривал машину, гонял мотор, они заправлялись горючим и летели.

Один раз зашли далеко на запад, стала видна полоска тракта, пересекающая горы, и тут Рязанцев вспомнил о Елене Семеновне Парамоновой — жене директора маралосовхоза.

Теперь Парамонов был уже бывшим директором.

Недавно где-то в этих же местах отряд ехал по тракту, и когда миновали небольшое село, решили покрепче закусить в чайной.

— Стоп у ресторации! — крикнул Вершинин-старший Владимировскому.

Остановились. Но тут встретили объявление: «Столовая закрыта на обед». Ждать не стали и только тронулись дальше, как Рязанцева кто-то окликнул.

Это был Парамонов — в потертом кожаном пальто, в новенькой зеленой фуражке. Он стоял на подножке грузовика и, должно быть, отдавал какие-то распоряжения шоферу. Грузовик был заполнен домашним скарбом, мебелью.

Там были стол, буфет, стулья — все те вещи, которые так сияли необыкновенной чистотой в доме Елены Семеновны.

— С повышением, Алексей Петрович? — спросил Рязанцев.

— А как же! В город! И кваргира готова, и вообще все!

— Елена Семеновна где же?

— Уже на месте! — И помахал новенькой фуражкой.

— Где?

— На месте...

— Передайте привет... Скажите, что, мол, Рязанцев желает ей и в самом деле быть на своем месте... Верит, что так и будет!

— Передам. Обязательно!

С вертолета все нынешние земные встречи с людьми вдруг показались Рязанцеву немного чужими, не совсем его собственными, а чьими-то еще. И только одна встреча с Полиной чем дальше, тем все яснее ему вспоминалась: как Полина появилась в лагере, как потом они сидели у костра и она почти каждую фразу начинала словами: «А знаешь ли, Ника...»

Возник уже и какой-то ритм этой новой земной, а отчасти как бы и неземной жизни...

Все повторялось: лагерь и крохотная фигурка Полины, которая смешила красную кофточку на синий свитер, потому что стало прохладнее, потом являлось острое, тревожное беспокойство: куда идет география, на что она способна нынче? Куда идет и на что способен вместе с географией он сам? Потом ощущение какой-то границы между «этим» и «тем» мирами, между «этим» и «тем» временем. Потом, когда работа стала для него уже совсем привычной, он вспоминал, что, по подсчетам Британской Академии наук и советских ученых, уже в 2050 году население земного шара достигнет восьми—десяти миллиардов человек, судьбы же этих миллиардов, казалось ему — жить им или не жить, а если жить, то как? — решаются именно сегодня, в пограничное время.

Собственно, для него, географа, человечество уже сказало то слово надежды, которым он мог и должен был руководствоваться: с исчезновением классов кончается предыстория человечества и начинается его подлинная история; человек наконец-то вступает в те подлинные отношения с природой, которым не мешает он сам. Эта мысль Маркса никогда не молчала в Рязанцеве — он неизменно чувствовал себя частицей своего общества, общество же было частью природы, а части всегда свойственно отражать целое, законы его развития.

Но вслед за этим один за другим возникали другие вопросы: следует ли затопить колоссальные поймы Оби, Иртыша, их бесчисленных притоков, чтобы повернуть воды этих рек для орошения среднеазиатских пустынь, для возрождения Аральского, а может быть, и Каспийского озер?

Сегодня эти северные земли и недра почти никому не нужны, а что скажут десять миллиардов человек в 2050 году?

Если бы проект переброски северных вод на юг был осуществлен сегодня же, это оказалось бы для Рязанцева одним из доводов «за», он допускал эгоизм. Но проблема была огромной, грандиозной, ее могло осуществить до конца уже будущее поколение людей лет через пятнадцать, может быть двадцать. А если так, насколько отдалено от Рязанцева то будущее, с точки зрения которого он сегодня должен решать, что необходимо преобразить на Земле?

Вот простирается перед ним Сибирь — ее плодородным и колоссальным земельным массивам вряд ли можно найти еще что-то равное на земле.

И все-таки Сибирь не дает столько продуктов, сколько должна их дать, а география, его наука о производительных силах Земли, что-то не говорит здесь своего слова, в то время как она ведь может быть самой различной — и сельскохозяйственной тоже...

На каждого городского жителя в стране приходится примерно по одному сельскому, и, значит, один человек работает только для того, чтобы прокормить себя и еще другого...

Наука, наука! Как стремительно она то и дело вырывается вперед, в иной мир, невидимый, неслышимый, неосязаемый, и как по-детски лепечет иногда среди житейских дел человеческих, которыми он занят уже многие тысячи лет!

Должно быть, недаром упрекал науку на разрушенной плотине в Усть-Чаре управляющий банком Костин, а Райкомхоз с добрыми глазами мечтал, чтобы такое ничтожное, казалось бы, дело, как ГЭС мощностью в пятьдесят киловатт, стало чьим-нибудь спутником!

Давно уже всегда и во всех известных Рязанцеву понятиях обязательно присутствовало представление о будущем, тревога за него.

Он снисходительно относился к своему образованию, школьному и университетскому, немного менее снисходительно — к своей повседневной жизни, казавшейся ему чрезмерно переполненной мелочными заботами, но никогда при этом его не покидала уверенность, будто он обладает чем-то главным, какою-то правотой своего существования.

Эта правота опять-таки была представлением о будущем, привычкой всегда, при любых обстоятельствах призывать его к себе, мыслить им, чувствовать себя в нем. Она была связью между ним и всеми людьми, между ним и всем окружающим его миром. И теперь ему казалось, будто наряду со слухом, зрением, со всеми пятью чувствами, у него возникает — уже возникло — шестое: предчувствие будущего. В каком-то очень отдаленном прошлом, сто тысяч поколений назад, у него не было нынешних пяти чувств, а если были, то не такие, как теперь, не так развитые. Но органы чувств научили его думать, сознавать, а почему бы сознание не могло теперь воспитать в нем нового чувства? Не только могло — было обязано. Он хотел все больше и больше видеть, больше понимать, и в то же время было ясно, что в этой жизни что-то перестало ему принадлежать, уже прошло время, когда все было для него своим собственным, и он читал два различных курса в двух вузах, писал работу по теории континентальности евроазиатского материка и другую — в соавторстве с Сеней Свиридовым; без конца выступал с публичными лекциями и откликнулся на самые различные события и юбилеи в газетах, начиная от стенной и кончая центральными.

Теперь возраст останавливал его, он уже не мог быть таким же всеобщим. Главное же — нынешние его требования и вопросы к самому себе были единственным путем, которым он мог проникнуть в мир более значительных идей, понятий и дел, чем доступный ему до сих пор...

В последний день полетов им должно было открыться Телецкое озеро. И оно открылось между двумя вершинами своим противоположным восточным берегом, скалистым и отвесным, и еще — узенькой полоской воды цвета сизого голубинового крыла, только прозрачного и с легкой прозеленью, словно отраженной из глубины и едва мерцающей на поверхности.

Вершины медленно, едва не касаясь вертолета, проплыли под ними, и тут озеро предстало все — заключенное в отвесных скалах. Выше скалистые берега переходили в склоны, там и здесь, местами гуще, а местами реже, к берегам приближался лес, почти повсюду хвойный и только кое-где лиственный, пожелтевший и еще — с красными пятнами не то осины, не то боярышника, а в складках между гор лежал снег, и снежные пятна соединялись с озером тонкими белыми нитями — это были струи водопадов, казавшиеся совершенно неподвижными...

Но ни вершины, ни снега, ни даже облака — ничто не отражалось в гладкой поверхности озера. Оно будто тлело в глубине своей зеленоватым огнем, и неяркие, чуть синеющие эти огни тотчас вспыхивали повсюду, где едва-едва проступало очертание скалы, отражение снежного пятна или облака, и отражение это, еще не успев возникнуть, исчезало.

Таким было в тот день Телецкое озеро.

Давно хотел увидеть его Рязанцев, но до сих пор все не было случая. Четыре-пять километров в ширину и в длину семьдесят километров отвесных скал с той и другой стороны, вытянутых почти строго по меридиану, а между скалами впамя как бы огромный и прозрачный камень, поблескивающий холодным светом.

Озеро существовало в мире как будто само по себе, ото всего замкнутое, ничто не отражающее — только свою бездонную глубину.

И Рязанцев смотрел и смотрел вниз, не видя больше далей, куда впереди, на северной оконечности озера, там, где оно круто уходило на

запад, не показались несколько домиков, один среди них, кажется, двухэтажный, а на берегу причал с ярко-белым катером и такой же моторной лодкой... Яйлю — поселок заповедника, территория которого простиралась по восточному берегу озера до самых истоков Чулышмана.

Тут, в виду Яйлю, развернулись и круто пошли на запад, даже на юго-запад, но ни лиственная чернь, ни густые, лишь кое-где поверженные гарью кедрачи не могли заслонить картину, которую все яснее, все отчетливее, как бы приближаясь к чему-то не до конца увиденному, восстанавливала память...

И только спустя час, может быть больше, заметили, как небо почти в том самом направлении, в котором двигался вертолет, стало синеть, словно и там возникала густая, почти твердая вода озера... Сначала это все-таки была небесная синева, прозрачная, но вскоре она так отяжелела, что громадный кусок неба опустился под этой тяжестью вниз, придавил землю и, не вмещаясь на западе, стал раздвигаться в стороны и вверх, приподнимая над собою голубой небосвод.

Потом запад стал уже мертвенно-синим, тяжкая синева все быстрее двигалась навстречу солнцу, а солнце доверчиво плыло навстречу ей, и как только они соприкоснулись — все в мгновение изменилось на земле: лес перестал быть зеленым, он стал таким же синим, как небо, еще темнее; воздух как бы исчез, в промежутке между землей и небом возникла пустота, сквозь которую отчетливо проступили острые скалы, еще недавно казавшиеся плавными и округлыми; ущелья и глубокие складки между гор, терявшиеся в сумраке, вдруг стали светлее, чем окружающий их лес, они как будто вывернулись наружу. Ручьи побелели...

Пилот обернулся и сказал:

— Да...

На его почти мальчишеском лице было то выражение полного спокойствия, которое никого ни в чем не могло обмануть. Он повторил свое задумчивое «да...» еще раз, выжал рычаги и, развернув машину влево, на юг, пояснил через плечо:

— Драпаем!

Иващенко свернул на коленях фотоплан.

— А куда?

Пилот кивнул головой вперед и потом туда же махнул рукой. Рязанцев сказал:

— Ищет места для посадки. Там должно быть такое.

Мотор и винт над головой ревели, машина, содрогаясь, стала зарываться носом вниз, словно на волнах, и Рязанцев понял, что пилот до предела вывернул лопасти винта, они вращались теперь, загребая воздух, словно весла. Машина шла на предельной скорости...

Совсем близко были верхушки деревьев, но от этой близости земля не становилась доступнее. Сквозь сумрак, заполнивший кабину, Рязанцев рассмотрел фотоплан, потом показал на нем пилоту одно место, как раз на пересечении каких-то координат.

Тот посмотрел раз и другой, кивнул. Иващенко кивнул тоже.

Пилот-мальчик был прав: гроза распространялась на север быстрее, чем на юг, закрывая населенные пункты — и Яйлю, и Турочак, и Артыбаш; восток был холмист и залесен — оставалось уходить на юг.

Сверкнули молнии.

Сначала Рязанцев не понял, что это они, что они совсем близко, потом заметил, как что-то вспыхнуло не над ним, а под ним и вправо, а что-то осветило каменистую вершину, как освещает иногда внезапно вспыхнувший костер не самые нижние ветви деревьев, а их маковки. Но костер потом разгорается, светит на все снизу доверху ярче и ярче, а эти

вспышки потухли сразу же, и темнота справа стала гуще, а светлый восток слева отодвинулся еще дальше.

Рязанцев смотрел на Землю... Хотел узнать и такую правду о Земле — о том, какой она может быть чуждой и нежилой, хотел пережить внезапную смену необычайных картин. Географ должен был знать о Земле все, как же как врач знает организм человека и тогда, когда организм здоров, и тогда, когда он болен. Патологическая анатомия и физиология Земли — не специальность географии, такой географии, к счастью, еще не существует. Но если человек будет действовать неразумно, он ее создаст. Сам создаст что-нибудь вот в этом же роде, еще худшее, гораздо более мрачное и безнадежное...

Он глядывался в зловещий пейзаж: по темно-синей земле волочились обрывки туч какой-то густой, неестественной белизны, кое-где вспыхивали огни, и на одной из вершин вдруг занялось дерево, как раз в той стороне, где и молний-то, кажется, не было.

Грохот мотора то и дело заглушал гром, и тогда казалось, будто становится тихо вокруг.

Рязанцев перестал глядеть в стекло, закрыл глаза и вдруг подумал: «А какая это все-таки светлая наука — география, какая по существу своему радостная, непринужденная! Право же, хорошо быть географом!» Кажется, никогда еще не видел он географию такую, как сейчас!

И он стал внимательно следить за пилотом: выручит мальчик или нет?

Спустя еще некоторое время мальчик посадил машину. Посадка произошла как-то незаметно, быстро, мальчик совершил ее с ходу — покачнулись раза два, как бы испытывая, примет или не примет Земля машину, и тут же высокая, потемневшая в грозовом воздухе трава заслонила нижние стекла кабины.

Мотор смолк, винт над головой тоже. Иващенко спросил:

— Саша, а на сколько у тебя горючего? До базы дотянем?

Пилот-мальчик ответил, соображая:

— Так ведь неохота радировать о помощи. Должны дотянуть.

— А НЗ у тебя есть? Пожевать?

— Малость...

— А рация в порядке?

— Будто бы...

— Тогда что же ты не принял предупреждение о грозе?

— Значит, не принял. После разберемся.

— Холодно будет ночевать, — вздохнул Иващенко. — У меня только недавно была вынужденная посадка. Вроде этой. Двое суток дрожал.

— С кем летали? — спросил Саша. — С Лузгановым?

— С Ермиловым.

— Бывают же люди...

— Ты напрасно — пилот хороший.

— Я не о том. Двое суток просидел, а мы думали, он в Турочаке задержался. Никому ни слова.

— Начальство знает.

— Начальство — это еще не все. Нет, мы завтра выберемся. Хватит горючего. Кончатся разряды, сообщу — полный порядок.

Дождь стучал по кабине, запах бензина стал почему-то сильнее, металл и стекло похолодели, и машина как будто перестала быть машиной, а стала капсулой для троих людей, в которой они могли дышать, сидя двигать руками и ногами, а еще беседовать и думать.

Это было немало, и Рязанцев спросил у Иващенко:

— Видали ее, Землю? Какой она может быть?

— Всякой может быть! И всякой ее можно сделать.

— Наука должна научить этому человека — распорядиться своей Землей.

— Наука учит человека. А человечество — науку.

Был шестой час вечера, но уже наступала ночь — бессонная и очень холодная.

Глядя с вертолета в грозовое небо и на горы, Иващенко видел там, оказывается, то же самое, что и Рязанцев. И о том же думал...

У него были почти уже старческие, заострившиеся, но еще энергичные черты лица, мохнатые брови, под шапку-ушанку уходили залысины морщинистого лба.

Пилот дремал, склонив голову на плечо и подобрав под себя ноги; Иващенко сидел неподвижно.

Но когда они разговорились, Рязанцев не заметил и только много времени спустя воскликнул:

— Так вы географ! Какой же вы лесник? Вы географ!

Не часто встречал Рязанцев такой слух, такое зрение, такую любовь к Земле и тревогу за нее.

Старик пожал плечами:

— Как же иначе — лес один не бывает — без рек, без почв, без климата. Безо всей земли.

Не было ни взаимных восторгов, ни удивления, Рязанцев словно узнавал в Иващенко себя, и прежде всего в том, что им было обоим неясно, требовало ответа, вызывало сомнения. Было и грустно: оказывается, можно прожить лишних десять — двенадцать лет и не узнать о своей науке больше того, что сейчас знаешь о ней.

Как бы подтверждая это, Иващенко сказал:

— Что будем делать? Нет ведь нынче географии. Одни считают есть, существует, даже процветает. А я думаю: нет единой науки о единой природе.

— Значит, не хотите быть географом?

— Почему же?

— Если нет географии?

— Должна быть... Вот создается общественный научно-исследовательский институт. Здесь, на Алтае. Слыхали?

Рязанцев не слышал.

— Напрасно, — сказал Иващенко. — Совсем напрасно! Будут в институте таежные охотники, академики, геологи, лесники, историки. А должностей не будет. Окладов не будет. Любишь Горный Алтай — приходи. В отпуск. В свободное время.

— А права? Любительское научное общество? Клуб? Мило. Приятно. В общем — полезно. И пороха не выдумают: нет серьезных обязанностей, а без обязанностей нет прав.

— Не доверяете нам, дилетантам? Не профессиональной и не специальной науке? Скажете: «Нынче время углубленных исследований!» А в то же время все люди так тянутся нынче к науке, так науки хотят, ей доверяют и помогают, что вы не можете им отказать.

— Общественный институт будет науку в этом убеждать? Чем?

— Делом. Ни одна экспедиция без вех института не приедет на Алтай. Ни одна не уедет, не отчитавшись.

— Ну, а если одни только слова? Заседания, доклады? Академики будут приезжать с семьями. Доклад, пикник, потом приятный отдых в научно-подшефном санатории?

— Слова должны быть. Только не такие слова, которыми люди убеждают других, а самих себя не убеждают. Вы не пессимист?

— Не легковер. Кто же все это замыслил?

Ивашенко перечислил имена: были тут партийные работники, ученые, специалисты. Был профессор Крылов и еще — Лопарев.

— Не думал... — удивился Рязанцев. — Не думал. А что, из новых отношений между людьми может родиться новая наука? Или возродится старая?

— Это я и думал сказать...

— ...когда вслух подумали, что наука учит людей, а человечество — науку. А не правда ли, хотелось бы чего-то большего?

— Кто придет в наш институт — всем хочется чего-то большего.

Потом Ивашенко дремал в тужурке пилота — тужурка была теплее, на меху. И хотя ночь была долгой и хслодной, она таки не сковала Рязанцева, не заставила его дрожать, страдать от бессонницы...

Тесно прижавшись к Ивашенко, он вспоминал нынешнее свое путешествие с самого начала, а потом как будто еще допереживал чувства, которые приходили к нему во время нынешних полетов, домысливал или старался домыслить и досмотреть что-то на Земле, что он увидел с вертолета...

\* \* \*

Это ощущение, будто он видит Горный Алтай откуда-то с высоты, не покидало Рязанцева и в тот день, когда экспедиция выехала в обратный путь...

Из кузова машины он глядел вокруг и спрашивал себя: неужели правда, что человеку свойственно привыкать к прекрасному?

Привыкать и даже не замечать его?

Может быть, ради того, чтобы еще и еще раз убедиться в этой обидной способности человека, природа и создала Горный Алтай?

Может быть, ради этого всеми красками, какими только окрашены леса и травы от Белого до Черного морей, она одарила горы Алтая?

В небе над Алтаем вдруг замерцают искры — это приближаются дневные звезды, а солнце то и дело гасит их своим каким-то земным светом, солнце влетает в леса, в ручьи, реки и озера. Небо становится как бы частью земли, и солнце тоже ее частью, а все вместе они — это Алтай, Горный Алтай.

Ведут путешественников тропы Горного Алтая поворот за поворотом, подъемы-спуски, вершины-подножия, истоки-устья, кряжи-долины. Шаг — и новая страна.

Новая страна — река течет в стране иная, по-другому бурная, по-другому прозрачная, по-другому прелестная; деревья стоят в стране иные — в другой они уже соединились в лес, с другими красками, с другими запахами, с другими шепотами, с другою лесной жизнью; камни в стране уже невиданные — в другие они слагаются глыбы, в другие скалы, кряжи и хребты; иные в стране дали — вершины закутаны в другие снега, другие на снегах отражаются облака, другие ручьи солнечного света струятся по снегам и льдам...

Все-все другое с каждым шагом.

Камень лежит среди тысяч камней на берегу ручья иной, чем все другие камни, с неповторимым во всем мире рисунком темных жилок, со своим звездным небом из крапинок слюды, обращенным к солнцу; со своей же влажной тенью на соседних камнях...

Двух травинок, двух лепестков, двух одинаковых хвоинок нет в лесах, все они — разные лепестки, разные травинки, разные камни, разные ручьи, реки, озера, деревья, кряжи, ледники, и все разные они — одна страна, один Горный Алтай.

Каждый, кто проедет Чуйским трактом с юга на север, увидит в этой стране множество других стран...



Увидит мягкие очертания невысоких, сглаженных гор — и вдруг узнает Южный Урал...

Увидит Семинский перевал и подумает, что это Саяны.

Перевал Чикитаман, а вскоре вслед за ним бомы вдоль Катуши напомнят путешественнику Кавказ...

В устье Чуи промелькнет перед ним картина из предгорий Копет-Дага, Курайская степь возникла как будто потому, что кто-то перенес сюда пейзаж Хакассии, а степь Чуйская — это пустыня Гоби в миниатюре.

Нынче был обратный путь, и в обратном порядке разворачивались эти кадры: сначала Курай, потом кавказские ущелья, потом Саяны, потом Урал...

И как будто впереди уже маячил большой город, в нем — новый мост через овраг, по мосту бегут трамваи... Кое-где сохранились следы разрушенных домишек и того домика, в окошке которого Рязанцев когда-то заметил письмо, адресованное в городок Красный Кут...

А может быть, следов уже не осталось.

Старший шофер Владимирогорский на газике умчался в Бийск — хлопотать о погрузке машин на железнодорожные платформы, а младший, Севка, не очень строго соблюдая правила обгона, вел ГАЗ-63. Проехали Семинский перевал. Там, на высоте, была уже зима, снег покрыл тундровую растительность и деревья тонким и блестящим налетом. Когда спустились в деревню Топучую, зима кончилась, но все дышало здесь воздухом глубокой осени: и увядшие травы, и кустарники с оголенными ветвями, и даже белесая вода речушки Семы, вдоль которой разматывалась серая лента дорожного полотна.

Солнце светило по-осеннему через негустые тучи, свет был рассеянным, блеклым, и только кое-где по склонам плыли ярко-желтые пятна.

Некоторое время машина экспедиции держалась позади другой — с запоздавшими туристами.

Поеживаясь на холодке, в белых войлочных шляпах, туристы пели о человеке, который не заметил, как к нему пришла седина. Или они только чувствовали слова песни, но не понимали их, или только понимали, но не чувствовали, — лица юношей и девушек были загорелыми, обветренными, прихвачены холодком и немного растерянны.

Туристов скоро обогнали.

Вершинин-младший и Лопарев сидели на спальных мешках, прислонившись к борту и вытянув ноги. Лопарев, наверное, обдумывал что-то такое, что касалось его встречи с лесничим Саморуковым и лесхоза.

Должно быть, по этому поводу он говорил что-то иногда Вершинину-младшему. Ветер уносил его слова.

Рита, закутав ноги брезентовым пологом от палатки, сидела напротив, не спуская с Андрея удивленных и счастливых глаз. Андрей этот взгляд замечал... Может быть, он даже и стеснялся этого взгляда, стеснялся потому, что рядом с Ритой не было Онежки... Так показалось Рязанцеву, и он с какою-то поспешностью стал глядеть на Вершинина-старшего.

Подняв меховой воротник кожаного пальто и укрывшись за кабиной, Вершинин-старший сидел на ящиках с экспонатами. Он был слегка простужен, но простуды на этот раз не признавал и не хотел ехать в кабине. Он был не только бодр, но еще и горд, чем-то он напомнил Рязанцеву бывшего директора совхоза Парамонова. Вершинину-старшему было под шестьдесят, и улыбка и выражение лица утверждали, что годы эти ему не в тягость.

Рязанцев смотрел на него и догадывался, что, должно быть, очень скоро он займет пост заместителя директора института по научной работе, а Вершинин знал, что Рязанцев об этом догадывается.

Вершинин-старший закрывал собою половину стекла и проволочной решетки, а в другой половине окошка Рязанцев видел полоску синего свитера: в кабине ехала Полина, и свитер был на ней тот самый, который так недавно и так отчетливо был виден ему с вертолета... Когда Рязанцев вернулся в лагерь после своих воздушных путешествий, Полина встретила его на гробе в этом же свитере и вся в слезах.

— Ника, милый! Напугал меня до смерти! — сказала она, всхлипывая и улыбаясь совсем по-детски.

— Я? Как это случилось? — удивился Рязанцев. — Как же это...

— Боже мой, какой глупый! Вертолет пролетел над лагерем, назад не возвращался, а в той стороне была такая страшная гроза. Непонятно?

— Это, наверное, ты глупая, Полина, — ответил Рязанцев. Надо было ему сказать какие-то слова.

Про себя же он подумал, что, должно быть, навсегда прошло для него время, когда собственные чувства были ему нипочем: он их порождал, он ими и владел.

С возрастом чувства становились не слабее, а сильнее, и только его способность их вмещать, сохранять всегда при себе была все меньше и меньше. И в тот раз он тоже взял и уступил своему желанию сказать ей об этом. А она промолчала.

Вскоре за Шебалином справа от дороги на одном из склонов заметили первую сосну: отсюда уже начинались сосновые леса, а кедр и особенно лиственница стали встречаться реже.

Сосне приветственно помахали.

Спустя еще несколько часов, когда машина поднялась на взгорок, в небе показались вдруг подъемные краны. Их никто и никогда не замечает нынче в городском пейзаже, но тут заметили все сразу, стали считать, вглядываться в тонкие стрелы, устремленные вверх. Они были еще очень далеко — в окрестностях Бийска. Вдоль тракта то с одной, то с другой его стороны один за другим мелькали полосатые оградительные столбики.

Столбики эти не отмечали ни населенных пунктов, ни километров — просто ограждали путь, но Рязанцев подумал, что, может быть, какой-то из них вот сейчас отметил половину его сознательной жизни. Так хотелось ему верить, что только половину, и хотелось подвести какой-то итог, какую-то черту на своем полпути.

Столбик за столбиком, которые он примечал, быстро отставали, потом совсем исчезали за поворотом, а невидимая черта как будто двигалась вместе с Рязанцевым.

Может быть, и Полина тоже смотрела на этот же самый столбик из кабины...

Давным-давно исхожены все тропы на обетованной земле.

А между тем...

Новосибирск.



---

---

ВЛ. КОРНИЛОВ

★

## ВОЛЖСКАЯ ПРИСТАНЬ

Пристань называлась Сероглазка.  
Видит бог, влюбился человек,  
И пошла о той любви огласка  
По реке великой вниз и вверх.

Так влюбился пламенно и яро,  
Так любил свободно и легко,  
Что меня от Каменного Яра  
К этой самой пристани влекло.

Чайки окружали, возражали,  
Пряталась речная колея,  
Но вела меня любовь чужая  
Радостно и властно, как своя.

И взамен осточертевших истин  
Наконец открылось мне тогда,  
Что пребудут после нас, как пристань,  
Наши свет, любовь и доброта.

Не погаснут и пребудут долго,  
Потому что не надолго мгла.  
И про это понимала Волга  
И спокойно в Астрахань текла.

\* \* \*

В той стране далекой Якутии,  
Где с тобой с зари и до зари  
По гольцам и пастбищам ходили,  
На плечи приладив рюкзаки,

Намотавшись,  
я впервые понял:  
Речь про годы —  
не пустая речь,  
И как будто собственной ладонью  
Возраст свой потрогал, точно вещь.

Жизнь прошла почти наполовину  
(Если очень повезет — на треть!),  
И на то, что вот сейчас покину,  
Никогда мне больше не глядеть.

Потому-то шел, не обольщаясь,  
Свидеться уже не обещал,  
Радуясь, но про себя прощаясь,  
Якута́м ладони пожимал.

Лили ливни, хохотали громы,  
Рыжая река текла с берез,  
И на мир веселый и огромный  
Я глядел не с грустью, а всерьез.



---

БАГРАТ ШИНКУБА

★

## НА СКАЛЕ

*С абхазского*

Высоко, под синевой небесной,  
Вдалеке от всех земных щедрот,  
На крутой груди скалы отвесной  
Маленькое дерево растет.

Как возникла в камне жизнь живая?  
Кто сюда принес его, привел?  
Может быть, гнездо себе свивая,  
Горный уронил его орел?

Удивляя стойкостью железной,  
С твердым камнем продолжая связь,  
Дерево стоит над самой бездной,  
В той сухой скале укоренясь.

Туча ли нагрянет грозовая,  
Загремит ли над горами гром —  
Дерево, союзников не зная,  
В одиночку бой ведет с врагом.

Горный вихрь ударит ли с размаха,  
Рассекая вечные дубы,—  
Прислонясь к скале, не зная страха,  
Дерево готово для борьбы.

Снег с вершин обрушится, бывало,  
Валит сосен крепкие стволы —  
Не страшится дерево обвала  
И спокойно смотрит со скалы.

Как же голова не закружилась?  
Как же дерево не сорвалось?  
Со скалой навек оно сдружилось,  
Не корнями — сердцем с ним срослось.

*Перевел С. Липкин.*

\* \* \*

Древнюю старушку опустили  
Нынче в лоно матери-земли,  
И стоит старик лицом к могиле,  
Он стоит, хоть все давно ушли.

Все стоит, как будто он прикован  
К ней, делившей с ним земной удел,  
Будто самых важных, нужных слов он  
Досказать старухе не успел...

Сколько вместе прожито на свете,  
Сколько весен, радостей и бед  
За невозвратимые, за эти  
Дорогие восемьдесят лет!..

Шли вдвоем в согласии, не споря,  
И любовь сумели уберечь...  
Как поднять такую глыбу горя?!  
Эта ноша — не для дряхлых плеч!..

И, пожалуй, не хватило б силы  
На такую кладь у старика,  
Если бы ему не подсобила  
Внука малолетнего рука.

*Перевела Ю. Нейман.*

\* \* \*

От лютого ветра, от стужи  
Зимой деревья не раз  
Кора укрывала не хуже,  
Чем бурка любого из нас.

Когда, словно глупый рубака,  
Вдруг зной разойдется с утра,  
Как нас от ожогов рубака,  
Деревья спасает кора.

Всегда на испытанных самых,  
Могучих деревьях она  
В глубоких морщинах и шрамах,  
Как крепости древней стена.

Одежду, что станет не впору,  
Мы сменим — и это к добру;  
Не так ли в весеннюю пору  
Деревья меняют кору?

*Перевел Я. Козловский.*



---

---

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

★

## ХМЕЛЬ

*или*

### НАВСТРЕЧУ ОСЕННИМ ПТИЦАМ

**П**ятилетний внук мой Петя обошел сегодня вокруг полянки, на которую выходит фасад нашей дачи. Вдоль полянки течет неказистая речушка и торчит ольха да береза, прекрасные лишь тогда, когда среди них курится и затухает туман. Но если бы вы слышали, как рассказывал обо всем этом Петя! Он видел три необыкновенных моста, клокочущую реку, громадных рыб в ней, собор патриарха, где «рассказывают сказки» (по-видимому, объяснение провожавших), дремучий лес и самые разнообразные деревья, вплоть до пальм. Мир был огромнейший, веселый,двигающийся, творящий! Глаза у мальчика горели, он весь дрожал от восторга. Прогулка продолжалась час, а рассказывал он три часа и, наверное, рассказывал бы еще, кабы не прибежал второй Петя и не позвал его играть.

«Хмель» — совсем не очерки, претендующие на прямое и точное описание увиденного. Должно быть, я к этому не способен. «Хмель» — лишь избавление от той приятной тяжести, которую я взвалил на себя, когда отправился в Восточную Сибирь. Впечатления мои могут быть преувеличенными или преуменьшенными; в том и другом случае героям встреч это будет, наверное, неприятно. Вот почему я заменил настоящие имена псевдонимами.

Кроме того, все, что я видел, — за небольшими исключениями — казалось мне крайне необычайным, фантастичным; все время во мне трепетало ощущение необыкновенной яркости наблюдаемого — как в детстве, как у моего внука Пети. Да простят мои собеседники мою вечернюю службу, идущую, может быть, нестройно. Лемех мой спашан и истерт от долгой работы, ибо пашня была длинна.

#### 1. Радости ловят на лету

Странно все-таки мы устроены! Чем жизнь становится значительней, уснащенной знаниями, величественнее, а значит, интереснее, тем больше мы стремимся путешествовать, словно надеясь в далеких краях найти и увидеть истоки того, что нас сегодня так возвышает.

Друзья ждали меня в Чите. Мы избрали для путешествия Онон и Чару. Река Онон течет в южном конце области, Чара пересекает крайний север ее. Онон через Шилку впадает в Амур, Чара через Олекму — в Лену. По Онону мы решили доплыть до Шилки, а по Чаре до Лены. Обе реки не судоходны, пароходства там нет — значит, нам нужно плыть или на лодке, или на плотках.

Читинский аэродром еще не принимает ТУ-104, поэтому для летящих в Читу существует иркутская пересадка. Накрапывал легкий и мелкий осенний дождичек, и все вокруг — пассажиры, носильщики, багаж, аэропорт, самолеты — выглядело немножко линиялым, будто на старинной литографии. Приближалась ночь, залы были наполно налиты людьми; я сдал свой багаж в камеру хранения и безмятежно сел на скамеечку в садике, перед зданием аэропорта.

Дождичек скоро кончился, и распахнулось небо: густо-зеленое в середине и ослепительно ярко-алое по краям, будто Байкал весь захлестнулся одной волной и мчится над нами, освещая нас блеском пожара, пылающих на его берегах! А глубина зелени все нарастала, а ярь алости все расширялась... и где-то на краю светилось прозрачно зеленое облачко, и на нем словно подпрыгивало и словно шипело что-то мучнисто-белое, тотчас же напомнившее мне детство и «налистники» — блины, которые мать пекла на капустных листьях. И я вспомнил Иртыш, наш дом, детство, пылающую печь, снега за окнами и мать со сковородником в руке... Уже ради одного этого внезапно всплывшего воспоминания стоило прилететь в Иркутск!

— Притягивает к скамейке, думаю: он ли?

Этот приятно улыбающийся человек в черном — Мординов Николай Егорович, якутский писатель, автор превосходного романа «Весенняя пора». Якутские писатели после пленума писателей Российской Федерации возвращаются из Улан-Удэ к себе на родину.

Алое по краям неба замирает, тем мощнее выступает зелень глубины. И хотя аэропорт освещен сильно, все же зелень неба, если не в силах придавить этот свет, должна пробиться сквозь фонари и положить свой отпечаток на лица моих собеседников. Но в лицах якутских писателей нет никаких оттенков зеленоватости, они пылают тем внутренним светом, название которому я еще не могу подобрать: я слишком долго и внимательно глядел в небо, и во мне еще хранятся его краски. Но я найду, найду. Я ишу.

А тем временем идет разговор и о пленуме и о нашей предполагаемой поездке по Чаре к Лене и, значит, в Якутию. Плаванье, говорят якуты, трудное, много порогов, и вообще по Чаре мало кто ходит, разве охотники. «Вокруг — тайга, притына нет, зато у нас, в Якутии, мы гарантируем вам славное пристанище». Ну, и, разумеется, «как это вы, несмотря на годы...», словно мне сто лет. Да, иначе, пожалуй, они и сказать не могут. Сибирь — страна молодежи, и седовласых путешественников вроде меня встретишь тут не так уж часто. В Наминге, возле Чары (простите, что забегаю вперед, но так уж к слову пришлось), на литературном вечере в клубном зале, где сидело человек триста, сед был только я один.

Диспетчер с обидной отчетливостью провозглашает по радио отправление самолета на Якутск. Мы расстались, пообещав друг другу непременно и поскорее встретиться в Якутске.

— Теперь меня к Лене будет тянуть больше, чем когда-либо, — добавил я, и не из любезности, а с полным сердцем.

Якуты ответили:

— Насколько нам известно, Чара тянет хорошо: вы быстро очутитесь на Лене.

Если б я в те минуты подозревал, как умеет «тянуть» Чара!

Прошел к самолету на Воркуту рослейший, молодцеватейший детина в длинном осеннем пальто и шляпе, надвинутой на самые уши, точно он ждал шторма. «Пожалуй, действительно осень», — подумал я, глядя на него. А тут у перил приосанился, подбоченясь таким фертом, юный железнодорожник в кителе. «Нет, пожалуй, до осени далеко!» Подбежали девушки в одних ситцевых платицах, даже без платочков.



— Посадка на Братск началась?

— Через полчаса.

Небо между тем перестроилось: тучи заволокли его. Мелькали, правда, звезды, но так мало, что по пальцам пересчитаешь.

И опять пришло в голову: «Что же такое особенное нашел я в лицах якутов? И это же мелькает на лицах девушек в ситцевых платьях. И на лице железнодорожника». И опять не смог подобрать я определения.

Так я и пересыпал свои думы, как пересыпают зерно для освежения из закрома в закром. Впрочем, торопиться мне было некуда. То я представлял якутских писателей спускающимися со ступенек аэропорта, то пожирающими мою руку, то подхватывающими свои чемоданчики, чтоб идти к самолету... нет определения, да и только! Стружка сыплется, шуршит. а предмета, который выстрегиваешь, все нет и нет.

Появился еще знакомый, теперь уже не писатель, а экономист; я разговорился с ним в очереди камеры хранения. Он сделал кислое лицо, услышав, что я еду на Онон и Чару.

— Ну, абсолютно не задетые культурой места и меньше всего типичные для нашей семилетки! Ваше место — Братск. Я тоже оттуда и могу показать вам Братск с такой стороны, что охнете!

Теперь он повел меня познакомиться с молодежью Братска — девушками из самостоятельности, приезжавшими в Иркутск на смотр, теми самыми девушками, на которых я дивовался, что они в одних ситцевых платьях.

Девушки бодрой бодростью, которую дает недавний свет сцены, аплодисменты, похвалы. Они говорят со мной быстро, уверенно и так задушевно, словно знакомы со мной лет десять. И опять я чувствую в их лицах то самое, что чувствовал в лицах якутов и что я не могу объяснить самому себе.

— Онон слышали, а Чара? Что это такое? Река?

— Да у нас же Ангара. Река — всем рекам речушка!

— К нам в Братск все писатели едут, а вы — на Чару?

— Меняйте билет. Мы вам такой банкет закатим!

Банкет?! На выдумщицу зашикали: перестрел. Она тут же, впрочем, уразумела, что банкет надо «согласовать», а вот «встречу» можно и обещать.

— Встречу. встречу!

Так мы и договорились о встрече — после Чары, Лены и Якутска — в Братске.

На скамеечке, которую я облюбовал, пожилая женщина в зеленом пальто уже разложила чемоданы, свертки, пакеты. Я хотел было пройти мимо, она указала на оставшееся место.

— Но ведь вам тоже сидеть нужно.

— Ничего, я постою. А кроме того, хочется в ресторан, закусить, только туда с вещами не пускают.

— Оставьте вещи в камере хранения.

— Камера хранения переполнена. Очень хочется кушать, — добавила она протяжно. — Всего минут десять. Вы — в Читку?

— В Читку.

— И я в Читку.

Так я и остался хранителем вещей женщины в зеленом.

— А вы пианист? — спросила она меня, уходя.

— Вообще нет.

— Мне почему-то показалось, что пианист. Крайне люблю музыку.

И она сделала такой жест рукой, словно раскуривала трубку.

— Ну, я пошла.

— Пожалуйста.

Я плотнее уселся на скамейку. Если женщина сказала, что вернется через десять минут, жди через час. Да и как можно насытиться в ресторане за десять минут? И вдруг ей захочется съесть не одно кушанье, а два и еще вдобавок мороженое?

Миновал час, два. Я продрог, и раздражение незаметно распалаяло меня. Что за легкомыслие! Уйти на десять минут и не вернуться через два часа! Почему она думает, что я лечу в одном с нею самолете? На Читу летит несколько самолетов, и благо, что мой летит в семь, а то бы, будь мой рейс, я сел бы, бросив ее чемоданы, — и поминай, как звали! Или она заболталась в ресторане, или выпила водки и ее распарило?

Три часа. Четыре. Окна в ресторане потухли. Садик перед зданием аэропорта опустел, самолеты снижались редко, точно и они спали. А я все кружил и кружил вокруг скамейки.

В ближайший час должен появиться и мой самолет, а женщины все нет и нет. Поставить ее вещи на хранение? Но как ей вручишь квитанцию? И какая у нее фамилия? Кроме того, при сдаче вещей, кажется, просят паспорт? А я-то еще нашел в ее лице что-то схожее с лицами якутских писателей и девушек из самодеятельности Братска...

... Ну, разумеется, хмель!

Ехал я как-то на автомобиле из Праги в Карловы Вары. Узкое шоссе, крутые повороты, городки с острыми крышами, холмы, заводы, шахты, пирамидообразные выбросы породы. Затем земля стала красноватой, словно посыпанная толченым кирпичом, и появились поля хмеля. Косо стояли высокие — выше телеграфных — столбы, переплетенные веревками, как сетями. И свисал хмель, уже потускневший несколько, но все еще сильно желтый, особенно на красноватом фоне земли.

На край плантации, положив руки на плечи друг другу, вышли три чеха. Они пели какую-то песню — не ту песню, которую поют от пьяной тупости, а ту, которую поют, когда сердце переполнено радостью, творчеством, высокой жизнью, когда песня соединяет многие радости в одну и широко разносит ее по всему доброму миру.

Мой сосед чех сказал, что такое случается: убираемый хмель, даже без хмеля хмелит. Хмелит сама счастливая работа. Наверное, он был прав.

Ну, конечно же, прав!

Хмель, хмель...

Зеленое пальто прибежало, запыхавшись, за полчаса до отлета.

Она схватила чемоданы и, с трудом поднимая на меня опухшие веки, быстро сказала:

— Вы, как чуткий к чувствам человек, как пианист, должны понять...

— Право же, я не пианист.

— А кто вы такой?

— Ну разве время разговаривать о наших профессиях? Пойдемте взвешивать чемоданы.

## 2. Ничего нет хорошего в том, когда у тебя свой кнут на чужих коней

В Чите меня, как я уже говорил, ждали два приятеля — литераторы Василий Григорьевич и Гоша. Они однолетки, каждому под сорок, только Гоша пишет для детей и оттого, должно быть, моложав и кажется простодушным; Василий Григорьевич пишет для владельцев жизни — взрослых и поэтому солиден, нетороплив, говорит тихим, но внушительным голосом; пьяницы, заметил я, от его голоса сразу трезвеют. Толстые, крепкие полки в комнате Василия Григорьевича уставлены почетными томами, которых обыкновенные люди давно уже не читают; Василий Григорь-

евич не только читает их, а изучает — прочно, твердо, на всю жизнь. Боюсь, что у Гоши полоч совсем нет и самая любимая его книга — «Календарь природы».

Василий Григорьевич — романист; он, впрочем, пишет и стихи, но каждое его стихотворение похоже на роман. К своим обязанностям романиста он относится как ученый: если он описывает в романе сталевара, то он едет на несколько месяцев на завод и работает подручным у сталевара, возле печи; если создает колхозника — отправляется и работает долго в колхозе. Гоша — поэт, сказочник, хотя несколько лет тому назад служил инженером, а еще раньше — обыкновенным рабочим. Наверное, он отлично работал, но, глядя на него, почему-то думаешь, что и на работе он много придумывал сказок. Так думать мне приятно потому, что, как я заметил, детские писатели — крайне положительные люди, и откуда у них берется фантазия, мне непонятно.

Обоих приятелей сдружила страсть к путешествиям. Это тот самый верхний стык стропил и скатов, гребень, конек кровли, который вроде и незаметен, а между тем очень украшает и возвеличивает дом. Но и в путешествия они отправляются по-разному. Василий Григорьевич снаряжается обстоятельно, но берет только самое необходимое. Гоша откладывает снаряжение до последнего часа и берет его обычно взаймы у друзей — много и случайно. Чужой у него спальный мешок, чужое ружье, приемник, магнитофон необыкновенной тяжести, пожалуй, и фотоаппараты у него чужие. Даже заготовленное к путешествию Василием Григорьевичем имущество он ухитряется превратить в чужое, «принадлежащее природе».

Всю зиму Василий Григорьевич готовил моторную лодку для поездки по Чаре и Онону. Готов был и шестизарядный дробовик и многое другое. Весной Гоша решил испытать это снаряжение и по Ингоде и Шилке поплыл на Амур. Весна была многоводная, Амур широк и буен, — Гоша утопил лодку, мотор, шестизарядный дробовик и сам чуть было не утонул.

— Как же мы поплывем? — спросил я своих друзей с недоумением.

— На Ононе и Чаре люди радушны, — ответил Гоша улыбаясь.

Улыбается он чудесно: чуть наивно и чуть иронически. Его улыбка вызывает и у вас улыбку, сердиться на него невозможно; кроме того, приятно, что он не утонул. Наверное, поэтому-то Василий Григорьевич подтверждает:

— Да, люди на Ононе и Чаре радушны, а затем у нас есть надувная резиновая лодка.

Соображения о резиновой лодке кажутся мне весьма дельными. Кроме того, читинские общественные деятели, любезные и снисходительные к писателям, одолжили нам на две недели ГАЗ-69, и завтра мы отправляемся в нем к Онону.

Как беспечно и как сладостно на сердце, когда, успокаивая свое нетерпение и стараясь заглушить его шутками, погрузишься в ГАЗ-69, выедешь рано утром на мокрое шоссе, минуешь последние читинские домики с еще закрытыми плотно ставнями, минуешь черную и словно натянутую меж камней Никитишну, а за ней строптивную Кручину, проедешь Атамановку, увидишь Ингоду, такую полноводную, что это настораживает, перемахнешь мост, покрытый липкою жижею после дождя, полюбишься своротом шоссе на Агинск, переночуешь в комнатах дорожника мастера на Дарасуне, выпьешь удивительно вкусной дарасунской воды, которую, по словам Василия Григорьевича, «вывозили прежде на продажу за границу». Вывозили ее или нет, кто знает, но факт, что вода приятно освежительна, пьешь и не напьешься, и что в Чите дарасунской воды достать невозможно! Да не только в этом беда — беда, что вообще

курорт запущен. Погода солнечная, ясная, а возле источника — глубокая осенняя грязь, и курортники идут сюда по деревянным мосткам. Впрочем, по вечерам возле старинного курзала оркестр играет польки и вальсы, пожилые курортники гуляют при тускловатом электричестве, а молодежь пламенно танцует.

— К Онону?— сардонически спрашивает меня знакомый бурятский артист, великан собою.— Ехали бы вы лучше к нам, в Бурятию.

— А почему же нельзя на Онон?

— В Монголии огромные дожди, и Онон оттуда хлынул и такое размазал... впрочем, увидите сами. Налезло ж к нам в этом году воды! Амур, говорят, поднялся на двенадцать метров.

В Амур втекает Ингода, Шилка, а значит, и Онон. Ингода действительно полноводна; возможно, полноводен и Онон... все же двенадцать метров!

День почти зноен. Шоссе раскатистое, гулкое, и свет, точно эхо, близок и радостен тебе; теплом и светом обдают тебя роскошные леса, которые отовсюду — с холмов, гор и долин — налезают на дорогу.

Но вглядываешься в лес — и что там такое блестит тускловатое, вроде воска? В чем отражаются стволы лиственниц и берез? «Направо — вода, налево — болото, повернешься назад — топь»,— вспоминаются слова из какой-то старинной книги.

Речушки превратились в безумно строптивые реки, реки — нечто насмешливо злое, несообразное. Начинаешь верить, что Амур действительно поднялся на двенадцать метров.

Ночевать нам вышло на Акшинке — неказистой речушке, притоке Онона. В этой речушке вода раньше — по колена, разве где попадается эмут. Теперь, поднявшись на высокий ее берег, посмотрели мы — и охнули! Налюбоваться вдоволь невозможно. Всюду вода, всюду сверканье и бурление, лазоревые острова, радужные туманы над ивняками, и дорога, пролежавшая у высокого берега, километрах в двух-трех от речки, теперь полузалита водой.

Обогнали — едучи верхом высокого берега — трактор, волочивший комбайн. Комбайнер-бурят с торжественно безгрешным лицом индейца, когда машина наша, поровнявшись с ним, дала гудок, даже и не взглянул на нас. Он смотрел на воду.

— Воду жать собираешься, что ли?— крикнул ему Гоша.

Комбайнер ответил звонким голосом, словно лозунги выкрикивал на манифестации:

— Конь овса требует! Овес жать еду!

— А почему именно конь требует?

— Во-первых, конь к овсу привык,— насмешливо ответил комбайнер, повернувшись к нам,— а во-вторых, на коня в этом году большая надежда. Там, где трактор надсадится, конь терпит.

Спустились мы к самой Акшинке, к скалам, поросшим кривыми берегами. Всю ночь возле нас тяжело и неприветно ревел поток. Едва рассветло, как мы поспешно спустились к реке. Обычный перекал превратился в черный порог, в пене которого — холодное мерцающее свечение.

— Фу-ты ну-ты, какая глубина сказания!— воскликнул Гоша, и в голосе его почувствовалась хорошая зависть поэта к другому, зависть, когда один высказывается быстро и легко, а другой готовится сказать то же самое, но не успевает.

Канавы шоссе полны водой — и не стоячей, а отстоявшейся за ночь, лазурной и быстрой. Вода тревожила, она уже казалась произволом — течет, куда ей приглянется, нет ей меры, выбор в ее руках, а не в руках человека.

И наконец мы увидели Онон.

### 3. По мерке мастера знаешь, а Онон — мера вод

С того места, откуда мы увидали его гулкие воды, по обоим берегам возвышались горы. Только с нашей стороны они были безлесыми, да и скал встречалось мало.

Но не горы сдерживали Онон. Сдерживало собственное стремление поражать. «Могу и смыть, а вот любо мне, чтоб стояли горы, они и стоят», — так, казалось мне, думал он. Так думал я, глядя на эти крылатые и звонкие воды.

Онон не лился, не тек, отражая небо и горы. Он не желал никого отражать, пусть отражают они его! И действительно: на горах и, чудилось мне, в небе отражалось клокотание и разлив Онона. Он — мера вод и мера жизни!

Радушно светит солнце. Чутки к малейшему движению ветерка осенние травы. Но все замерло. Воздух неподвижен. Только одно дрожит — река, и дрожат в ней не отдельные ветви деревьев, а целые деревья, целые рощи.

Смотришь, и словно обменял сам себя на одно из этих деревьев: сам начинаешь дрожать.

Возле шоссе углубляли и расширяли канаву дорожники.

— Каковы прогнозы насчет Онона?

Красавец с мягким меловым лицом ответил:

— Сказывают, дожди в Монголии прекратились. Значит, спадет.

— И быстро спадает он?

— Да, два-три дня. Он переменчив.

— Переправа работает?

— Какая там переправа! Какой паром, когда дуга там пять километров!

— Позвольте, но как же нам быть? — крайне серьезно сказал Василий Григорьевич дорожному красавцу. — Мы едем на паром, чтоб тем берегом проехать на рудники Шерловой Горы, а тут, выходит, возвращайся к мосту на Чиндант.

— И возвращайтесь, пока тот мост не смыло, — тоже крайне серьезно ответил дорожник.

— Но ведь крюку-то полтора-два километра!

— Пожалуй, и все триста. На правый берег вам нет переправы, на левый нет проезда, все притоки разлились; надо вам ехать круглым путем, вернуться на Дарасун, там сворот на Агинск, а потом Агинской степью к Чинданту, если его не смыло, — уже совсем серьезно заключил красивый дорожник.

Василий Григорьевич молча пожевал губами.

— Сказка! — проговорил Гоша. — Весна осенью. Что же, сворачиваем к Хапчеранге, до нее километров тридцать, что ли?

— Тут вблизи село есть Мангут, а вблизи села — вдоль Онона — дорога на фермы и тому подобное. Если вода спадает, не лучше ли нам обождать у Онона, а то в Хапчеранге литературные вечера могут нас задержать.

— Кроме того, здесь нам легче узнать, снесло у Чинданта мост или нет, — добавил я.

Василий Григорьевич взглянул на меня. «А откуда им здесь знать, снесло мост или не снесло? Да и зачем знать рыбакам, скажем, или работникам фермы?» — говорил его взгляд.

Через село Мангут мы спустились к Онону на поемные луга и направились вдоль реки по еле заметной дороге к виднеющейся вдали колхозной ферме, над которой кружились не то грачи, не то галки.

По-прежнему все предвещало спад воды. Небо ясно. Воздух непо-

движен. Рыбак с присаленной головой, в новой рубаше, словно он плыл на свадьбу, ответил нам, спуская лодку:

— Непременно спадет, этой же ночью.

Вода тихо, точно извиняясь за беспокойство, плескалась у самой дороги. Кусты и стога сена сидели в воде. Хотелось найти сухой холмик для почевки — и мы искали довольно тщетно и довольно долго. Уже ферма осталась далеко позади, уже показалась другая — длинный мокрый сарай, где хрипел, не переставая, конь, — изба с покосившейся дверью, возбужденные колхозники возле трактора.

— Куда вы тащитесь, граждане? За пригонами топь.

— А вы чего тут делаете?

— Да вот присадили нас к сену, спасать. Обсуждаем: куда и как.

И больше не обращая на нас внимания, принялись за свое. Особенно кричал низенький, плотненький, пузатенький, в кепочке блином:

— Я настаиваю, что не спадет... Стога наверх надо тащить!

— Да отовсюду же слушай: спадет.

— Говорю тебе: не спадет, ты меня пойми.

Возражавшему, видимо, не очень-то хотелось волоочь стога на возвышенные места, в предгорье. Он сказал:

— Поймешь у волка слезы!

— Пускай я волк, ты пускай овца, но все-таки ты меня пойми. Я говорю: вода не отстанет, смотри, струечки вроде засасываются? Отрежет она от нас луга вчистую!

Голоса спорящих стихали, высокие камыши и тальник закрывали их. Проехав с километр прямо по сырой траве и камышам, мы наткнулись на какую-то заброшенную дорогу, она привела нас к старой протоке, а затем на низенький холмик возле — так мы во всяком случае предполагали — главного русла Онона. По ту сторону тускловато поблескивали серб-желтые галечники, а за галечниками — опять река, опять галечники, кусты, река, и так до бесконечности, до лиловой, изрезанной острыми скалами цепи гор.

Разбили палатку, развели дымокур от комаров, но комаров по всему низу не было.

Гоша, высказав предположение, что комариные личинки унесло стремительными ливнями, добавил:

— Тем легче будет спускаться нам на лодке.

— На какой лодке? — осторожно спросил Василий Григорьевич.

— На нашей, резиновой.

— И куда?

— К Чиндантскому мосту.

— А машина?

— Машину туда отправим порожняком.

— На Амуре не потонул, в Ононе, думаешь, выйдет?

Влево от нас шла старая протока и луг, поросший желтыми цветами, похожими на ромашки. Спутники мои начали рыбачить, а я отправился гулять по лугу, срывая цветы. Кое-где луг прорезали тальники: изящные и вежливые братья, деревья эти росли группами, не обгоняя друг друга, все ровные и в толщину и в длину и едва ли не с одинаковым количеством листьев. Продолговатые их листья, искрясь от прошедшего ночью дождичка, за день не высохли — такая влага лежала над лугом.

Позади себя я услышал словно бы треск падающего дерева. «Да тут вроде и нет толстых деревьев?» — подумал я, оглядываясь и меньше всего располагая увидеть на лугу мотоциклет.

Два рыбака с припасами, сииинингами, надувной лодкой, сетями, ведрами, мешками остановились подле меня.

— Спадает?

— Говорят, этой ночью спадет.

— Непременно!

— А вы откуда?

— Из Хапчеранги.

— Как там? — спросил я неопределенно.

— Живем, вас ждем.

— Неужели?

— На геологов вся надежда. Сами знаете, с рудами у нас плоховато. Да, надо думать, найдете?

— Значит, геологи для вас — вроде хмель жизни? — ответил я неопределенно.

— Хмель хмелем, а геологам верим, — бойко сказал рыбак, отъезжая. — Приходите рыбу кушать!

— На свою надеемся.

Рыбак засмеялся:

— Река спадет, рыба будет, а без спада и не надейтесь.

Мотоцикл уверенно двинулся по лугу к реке.

Наломав сухих сучьев для костра, я вернулся к палатке. Несмотря на мутную воду, рыба клевала. Пока Гоша чистил рыбу для ухи, Василий Григорьевич надул резиновую лодку, и мы, занеся лодку на километр выше против течения, поплыли к галечникам. Несло нас страшно. Еле-еле, воткнув лодку в кусты и едва не пропоров ее, пристали мы к берегу. А возвращаться было совсем трудно, к тому же мы забыли весла на грузовике, и Василий Григорьевич греб железной лопатой — орудием, как известно, мало приспособленным для гребли. Как раз против нашей палатки река, оказывается, разделялась надвое, образуя острый мыс, украшенный в воде острыми коряжинами. Нас и несло на эти коряжины. Василий Григорьевич греб со всей своей силой, и черешок лопаты подозрительно потрескивал. Пристали мы к берегу благополучно, хотя и далеко от наших палаток.

Молча мы ели уху, молча жевали хлеб и молча легли спать.

Спали мы плохо. Один думал о жерлицах, переметах, плавании по Онону на резиновой лодке; другой — о сказке, действие которой происходило бы вот на этой грязнейшей и грознейшей реке; третий — о том, что путешествие свершается не так гладко, как ты его задумал, да это, впрочем, и к лучшему!

Среди ночи я вышел из палатки.

Вечерняя заря давно потухла, утренняя еще не разгорелась. Теплая темнота царила кругом. Небо по-прежнему не тучилось, а обозначалось чем-то широким, глубоким, тревожным. На западе тлел еле заметный свет, сквозь который тускло и трепетно просвечивали звезды.

Верхушки кустов в реке казались заостренными. На той стороне реки то затухал, то затажно поднимался грохот: где-то образовался затор, и вода прорывалась, гремя гальками. А потом уже стало твориться вообще что-то непонятное. Где-то трубило, свистело и вдруг ударило в воду, и запахло чем-то затхлым. Казалось, что почва под моими ногами затрепетала. Видимо, обрушился большой отрезок берега, и крутого, надо полагать. Река покрылась тускло-коричневым туманом. Он толкался с берега на берег, заткнув все протоки, острова, мели. Я затосковал, в каком-то смысле чувствуя себя затопленным.

Но какое ж наслаждение, когда взамен сырости, тоски, затерянности вдруг, в одно мгновение, перед вами разворачивается вся река, словно вы выскочили из затвора! Без затруднения я видел вдаль лодку, гребцов и даже слышал хриплые от речной влаги голоса их. Экая беда, подумаешь, если это не лодка и не гребцы, а всего лишь вывороченные деревья комлями вверх! Оно даже и забавно.

Главное, что ночь кончилась, наступило утро.

Солнце еще не взошло, но на лугу — под водой — я мог явственно видеть те самые желтые цветы, похожие на ромашки, которые я рвал вчера и которые стоят в консервной банке возле моей палатки. Они стоят в банке и на воздухе, а те, что на поле, те, повторяю, под водой и продолжают цвести, только цвет у них странный, точно они зажжены.

Берег со вчерашней ночи заметно уменьшился. Наша палатка стояла, окруженная водой, и так вежливо-вежливо, точно вода говорила нам: «Вы уж извините, но я наступаю, ничего не поделаешь; я даю вам, так сказать, время на отступление».

Мотоциклистов, уверявших меня, что Онон уйдет, давно и след простыл.

Собрались мы очень поспешно. Ночь была сыра, и шофера знобило. Кажется, и нас познабливало. Шофер, выставив из машины ногу в резиновом сапоге, время от времени дрыгал ею, словно отталкивая воду.

И до самой фермы пробирались мы по траве, которая покачивалась под водой.

У фермы остался лишь небольшой кусочек сухой земли — возле избы и сарая, где по-прежнему хрипел больной конь. Мальчишка в подсученных штанах, забравшись на самые верхние штанги ограды, наблюдал за тем, как трактор прямо по воде волок на возвышенность стог сена. Стог не был, по-видимому, велик, да и свален был, наверное, на жерди, все же странно было глядеть на это шествие. Второй трактор спускался с горы, где уже виднелись стога вытасченного с лугов сена.

— Валяй, валяй, дядя Егор, тащи! — кричал мальчишка.

Хмель работы захватил и его. С каким бы удовольствием повозился он сейчас возле трактора, но, видно, не пускали из избы дела.

— Правей бери, дядя Егор, правей! Там сухо!

— Ехидная река у вас, — сказали мы, поровнявшись с трактором.

— А чего? — спросил тракторист, вроде и обидившись.

— Видишь, чего натворила.

— Вол и тот бодается, а тут река. Мы привыкли. Не то что переспать, зажмуриться не дает, это верно! Но рыба есть, сено есть, лес есть, а в остальном нас заживо не задушишь. Нет, у нас в Мангуте колхоз удачный. Наловили рыбы-то?

— Какая тут рыба!

— Верно, в нашей реке рыбу ловить надо умеючи, а то она тебя поймает. У вас какая тут резина? — спросил тракторист, указывая на край торчавшей из машины надувной лодки.

— Резиновая лодка.

— Ха-ха! По нашей реке вернее на своем заду плыть, чем на такой штуке. Ха-ха!.. Семка-а! — заорал он мальчишке на жердях. — Чай вари, неумывака!

Относительно резиновой лодки — задолго до тракториста — мы и сами пришли к тому же заключению. Только мы молчали, а он не постеснялся высказать свою и нашу думу.

— Слушайте, — сказал я трактористу, отъезжая. — Вода, как по-вашему, спадет?

— Не сегодня-завтра. У нашего бригадира зубы ломит — к спаду, ха-ха! Да и другие приметы есть, ха-ха!

И не поймешь, шутит он или всерьез. Будем думать, что всерьез, и, ожидая спада, поедем с литературным вечером в Хапчерангу.

Тем более что окрестности там, говорят, очень величественны и красивы.

Да и история рудников Хапчеранги не мала: существуют они уже сто лет, а за сто лет сколько может накопиться преданий!



## 4 Хапчеранга

Старинный рудник Хапчеранга, стиснутый горами, лежит в долине шириною приблизительно в пять километров. Кое-где долина поросла мелким лесом: вообще горы голы, разве пробьется мелкая травка, да торчит лиловый, далеко видный иван-чай. Долина кончается болотами и степью, за которой лежат уже монгольские края. Из степи зимой дуют свирепые и продолжительные ветры, «как в трубу». Но сколь ветра ни свирепы, сдуть вековечную рудничную пыль они не в состоянии. Комьями лежит она по дороге, лепится на дома, и местная речушка у моста похожа на ящик для раствора извести.

— Кабыть только грязево,— сказала мне старушка, не то коридорная, не то пришедшая помогать коридорной.— Грязево-то не беда, вот бы руду нам побогаче!

За столетие к руднику образовалась привязанность, и даже эта старушка, у которой на руднике работают только троюродные племянники, приходит в ужас, что рудник в случае отсутствия руды закроют.

— Вы что же, из геологов?

— Нет, писатель.

— Описатель? Стало быть, руду таки нашли, что приехали?

Жаль мне ее разочаровывать, но я объясняю, что пишу романы, и о том, найдена ли руда, знать геологам, а не мне. Старушка, пхнув ногою пробежавшую кошку, обрушилась на нее с ругательствами, часть которых, несомненно, принадлежала мне: не пиши романов, а помогай геологам! Ну что же, по-своему она права.

Геологи тут всюду: выглянул в окошко, а к рудничному управлению идет группа, размахивая длинными молотками, и впереди — стройная девушка в длинных легких шароварах; коридор старинной деревянной нашей гостиницы завален рюкзаками и чемоданами геологов; поглядишь на окрестные горы — все они сверху донизу изрыты геологическими траншеями.

— Знахари-то они знахари, да выходит — не те,— продолжает старушка.

— Ничего, назнахарят-таки,— успокаиваю я.

— Дай бог,— говорит старушка,— да мне-то и что? Моя смертная траншея уж близка. У других долга печаль, других жалко.

«Экая ведь вымуштрованная старушенция! — подумал я.— И траншеи знает». Впрочем, что тут удивительного, когда геологи у всех на языке!

Нельзя, однако, утверждать, что бедные руды, которыми сейчас приходится довольствоваться хапчерангскому руднику, да и соседним рудникам тоже, вселяли в жителей такую уж жестоко непроходимую разочарованность. Во-первых, повторяю, надежда на геологов; во-вторых, на самих себя и растущую технику обогащения и разработки руд. Вдруг да в бедных рудах обнаружат ценнейший и редчайший минерал? И так тоже ведь случалось. И наконец двадцатый век — век вовсе не пессимистический, несмотря на наличие атомных бомб, а может быть, и вопреки наличию, и среди обитателей двадцатого века — обитатели нашей страны, по-видимому, люди самые оптимистические.

Хмель жизни торжествует даже и на отдаленнейшем руднике, в Хапчеранге!

Утром, после литературного вечера, на котором хапчерангские читатели задавали дельные, а порой и мудреные вопросы, сидел я на лавочке подле нашей гостиницы и разглядывал ларек, подпертый несколькими пьяными субъектами, чей организм, по-видимому, требовал дополнения. Подальше за ларьком, влево лепилась по горе обогатительная фаб-

рика. Переделки, годы, реконструкции — удачные и неудачные — украсили ее пристройками и надстройками, так что теперь, окрашенная в единый белый цвет, она напомнила мне тибетский храм Поталы в Лхасе, который когда-то в детстве я перерисовывал несколько раз из журнала. Прелестное, жуткое любопытство, с которым я некогда рассматривал эту картинку, вновь посетило меня. Охваченный воспоминаниями детства, вглядывался я во все меня окружавшее: рядом с ларьком строили не то магазин, не то столовую, судя по высоким и широким окнам, — там суетились рабочие, выгружали кирпич и балки, сновали грузовики.

Минут пять спустя на лавочку ко мне подсел некто, коротконогий, пожилой, в синем истасканном ватнике, с длинным не по росту каким-то оржавелым лицом. Кивнув в сторону ларька, он сказал пренебрежительно и в то же время смущенно, словно для того лишь, чтоб завязать разговор:

— Ораторы!

— Да они ведь молчат.

— Выпьют — вот и заорут. А с чего их всех топырит?

— Наиболее слабых. Перспектив у вас, говорят, в Хапчеранге мало, вот они и сохнут. Вот и смачивают себя, чтоб разопреть.

— Перспективы есть везде, если ты сам с перспективой. А коли подлец — нет тебе никакой перспективы.

Собеседник мой явно был не в себе. Я в ответ ему только руками развел, а он, и не взглянув на меня, насупившись, наморщившись, пошел к мосту. С моста этого, под которым тощая речка похожа на грязную лужу, он долго смотрел на берега ее, и, должно быть, горчайшие думы мучили его. Я поднялся, чтобы пойти в гостиницу укладывать вещи. Онону пора спадать, да и машину ждут в Чите, нельзя ее долго задерживать.

Уходя, я взглянул за строящийся магазин: там на берегу стояла какая-то девушка — судя по форменному коричневому платью, школьница. Разумеется, она делала вид, что ни о ком и ни о чем не ждет, и стояла, ото всех отвернувшись. Я подошел к ней.

Она перебирала руками белый, сильно накрахмаленный фартучек и, когда я поровнялся с ней, обернулась, а руки ее по-прежнему быстро перебирали фартучек, быть может приготовленный ко вчерашнему литературному вечеру.

— Здравствуйте, — сказал я.

Она резко кивнула головой и сразу заговорила:

— Я, извините, на вечере у вас вчера не была. И, кроме того... — Но тут она прервала себя и спросила то, что, возможно, собиралась спросить на вечере: — А вы поэта Роберта Рождественского знаете? А поэта Евтушенко? А новые их стихи знаете?

Я ответил, что поэтов этих я читал, видел, слушал, но, кроме этого, ничего о них не знаю, да я и действительно ничего не знал. К сожалению, и новых стихов их я тоже не знал. Впрочем, видимо, не это интересовало ее сильнее всего. Легонько, точно в такт постукивая ногой по обрыву, она продолжала тем же отрывистым и, как мне показалось, не своим голосом:

— Скажите, в чем будет заключаться этика коммунизма?

— Думаю, в том же, в чем она заключается сейчас.

— А именно?

— Уважать друг друга, поддерживать, любить отечество, науку, искусство...

— Какая ж разница? — Голос ее задрожал, и что-то очень живое за-светилось у нее в глазах.

— Разница в том, что при коммунизме этические нормы будет легче выполнять.

Она так вся и загорелась.

— Да, да! Понимаю. Деньги! Очень, очень большое зло. Так можете намошенничаться, что и сами не разберетесь.— И опять торопливо, вся горя, она спросила: — Еще вопрос. Должен ли человек быть честен сам с собою?

— В вашем возрасте обязательно.

— А в вашем?

Я попробовал отшутиться:

— В моем — по возможности.

— Нет, нет. Всегда!

— Да, всегда нужно чувствовать и осязать хмель жизни.

Она посмотрела на меня, должно быть не поняв моего ответа.

— Еще вопрос. Поэзия воспитывает или только украшает?

— Все украшающее жизнь воспитывает.

— Вот вы сказали что-то о хмеле. Это пиво или водка?

— Ни то, ни другое. Опьянение жизнью без пива и водки.

— Ни пива, ни водки не пробовала. Что такое опьянение жизнью?

Помолчав, я сказал:

— Мне кажется, что вы вот опьянены жизнью.

— Я-я? — протянула она с изумлением.— Ой ли! На меня так часто тоска нападает и так часто я плачу, что стыдно. Вам некогда со мной разговаривать, я видела, как ваш шофер торопил с бензином — надо, говорит, скорее уезжать.

— Нет, я не очень тороплюсь.

— Конечно, хорошо бы задать вам вопросы в письменной форме..

Она так и сказала: «в письменной форме»!

— ...но в письменной, может, еще хуже получится, чем сейчас. Садитесь, пожалуйста, сюда вот, на обрывчик, нас отсюда не увидят и вас не позовут. И, если можно, не глядите на меня: мне стыдно рассказывать, а рассказать надо во что бы то ни стало. Вы один мне можете посоветовать.

— Но почему же я?

Она посмотрела в землю.

— Не знаю.

— Разве у вас мало подруг, преподавателей, родственников?

— Много.

— И разве они все плохие люди?

— Много и хороших.

— И умных?

— И умных.

— Так почему же я? Вы меня читали?

— Проходили в школе. Читать — мало читала.

— Тем более странно, не правда ли, что именно со мной вы хотите советоваться.

Она подняла на меня суженные глаза.

— А я думала, вы храбрее.

— Дело тут, пожалуй, не в храбрости, а в пригодности.

Она опять подняла на меня глаза. «Уж разрешите мне судить — пригодны вы или нет!»— говорил ее взгляд. Словами же она добавила:

— Нет уж, лучше в письменной форме...

Так мы и расстались.

**5. Увы, мы едем через Агинск на Чиндант**

Все предсказания и предзнаменования оказались впустую. Онон не только не спадал, но и поднимался. Мы смотрели на него опять с горы возле села Мангут, и многие острова, которые несколько дней тому назад задорно топорщились и, казалось, никогда не уступят гнету, теперь лежали под водой.

— Экая задиристая река! — вздохнув, сказали мы, повернув машину на Читинский тракт.

Притоки, впадавшие в Онон, по-прежнему струились полноводно и бурно.

Шоссе становилось чище и ровней; мягкие стволы лиственниц и чувствительные березы снова обступали его. Миновали Дарасун, трех курортов с лицами, словно мякиш гриба-дождевика, школу, обращенную почему-то фасадом не к саду, а к шоссе; приближался сворот на Агинск.

В деревянном домике с перегородками все заполнено письменными столами, так что ходят здесь боком, а диван кажется очень странным и ненужным сооружением. Пахнет типографской краской, шелестят корректуры: здесь сразу две редакции агинских газет — бурятской и русской.

Говорят мягко, тихо; подробно спрашивают о моих странствиях последнего года — об Индии, Японии, Франции, Англии — и, расставаясь, вполголоса просят еще заезжать:

— И вы, быть может, что-нибудь упустили рассказать и упустили спросить. Очень просим.

— А как степь?

— То есть в смысле разлива? Летом сыпало, а сейчас в некотором смысле весна, хотя по календарю и осень. Можете гнать спокойно сто километров в час.

Признаться, мы не поверили. Шофер, превосходно знавший дорогу, напрямки ехать отказался, а, чтоб миновать разлившееся речушки, направился стороной, холмами. Правда, это нам было с руки — дорога должна была вывести нас прямо к Чаше Чингисхана.

Какая молодая и любезная степь! Куда ни взглянешь — все вызывает кроткую улыбку. Щеголевато красуются синие пушистые долины, а холмы просто превратились в великих шалунов — такое разнообразие цвета, запаха, пения и свиста.

Круглое, как яйцо, степное озерко, к которому мы спустились, чтоб набрать воды в закипевший радиатор, окружено нимбом желтой, ярко цветущей водоросли; голубая вода, желтый пояс водорослей, зеленые пологие берега, а над всем этим — мелкие, как жуки, белые облачка в небе. Сидеть невозможно от удовольствия!

И я поспешил от берега вверх по откосу, мимо тарбаганьих нор, заросших бурьяном. Пройдусь хоть немного по дороге, надышусь тишины, запаха трав, пения птиц.

Куда как отлично! Пригорочек скоро закрыл от меня озерко, пыление желтых водорослей, машину. Но поднялся другой пригорок, по правую сторону дороги. Там виднелся каменный скотный двор, чистый, заново сложенный. Поодаль — жилой дом, тоже недавней кладки, под белой жестяной крышей. На крыльце дома кипел самовар, и крошечный бурятенок в ситцевой рубашонке до пят пытался раскурить от него, по-видимому отцовскую, трубку. За домом что-то тесали, и звук топора разносился по всей степи.

Бурят верхом на сером коне гнал ко двору небольшую отару.

— К нам, что ли? — спросил он, останавливая коня, который сразу зажмурил от радости свои тоже серые и точно задымленные глаза.

Шарообразные ноздри его жадно ходили, вдыхая запах двора, степи и еще бог знает чего, что, по его конскому мнению, было очень приятно.

Я указал на озеро.

— Машину поим. А сами — к Онону.

— Бурлив он нынче, однако. Если степь не поможет, с луговым сеном у нас нынче будет плохо. Заходи, однако, в чабаний красный уголок, — сказал он, указывая на дом. — Газеты есть, радио есть, чай, видишь, готов. Писатели, однако?

Я спросил с удивлением:

— Вам-то откуда известно?

— У нас в Агинске, похоже, выступали. Потом радио передает: поедут, мол, на Шерлову Гору. Я гляжу: идет человек дорогой, под холмом — машина. На Шерлову Гору есть прямой путь, зачем ему окольный, наш? Поди, так, писатель, думаю? Хочет взглянуть Чашу Чингисхана, поди?

— Умозаключение совершенно правильное.

— Как?

— Правильно, говорю, рассуждаете.

— А почему ж неправильно б? Чаша Чингисхана — редкое место. Ее строил не хвостун и надувала. Геологи нам говорят: ее выдуло наукой, чашу-то эту. Кто спорит? Наука. Верно. А старики говорят: сам Чингис перед смертью заказал, чтоб намекнуть, где схоронен. Тоже верно, потому что сказка.

— И так и этак? Разве две правды бывает?

— Кто сказал, что две правды? Я сказал: наука — раз, сказка — два. Одно другому не мешает. — Он подмигнул. — Выходит, сказку забраковал?

— Почему же? Очень прошу, расскажите.

Овцы сами вошли во двор. Мальчишка в длинной рубаше принес отцу трубку, которую он так и не разжег. Чабан, держа трубку у рта, а другой рукой поглаживая гриву коня, рассказал мне короткую, но довольно любопытную сказку.

— Старики говорят так, что Чингисхан перед смертью велел похоронить себя в Ононе. Откуда пришел, туда и уйду, дескать: он тут недалеко, в Цасучее, родился. «Отведите, — говорит Чингисхан, — реку мою Онон в сторону. И отведите, пока мои пленники не разбежались, — у вас они непременно разбегутся. И когда отведете, закопайте труп мой на дно моего Онона и опять пустите реку по старому руслу. Тут я буду лежать спокойно: никто никогда столько пленных не соберет, чтоб отвести Онон! А чтоб напоминать о моей силе, выбейте сейчас же гранитную чашу и поставьте на берегу: вот, мол, какой был сильный, из какой чаши выпивал!» Ну, выдолбили из гранита чашу, поставили на трех звериных лапах — а сам главный зверь, дескать, под землей, — и когда помер Чингис, то, как завещал, прах его, отведя Онон, закопали на дне реки. И тут, как водится на поминках, пели, что положено, и весь народ, собравшийся на поминки, пил из той чаши. И на всех хватило! А когда опять пустили Онон по старому руслу, сама собой уже не вином, а гранитом заполнилась чаша. И так стоит до этого времени. Хороша сказка?

— Хороша, — ответил я задумчиво и посмотрел в сторону Онона.

Мне представилась его громада и вспомнилось, что я всегда с живейшим удовольствием и чувством странной тревоги гляжу на Онон. Онон — это Ганг монгольских пустынь и гор, река, давно и разноцветно иллюминированная многими легендами, как вы сами только что слышали, песнями, баснями, рассказами историков и романистов. Главным в иконостае легенд, конечно, нужно назвать Чингисхана, жестокого завоевателя,

чрезмерно уверенного в благоденствии своих завоеваний. Впрочем, какой завоеватель не был уверен, что он несет благо своим подданным, даже тогда, когда он их вырезал поголовно?

Легенды легендами, но паломников здесь мало, вернее сказать, нет совсем. Дацаны пустыют, буддийские ступы развалились, а ребристые плиты из черного песчаника на могилах былых героев не сохранили ни имен их, ни подвигов. Поэты, археологи и просто мечтатели любят сидеть на этих берегах, вдыхая запах полыни и глядя на горы неизъяснимой красоты и прелести.

Но если взглядеться, то и здесь без затруднения можно увидеть вьющийся хмель жизни. Среди гор, в степи нет-нет и проглянет бурильная вышка и сверкнет металл, точно ожерелье, вынизанное монетками. Проедешь дальше — стучит трактор, а за ним высится где-то в рабочем поселке труба, а то и две, завода. Стада, что прежде зимой и летом бесприютно бродили по предгорьям Онона, имеют для отдыха крытые дворы и приобретают, так сказать, историю.

Нет, теперь Онон не тот, хотя и сказка тоже недурна.

— Недурная сказка, — повторил я.

Чабан буркнул неожиданно сердито:

— Выкопать бы его, однако, к чертям собачьим!

— Вот тебе и на! — воскликнул я. — Почёму нужно выкапывать Чингисхана?

— Выкопать и выбросить! От его плохого характера Онон бурлив, однако. Мало поклонов ему, скажи пожалуйста! Сена нет, с уборкой запаздываем, с колосовыми плохо, тьфу! Из райкома — нагоняй, из райисполкома — нагоняй, сельсовет рычит, от всех крик, а мы за него, закопанного, отвечай? — И он продолжал сердито: — Пойдешь или нет в красный уголок?

— Да вон машина сюда поднимается, пора к Чаше.

— Счастливо. Пишите о нас веселее. У нас, конечно, задолженность есть, однако мы хорошие работники и нас лодырями дразнить не придется.

Наш газик опять углубился в степь, но не прошло и пяти минут, как мы услышали позади себя тархатень мотоцикла.

— Показать вам дорогу к Чаше, однако, а то много отвлечений.

Мне подумалось, что ему не столько хочется показать дорогу — хотя отвлечений было и на самом деле много, — сколько новенький свой мотоцикл. Эскортировал он нас самым почетным образом километров десять, а затем слез и, картинно опершись на мотоцикл, сказал:

— Про нас, чабанов, дурного написать нечего, знаю: степь еще порядочная лентяйка и капризничает. Хочу, однако, сказать о производстве мотоциклов. Пора! Он ничем не плох, зачем хаять? Он очень хорош для нас и нужен. Но отчего, скажи мне, никак нельзя шины купить? Нигде! Ни в Чите, ни в самом большом городе. У меня товарищ — постарше будет, посерьезней — купил мотоцикл, шины износил, а теперь жена начинает рожать... ему за врачом, спешно! Шин нет. Вместо шин намотал веревки. Он недалеко от Чинданта, хотите, адрес дам, проверить? Целый роман можно написать. Разве это дело?!

Он ухмыльнулся.

— Конечно, и на веревках вместо шин ездим. Хитер человек. Тут как-то выехали мы на Онон погулять. Глядим, думаем — кто это нас морочит? А какое там мороченье, факт! Река. Вдоль берега, у каждого берега, значит, мотоцикл на воде, на камерах! А между мотоциклов — сеть. Ну и плывут по Онону, ну и гребут рыбу. Хитер мотоциклист, а? Хитер-то хитер, но почему, однако, шин для нас нету? Чабан вам шерсть доставляет, шкуру, мясо, а вы ему шину не можете надуть? Очень плохо.

И, сделав нам под козырек, чабан отъехал.

Проселок бежит мимо скал, за которыми — Онон. Берега его здесь высоки, каменисты, покрыты травами, а кое-где и мелким кустарником, над которым высится дикий абрикос и березы, — уже одна такая дружба причудлива.

Гранитная Чаша Чингисхана — в некотором отдалении от прочих скал, словно природа, выдувая ее, понимала, что делает. Это огромный гранитный монолит величиною с одноэтажный дом. Ветерок шуршит и шаркает по осенней траве, но к монолиту и не прикасается, будто говоря: «Моя работа окончена, а дальше вы уж как хотите».

Протираешь глаза, отходишь, смотришь со всех сторон, пытаешься обмануть себя: «Да нет, не похоже!» — стараешься сохранить покой и, мало понимая самого себя, весь переполняешься чудным, чистым и сладким чувством восхищения.

Да, монолит — чаша (даже ободок выведен по краю), чаша, покоящаяся на трех лапах, и что, быть может, самое удивительное — монолит похож на те плоские сосуды, которые употребляют кочевники, чтобы пить чай или кумыс. И стоит он не прямо, а наклонившись чуть-чуть набок, так, как отодвинул чашу номад, досыта напившись кумыса!

Гоша приветливо поклонился Чаше. Василий Григорьевич глядел вполглаза, скрестив руки. «Важнейший случай, — казалось, думал он. — Сколько же нужно лет дуть, чтобы образовать такое? И тут дело не в ярости ветра, а, так сказать, в искусстве его. Ведь скала-то наверняка не была круглой, когда он начал обдывать ее. Непонятно!»

И он спросил:

— А вы уверены, что это все-таки ветер?

Василий Григорьевич — страстный поклонник красот природы, но мне думается, что он большой неохотник до «чудес» ее, до того, что с трудом или даже совсем не поддается объяснению. В таких важных случаях он предпочитает все же отдать чудо человеку, чем природе.

Если нам, людям двадцатого века, убежденным, что им уже известно все и вся, может казаться, что монолит создан человеческими руками — в то время как совершенно ясно, что это плод выветривания, — то в древности кочевник несколько не сомневался, что перед ним подлинная Чаша Чингисхана. Впрочем, и поныне кое-кто думает так же, как и его предки. У подножия монолита — подношения: речные голыши редкой формы и окраски, осколки кристаллов горного хрусталя, медные монеты и тряпочки.

От Чаши Чингисхана до Чиндантского моста на машине рукой подать — километров тридцать. Дорога гладкая, ровная, налево — степь да травы, направо — тучнейший Онон, весь словно отделанный тушью, без красок. Выглядит он зловеще, сердит, и мы едем по деревянному Чиндантскому мосту медленно-медленно, точно на цыпочках. На мосту, по обеим сторонам — груды камней, чтоб не снесло. На лугах вода глушит и гонит под себя ивовый подрост, а подрост есть подрост — на него наваливается экая туша, он же, хоть и голову теряет, все ж лезет вверх, к солнцу.

Ночевать мы расположились на речке Борзянке, притоке Онона, под самым хребтом Адун-Чолон, за которым — Шерловая Гора. В Борзянке, передают, сейчас много рыбы; и действительно, на мосту через нее — рыболовы с удочками, мотоциклеты и газики с рыбаками снуют по шоссе непрерывно.

Через луг, с гор, прошло коровье стадо на водопой и долго, с наслаждением, как ни прикрикивал пастух, стояло в речке. Затем по склону горы к водопою катились бараны, открыв позади себя глыбы слоистого черного камня. К палатке нашей подъехали верхом два пастуха. Спросили без особого, впрочем, интереса, а из вежливости: кто, от-

куда, зачем — и предложили купить у них сазанов. Набили сегодня острогой за день согню.

— Ход сазаний? — спросил Гоша.

— Ход.

Василий Григорьевич, готовя удочки, сказал, что сами наловим. Гоша, осмотрев сазанов, добавил, что продавать такую великолепную рыбу стыдно: нужно или самому есть, или дарить, тем более что здесь перед вами писатели, поэты — люди, обожающие подарки.

— Шутник, тебе бы толстым быть, тяжелым, — сказал, отъезжая, пастух, а второй, перед тем как отъехать, попросил сигарету и вместо одной взял из пачки пять.

Пока развertyвалась палатка, клались спальные мешки, разжигался костер, Василий Григорьевич таскал одного за другим плотных и жирных карасей. К палатке поставили «тару», судя по запаху — ящик из-под водки, который мы подобрали на шоссе; на этой «таре» лежал самодельный радиоприемник и как-то странно попискивал.

— Что это с ним? — спросил сдержанно Василий Григорьевич, скокабливая на крышке «тары» золотистую чешую с карасей.

А приемник и скажи: «Говорят все радиостанции Советского Союза».

Василий Григорьевич гневно взглянул на трепещущего в его руках карася и отбросил его в сторону. Гошино лицо зарделось, а лицо Василия Григорьевича стало каким-то прозрачным и острым. А на меня словно дунула гроза и потушила все огневое, теплое. Война? Да нет, не тут ей быть усыланной. Хотя почему не тут? Нет.

Герман Титов на «Востоке-2» полетел в путешествие по космосу вокруг Земли.

— Важный случай, — сказал Василий Григорьевич, ловя в траве отброшенного карася.

— Прямо сказка! — проговорил Гоша и посмотрел в небо, волнистое, степное и как бы душистое.

Полагаю, что моим спутникам: и тому, кто чистит сейчас карасей, и тому, кто подкладывает досочки в костер, и дремлющему у палатки шоферу, который презирает кухонное мастерство, но не еду, — всем им, с детства видевшим развитие науки и техники в Советском Союзе, не так странно и удивительно слышать о полете в космос русского пилота, как мне, который же мальчиком пятьдесят, что ли, с лишком лет тому назад вот у такой же речушки, у кюстра, в сибирских степях, пася коней, читал роман Жюль Верна о полетах в таинственное мировое пространство. Я верил этому и не верил; во всяком случае я очень боялся обмануться. Временами, отложив книгу, я ставил себя на место жюльвернского пилота и воображал, что опускаюсь в этом снаряде после полета над Землей на самую широкую песчаную улицу Павлодара. Ах, мне так хотелось поразить всех павлодарцев и особенно парикмахера Филиц-Мозера, который ходил гулять по павлодарскому откосу летом в белых штанах и цилиндре! Не беда, что мечты остались мечтами и я палец о палец не ударил для того, чтобы осуществить мечту о полете в мировое пространство: по-видимому — плохо ли, хорошо ли, — мне было суждено осуществить что-то другое.

Однако отголосок этих детских мечтаний, которые сейчас называют «научно-фантастическими», остался во мне навсегда; впрочем, я и не старался унимать их, делать их безгласными. Тем приятнее мне сейчас узнать о космическом полете Германа Титова, глядя на эти пологие степные откосы, на степную речку без деревьев, на стада, на дымок возле кошар и на трепещущих карасей, выпотрошив которых, несет мыть на



речку мой внимательный и проворный спутник Василий Григорьевич. Я словно снова окунулся в детство, которое, казалось, тухнет, угасает, замолкает во мне и только иногда во сне едва-едва слышно в отдалении.

Хмель, хмель, пушистый и святой хмель жизни!

**6. Мы немного гостим на Шерловой Горе и необычайном Адун-Чолоне, в «Стаде Каменных Баранов»**

Шерловая Гора — поселок, рудник, комбинат по добыче оловянных концентратов, которые, как говорят, здесь значительно богаче, чем в Хапчерангском комбинате. Впрочем, здесь все месторождения богаче. А Шерловая Гора — «шерл» по-старинному драгоценный камень — одно только хвастовство. Никаких теперь драгоценных камней на Шерловой Горе не добывают; оловянный концентрат, рудник и обогатительная фабрика совсем по низу горы.

Я не приезжал в поселок уже года три. Хотя накрапывал дождь и напыщенная вершина Шерловой Горы скрывалась в тучах, все же заметно, что в поселке стало как-то светлее и суше. На улицах стоял тяжелый, душливый запах не то гари, не то отбросов; его теперь нет. В саду возле клуба торчали тогда, в мой последний приезд, недавно посаженные розги и колыхалась какая-то гнилая вонь; теперь деревья, тень, тухлоты и след простыл, а клуб, кирпич колонн которого лупился тогда и торчал, забрызганный грязью, всем существом своим жалуясь, что его не достраивают (к тому ж, бедняга, он попал в борьбу с излишествами), теперь блестел, как древо знамени! Пусть ступени клубного крыльца измазаны известью и перекрыты досками — клуб в приятном сознании, что он не только работает, но уже доработался до капитального ремонта.

Конечно, нам с вами, живущим в Москве и других столичных городах, не в диковинку хорошая столовая и пирожные, но если в рудничном поселке чистая, большая, без очередей столовая, где не только отличные кушанья, но и пирожные, я считаю долгом об этом сообщить, чтоб и другим рудникам была наука и красноречивый намек. Не к чему плодить брюзгачей!

На втором этаже, над отделением связи, которое по-прежнему грязно и хмуро, как прежняя почта, есть магазин-школа, где учатся торговать молодые продавщицы. Я купил здесь небольшой чемоданчик для камней, которые думал собрать на Адун-Чолоне. Чемодан мне показался сделанным лучше, чем другие, купленные мною в иных местах, и все лишь потому, что продавщицы не утратили наивности и обращались с покупателями, как с друзьями, они даже улыбались нам, боже мой!

Утешенный продавщицами, я разговорился и с покупателями. Не обошлось без страстных жалоб, хотя жалобы были разные.

Одна жаловалась, что лес далеко: тяжело ездить за грибами и ягодами, да и администрация туго отпускает автобусы, а так жить можно. Другой — угрюмый, многим недовольный, по-здешнему «тухтырь» — подхватил:

— Жить-то можно. Кино есть, концерты наезжают, самодеятельность там. А пора бы и о своем театре думать; комбинат, электростанция, рудники всюду, уголь достаем, и мы, Шерлова Гора, в центре. Вот я, скажем, в Хапчеранге работал — какое сравнение? Там затхлость, оттуда к нам бегут! Где вы будете вечером? В клубе? Обязательно приду. Подготовлюсь и приду.

Боюсь, что «обогатительный техник» слишком усиленно «готовился». Один такой, тоже «техник», пришел на наш вечер, как говорится, «дыхнет — и все вокруг мрет» и еще обижался, что мы не желаем слушать

его поэму о полете Германа Титова, которую он только что закончил творением.

Возможно, что кому-нибудь из моих читателей и скучно будет пробегать строки, описывающие литературный вечер в каком-то рабочем клубе, где-то там у черта на куличках. Думаю, что если это и произойдет, то не от безучастности, а от недостатка воображения. Попробую помочь им.

Несмотря на дождь, размякшую землю, когда можно шлепнуться и растянуться на каждом шагу, плохое освещение на улице и в клубе, где вдобавок из-за ремонта, лесов, сырой штукатурки было сыро и неудобно, слушателей набилось в зале сотни три-четыре.

Посмотришь в зал и видишь, что книга и творец книг для этих собравшихся здесь — что-то близкое, дорогое, от чего они чувствуют себя могучими, жадными к жизни, яростными в труде и вольными в воле своей. Нет ни одной мямли, разины, рохли, и если у тебя, поэта или романиста, есть нерешительность, вялость или просто даже утомление, быстро исчезает оно. Ты чувствуешь себя пламенным, сильным, скажу даже прекрасным — не нужно бояться хороших слов. Один замешкался где-то, вошел, когда уже вечер начался, — как осторожно он шел среди стульев, ища себе место, с каким восхищением смотрел на эстраду и на всех собравшихся. «Ну, ведь это отлично же, что столько писателей и столько слушателей, ах, как отлично!» — говорило его лицо и вся его фигура.

Среди собравшихся были люди, очевидно, не только читающие, но сами пробующие писать. Спрашивали: как организовать литературный кружок и нельзя ли из Читы прислать им руководителя? Руководителя слать — слишком дорогое удовольствие, да и не так легко подобрать умелого руководителя, а вот подумать о том, чтобы начать сбор материалов для истории Шерловой Горы, типа тех книг, которые когда-то входили в серию «Истории фабрик и заводов», мне кажется, стоило бы.

Когда-то на Шерловой Горе старатели искали аквамарины и топазы. Занятне было и не очень-то прибыльным и не очень-то легким. Всякая всячина вместе мешалась: и кривда, и беспутство, и ложь. Надо было копать тут долго, чтоб наткнуться на что-нибудь доброе, да и то перекупалось живодерами, оставался, как говорится, белужий хвост в реке да плеск. Разработка камней окончилась в предреволюционное время или около того. Но сохранились еще старожилы, как, например, интереснейший рассказчик краевед А. Г. Федоров, живущий и поныне на Шерловой Горе, большой знаток и любитель камня. Он может многое рассказать об истории Горы и истории Читинской области вообще. Я его давно уговариваю: «Напиши, Алексей Григорьевич, напиши!» — а он все мешкает. Его следовало бы попросить рассказать, да и записать рассказы. Есть и другие люди, которых тоже следовало бы попросить рассказать. Рассказы эти драгоценны. На Шерловой Горе изменения большие и, как видно, предстоят еще большие. Сейчас как раз время записывать ход этих изменений, не ограничиваясь одними только архивными записями.

Каменный следопыт мой, Алексей Григорьевич, хоть и жалуется на слабость ног, все же охотно поехал с нами в горы Адун-Чолон, которые он исходил — и сам по себе и с геологами — вдоль и поперек.

И я понимаю его. Даже если быть совсем без ног, все равно следует ехать: обуздать себя, зная Адун-Чолон, невозможно.

Километрах в трех от Шерловой Горы ютится среди голой и, должно быть, бесплодной равнины серый, невзрачный выселок — не помню уж его названия. Избы — все на одно лицо, словно с одного конвейера, все новые и все безобразные, выстроенные по струнке в унылый ряд; позади изб — не то склады, не то лесопильня, не то еще что-то в этом роде. Ти-

шина слепая и удручающая. Только с телеграфного столба, к которому привязана косолапая бесхвостая лошадь с мокрыми суконными ушами, из пластмассового блюда — нескончаемый малопонятный рев радио. Уса-тый благообразный дядя с безумными глазами навывкат вслушивался в этот рев, блаженно, легко и привычно пошатываясь. Рядом — продовольственный магазин, тоже изба; двери, обитые рваной кошмой и клеенкой, закрыты на толстые железные болты, поверх которых фанерка и надпись: «Обеденный перерыв». Почему обеденный перерыв в десять часов утра — неизвестно.

За выселками — бессильная, хотя с виду и лютая, черная-пречерная топь. Прах ее знает, может быть, она действительно засосет? И мы тихо, испуганно объезжаем ее. И все вокруг топи уныло, косо, все словно ждет: когда же она высохнет?

Миновали топь, миновали деревянную кошару с длинным забором. У кошары на камне — бурят, старенький, легонький, пушистенький какой-то. Быстро жуя передними зубами, он макал краюху хлеба в миску молока. Когда мы поровнялись, бурят снял шапку и пожелал счастливого пути и возвращения.

Машина быстро поднималась на перевал.

Вправо — развалины буддийской ступы из серого камня со следами побелки. Еще недавно, по словам Василия Григорьевича, здесь валялись деревянные идолы, теперь их нет. Буддисты для своих ступ всегда выбирают видные места: думаю, эти ступы разглядишь километров за десять. Когда-то в древности тибетские ламы собирали для Лхасы в окрестных горах кристаллы горного хрусталя; возможно, возле ступы они имели и жилище, но я не нашел его развалин.

Открылся Адун-Чолон — волшебная и всегда ласкающая красота Забайкалья, перед которым все другие хребты кажутся напыщенными и дерзкими.

Впрочем, «открылся», пожалуй, неверно сказано. Адун-Чолон имеет свою тайну: он открывается не сразу, как сразу, получив стадо овец, вы не в состоянии запомнить каждую овцу в отдельности, сосчитать всех вы можете, но, чтобы на взгляд знать каждую овцу, надо привыкнуть и вглядеться. Так и Адун-Чолон. Спервоначала это нагромождение скал, приподнятых холмами степи, и все. Вы смотрите даже и бесчувственно. «А еще утверждают: здесь поэтическая природа!» Но вы приблизились, начинаете вглядываться — и вы уже развеселились, вы уже покорены Адун-Чолоном, вам уже нравится не только все стадо, но и каждая овца в отдельности. Кстати, я забыл сказать, что Адун-Чолон в переводе на русский с бурятского значит «Стадо Каменных Баранов», вернее сказать — овец, кротких, кудрявых и счастливых овец на весеннем пастбище.

Мы торопились — машине пора вернуться в Читу, — и все же я позволил себе уговорить своих спутников прожить на Адун-Чолоне четыре дня. Если допустить, что красоты природы способны делать человека счастливым, — я был счастлив эти четыре дня! Когда-то давно-давно старатели говорили мне: «Поймаешь золотую жилу, начнешь памыв — ни в руках, ни в ногах уже нет сил, дыханье сперло, в голове туман, а сердце такое яркое, будто цветешь». Вот и я был в таком «намыве», в таком «цветении».

Василий Григорьевич выбрал нам для стоянки удивительно красивое место возле красной гранитной стены напротив трех рыжих скал, похожих на гигантские квашни, из которых полезло тесто. Скалы Адун-Чолона не торчат из степи, нет. Из густотравянистой долины степь медленно и уверенно поднимается вверх и развертывается пучком скал самой неожиданной и причудливой формы. Поразительна настойчивость этой причудливости — она всюду разнообразна.

Издали скалы или клубок скал сначала толкают вас на воспоминание: вы вспоминаете замки, соборы, старинный город, беспокойную жизнь в них, рыцарей, королей, просто обывателей, вспоминаете полузабытые восторженные легенды... долина кончается, вы поднимаетесь медленно к скалам и понемногу начинаете сознавать себя одуроченным. Впрочем, вы быстро смягчаетесь и остро радуетесь своему счастью.

Редкое перо способно выразить певучую и ароматную красоту скал Адун-Чолона!

Залитые розоватым утренним светом, чистым и жгучим, неизвестным нам, московским жителям, небо и скалы отливают красками радуги: зелеными, желтыми, синими, оранжевыми. Кое-где к камням прислонились березы с маленькими листьями, они как бы стыдятся и боятся прикрыть это великолепие.

Помосты, плиты, легкий и кипучий взлет камня наверх, точно вы поднимаетесь по лестнице, и вдруг обрыв, и вдали за цветущими лугами опять очертания башен, пылкий и фантастический мираж скал; нигде скалы не приходят в ярость, всюду разлито доброжелательство камня, всюду камень слегка похож на задуманные скульптуры, которых чуть-чуть коснулся резец скульптора, полные очертания этих изваяний вы должны досоздать своим воображением.

Сколько раз притомлялся я, бродя среди этих скал, но заморить вовсе они меня не могли, да, думаю, и не желали. Остановишься, прислонишься к камню, смотришь в долину, где ходят косцы, ждут их с обедом грузовики, а косцы все не могут остановиться, все косят, косят, и слабый свист косы, словно полет шмеля, нарушает безмолвие скал. От долины, от косцов, от их пестрых рубах я опять поднимаю взор к скалам: они вновь наполняют меня силой и радостью. Я иду дальше.

Спускаешься в долину, переходишь ее, поднимаешься к скалам, еще тобою не виданным; проходишь мимо древних «копанок», где китайцы и тибетцы добывали когда-то дымчатый хрусталь для очков и концы кристаллов — «быков» — для украшения храмов, и посейчас здесь можно найти цветные камни, остатки кристаллов, верхушки которых отбиты. Перепадет дождь, который загонит тебя под каменный навес, — их здесь много; после дождя скалы огнеглазы и еще более прекрасны. Кажется, что степь, и травы, и цветы великодушно провожают камень до того места, где ему уже не вмоготу, и он вылетает из-под земли и разворачивается чарующим веером скал.

В самом деле, нет ничего удивительнее и красноречивее безмолвия этих дивных скал Адун-Чолона!

Вырастают тени, усиливается прохлада, горы вдали сливаются, затем к ним примыкают долины, затем и мы сливаемся с горами и долинами, погружаясь в пушистую тьму.

Сон. И во сне — скалы Адун-Чолона, похожие на лепные украшения, что на ваших глазах лепятся, стынют, крепнут и — сыпятся... это значит — утро, костер, чай, и опять скалы, долины, красота, смертельная, но не мертвая усталость, очарование, чистая и свежая радость жизни, постоянное чувство возвышенности и хмель, хмель...

## 7. Краткое описание пути

Вот грузятся в машину канистры бензина, спальные мешки, палатка, чемоданы с камнями, лопаты, запасный баллон; вот машина описывает мимо затоптанного и залитого костра, брошенных головешек и пустых консервных банок плавный полукруг по вымоченной росой траве; вот она взбирается на перевал и летит мимо разрушенной буддийской ступы, мимо топи, вбегает в поселок Шерловой Горы, заправляется, поворачи-

вает обратно, теперь уже пересекает топь, пересекает Адун-Чолон по долине, откуда скалы чуть брезжутся, мчится пыльным проселком мимо Борзянки, где по-прежнему сидят рыболовы, мимо села Чиндант и через деревянный мост, под которым Онон по-прежнему в переборе, по-прежнему бурлит и кто знает, когда спадет; вот пересекаем мы Агинскую степь, минуем стада, отары, стойбища, сопки, лесистые по одну сторону и голые по другую, проскакиваем Агинск, бежим через горы, покрытые соснами с их забористым и привязчивым запахом смолы и какого-то запашистого кустарника, который мои спутники называют можжевельником и который на можжевельник совсем не похож, разве что по запаху; вот мы пересекаем Ингоду и углубляемся в леса, уже причитинские, из которых всюду на шоссе выходят грибки с огромными корзинами, полными груздей; вот мы влетаем в Читу, спим, плотно обедаем, пьем крепкий-крепкий чай — его называют «чюфирка», приобретаем билеты, энергично торопимся на аэродром, грузимся в серый грузовой самолет, садимся на холодные скамьи вдоль стен и с удивлением отмечаем, что из восемнадцати пассажиров — половина детей. «Почему вы с детьми летите в Чару?» — «Мы не в Чару, а на Удоканскую экспедицию». — «Позвольте, но это же высоко в горах, там, по-видимому, для детей мало подходящий климат!» — «Так уж завербовались, проживем — увидим». Оптимистичен русский человек! Вот самолет наш летит над тайгой, горами, озерами и реками, и мы с трудом привыкаем и не можем привыкнуть к мысли, что сухопутного пути, шоссе, проселка от Читы до Чары нет и не было, что машиной здесь можно ездить только зимой, когда земля, вернее сказать, топи замерзнут; вот мы, весьма довольные собой, думаем, что летим на север навстречу перелетным птицам, так как со дня на день нужно ждать начала перелета; вот перед нами показываются домики Чары занимательно желтого цвета, ограда из жердей вокруг песчаного аэродрома, стадо коров за нею, опять какое-то озеро и река — ах, да это и есть долгожданная Чара; вот самолет снижается; мы заходим в райком, а затем завхозьявтом, усатый и бравый мужчина в черном галифе, сапогах и суконной рубашке, самолично провожает нас к избе, над которой прибита дощечка «Каларская гостиница», Чары — Каларского района; вот мы располагаемся на панцирных кроватях и с подозрением смотрим на свежeweбеленные известкой стены; вот мы размышляем вслух, на чем бы нам спуститься вниз по Чаре и разузнать как и что, а секретарь райкома сообщает нам, что председатель оленеводческого эвенкийского колхоза «Заря», расположенного в чарских низовьях, находится здесь и возьмет нас с собою в лодку — «и вы поплывете»; вот мы ложимся спать и мирно спим.

#### 8. Мы плывем, а Марк Осипович осваивает вторую профессию

Причалены плоты, короткие, из одного наката бревен. Река стремительная, прозрачная, коварная, чуть повыше берег ее укреплен «ряжками» — рядами бревен, похожими на старинную крепостную стену. И, однако, за последние несколько лет река смыла две или три улицы поселка. Вода в Чаре холодная, впрочем, поодаль за кривыми зарослями ивняка, на песчаной отмели купаются ребяташки.

Мы сказали в райкоме, что предполагаем вначале проплыть по Чаре до колхоза «Заря», а затем и подальше.

— Куда это подальше? — настороженно спросили нас.

— Ну, к порогам и еще...

— Через пороги, что ли?

— Сначала надо посмотреть...

— Наша природа не любит «посмотреть», она, знаете, любит реши-

тельность, да и то не всегда. К примеру сказать, собрались в Свердловске шесть туристов. «Куда бы нам, ребята, этой осенью податься?» И кто-то, слышавший, что хребет Кодар — один из труднейших, говорит: «А не податься ли нам на Кодар?» — «Где это?» Они даже толком не знали, где Кодар! «В Каларском районе Читинской области, на Крайнем Севере». — «Вот здорово! Поехали!» Товарищи, так нельзя! Карту взяли чуть ли не из географического атласа, увеличили ее фотографически, словно от увеличения там прибавится точности. В Читинской турбазе не зарегистрировались, проводников не взяли. «Куда?» — спрашиваю. «Через Кодар, на Витим», — отвечают, и только их и видели. Проходит время, вдруг узнаем: одна ногу вывихнула, у другой позвоночник поврежден, требуется в горы вертолет. Посылаем. Вертолет снизиться в топь не может, ему хоть маленькая, а площадка нужна, а они в топи стоят. Вертолетчик им приказывает: «Несите увечных дальше!» Понесли. Взял девушек вертолетчик, а четверо парней отправились дальше. Ну, карта дрянная, проток какой-то не указан, повернули в сторону и ушли куда-то в тайгу. Теперь вот ищем их. И никаких следов! Так, повторяю, товарищи, нельзя!

И помолчав, доброжелатель наш сказал:

— Конечно, писатели должны ездить, познавать. Вот что. Возвратился из санатория председатель колхоза «Заря», он плывет туда на своей моторной лодке. Попросим его помочь вам: и туда и обратно. Бензин? И бензином поможем.

В дальнейшем разговоре я заметил, что места здесь красивые какой-то своеобразной, особенной красотой. Доброжелатель переспросил:

— Особенной?

— Особенной.

— Может, и так. Эта красота требует от человека особенно энергичной деятельности. Вот вы смотрите на мою железную печку и, пожалуй, удивляетесь: неужели в райкоме не могут поставить кирпичной? И грязи меньше и возни. Поставили бы с удовольствием, но как поставишь, когда глины нет. Нету! Из речного ила кирпич жечь еще не научились — рассыпается, да и нечем скреплять кирпич: нету глины!

— Обыкновенной глины нет?

Мое восклицание понятно. Трудно себе представить, чтоб огромный район размером, скажем, с Болгарию, с необъятными лесами, тайгой, реками, долинами, высокими горами не имел самой обыкновенной глины.

Когда мы подходили к райкому, мы невольно остановились у калитки — она оказалась самозакрывающейся: какой-то Архимед прибил вместо пружины двуручную пилу. От калитки мы невольно подняли глаза к хребту Кодар. До него по прямой километров пятнадцать, но благодаря отменному чистому воздуху Кодар как бы отодвигает пространство. Весь он теперь — сверху донизу, на полнеба — золотисто-коричнев, только вершины горят темно-красным, да кое-где среди скалистых обрывов белеют пятна снега, и кажется, что снег лежит на высоком постаменте. Туманы, как будто взявшись за руки, пляшут среди бесчисленных скал. И оттуда, словно хор, поет нескончаемый ветер. Властен старик Кодар! И небо-то над ним какое-то простодушно-напуганное, серовато-голубое.

А ближе к нам — гора Зарод, как бы отброшенная от хребта за плохие помыслы и имеющая вид короба, поставленного на ребро. Невольно чувствуешь себя взбудораженным и хочется немедленно туда попасть. А как? Где достать грузовик, да и то на грузовике, говорят, можно проехать лишь километров десять, а дальше — на оленях или пешком. Олени сейчас все на пастбищах, далеко. Пешком идти нет времени.

Пока я вспоминал свои впечатления от Кодара, наш доброжелатель продолжал:

— И сами ищем глину и других просим искать: у нас тут едва ли не из семнадцати, а из десяти институтов, так уж наверняка, экспедиции. Все попутно смотрят, нет ли глины, а ее нет. Места сложные.

По его тону заметно, что, несмотря на «сложность мест», он эти места любит и радуется, когда другим они нравятся. В сущности, он и против туристов ничего не имеет, его только раздражает легкомыслие. Кодар, в сущности, не хребет — это целая горная страна с множеством трудно-переходимых рек, с малодоступными гольцами, со смертельно опасными топями. Для эвенков дорога есть повсюду, и те опасаются туда ходить, разве что самые опытные охотники.

— И места сложные, и жизнь сложна. В Чаре еще ничего, а вот увидите Намингу или Читконду — о-о! Да и что значит — в Чаре ничего! Летом дорог сюда нету. Если что понадобится — самолетом. А во сколько обходится самолетом килограмм? Продовольствие везем зимой по льду грузовиками; семьсот километров — расстояние, равное тому, что от Москвы до Ленинграда. С пищей в Чаре туго: все больше консервы, скот разводим, но только на молоко, а лишку взять трудно, даже с курами трудно. Огурцы, скажем, цвести цветут, и ботва хороша, а как подойдет время к плоду, вытянется с мизинец, и конец: заморозок. А в Наминге, там у нас медь, — вы после плавания по Чаре ведь в Намингу? — так в Наминге, не говоря уже о Читконде, даже и картофель не растет: тысяча триста метров там высоты, кажется так. У нас, спасибо природе, хоть картофель есть, ну и олешки.

«Олешками» здесь называют оленей. Они действительно олешки-орешки: маленькие, веселые, с огромными простодушными глазами и бархатными рогами — только для украшения, и никогда не подумайте, что для чего-нибудь другого!

— Прослышали люди... конечно, имеются среди них и мечтатели, романтики, что ли, по-вашему, но есть и другие — увидите... Прослышали, что в Наминге богатые залежи меди, и решили, что заработки тут золотые. Ну, и милиции нет, тоже для некоторых — увидите — основание. И что думаете? Теперь за три недели вперед записывайтесь в Чите, чтоб лететь сюда. Вербовочная контора, перед тем как подписать с вами обязательство, требует от вас, помимо справки о врачебном осмотре, анкету и тому подобное. Но каких вы от него ни берите анкет, как его ни прочитайте врачебно, как ни просматривайте, где вам обнаружить — надо же ли у него хватит выдержки? Тысяча триста метров высоты и обыкновенный рабочий день! Ну, некоторые держат себя властно и перемалываются, а некоторые горько стонут и даже руки ломают, тыфу! Скажите так — вы писатели, к вам прислушиваются, — что здесь жизнь лягается.

Негодовал он искренне и сурово. Мы обещали передать это нашим читателям, не ругаясь, впрочем, что прочтут именно те, которым следовало бы прочесть.

Мы идем по деревянным зыбким тротуарам к гостинице. Вправо и влево — черные застывшие клубки грязи, в дождь здесь топь выше колен. За топь — штакетники, за ними — дома из лиственницы цвета осенних листьев, иногда и бурых, но чаще всего желтых. Сверху и с боков завывает горный хор, напоминая о скалах и гольцах Кодара. А впереди нас — другие хребты, среди которых и лежат Наминга и Читконда; вид довольно-таки зловещий.

Сеней у гостиницы нет. Дверь открываете прямо в одну из комнат. Их две, по шесть кроватей в каждой. Беленая перегородка, в которой дверь, и неподалеку от нее — дыра, чтоб проходило из комнаты в комнату тепло, так как подставка для железной печи только в первой комнате. Стол, покрытый газетой, две тумбочки, два табурета, умывальник,

скука и теснота, даже тарелка радио, нахрипевшись вдоволь, до устали, не бороздит душу.

Лежали мы на панцирных кроватях и рассуждали, когда же поплывем и как поплывем.

Распахнулась дверь, и появился небольшого роста человек в тапочках, в клетчатой, не подпоясанной и не вправленной в шаровары рубашке, остроносый, с привычкой глядеть иногда в сторону, чтоб не смущать вас все время взглядом своих довольно пронизательных глаз. «Геолог», — подумали мы и не ошиблись. «Приятный товарищ», — еще подумали мы и еще раз не ошиблись.

— Это вы хотите с председателем «Зари» плыть?

— Мы.

— Писатели?

И это мы подтвердили. Тогда вошедший представился:

— Геолог Удоканской экспедиции Марк Осипович Фаерман... У «Зари» на борту много людей и груза. Кроме того, скоро районная партийная конференция, подготовка к Двадцать второму съезду партии; председатель колхоза, пожалуй, еще задержится, а вам, я понимаю, ждать некогда?

Мы подтвердили, что некогда.

Марк Осипович говорит плавно, охотно отвечает на любой вопрос и охотно, что ни попросишь, разъясняет. Я забегаю вперед, но скажу, что ни разу я не заметил, чтоб он был настроен против кого-либо враждебно.

— Что же вы предлагаете, Марк Осипович?

— Предлагаю вам плыть со мной. У меня поездка в тот район — проверка заявки на слюду.

В противоположность многим геологам, которые, если спросить, предположим, о поисках глины, непременно начнут мяться, изображая, что боятся выдать невесть какую государственную тайну, Марк Осипович отвечает сразу и обстоятельно; впрочем, на вопрос о подлинной государственной тайне, я уверен, ответил бы так же внушительно: «Об этом сказать ничего не могу», — и вы бы с удовольствием поняли, что в этом огороде вам делать нечего.

— Вас удивляет, что собираюсь в экспедицию накануне глубокой осени? Я привык, да с эвенками и не пропадешь. Им все равно, что лето, что осень, что зима. Теперь относительно слюды. Слюда — остро дефицитный минерал в промышленности. Заменителя ей не найдено, и кажется, не скоро найдут. Запасы в недрах имеются, но заказов еще больше. Надо искать и искать. Увидел я этой весной в райкоме, в шкафу, куски руд. «Откуда?» — «Да еще до войны краеведы принесли, а кто — уж и неизвестно, давно принесено». Ну, другие руды меня не заинтересовали, а вот большой кристалл слюды — любопытно, откуда? Всю весну и лето у всех расспрашивал. Наконец месяц тому назад отвечает мне Николаев, эвенк, зампреда «Зари». «Вроде, отвечает, мы нашли». — «Кто мы?» — «Отец да я! Тогда я еще маленький был, далеко до войны. Многие испытал с тех пор. Забыл, поди, а старик, поди, совсем забыл, совсем больной и старый». Показываю карту. Эвенки, знаете, великолепно в картах разбираются, даже если впервые их видят. Объясни ему только значки, а дальше он лучше вас поймет. Смотрит. «Вроде здесь. Тут ручей, а тут скалы, а тут вот куски руды валяются». Я ему возражаю: «Малопонятно одно: как это геологи, которые в этих местах каждый вершок исходили и знают цену слюде, мимо такого богатого по виду месторождения прошли?» Он отвечает: «Ничего удивительного нет. Это только вам так кажется, что вы все знаете и все замечаете». Месяц прошел, пока я исхлопотал ассигнования на поиски, а



теперь еду. Трепещу, признаться. Ход конем я уже сделал, а как вот старик Николаев?

Он вдруг поднялся, но не быстро, а немножко с ленцой, такая уж у него манера.

— Обедали?

— Собираемся.

— Так собирайтесь ко мне. Я вчера тайменя килограмм на восемнадцать выбороновал спиннингом.

Да, такую рыбищу — пуд пять фунтов — выволочь спиннингом — что тащить борону! Глядя на этого тайменя, я даю зарок верить каждому слову Марка Осиповича, и, кажется, зарок не подвел меня. Барон Мюнхаузен и Тартарен сильно зачернили нам образ правдивого охотника, но были ж, однако, охотники, которые не только не лгали, но остались образцами искренности и в рассказах своих и в жизни: И. Тургенев, С. Аксаков, М. Пришвин. Марк Осипович — не писатель и не собирается им быть; как рассказчика я его причисляю скорее к людям типа Пришвина, чем к Тартарену. Он окончил геологический институт, а сейчас заканчивает в Иркутске второй — заочный по звероводству и звероловству. Он на пятом курсе и недавно летал сдавать зачеты. Родом он из Киева.

— Киев удивительно красив, — сказал я, — и не похож ни на один город мира, хотя в чем его особенность — объяснить не смогу. Не манит вас туда, Марк Осипович?

Остановился он в домике своего приятеля охотника на улице, ведущей к аэропорту. Железная печка вынесена во двор. Марк Осипович ставит на нее широкую сковороду; хозяин, рослый мужчина, уезжающий завтра не на охоту, а в санаторий по профсоюзной путевке, разжигает печь. Поодаль присел на корточки наш будущий рулевой на моторке — Иван Ильич, хмурый, в темной фетровой шляпе; за ним на завалинке лежит рыжая крупная лайка и кусок медвежьей шкуры. По улице идут в столовую вертолетчики, а над всем — зубчатые лилово-алые вершины хребта Кодар.

На кольях забора, как на Украине, — вымытые горшки. Хозяин бросает масло на сковороду, масло шипит; Марк Осипович, держа большие ломти рыбы, щурясь, подходит к сковороде, кладет на нее рыбу и поворачивается ко мне:

— Не манит ли меня в Киев? Куда манить! Родных у меня нет: все в войну перебиты. Да и воспоминания нехороши. Нет, не манит. А вот в тайгу меня манит непрерывно. Я и отпуск в ней провожу — не в санатории, не в Крыму, как у нас тут заведено: кто на водку не разорется, копит и едет дразнить Черное море.

— А зачем же вам опять учиться? Почему опять институт? Разве в институте вас научат стрелять зверя лучше, чем в тайге?

— Где лучше! Дело, видите, в том, что я изучаю не только звероловство, но и звероводство. Стреляем мы много, этак и тайгу нетрудно обеззверить. А что тайга без зверя? Вот я и буду звероводом, чтоб потомкам хорошее наследство оставить. Я ведь зверя люблю. По-особому, конечно, но люблю.

С завалинки прыгнула лайка. Чуть волоча заднюю ногу, она пошла к Марку Осиповичу и нежно поглядела на него. Переворачивая ножом кусок рыбы на сковородке, Марк Осипович сказал, локтем указывая на лайку:

— Кстати, о звере. Видите, ногу волочит? Это в прошлом году медведица повредила. Вон там, в горах, случилось. Собаки окружили медведицу, грохочут. Я было поотстал; Бушуев, хозяин вот этой избы, подбежал раньше. Бегу и я, так что все лиственницы вокруг в брызгах! Выбегаю на полянку. Собаки грохочут, а мой Бушуев стоит и метится, стоит

и метится. «Что за притча?» — думаю. Руки у Бушуева дрожат, никогда с ним такого не бывало. Дело в том, что медведица, вместо того чтоб на нас кинуться, заботливо так на медвежонка смотрит, который на лесину карабкается, спасается, лапчонками быстро так перебирает. Медведица глядит. Бушуев глядит. И я гляжу. Только перевожу глаза — мать пресвятая богородица! — ползет наш желтый пес с перебитой лапой. Медведица егохватила, чтоб не брехал. Тут меня взорвало. «Ах, вы так, почтеннейшая?» И — трах ее. А вообще-то я к зверю не настроен враждебно.

От долгого пребывания среди сибиряков-охотников язык у Марка Осиповича смелый, вольный и живописный; изредка лишь пробиваются канцелярские обороты, и то, когда он в досаде.

Рано утром прошли мы мимо высоко вытянувшегося картофеля к опрятному домику Ивана Ильича, возле которого развешаны сети. (Сетями, как известно, пользоваться запрещено, но в этих отдаленных местах, где «скотского мяса, не дадут наврать, и по праздникам не получишь», на рыболовные сети смотрят снисходительно.) Иван Ильич встретил нас угрюмой вчерашнего. В домике чисто, приятно, младшая дочь учится в школе, сыновья: один — в армии, другой — милиционер. Пока мои спутники ходили за бензином, а Иван Ильич готовил мотор, я спросил жену его:

— Чего это муж-то такой мрачный? Болен? Вроде и не плохо живете, и дети не бедствуют.

— Молоко свое, рыбу достаем, мясо тоже — зверя бьет. А вот в городе, оказывается, жить не умеем.

— В Чаре, что ли?

— То-то что в Чаре. Переезжать собираемся. Обидели Ивана Ильича. Прямо на весь город по радио «тунеядцем» назвали! Трезвый еще сдерживается, а как выпьет, так навзрыд. «За что, говорит, воевал? Ведь пять штук медалей имею за Ленинград! Ревматизм, порок сердца нажил!»

Лодка, узкая, длинная — такие, наверное, были и при Ермаке, Хабарове, да и раньше, — прикреплена цепями к бревнам ряжей. Отблески реки скользят по борту лодки. Приглядываюсь к Ивану Ильичу, который, укрепив мотор, ставит рядом с собой бензиновые канистры, ящик с продовольствием. На лице его ничего «тунеядческого» нет, лицо как лицо. (Правда, за доставку обратно он слупил с нас за триста километров по воде шестьдесят рублей — бензин причем был наш! — но я извиняю это тем, что он, слыша наши разговоры о литературе, принял нас за собратий тех, кто назвал его столь обидно.)

Километров через пять мы вступаем в преддверия лиственной тайги. Начинаются отмели. Лодка лихо их огибает. Поднялась стая уток. Марк Осипович готовит спиннинг.

Т-з-з-з... — свистит блесна.

Марк Осипович мотает леску и, чувствуя, что рыбы нет, спокойно говорит:

— Оставайтесь до сентября. Начнется перелет...

— Да мы и так все время от Онона до Чары едем навстречу перелету.

— Ну, это лишь одиночные стаи. А вот когда полный лет с просторов Севера — тучи! Гуси, утки, лебеди. Поехали мы — тоже с Бушуевым — лодкой на озера. Попросили нас дичи заготовить для столовой рудника в Наминге. За три часа набили мы полную лодку. Не верите, в Наминге спросите. И преимущественно гусей, хотя и неприятно их было бить. Гусь летит там низко, стайей. Бьешь в передних. Они падают. И что вы думаете? Стая отлетает, задние заменяют передних, и стая опять летит на тебя. Героическая птица гусь! Жалко даже. Не раз с одного выстрела убивали по три-четыре.

И Марк Осипович, снова забрасывая блесну, с озабоченным видом прошептал в реку, очевидно рыбе, которую он видел:

— Ходи-ка сюда!

А рыба и не шла.

Возникло молчание. Его прервал заработавший мотор. Омут остался позади, а за ним блестел и переливался пережат и песчаная отмель.

Гляжу на Чару не отрывая глаз и временами глубоко вздыхаю от восхищения. То ли давно не видел я лиственничной тайги, то ли впервые вижу такое поразительное сочетание лиственниц, песка и стремительно дробящейся синей воды? Огромные лиственницы, прямые и свежие, еще в пяти шагах от берега стоят недвижно, точно замирая от страха. Но вот они приблизились, воды как бы притягивают их своей дрожащей глубиной, они наклоняются — все ниже и ниже... иногда наша лодка пронесется под их сводом, почти касаясь хвои. Иногда лодка огибают дерево, уже упавшее в воду, ствол которого непременно тянется по течению, а вершина, ободранная, острая, то окунаясь в струи, то выскакивая, издает глухой, чуть уловимый звук: «Дз-быз-зы-дзы-ы»...

Лиственницы наш рулевой Иван Ильич называет «листвянками», и они, по его словам, склонны к «большим выворотам». Дело в том, что лиственница в этих местах растет до определенного размера, позволяемого ей вечной мерзлотой, которая здесь почти всюду. Корни лиственницы, стало быть, растут не в глубину, а в ширину. Река с легкостью и, я бы сказал, с каким-то затаенным сладострастием вырывает лиственницы из почвы и уносит их, образуя завалы.

Особенно велики завалы на мысах, там, где река делает изгиб или раздваивается. Окруженные белесыми песками завалы лиственниц причудливы, а порой и страшны. Корни, как я уже говорил, растут здесь в ширину, перепутаны, и когда вывороченное дерево попадает в завал, да еще комлем вверх, что нередко кажется, что это стальные великаны натянули на себя широкополые шляпы. Стальные — потому что стволы их обнажены, вода с легкостью обдирает с них кору, — они цвета полированной стали, чуть, пожалуй, тускловатой, и вдобавок ствол крепости необычайной: столетиями способен он пролежать в земле, не загнивая и не делаясь дряблым.

Мы завтракали на песках возле одного такого завала. Нанесенные водой лиственницы лежали друг на друге в несколько рядов, устремляя вверх свои темные комли. Я насчитал триста шестьдесят семь лиственниц и бросил считать — позвали пить чай.

Река петляет. Хребет Кодар то приближается, то отдаляется. То мы видим во всей ее красоте гору Залом (подле нее, говорят, геологи нашли большие запасы каменного угля), то Залом исчезает. Иногда солнце светит нам в спину, иногда в лицо.

— Река ходит шибко, — говорит Иван Ильич, — мысов-то, мысов!

Марк Осипович, по-прежнему продолжая «сечь» реку спиннингом, подхватывает:

— Зато по таким мысам зверя гнать удобно зимой. По льду зверь боится быстро бежать, а в лес его собаки не пускают. Ну, идешь наперерез мыса, там и встречаешь его. Надо вам добавить, что наша собака, лайка, в отличие от гончих гонит без голоса. А когда «поставит» зверя, дает голос. Услышишь, и на сердце такое, что вроде не доел, а там начинает тебя вроде дратвой всего прошивать. Стоит он не вялый, рога, как черт-дьявол, кто ни подойдет, тот не отойдет, — кто это? Сохатый. Хе-хе! — Марк Осипович смеется негромко, про себя. — Главный вопрос, к которому я возвращаюсь, — рыба... Выключи-ка мотор, Иван Ильич.

Два часа дня. Пережат. За пережатом — глубина, темно, как в земле.

Марк Осипович приподнимается, поддергивает высокие болотные сапоги и, сутулясь, «сечет» спиннингом.

— Здесь водятся ленки. А взять вряд ли возьмут. Да и таймень в эти дни лишь начинает спускаться с холодных горных ручьев в Чару. Рыба сейчас неохотно берет — особенно у писателей, — шутит он.

Так оно и есть. Несколько часов два спиннинга почти подряд «секли» реку непрерывно, и — ни одного клевка!

#### 9. Эвенкийский оленеводческий колхоз «Заря» и Саломаговский порог

Весь поселок вышел нас встречать на крутояре.

Сознаюсь, я пренаивно полагал, что увижу здесь эвенков в их национальных костюмах, окруженных оленями, а за оленями — чумы. Ничего национального здесь я сразу не заметил, если не считать плосковатых, слегка скуластых лиц да узких глаз, наполненных черным огнем. Одеты эвенки так же, как и все мы, разве только тут больше, чем где-либо, резиновых сапог. Женщины одеты даже и шеголевато. (Одна эвенкийка пришла на наш литературный вечер в модной шляпке, в очень красивом платье и, кажется, в перчатках.)

Среди полсотни или больше новых лиственничных домов — только один чум, служащий, по-видимому, погребом. Чум — неподалеку от клуба, крыт лиственничным «корьем». За чумом старик эвенк ведет на пастбище несколько оленей с коричнево-бархатными рогами, огромными, совсем не по их росту. Глаза у оленей кроткие, совсем домашние, а рога дикие, из чего можно заключить: оленям приходят иногда в голову древние мысли, что и случается в действительности.

Кроме клуба (о котором речь впереди, как и о нашем литературном вечере), здесь имеется интернат для детей, родители которых — охотники или оленеводы — уходят надолго в тайгу, общежитие — дом молодых холостяков, пекарня и большой, только что отстроенный магазин, обнесенный гигантским деревянным забором; подобные я видел на гравюрах, изображающих старинные сибирские крепости. Улицы засыпаны упругой лиственничной щепой; куда ни пойдешь — всюду сопровождает тебя сладкий смолистый запах.

Мы поселились в домике фельдшерицы Лили, муж которой, Иван, служит при клубе механиком. Лиля — бойкая большеглазая женщина, говорливая, слегка вертлява, а муж ее, с ласковыми смиренными глазами — из тех, в которые всегда страшно вато смотреть, — наоборот, медлителен и молчалив. Комната, как и всюду здесь, единственная в доме, разгорожена, как и всюду здесь, дощатой перегородкой. За перегородкой — горные дела: врачебный пункт; Лиля здесь принимает больных. Дня два спустя после нашего приезда в соседнем доме раздался взрыв. Клубы мягкого дыма хлынули из окон и дверей. Молодой эвенк — не то от патронного капсюля, не то от брошенной в банку папиросы — взорвал порох. Обошлось все это довольно легко: эвенк обжег себе лицо, не повредив глаз. Возвращаясь в Чару, мы обогнали лодку, на которой его везли в больницу; больной, прикрыв лицо платком, лежал в лодке голый — загорал. Прогресс, как видите, шествует повсюду.

Дверь в сени обита оленьей шкурой. Но с потолка свисает шнур: электричество появляется зимой. Летом, во-первых, ночи коротки и светлы, а во-вторых, много работы, где там забавляться светом. Возьмите, к примеру, покос.

Когда мы зашли в дом, Лиля и ее муж Иван только что вернулись с покоса. Лето на редкость дождливое, поэтому в ясный день косят все жители поселка. Покосы здесь своеобразны: косят в болоте, косцы все

в резиновых высоких сапогах, а скошенную траву сушат, развешивая ее на кустарники.

Лиля приняла нас заботливо, как родных. Иван немедленно разжег на дворе железную печку и поставил варить и жарить щук, несколько штук которых поймал утром на соседнем озере.

— Ключют? — спросил задумчиво Марк Осипович.

— И щука берет, и окунь.

— Сходим завтра утром со спиннингом!

Спрашиваю у Лили:

— Ну, как вам тут живется?

— А очень хорошо! Пожаловаться не на что: и пища, и радио, и все «кинны» присылают. Нет, мы довольны. Конечно, есть недостатки...

— Например?

— Привезли, например, в магазин персидские ковры — не успела купить, расхватили.

Читатель, наверное, улыбнется: откуда быть в тайге персидским коврам? И что, мол, писатель выдумал! Никакой выдумки. «Персидским ковром» называют здесь двух с половиной на полтора метра кусок хлопчатобумажной материи, покрытой узором, несколько схожим с персидским ковром. Кусок этот прибивают у кровати на стену для украшения, и он очень ценится. При мне в Читинский обком партии, в отдел культуры, пришел некий ловкач, который предложил обкому свое изобретение — быстрое и дешевое печатание таких вот «персидских ковров». Причем желательность «внедрения» своего изобретения ловкач обосновывал важностью борьбы со спекулянтами. Значит, действительно велик спрос, если уж «изобретатели» печатания «персидских ковров» появились!

— Появятся еще у вас персидские ковры, — успокоил я Лилю.

— Вы уверены, что появятся? — с надеждой спросила она.

— Уверен. А еще какие недостатки?

— Да вот еще «посылки — почтой» не высылают нам спиннинга. А спиннинг для нас — вся жизнь.

— И спиннинги у вас появятся, — ответил я твердо.

Боюсь, что Лиля посчитала меня за болтуна, потому что других недостатков она не назвала.

Марк Осипович вернулся от Николаевых. Председатель колхоза еще не приплыл из Чары, а зампреда не решается вытребовать оленей из тайги для «слюдяной поездки».

— Вообще-то эвенки оленей дают охотно, и «олешки» — не проблема. Проблема — Николаевы. Либо старику действительно неможется, либо старик крутит. Бедро, голень, видишь ли, у него сегодня занули! Боюсь, зануло у него другое. Старики эвенки неохотно показывают нам рудные места. Придут шахтеры, разведут рудник, зверя перепугают — чем охотнику жить?

— Однако вы сами говорите, эвенки охотно дают своих «олешек» геологам?

— Охотно. А почему? Рубль в день за оленя, десять рублей старыми деньгами! Это большой заработок. Десять оленей у него — сто рублей, пожалуйста. А попробуй-ка выколоти эти сто рублей на покосе или даже на охоте? Выгодно — и мирятся.

— А сам молодой Николаев?

— Молодой Николаев пойдет охотно, но уж очень был юн, когда они наткнулись на руду; кажется, не очень-то твердо помнит то место. Да и неизвестно, председатель отпустит ли его: сенокос, конференция, зима на носу... — Марк Осипович поворачивается к хребту Кодар и рассмат-

ривает тучи.— И без того дней у нас мало, а тут, боюсь, еще дождь. Смотрите, сколько туч-то наломало. Мобутовцы!

Марк Осипович никогда не ругается. Самая злая ругань на его устах — «мобутовец»; и сердито и из-за злободневных событий в Африке иронично.

— Да и вам в тайгу под дождем какая радость?

— Мы дождь-то не очень замечаем.

Утром я проснулся часов в шесть. Иван и Марк Осипович уже ушли на озеро. Пока Лиля готовила нам завтрак, пока Иван Ильич готовил лодку зампреда, молодой Николаев и старый тощий эвенк в очках показывали нам свой поселок.

Вошли в магазин, просторный, светлый. Широкие шкафы еще не поставлены вдоль стен, прилавок еще не покрашен, но заметно, что в магазине поместится много товаров, а продавцам за прилавком будет стоять приятно. Николаев подводит нас к большой печи и говорит с удовольствием:

— Прошу заметить, глины в районе нет. Кирпичи, прошу заметить, делают из ила, они оттого рыхлы и печи валяются. А эта никогда не упадет! Кирпич огнеупорный.

— Хотите сказать, что привезен из Читы?

— Именно. Из Читы самолетом, а сюда лодкой.

— Вскочило это колхозу в копеечку?

— Что поделаешь, приходится жить культурно.

Я спросил:

— Поедете с Марком Осипычем слюду искать?

Он ответил уклончиво:

— Следовало бы.

Я воскликнул:

— Дело государственное, культурное!

— Конечно, а только что же зря олешек в тайгу гонять?

— Как зря? Вы же принесли в райком руду?

— Вроде и мы. Кабы я ее дома приберегал, а то сдал, сказал место, да и забыл.

И то верно.

За колхозом «Заря» до самого Саломатовского порога река все расширяется, все наливается, и плесы за перекатами и отмелями все длинней и глубже. Притоки втекают как-то незаметно, без шума и грохота, точно река бережет весь шум для перекатов.

Горизонтально к воде качаются и шуршат не только те лиственницы, что растут на берегу, но метра на три ниже из серо-голубого ила, уже у самой воды, торчат такие же лиственницы, точно отражение, только без хвоя. Эти лиственницы когда-то (быть может, во времена первых казаков, проходивших этой рекой) затащило в воду, покрыло илом, затем река отошла, берег поднялся, на нем снова вырос лес, снова подошла река, стала мыть берега — и вымыла этих великанов, что пролежали в иле сотни лет!

— Ну, уж если здесь не «посечь», — говорит, поднимаясь во весь рост, Василий Григорьевич, — будет преступлением! Я же вижу их, вижу тайменей.

И таймени видят блесну, но не желают ее брать.

— Поплыли? — упавшим голосом сказал Василий Григорьевич.

— Поплыли, — ответил Иван Ильич мрачно.

А места все красивей, все величественнее.

И хребет Кодар заметно приблизился.

Что это? Крутой берег не из песка, а из синего ила, перемежающегося с кусками спрессованного снега, похожего на лед. Вечная мерзлота? Ил, плотный, мокрый, образует что-то вроде длинных гротов, с потолка которых непрестанно отрываются куски и кусочки, окрашивая реку — от берега до берега — из темно-синей в светло-голубую.

— Тут вулкан был,— заметил спокойно Иван Ильич.

— Вулкан?!

— Грязевой вулкан. Лет пятнадцать назад он был еще в тайге, бурлил, клокотал, а теперь река его смыла, только остатки торчат.

Вулкан в вечной мерзлоте?

— А черт ее, эту вечную мерзлоту, поймет! — говорит Иван Ильич, осторожно огибая берег из голубого ила.— Копал я как-то колодец в колхозе «Таежный»: у них вода далеко, вздумали поискать ближе. И на глубине четырнадцати метров, в вечной мерзлоте, наткнулся я на бревно лиственницы, не в охват! Четырнадцать метров!

Чара перед Саломатовским порогом особенно широка. Она огибает Утюг, песчаный мыс, образует залив, словно желая отдохнуть перед тем, как войти в ущелье, а затем среди валов из гранитного валуна — была не была! — кидается к скалам.

Скалы справа, скалы слева, будто желают образовать свод над рекой. Между скал — лиственницы, березы, мелкий кустарник; на душе веселее, когда смотришь на зелень. Скалы бегут вверх, словно воевать с кем-нибудь собираются, словно им мало здесь шума и грохота, словно мало ветра и влаги.

Под ногами сыро, ноги скользят по гальке; поднимаешься чуть на берег — мокрые деревья, мокрый мох. Все пропитано влагой. Влажный, властный и сильный ветер дует и не в состоянии сдуть эту влагу. Ветер злится, и гул мчится по камням.

Перед нами — порог.

Голубые волны взметываются кверху, как прибой на море, перекатываются через невидимые валуны, падают, опять устремляются вверх, опять падают.

— Ремесло большое,— говорит Иван Ильич, рассматривая волны и заложив руки за спину.

— А проплыть все-таки можно,— нерешительно утверждает Гоша.

— На плоту можно, а лодкой нельзя.

— И лодкой можно. Говорят, две недели назад какие-то гидрологи проплыли тут на резиновой лодке.

— Никто не видел, как они проплыли. Может, лодку на руках по берегу обнесли?

— Ну, а следующие, Иван Ильич, пороги каковы?

Нахмутив брови, Иван Ильич ответил:

— Следующие? К следующим я не плавал. Сколько лет живу, а нужды не было к ним плыть.

— Нужда-то есть, да уменья не хватит,— сказал, помолчав, Василий Григорьевич и, как всегда, сказал правильно, хоть для нас и не очень лестно.

Надо сознаться, да, уменья не хватит.

И главное, никому неизвестно, какие пороги впереди и сколько их! На карте «Атласа мира» Саломатовский порог, например, обозначен, а на крупной карте Читинской области его совсем нет. И можно ли те другие пороги, что лежат дальше, обойти по берегу, или скалы там вплотную подходят к реке?

— Предлагаю приплыть сюда осенью будущего года,— говорит Василий Григорьевич,— пожить подольше где-нибудь рядом, исследовать пороги, а тогда..

Да, тогда! А сейчас? Сейчас прощай Олекма, в которую впадает Чара; прощай Лена, в которую впадает Олекма; прощай вообще Якутия! Уместно также было вспомнить тут случай с безрассудными туристами из Свердловска.

— Куда теперь?— спросил Иван Ильич.

— На Горячие Ключи.

То есть обратно.

За песчаным мысом Утюг лодку воткнули в берег и по медвежьим и козьим следам — здесь, по-видимому, звериный водопой — вышли на перешеек, откуда увидали озеро Горячих Ключей.

Озеро небольшое — километра два-три в длину и полкилометра в ширину — раскинулось в долине, густо заросшей лиственницами. По ту сторону озера, в левом краю его (если смотреть с перешейка), и бьет мощный сероводородный источник, температура воды его — шестьдесят градусов. В народе ходит слух, что источник очень целебен. Райисполком поставил возле источника две избы для больных, над источником — сруб, два отделения, комнатки для мужчин и женщин; сюда даже завезены эмалированные ванны! В крошечном коридорчике чья-то сердобольная рука повесила расписание: со скольких минут начинать принимать ванны и насколько увеличивать лежание в них.

Ну, авось поможет и нам: отказаться от Якутии, Олекмы и Лены — тоже болезнь! Черпая нестерпимо горячую воду ведром прямо из источника и через деревянный желоб наполнив ванны, полезли и мы туда.

И лежали согласно расписанию.

И вроде бы помогло.

Распаренные, утомленные, долго мы сидели на поваленной сучковатой лиственнице, служащей больным скамейкой для отдыха и приспособленной для чистки рыбы: половина лиственницы густо покрыта блестящей рыбьей чешуей. Рыба здесь — большое подспорье для больных. Ее ловят сетями, но и удочкой за час можно наловить ведро окуней.

Обратно через озеро на перешеек переправляли нас плоскодонкой двое мальчишек. Один из них, постарше, лет тринадцати, востроглазый, спросил меня:

— Дедушка, а вы — в Чару?

— На денек в «Зарю», а потом в Чару.

— Возьмите меня с собой!

— Вот те на! Учебный год еще не начался, да и с тобой, поди, тут родители?

— Родители. А я у них отпросился.

— Зачем же тебе в Чару?

— Кино. А то здесь скучно.

— Скажи, пожалуйста! Какая ж тут скука? Тут раздолье — тайга, звери, лоси, медведи...

— Что, видмедя? Вон там, в овраге, видмедь лежит. Вчерась на него наткнулись. Воняет уж. Скучно на них смотреть, на видмедей-то.

На лице паренька действительно скука. Другим бы мальчишкам посмотреть на этого вонючего медведя — на всю жизнь хватило бы рассказывать, а этот... Да что осуждать мальчишку! Сами мы тоже хороши. Нет, чтоб повернуть плоскодонку и посмотреть в овраге медведя! Даже Гоша и тот молчал, а ему-то медведь куда как нужен для сказок.

В овраге фельдшерского домика мы наткнулись на зрелище, для рыбакова праздничное. В течение трех или четырех часов Марк Осипович и Иван натаскали спиннингами около ста килограммов окуней и щук. Еле доташили.

Рыба заполняет железное корыто, какой-то полотняный полог и ле-



жит просто на траве. Приглашены все соседи; каждому дарится несколько щук. Улов, впрочем, удивляет только нас, приезжих. Эвенки берут щук спокойно, говоря:

— Значит, щука начала клевать? Скоро, значит, и таймень будет брать.

#### 10. Литературный вечер в эвенкийском клубе

В избе Василий Григорьевич диктует Ивану афишу нашего литературного вечера, а в ограде, возле забора и железной печки, Гоша, Лиля, молодой Николаев и худощавый эвенк в очках внимательно наблюдают, как впервые — и, может быть, не только в их поселке, но и во всем районе — готовится фаршированная щука. Готовит ее Марк Осипович, готовит с наслаждением, восторгом даже. Наслаждение его усиливается еще и оттого, что он чувствует, как окружающие изумляются его искусству.

— Лилия, гляди и учись,— говорит он, ловко разделявая щуку.— Чем лаптю кланяться, лучше поклониться сапогу.

Я подсаживаюсь, чтоб полюбоваться его работой и между прочим рассказываю о Горячих Ключах, о мальчике и вонючем медведе в овраге.

— Повестей о медведях тут сколько хотите,— говорит Марк Осипович,— потому что зверь этот хитер, силен и с неожиданностями. Есть такие, что умрут от разрыва сердца при первом звуке вашего голоса, а есть и такие, что задерут вас, не моргнув глазом. Стоит тут недалеко гора Большой Казбек...

— Почему Казбек?

— Ну, так взяли, да и назвали ее первые открыватели. Мыли мы в тех местах шихту, брали пробу. Был я там с приятелем, ну, и, разумеется, палатка. Всем хорош, геолог прекрасный, но вдруг оказалось — медведь боится. Это тоже не редкость. К тому же там действительно медведь бродил, людоед, уже двух человек уничтожил. Это вам подтвердят...

Вдруг Марк Осипович закричал с азартом:

— Лилия, фарш готов?

Фарш — из мякоти щуки с прибавкой моркови и свеклы, сорванных тут же, в огороде. Лилия несет фарш Марку Осиповичу с воодушевлением и боязнью. Ей страстно хочется научиться фаршировать щуку.

Накрапывает дождь, но никто на него внимания не обращает. Из окна доносится голос Василия Григорьевича, оканчивающего афишу: «Вопросы и ответы. В заключение — фильм». Всюду поблескивают рыбы — в железном корыте, на лавках, на траве.

— Щука-го, поди, развалится и упадет, когда мы ее понесем на сковороду,— говорит Лилия.

— Ну, да! Ничего не развалится. И, кроме сковороды, мы ее еще — в кастрюлю; кастрюля лучше изнуряет рыбу. Развалится?! Весь фокус тут, чтоб приготовить удачный фарш. А ты как будто ничего приготовила. Ну, давай набивать! Будет, знаешь, мое почтение. Яиц не пожалела? Яйца, знаешь, крепость фаршу дают. Та-ак, а пожалуй, маловато будет нам сковородки и кастрюли?

— Можно и две кастрюли?

— А что ж! Хватит и на две.— Марк Осипович рассматривает огромную метровую щуку.— Подтащил я эту к берегу, а чем ее добить? Ни мелкокалиберки, ни молотка. Сунулся в карман, а там флакон от одеколona, толстый, прочный. Я и хватъ флаконом ее по башке! Ничего, получилось.

Лилия говорит с уважением:

— У тебя всегда получается.

Я. прерываю:

— Позвольте, а как же с людоедом?

— С каким людоедом?

— Да вы начали рассказывать о медведе возле Большого Казбека.

— А, отвлекся! Легли мы. Ночь. Приятель то и дело будит меня: «Марк, кто-то ходит!» — «Мерещится тебе!» — «Ей-богу!» Прислушаюсь. Никого. Уж недалеко к рассвету, будит он меня опять и шепчет: «Марк, теперь-то, честное слово, медведь». — «Иди к черту, спать хочу. Где медведь? Тьма!» — «А вон он стоит». Выход из палатки — на веревочках, я дернул потихоньку. Высунул голову. Тьма не тьма, а так, чуть-чуть светает. Роса по верху травы еле-еле поблескивает. И стало как-то нехорошо на сердце. «И полно, думаю, тут что-то неспроста». И приятель рядом порывисто так дышит; ухватился за древко, аж палатка вздрагивает. Постепенно кое-что вижу. Прямо от нас — ложбинка, ручеек. А на том крутоватом бережку стоит зверь. Стоит так, как мне его эвенки описывали; они это умеют, передать вам невозможно, а зверя узнаешь. Он. Людоед. Спусти минут пять, что ли, стало совсем светло. Видно даже, как ноздри у медведя движутся. Беру карабин и думаю: «Как быть? Бить надо верно. Ранишь, упадет под обрыв, в ручей, поднимется — и на нас, ну и готовь саркофаг». Жду, когда боком ко мне встанет. А тут еще приятель с испугу подталкивает меня легонько — действуй-де. А вдруг, думаю, подтолкнет не вовремя, когда я нажму?.. И как дам ему ногой в живот! Он летит в другую сторону палатки, а я — ба-ах! Зверь упал, ногами задрыгал. Мой приятель, хоть и испытывал от моего удара большую боль, позабыл ее, да и закричал в восторге: «Ура!» А кричать в таких случаях не надо. Зверь собирает тогда все силы и уходит. А там попробуй найди его в тайге. И этот собрал — и ушел. Правда, когда совсем рассвело, мы его обнаружили метрах в двадцати от нас. Мертв. Удивились мы. Я ему артерию пробил, а он набрал-таки сил уйти. Медведь — зверь со всем прибором.

Худошавый эвенк в очках подтвердил:

— Это верно. У него прибора много. Раньше, когда шаманы были, медведей резали из дерева и много их ставили вокруг помоста, на котором шаман камлал, то есть плясал и, ну там, пел, что ему положено было.

— Так-то оно так, — подтвердил Марк Осипович, — а все-таки самое священное животное — волк. — И он обращается ко мне: — Эвенки великолепно делают силки и капканы, но к волкам их не применяют. Знают логова, нуждаются в деньгах — по цене шкура волка равна шкурке соболя, — но волчки логова никогда не разорят.

— Это только некоторые старики, — говорит с явным неудовольствием молодой Николаев. — Молодежь этого не придерживается.

— А может быть, и некоторые минералы, вроде слюды, тоже священны, как волки? — спрашивает, ухмыляясь, Марк Осипович.

— Ну, это уже глупость.

Я перевожу разговор на шаманов. Худошавый эвенк в очках, выговаривающий букву «ш» как «с», говорит о них охотно:

— Теперь шаманов нет, а раньше были большие, хорошие головорезы. И голос, однако, у них был большой. И бывало, вылечивали, хоть брали дорого. Я мальчишкой часто видел, как они шаманят. Сначала делают ему помост из больших не пиленных, а колотых плах — это непременно. Зачем — не знаю. Помост делают так — по пояс мне. А вокруг помоста ставят вырезанных из дерева больших волков, медведей, тайменей, шук, птиц, всю тайгу и всю тундру. И еще подводят олешка к помосту. Шаман присядет — и сразу вспрыгнет на помост. Большая сила. Мы пробовали, никак не выходит. Потом он камлает, потом упадет на край помоста, наклонится, а тут уж олешка подвели ему. Он над-

рез сделает, руку сунет, вырвет сердце и больному приставит. Надо большую силу иметь, чтоб у живого олешка сердце рукой вырвать.

— Самодурство,— сказал решительно Николаев.

— Конечно, самодурство. Однако были случаи. Вот у меня отец одну весну неудачно рыбу ловил. Рыба в сети, а вдруг начинает переметываться через сеть и уходит. Позвал шамана, тот тоже был рыболов и охотник. Постучал тот бубном над сетью, сказал какие-то слова — перестала рыба переметываться.

— И опять самодурство,— продолжал свое Николаев.

— Конечно, самодурство. Но только тот шаман за снежными баранами умел охотиться.

Марк Осипович объяснил:

— Снежный баран — редкое и необыкновенно чуткое животное. Живет высоко в гольцах, подступы к нему трудны, да и мало баранов-то. А оттого мало, что гибнут в снежных обвалах. Правда, они их умеют чувствовать, но все-таки не всегда. Это верно. Из эвенков за снежными баранами никто не охотится... Но и охотиться на них нужна особая сноровка...

Марку Осиповичу помешали окончить рассказ о снежных баранах — появился Иван: писателей дескать ждут в клубе.

Я, как видите, внимательно слушал Марка Осиповича, глядел, как он готовит фаршированную щуку, и даже записывал некоторые его рассказы. Но в глубине души я был немало смущен. «Что же мне-то рассказать эвенкам? — думал я. — Что их способно заинтересовать из виденного мною на белом свете, из того, что написано мною и моими друзьями?» Я перебирал и то и другое — и видено мною немало, и написано тоже.

Клуб для небольшой деревни, где сорок — пятьдесят дворов, довольно вместителен: десять рядов стульев, кинобудка, эстрада и посередине, как водится, железная печь. На эстраде во всю заднюю стену — экран, плакаты и большими буквами: «План выхода из клуба», хотя две двери отовсюду видны явственно и выходят они прямо на улицу.

Слушатели одеты празднично. Не шелохнутся, не кашляют, даже мальчишки и те замерли. «Что за диковина? — думаю. — Откуда такое внимание?» Ну, а потом, когда разговорились, когда посыпались вопросы, стало ясно, что внимание — от действительного интереса к литературе и более того, от отчетливого знания ее.

Знают не только столичную литературу, но и областную не меньше.

И зарубежная литература им известна, особенно, разумеется, классики. Некоторые из слушателей — люди со средним образованием, а трое с высшим, один из них «литератор», то есть преподает в школе литературу.

Разговаривали долго, до часу ночи. Узнав, что в этом году я был во Франции, Японии, Англии, задавали много вопросов: как там теперь живут и многое ли знают о нас? И ни одного вопроса, который можно было бы назвать наивным и которого, признаюсь, я — по своей наивности — ожидал!

Вот несколько вопросов, которые я успел записать: они указывают на широту мысли и воображения нашей аудитории.

— Вы рассказывали об Японии: какие из японских книг надо прочитать, чтоб лучше узнать современную Японию?

— Какие вы лично знаете иностранные языки и много ли знают языков советские писатели вообще? И сколько им как минимум положено знать языков?

— Кто из советских писателей знает эвенкийский язык, чтоб дать нам консультацию, когда мы напишем по-своему, по-эвенкийски?

— Вы, видно, много ездите; как вы организовали ваш труд, чтоб успевать еще и писать?

— Вы говорили о Наири Зарьяне, вашем спутнике по Японии, думает ли он писать книгу об Японии?

— Что пишет крупного Илья Эренбург?

— Кем был в вашей жизни Максим Горький?

— Жив ли кто из семьи Горького и что они делают?

— Что нового написали читинские писатели? К нам приезжал из Читы писатель Илья Лавров; говорят, в романе «Встреча с чудом» он описал наш колхоз. Если так, надо бы почитать и обсудить роман: сколь верно описано?

— Очень просим и вас и ваших товарищей пожить у нас годик, вникнуть поглубже, понять получше. Мы создадим все условия.

Несмотря на то, что завтра на покос идти с рассветом, из клуба никто не уходил. Трое ребятшек, ожидавших своих матерей, спали на стульях. Стало совсем тепло. Раскрыли двери, и с площади нас то и дело обдавало прохладным и влажным воздухом ночи.

Когда слушатели разошлись, Марк Осипович подвел меня к плану работ колхоза, вывешенному возле кинобудки.

— Читайте-ка,— сказал он.— «В том числе оленей имеется три тысячи голов. А с выращенным... три тысячи пятьсот девятнадцать».

— Ну что ж, прирост хороший.

— Хороший-то хороший, а вы читайте дальше: «Утеряно без вести и затравлено хищниками сто тридцать шесть голов оленей! Больше чем треть выращенного приплода! А вы говорите, что нам, охотникам и звероловам, нечего делать в тундре! Волков бить прежде всего! Но прежде чем переходить к волкам, я доскажу вам о снежных баранах».

— О каких снежных баранах?

Признаться, взволнованный литературным вечером, я и забыл про снежных баранов. Я засмеялся.

— То снежный человек, то снежные бараны.

— Нет, снежные бараны действительно существуют, хоть и редки. Их валят, когда они, «королясь», сражаются из-за самок. А вообще охотиться на них крайне трудно. Гольцы, мох да камень — подступа нет. И вот с год тому назад приехали на Кодар два каких-то знаменитых стрелка: добыть для музея шкуру снежного барана. Не вы ли, Николаев, давали им олешек и проводников?

— Не мы,— сухо ответил Николаев, опасавшийся, по-видимому, опять намек на счет слюды.

— Мех у него к зиме, правда, красив. Ну, ходят стрелки день, два, три по гольцам, две недели ходят. Ветра, холода, в животе уже — голдыба. Возвращаются они как-то к скалам, у подножья которых их лагерь и олешки с проводниками. Старший, Петр по имени, говорит младшему, Семену: «Знаешь, Сема, устал я. Давай перед спуском к лагерю покурим-потянем, родителей помянем». Ищет Семен табак в карманах — нету. Ищет и Петр — нету! Фу ты, боже мой! От потери табаку еще большая усталость, прямо ноги не двигаются. Вдруг Семен вытаскивает из кармана ватника маленькие костяшки домино, бог весть как туда попавшие; может, в спешке, когда на охоту собирался, сунул? «Ну, что ж делать, Петр, давай сыграем, все-таки отвлечение от дум». Сыграли партию и увлеклись. Вторую, третью... Только через полчаса или час спустя поднимает Петр голову, чтоб сплунуть,—видит метрах в ста в скалах... какое-то скульптурное изображение на плоскости...

— Горельеф?

— Вот именно! Горельеф на скале. Чей же? Козла.

— Наскальные изображения?

— Какое! Просто снежный баран стоит у скалы, и все. Тут только Семен вспомнил, что проводники-эвенки не раз утверждали, будто горные бараны страшно любопытны, и тот, кто горазд на выдумку, может их приманить. Глаза у них, как телескопы, вот они и увидели: сидят на камнях люди, странно размахивают руками... ближе, ближе... и встали у скал горельефами! Хорошо. Кладет наш Семен камушек домино, незаметно наклоняется, хватает винтовку — трах! Есть шкура.

Николаев, смеясь, протестуяше воскликнул:

— Это уж сказка! Анекдот.

— Есть свидетели, подтвердят.

— Тебя любят, тебя все подтверждают.

— Так и ты слюду подтверди!

Вот к чему вел свой рассказ о снежных баранах Марк Осипович!

Перед сном, отдавав фаршированной шуки, которая удалась на славу, мы подарили свой спиннинг Ивану. Случалось мне видеть счастливых людей, но такого счастливого я видел впервые. Он как-то весь заспесивился, заважничал и, схватив спиннинг дрожащими руками, вдруг сказал:

— Очень удачный литературный вечер!

Мы не засмеялись: мы поняли, что именно он хотел сказать. А Лиля добавила:

— Теперь я верю, что и персидские ковры привезут.

Этому я тоже верю.

Полуночь накрапывал дождь. Иван Ильич сидел нахохлившись у руля, и вся его фигура говорила: многое я видел, многое вытерпел, но такое впервые! Дождь прикрывал деревню, озерко, дождь был как пелена, на фоне которой горельефом вырисовывались Марк Осипович, Лилия, Иван со спиннингом, худошавый эвенк в очках, эвенкийка в модной шляпе и туго обтягивающем ее модном, едва ли не парчовом платье.

Гоша крикнул, когда лодка отчалила:

— Желаем всем счастья, а вам, Марк Осипович, слюду найти!

Марк Осипович, подпернув резиновые ботфорты, предостерегающе поднял руку и сказал хриплым голосом:

— Но-но, не сглазьте! Чего не чаешь, то скорее сбудется.

#### 11. «Светоч железный, а ум деревянный».

Мы таки улетаем в Удоканскую экспедицию

Мы приплыли в Чару поздновато. Кое-где у почты, райкома, райисполкома, магазина зажглись желтоватые лампы, разливая тускловатый свет по черной земле и серым тротуарам. По дороге в гостиницу мы зашли в книжный магазин: не получены ли новые книги к Дню шахтера? Продавщица узнала нас (мы были у нее перед отъездом) и подала нам стопочку «свежих стихов». Василий Григорьевич спросил:

— Стихи покупают?

— Местные плохо, все больше геологи да туристы.

— Кстати, что слышно о свердловских туристах?

Ответил вертолетчик, отбиравший книги по политике:

— Вот еще беда! Тут самое время овощи везти из Читы, а ты ищи туристов. И самолеты гоняем и вертолеты. Пока нашли в речке ручные часы, а у берега плот и рюкзак на нем. Людей же следа нет.

И все опять углубились в книги, изредка обмениваясь сдержанными фразами. Вдруг ввалился туполицый белесый парень в расстегнутой серой рубашке до колен, что-то пробурчал одному, другому. Его переспросили:

— Да врешь!

— Молва ходит, — пробормотал он и вышел, а за ним следом вывалились почти все, кто был в магазине.

Недалеко от магазина — столовая. Ветхая старушка, сопровождаемая не то внуком, не то сыном, несла оттуда домой ужин. Три судка стояли на земле, два она держала в руках. Отсвечивали стеклянные пуговицы на ее коротком пальто.

— Гриша! Гриша! — восклицала она отчаянно, поднимая судки.

А Гриши и след простыл.

Василий Григорьевич сказал с глубоким вздохом:

— Теперь увидим картины.

Старушка, вкладывая какой-то свой глубокий смысл в слова, сказала древним, напевным говором, указывая на электрическую лампочку:

— И светоч им поставили железный, а ум у них все деревянный.— И, чихнув, добавила: — И чо они к ней приладились, трафи их!

Водку в Чару, а тем более в Намингу — центр Удоканской экспедиции — завозят редко. Но близок День шахтера, и, кроме книг, Чара получила водку. Мелькнули первые признаки пьяной грозы: старушка и ее вопль «Гриша!», исчезновение покупателей из книжного магазина, нервно зевавший прохожий, вытаращенные глаза которого словно прикованы к счастливцу, несущему четыре бутылки...

Климат ли, тяжесть ли работы в условиях Крайнего Севера, странные ли пейзажи, вызывающие, как я слышал, «на рискованную жизнь», или просто здесь много людей нравственно слабых, безвольных, но с претензиями на «кураж», а водка этому помогает, — но нигде, как здесь, пьянство не принимает такие отвратительные формы и не только по отношению к другим, но и по отношению пьющего к самому себе.

Лишь наши три кровати были трезвы, на остальных валялись пьяные. Одного — того самого белесого, что ввалился в книжный магазин с сообщением о водке, — дежурная не пустила, он дремал на крылечке, свесив ноги, пока дежурная не ушла, а затем, уже около полуночи, влез в окно, пытался стащить меня за ноги с кровати («мое место!»), орал, курил, поджег одеяло, долго тушил его, топча ногами, в то время как его приятель кричал ему:

— Сеня, замолчи! Если не замолчишь, получишь в морду. Я тебе говорю, я, Альфред. Я семь лет просидел в тюрьме и утверждаю, что кто не сидел, тот для меня не человек. Сенька, замолчи!

Вот уж действительно «худой поп свенчает, и хорошему не развечать!» На другой день пьяницы исчезли — и Альфред и Сеня: наверное, не смогли выбраться из канавы. Их кровати заняли приехавшие по партийным делам местные работники — люди хорошие, умные, трезвые. Но и эти умные, трезвые люди ничего не могли ответить мне на вопрос, как же быть, как же бороться с пьянством. Они пожимают плечами и, зябко грея руки у огня печки, которую еще прошлой ночью пинком ноги свалил белесый алкоголик, отвечают:

— Да-а, дела-а!

С утра на улицах — вислоухие пьяницы. Шатаясь, бредет геолог, которого мы вчера видели в книжном магазине выбирающим стихи. Он молод, ему двадцать три — двадцать четыре, он рыжебород, стоял у прилавка и перелистывал книгу, сам весь ладный, точно кованный, с темными и блестящими, как вишни, глазами. А теперь — валится и не свалится средь улицы, весь в грязи, штаны обвисли, рубашонка мокрая; и весь он какой-то жалкий, и глазенки ввалились, как у висельника, тьфу!

Идем на аэродром.

Молодые люди с молодыми бородками тащат железные печки, пакеты, мешки с мукой, резиновую лодку. Они кивают нам головой и спрашивают:

— Писатели? Шли бы в столовую.

— Ждем вертолета.

— Ждать долго, он на Намингу грузы подает. А в столовой для писателя любопытно: перепились и в столовой и около, дерутся палками и чем попадет.

Куда как любопытно!

У вертолетной остановки сидим долго — с девяти утра до шести вечера. Сидеть, впрочем, очень интересно. Весь быт аэропорта маленького таежного городка на наших глазах.

То и дело, поднимая грязно-желтые гигантские клубы песчаной пыли, снижаются и взлетают самолеты и вертолеты. Вышла из самолета комиссия из Читы с портфелями и чемоданчиками, за ними потянулись женщины с узлами и ребятишками, а затем показался большой компрессор, возле него абсолютно пьяный компрессорщик, безбожно бранящийся. Он бранился часа три — выбрав по дороге и нас, — требуя, чтоб его немедленно отправили в Читконду. «Без меня не быть Дню шахтера!» Наконец он так всем надоел, что его отправили с вертолетом.

Тут же рядом штурман самолета просит у диспетчера:

— Ну, дайте хоть сто литров бензина!

— Да нету у нас ничего.

— Я ж вылететь не могу. Командир отряда разрешил заправиться у вас.

— С ума он сошел. Нету у нас ничего.

— Э, брось! Заправь.

Удивительное дело. Как послушаешь — бензина нет ни у кого. А все же грузовики ходят, моторки стучат на реке, вертолеты взлетают.

В городе по тротуарам на велосипеде не покатаешься. На улице — засохшая валиками грязь. Единственно ровное место — аэродром. И вот, пока не подлетают самолеты, девица лет шестнадцати, с косичками, в коротеньком розовом платьице, гоняет на велосипеде по взлетной дорожке. Я покупаю в буфете плитку шоколада, подхожу к девице и прозягиваю ей шоколад. Она смотрит настороженно.

— Это почему же?

— Вам.

— А почему мне?

— У меня сегодня день рождения.

— Поздравляю вас. — И она берет плитку.

Наконец мы в вертолете. Штурман помогает мне влезть и говорит: — Не забудьте, прошу у всех автограф. Над такими горами полетим, что даже и нам всегда в редкость. Автограф, так сказать, подчеркнет.

И он зачерпывает воду в ведерке консервной банкой, оплетенной проволокой, концы проволоки закручены и образуют ручку.

— Полетели, — говорит штурман помощнику. — Сколько сейчас?

— Без пяти шесть.

— Ну, вернемся — побреемся, чаю поьем, а к семи в кино.

Перед взлетом я расспрашивал диспетчера, каковы дороги на Намингу, какова там жизнь. Диспетчер рассказал:

— Вертолеты у нас больше грузовые. Пассажиры едут машинами, грузовиками. Дорога ужасная, шестьдесят километров двенадцать часов в лучшем случае, а то и все сутки. А в Наминге что главное — милиции там нет.

— Как же нет милиции? Ведь, говорят, там работает тысячи полторы.

— Вроде. А милиции нет. Вы относительно прописки? Тут уж я не знаю.

— Значит, ни скандалов, ни драк, ни пьянства?

— Сложая руки снопа не обмолотить. Сами, видно, управляютя.

В круглый иллюминатор видно, как аэродром поехал вкривь, мелькнула взлетная дорожка, возле нее девица с косичками на велосипеде, домики цвета брюквы, леса как сток для туманов, река с ее извилинами, столь нам знакомыми, отдельные годы, а вот и сам батюшка хребет.

Ничего не скажешь, горы на редкость суровы!

Мы летели над ущельем и в то же время самим ущельем; я мог это сверить легко — скалы шли острой каймой вдоль движения нашего вертолета. Кое-где кайма прерывалась, скалы отступали в сторону, и мы видели круглое голубое, иссиня-голубое, неподвижное озеро. В другом ущелье, к удивлению нашему, мы увидали снег: он лежал плотно, широко, привычно, не сопровождаемый ни ручейками, ни лужицами, как это бывает весной, — он лежал тут и зиму и лето. За снегом вскоре начался кедровый стланец, затем поднялись жидкие лиственницы, им сопутствовали желтые оленьи мхи, ягель. Ущелье сузилось, смутно зазеленели внизу густые, уже настоящие леса. Приближалась Наминга.

Штурман наклонился к моему уху и, стараясь перекричать гул вертолета, сказал, указывая на окно:

— Вот здесь, видите, скала краснеет? Мы позавчера сохатого видели. Мы летим, а он и не шелохнется. Я нарочно над ним, а он и рогом не повел. Либо привык, либо такой уж важный.

Вертолет спускается на площадку из досок. Прежде всего видишь множество выкорчеванных пней, речку без воды, мост через нее, серые камни, и тут же, сразу за камнями, мостом, вывороченными пнями, — горы, стланец и опять ровный подъем гор. Пока не привыкнешь к этому оптическому обману, долго будет казаться, что горы все время где-то возле тебя — так здесь прозрачен воздух. И ущелье, где расположен поселок Наминга, тоже кажется крайне узким: раздвинь, кажется, руки — и достанешь до скал.

Тем временем возле площадки собралось много разнообразного люда, и люд этот отличен от царского. Каким-то особым светом озарены здесь люди, а может быть, это мое первое впечатление таково от света солнца, приближающегося к закату? В Чаре и люди-то одеты более однообразно. А здесь рядом с резиновыми ботфортами стоят узенькие девичьи брючки — совсем по-московски, рядом тоже девица в стеганых ватных штанах, а дальше — в плиссированном платьице выше колен. Тонкий малый загар лежит на всех лицах, и это придает им какую-то милую, неясную значительность.

Мы отошли немного от вертолета, и я заметил в воздухе теплую смолистую пахучесть. Нас встречал художник из Иркутска — высокий ласковый человек. Мягко улыбаясь, он предупреждал нас о ямах, ухабах:

— Здесь кругом все такое, привыкайте. Ровные места будут еще не скоро. И сама руда в подвале, ну и мы около.

Пока мы огибаем большие серые камни (принесенные разливами Наминги, которой, повторяю, сейчас в русле нет), вывороченные пни, новые ярко-желтые дома из лиственницы, крытые темным толем, палатки с железными трубами, каменным фундаментом и завалинками; пока подходим к гостинице, где я испытывал великое наслаждение, дыша густым запахом лиственницы; пока устраиваемся на койках; пока разговариваем со старшим геологом — молодым, очень энергичным и хорошим рассказчиком; пока он приглашает нас пить чай и ужинать (извиняясь, что выпивки здесь, в Наминге, нет и не водится); пока мы надеваем свежие рубашки и галстуки (потому что квартира у старшего геолога необыкновенная, ну прямо московская, с центральным



отоплением; жена у него учительница, живет при школе, а школа переезжает в новое, еще лучшее помещение); пока...

А пока позвольте мне, дорогой читатель, сказать вам несколько слов о Наминге и Удоканской геологической экспедиции.

Читатель, интересующийся богатствами Восточной Сибири, уже, наверное, знаком со статьями и очерками, рассказывающими о находке больших залежей медной руды в горах. Я ничего нового к этим статьям добавить не могу. Да и самим геологам, мне думается, неизвестно, сколько в этих месторождениях меди. Горы на весы не положишь. Много, и все. Я тоже думаю, что много. Но это далеко не все.

Природа, бросив в горы медную руду, воздвигла вокруг нее, будто нарочно, такую броню, что пробить ее и думать страшно. Мне во всяком случае.

Наминга лежит на высоте что-то тысяча триста метров над уровнем моря. Руда лежит и ниже Наминги и выше. Лежит она внутри гор, как орех в скорлупе. Кое-где скорлупу можно сбить, то есть, видимо, добывать орех открытым способом, а кое-где скорлупу нужно долго и усиленно пробивать.

И вот этот орех с медным ядром ощупывают, осматривают, пробиваются к ядру со всех сторон — ведут штольни, бурят, взрывают. Промышленной разработки нет, и трудно сказать, когда она еще будет, но штольни уже имеют характер не геологический: они не узкие, похожие на норы, а промышленные, широкие — свободно катится большая вагонетка с рудой, и вы не прижимаетесь к стене штольни, а стоите свободно.

О промышленной разработке думают усиленно. Кое-где геологи уже превратились в проходчиков, и, думаю, не один из них останется тут навсегда, когда начнется промышленная эксплуатация рудника.

Наверно, читатель, вам уже ясно, что я плохо разбираюсь в металлургии и технике, а в металлургии меди тем более. Однако и я в состоянии понять, что рудник и обогатительная фабрика при нем, не говоря уже о металлургическом комбинате, не могут существовать без дороги.

А дороги к Наминге, к Удоканской экспедиции нет.

От Чары к Наминге есть шоссе. Да, есть. Но я уже сообщил вам, что по этому шоссе — шестьдесят километров! — грузовик или легковая идет самое меньшее двенадцать часов. Мне очень хотелось вернуться обратно по этому шоссе: ущелье, по которому оно идет, говорят, очень красиво, но геологи, глядя на мои седые волосы, возражали: «Не ручаемся ни за что». Так мне и не удалось поехать.

Есть, как вы видели, вертолеты. Посадочных площадок для самолетов нет, да и не скоро они будут.

Выходит, для того чтоб получить медь, а получить ее нужно, и, что самое главное, ее уже получают, — выходит, что нужно вести шоссе.

Очень хорошая вещь — шоссе!

Ближайшая станция железной дороги от Наминги — семьсот километров. Возможно, немного меньше, ну, скажем, шестьсот с гаком, но разве это так уж мало?

Позвольте несколько раскрыть эти слова — семьсот или шестьсот километров.

Семьсот километров — это не просто семьсот километров по доброй и снисходительной русской равнине, нет! Чтоб получить семьсот километров шоссе в здешних местах, вам понадобится пробить семисоткилометровую брешь в непроходимой тайге, топях, горях, горных реках, через треклятые скалы и доли. Добавьте к этому гнус, комаров, оводов, сырость, дожди, а зимой такие метели, что каждый шаг ваш проваливается в яму, дыру, соскальзывает с крутого берега в болото! Постоянно под ногами у вас вечная мерзлота — самое капризное и злое вещество в ми-

ре: она ползет и тает в тепло и пучится в морозы, разрушая все вокруг себя.

И все-таки шоссе ведут.

И подведут к самой Наминге.

И повезут медную руду к железной дороге, если где-нибудь возле самой Наминги не выстроят комбинат: тут близко, в Читконде, найдены запасы отличного каменного угля (я непременно полечу туда!), а где-то в горах Кодара — строительный вулканический туф. Я держал вчера с великим наслаждением в руках кусок этого туфа.

Хорошо!

Правда, о сильном характере и воле нашего советского человека иногда напишут такое слащавое и приторное, что хочется отбросить это смеясь.

Но здесь, поглядев, в каких тяжких условиях живет и трудится наш советский человек, следует отдать должное хмелю его вдохновения.

И сколько тут ни хвали его мужество, стойкость, сколько ни возвышай его — все будет мало.

## 12. Наминга и ее окрестности

Простите, что сейчас хочу занять ваше внимание пустяками. Впрочем, и пустяк иногда может быть полезен.

Спал я чудесно. Снился мне длинный сон — весьма содержательный разговор с сохатым, над которым все время кружил вертолет, и вертолетчик просил у меня и у сохатого автографы. Проснулся в седьмом часу утра в прекраснейшем настроении. Вдыхая божественный запах лиственницы и любуясь желтыми, точно гриб-лисичка, стенами, я стал одеваться. Вот здесь-то и начинается мой важный пустяк. Я внезапно обнаружил на пятке носка дырку. Запасных носков я, разумеется, не захватил, а тут... ну, добро б в другом месте, а на пятке... и к тому же писателю не хорошо ходить с голой пяткой! И я решил пойти в магазин.

Вышел я на крыльцо. Оград здесь нет, дома построены приотливно. Через дом от нашей гостиницы виднелась столовая. «В магазин еще рано, — думаю, — зайду в столовую, выпью чаю». Но и столовая была закрыта. К слову сказать, столовая в Наминге грязная, сырая, тесная; к счастью, подают тут (вернее, сам берешь) быстро, так что рад, когда выскочишь.

Я прикорнул на вывороченном пне в нескольких шагах от столовой, где бормотали, хлопали дверьми, переставляли столы, лягали металлическими тарелками; вот с грохотом упала связка дров, должно быть брошенная возле плиты. В очереди, образовавшейся возле столовой, молча курили. Сыпал редкий, мелкий и мягкий дождичек, который у нас называют грибным и на который всегда смотрят с улыбкой. Здесь никто не улыбался, дождик никого не радовал: грибов никаких тут не дожدهмся, даже в консервированном виде.

Поровнялась со столовой грузовая машина, от дождя вся в перловом блеске. Шофер, дюжий волосатый мужчина с громким и звенящим голосом, высунулся из машины.

— Сергей здесь?

— Я здесь, Костя, — отозвался из очереди неказистый человек, который стоял сутулившись, пригнувшись, напоминая трубочку или что-то вроде коловорот: голова в плечи, руки в карманы, ноги под плащом.

— Давай тута закусим. Столовой-то некогда ждать.

— А где? — не покидая очереди, спросил коловорот.

— Да вот хоть тута, — сказал шофер Костя, кивая на мой пенёк. — Возле художника. Об искусстве поговорим; мы тоже из самодеятельно-

сти. Художник валит к нам повально. Я как-то из Наминги четырех привез.

Но обоим им было не до художников и не до меня. Шофер говорил, лишь бы развлечь товарища. Я быстро это понял: как только они уселись по ту сторону моего комла, среди вывороченных и обрубленных его корней, они оба мгновенно забыли обо мне. Впрочем, шофер вспомнил, когда, раскрыв банку тушенки и нарезав хлеб, пошел в столовую за чаем: он и мне принес кружку, сказав, что уважает художников — «крепко берут!», а что берут — ему не было времени разъяснять.

А мне хотелось с ними разговориться. Шофер грузовика был, по-видимому, и общителен и наблюдателен, несмотря на то, что он принял меня за художника. «Люди искусства в какой-то степени все схожи», — подумал я.

При первых же словах, которыми обменялись пившие чай, я понял, что мое приставание к ним с разговорами было бы неуместно и неприлично, хотя говорили-то они о вещах самых обыкновенных. Но бывает такой разговор, сущность которого не в словах. Я слушал их с напряженным вниманием, стараясь уловить смысл недомолвок.

Сергей, человек похожий на коловорот, был бетонщиком, и, по-видимому, — едва ли не сегодня — ему предстояло покинуть Намингу, а покидать ее страстно не хотелось: и потому, что полюбил работу, и потому, что тут друзья, и потому, что каждый шаг по этим местам, на которые я смотрю с таким недоумением, ему и дорог и люб. Кроме шофера Кости, должен был появиться третий друг, — имени его они не называли, говорили просто «Молния», как я понял позже: по имени листовки-«молнии», выпускаемой экспедицией в случае какой-либо производственной победы. Уезжал Сергей из-за болезни детей: климат Наминги оказался для них вредным.

— Сложилось? — спросил шофер, громко жуя хлеб.

— Да, всю ночь укладывались. И откуда столько добра набирается.

— Персонаж, — ответил неопределенно шофер. — Ну как, вчера напоследки опять не схватило бетон?

— Не схватило, Костя, — хрипловатым шепотом отозвался бетонщик. — Да уж что! Мне уж теперь вроде и безразлично.

— Не скажи. Мысль, она в тебе мелькает всегда.

— Мелькать-то мелькает, Костя, да видишь, и домелькалось, — проговорил бетонщик с глубоким вздохом. — Дети.

— Дети. Оболочка.

— То-то что дети, — еще более хрипло прошептал бетонщик. — Поверишь ли, изумился так, когда от врача жена вернулась, что три дня сердце билось-билося, будто перстом тычет. Жене легче: ревет.

— Ну тоже — легкость! А вон и Молния. Да и баба твоя. Ты что, еще в контору? Вчистую рассчитался?

— Сожаление в письменном виде получил, — прохрипел бетонщик.

Мужчина в пыльном комбинезоне и чистой шляпе, надетой, видно, для парадного случая, почти такого же роста, что и шофер, только лицом поуже, показался в дверях клуба. Заметив шофера и бетонщика, он ускорил шаги. Все в нем дышало и торжеством победы и грустью расставания. И как бы в ответ этому расставанию все вокруг меня стало печальным и грустным. «Почему, если человек запоет счастливую песню, ему нельзя окончить напева? — подумал я. — Почему бы бетонщику Сергею не дожить здесь до того дня, когда возникнет здесь большой город, когда по-другому будут выглядеть эти скалы, леса, реки, когда вот теперешние дни и вот эта самая грязноватая дорога, у которой мы сидим на вывороченном пне, станут уже далеким и героическим прошлым?»

— Вот как ходят люди! — намеренно бодро воскликнул шофер, вставая и идя навстречу Молнии.— В шляпе! У тебя, брат, «молния», а Сергей своей так и не дождался.

— Увозишь в Намингу?

— Увожу.

— Дело,— певуче произнес Молния, и по голосу его чувствовалось, что ему хотелось бы сказать: «Плохое, брат, дело, очень нам горько».

Не хотелось мне докучать друзьям. Я поднялся. Когда я вернулся из промтоварного, столовая опустела и грузовик ушел. Подавальщица сказала, что бетонщик Сергей с семьей погрузил чемоданы, а Молния отправился его провожать.

— Хороший, должно быть, человек, Сергей этот? — спросил я.

— Одобрен,— ответила подавальщица.

— И много у вас таких?

— Если не поют, так подтягивают,— сказала она, убирая тарелки.

Подавальщица, как видите, была склонна к афористичности.

От больших и содержательных встреч очень трудно переходить к потешкам, но уж позвольте.

Я, кажется, говорил вам, что у меня протерлись носки и мне понадобилось купить новые.

Итак, пришел я в промтоварный, находящийся за конторой экспедиции, неподалеку от вертолетной площадки. Покупателей немного, хотя выбор товаров солидный: есть и сукна, и готовое платье, и парфюмерия, и обувь.

Прошу:

— Дайте мне, пожалуйста, носки.

— Носков нет.

— То есть как нет носков?

— Ну, нет. Два месяца уже не забрасывают.

— А как же люди ходят без носков?

— Так и ходят.

— Безобразне!

— Конечно.

— А вы писали вашим торговым организациям?

— Писали.

— И что ж?

— Не отвечают. Мы далеко.

— Далеко, конечно, а все же без носков как-то малоутешительно.

— Какое уж тут утешение!

«Диковина! — думаю.— Ну, телескоп там или счетную машину сложно вырабатывать, значит можно и подождать, пока их повсюду завезут, а тут ведь носки. Эка невидаль! Всюду их сколько угодно. Почему же нельзя завести и в Намингу?» Мне-то придется, видно, приобрести в Чаре. Я так и сказал продавщице. Она загадочно улыбнулась. Позже, в Чаре, я понял ее улыбку: и там носков не было.

— Ну, дайте одеколону.

— Нету. Выпили.

— Тьфу! Носки, может быть, тоже пьют?

Продавщица даже не усмехнулась.

— У нас и не то пьют...

Возвращался я в гостиницу мимо клуба. Большое извещение-«молния», афиша о нашем литературном вечере и еще крупно: «Ситцевый бал!» Нет, это не фильм, а самый настоящий ситцевый бал на высоте тысяча триста или более метров над уровнем моря у шахтеров и геологов.

Младший из художников, приткнувшись к завалинке, писал палатки, пни, листовничный домик, трактор. Возле трактора — деревянное корыто, собака лакает из него воду, в воде отражаются, сияя, горы (а значит, дождь прошел, а я и не заметил!..).

— Как бы собака гор не вылакала,— сказал я художнику.

Он понял меня.

— Действительно, выразить все это очень трудно. Станный здесь воздух, и свет странный. Мучаешься, бьешься: все перспективы смешаны.

На крыльцо вышел, облизывая деревянную ложку, московский геолог, старший научный сотрудник геологического института, наблюдающий за введением нового метода крепления. Держась за дверь и слегка покачивая ее, он сказал:

— Трудно. Здесь все, в сущности, трудно, куда ни сунься. Но это дразнит, тут много молодежи, и отсюда — задор, храбрость. Скажем, воздух... Вот вы сейчас, когда поедете на штольню, обратите внимание,— добавил он.— Пускают сжатый воздух шести атмосфер. А через полтора километра прохода по штольне он уже — две с половиной атмосферы! Тут тебе и поработай! Тут всякие мысли! А как оттягивать газы, если штольня чуть ли не четыре с половиной километра?

По-видимому, геолог нашел в этих словах «четыре с половиной километра» какую-то большую для себя радость, которую ему захотелось передать и мне.

Он нахмурил густые и короткие брови, подыскивая нужные слова, а затем улыбнулся.

— Четыре с половиной? Тут не пересластись любой похвалой. Вы взгляните в затруднения с вечной мерзлотой, затруднения с цементом, даже с глиной, которую везут сюда на самолетах и вертолетах черт знает откуда! Сейчас, например, понадобилось в самой штольне делать компрессорную. Для этого нужно пробить скважину в двести метров с точностью в один метр. Один метр, вникаете? Геологи утверждают, что такой точности они соблюсти не в состоянии. И все-таки соблюдают.

— Хмель? — спросил я.

— В каком смысле?

— Хмель творчества.

Геолог поскреб пальцем дверь, покачал ее:

— Я ученый-специалист, человек трезвый, мне это сравнение кажется сомнительным. Но, если хотите, и хмель творчества наличествует. Но здесь ввиду трудных условий творчество должно идти вперёд, пластами — с наукой. Людям нужно побольше учиться и сюда побольше везти ученых-специалистов. А чтобы заполучить их сюда, надо их вдохновить, воодушевить; это уж, извините, дело художников.

— Художников, художников! — подхватил молодой живописец, поднимая кисть к носу.— А как вдохновишь, когда губы обветрились, лицо горит от здешнего воздуха, в глазах двоится от этого света, в рисунок сотни поправок вносишь...

— Уверю вас, у меня точно такое же настроение,— признался геолог.— Вечером придешь с исследования, чувствуешь: терпение твое кончилось. Ну, невозможно втолковать, невозможно пересилить консерватизм! Да и действительно попробуй, когда к деревянному креплению привыкали веками, а тут им пропагандируют почти что один винт, болт! Долго не можешь заснуть. Бередишь себя, волнуешься, а утром встал — ощущаешь с удовольствием, что нашел-таки способ договориться. Ну, и сизнова стараешься помочь людям открыть истину.

Нетерпение наше было велико. Мы с радостью отправились к штольням. До самой дальней, пятой, от поселка несколько километров — и все в гору. Но в гору — это еще полбеды, беда — сама дорога. Камни неровные, то тупые, то острые, то гладкие, то ребристые, точно кто-то нарочно набросал их в самых странных положениях. А подле этой «дороги» — другой вал из камней, тех, что оказались совершенно уж непроходными.

Разумеется, телеграфные столбы. Но кругом камень, вкапывать некуда, поэтому столбы обложены пирамидами из камней и таким образом несут свои обязанности. Впереди нас шел грузовик, вез смену, и мы имели возможность видеть свою поездку как бы в зеркале. На каждом метре пути грузовик принимал самые невероятные изгибы, точно лоза под ветром. Люди качались, падали на колени, выпрямлялись и опять валились. А каково тут зимой, когда на россыпях скапливаются снега, грозящие обвалами?

— Зимой или в бури тут у нас, на пригорочке, постоянно либо трактор, либо бульдозер дежурит, — пояснил шофер. — Автомобильные шины тут стираются дотла через пять тысяч километров.

Каково?

На каменные россыпи, чуть посыпанные кедровым стлаником, смотришь с раздражающей тоской ожидания: того и гляди двинутся, а двинувшись — сотрут и тебя, и машину, и дорогу, и телеграфные столбы! И твердо знаешь, что не тронутся, что лежат тут тысячелетиями, лежат, чтоб прислушивались вы к ним, а злоба все-таки растет.

— Камень тут артачится вовсю, — заметил шофер.

Подлинно: артачится.

Когда мы подъехали к буровой подле пятой штольни, старший геолог, сопровождавший нас, озабоченно ушел к вышке. Поломка бура. Порода здесь необычайно крепка, и к тому же из-за частых сейсмических явлений, землетрясений — частых, принимаемая во внимание тысячелетия, — породе местами «крошенная», труднопроходимая, с трещинами.

Геолог возвращается, пожимая крепкими плечами.

— Всего не уследишь. Условия Крайнего Севера, будь они неладны! Вот и налаживай тут «геологическую оценку содержания меди в руде». Плохо, когда руды мало и она бедная, но и с богатой рудой, как видите, тоже не сладко.

Я рассказал ему о Хапчеранге, откуда мы начали наш полет на встречу осенним птицам.

— Нет, в Хапчеранге намеки есть, — сказал он, выслушав меня. — Все дело в воображении: надо уметь увиденное дополнять догадками.

— И в геологии?

— А вы думали, только в романах? Если бы вы знали, сколько раз эту Намингу хотели бросить! И как мы держались за свои догадки! И додержались. Теперь на нас, первоисследователей, смотрят с почтением, как на стариков.

Первоисследователю нет и тридцати, замечу кстати.

Мы шли по пятой штольне, рядом с поблескивающими рельсами, сторонясь вагонеток с рудой, шли бодро и легко. Какая-то странная крепительная свежесть поддерживала нас. В одном месте стену штольни украшала серовато-лиловая выпуклость. Влажная, тугая, она вызывала странную тревогу, хотелось торопливо миновать ее, но, разумеется, мы пошли даже медленнее. Наши шаги, прерываемые падением крупных капель с потолка штольни, отдавались глухо.

— Ископаемый лед, — сказал геолог. — Послан сюда миллионы лет назад и, видите, врезался в коммунизм.

Я взглянул на лед подозрительно. Его холод не вызвал во мне ничего, кроме досады. Когда-нибудь позже я, наверное, смогу вообразить все то, что могут вызвать слова «миллионы лет назад», дополненные синеватым поблескиванием этой влажной поверхности, но сейчас... сейчас мне хотелось, чтоб старший геолог увел нас подальше.

Наконец, пройдя многие сотни метров, мы добрались до конца штольни. Проходчик в мешковатом комбинезоне таранил гору. Вагонетки, по визгивая и погрохатывая, пересовывали к отвалу глыбы медной руды.

Эти отвалы растут и растут, приближаясь к горному озерку, дно которого сплошь покрыто пустыми консервными банками, золотисто поблескивающими в голубой воде.

Расставаясь с нами, проходчик, тот, что таранил гору, сказал:

— Хотелось бы попасть на ваш литературный вечер, посоветоваться. Да вот не знаю, успею ли?

— О чем же посоветоваться?

— Хотел подписаться на Есенина и опоздал. Не имеют ли писатели возможность пособить?

И опять началась адская дорога — теперь уже к четвертой штольне.

На одном повороте, когда у нас чуть было не вылетели зубы, геолог сказал:

— Дорога еще ничего. Дорогу мы наладим. Текучесть рабочей силы большая — вот беда! Есть, конечно, твердые кадры, и замечательные кадры, как, например, Павлов и Сибиряков. Работали прежде по самолетостроению — куда как далеко от нашей специальности! — а приехали сюда и приобрели навык во всех наших профессиях. Во всех! Этими мы гордимся. Но достаточное количество потребных нам кадров еще далеко не набрано.

— И ученых-специалистов не хватает?

— Я и об ученых. Все мы должны быть тут учеными, тут без учености пропадешь. Наши горы только ученых принимают, иначе перессоришься с ними. Учим. Для задержки кадров строим дома, а из-за построек перерасход.

— Не строить тоже плохо.

— Кто говорит хорошо? Обучишь человека, поселишь его в новый дом, а он говорит: «Семью бы надо выписать, да все дорого и ни молока, ни овощей». А бывает, что и с семьей уезжает.

Я рассказал о случае, свидетелем которого был сегодня.

— Вот видите! И с заработками у нас неважно: платим меньше, чем в Балее.

Я многозначительно промолчал. В Балей — золотоносный район Читинской области — мне попасть не удалось. Поэтому мнение старшего геолога я не мог ни подтвердить, ни опровергнуть.

### 13. Из Наминги и ее окрестностей мы летим в пустыни Читконды

Сворачиваем с «шоссе» к четвертой штольне. Дорога свежая: вывороченные пни, взорванная скала, выброшенные камни; ее только что провели сообща, всем поселком, в прошлое воскресенье. Вдоль дороги валяются кувалды, ломы, топоры: не успели убрать. Дорога огибает слегка мутное, но все же синее озерко и поднимается ко второму, соседнему. Здесь, в горе, «зарезка» четвертой штольни.

Снят лишь верхний — на метр — полтора — слой камня. У этого обнажения — ворота из свежей, с каплями смолы лиственницы, грузовики, компрессор, сарай — «кладовка» по-здешнему. Горит костер, забойщики варят кашу. Когда мы подходим, забойщик, ставя котелок каши перед товарищами, говорит древнейшее сибирское пожелание:

— Весь исхлебать!

И приглашает нас к тому же.

Через дорогу, по откосу к горному озеру,— кедровый сланец. Он обгорел, черный.

— Жаль,— сказал я,— красота портится.

— Нежен он уж больно,— отозвался забойщик,— никак к человеку не привыкнет. От нашего костра искорка в него, он весь и вспыхни.

Котелок быстро опоражнивается. Забойщик встает.

— Идите в кладовку. Сейчас заряд буду палить!

Мы стоим под плохо настланной, из горбылей, крышей и ждем взрыва.

Перед нами — бревно, с которого плотник очищает кору.

— И озерко жаль: испортится от вываленной породы.

— Э, озера тут на каждом шагу,— говорит плотник.— Вон туда, за это озеро, идите выше по долине — сколько их! А за долиной, сказывают, мерзлоты нету; видать, город будем рубить.

— Какой город?

— А для всех. На рудник скоро тыщами повалят.

Короткий и какой-то не очень внушительный взрыв. По зеленоватой осыпи струится несколько камешков, они ударились о телеграфный столб, на него еще не натянута проволока. И все.

— Гляди-ка -- белка.

Белка, должно быть потревоженная взрывом, выскочила и бежит мимо черного сланца по зеленому, как по паркету.

— Странной какой-то расцветки: черноватая!

— Тут они все такие. Попадаются и прямо черные.

— Ну, уж! — выражает шофер сомнение плотнику.

— А ты вот постой с топором столько, сколько я в лесу стоял, так не будешь — «ну, уж!»

Плотник бросает окурок осторожно, чтоб не попасть ни в сланец, ни в холмик мха. Мхом здесь конопатят пазы в домах вместо пакли.

— Дом будете рубить, что ли?

— Дом не дом, а сторожку непременно,— отвечает плотник.

— От мха какой прок — поди, холодно, дует? Ветра-то здесь какие!

— Терпится. Не пакли ж ожидать? Какая тут пакля, когда и глины нет!

Отсутствие глины как-то особенно всех раздражает. Тут богатейшая руда, по проценту невиданная в мире, а глины нет! Право, безобразие!

— Оттого и горы не горы — развалины, что глины нет,— добавил плотник, расставаясь с нами.— Приезжайте вдругоряд, у нас будет красивей.

— А вы к нам на литературный вечер,— сказал я.

— Это что ж такое?

— Стихи будем читать, рассказы рассказывать, отвечать на вопросы.

— Я больше критику люблю. Другой так двинет, будто под лопатку жердняком. Так бывает пригончиво, такой глаз верный, любо-дорого! («Жердняк», позвольте пояснить,— рогатина.)

С тем мы и расстались.

Побывали мы еще на одной штольне, замечательной для нас, людей мало осведомленных в горном деле, тем, что тут мы имели возможность сравнить проходку геологическую с проходкой, имеющей промышленный характер. Вначале проходка была геологическая, то есть геологи пригоняли ее к своим нуждам: посмотреть на руду, взять образцы породы, нащупать толщу и простирание рудного тела. Но вот теперь геологам нужно уже принаравливаться к нуждам промышленной добычи,— и, так сказать, коридор коммунальной квартиры расширяется до размеров ко-



ридора министерства. Идешь по такой улучшенной шгольне — просторно, светло и как-то легко дышится, — и сердце весело, по-молодому сжигается.

Кроме того, эта штольня отличается своим большим отвалом: она уже давно выдает руду, вагонетки то и дело сбрасывают зеленоватые камни, и они медленно катятся по откосу, плотно укладываясь вниз. Я решил взять на память несколько образцов и пошел по отвалу.

Я шел по камням легко, словно по штучному полу. Какое-то хорошее легкое волнение владело мною. Год, два, ну от силы три года — и эта руда окажется в плавильной печи где-нибудь недалеко отсюда, вон там, куда нам недавно указывал рукою плотник четвертой штольни.

— Эвона там — взлобок, бугор, взлобина, речка, а дале — камень пойдет ровный, вон там и комбинату быть.

Вполне, вполне возможно! Жаль, что мы будем отсутствовать при закладке комбината, а вдруг и мы приедем сюда, кто знает!

Я шел, глядя в землю и время от времени поднимая приглянувшийся мне камень. Я шел, и мне казалось, что я отправился исполнять очень важное и большое поручение — голубое поручение. Да-да, именно голубое. Дело в том, что на отвале через каждые три-четыре шага можно было поднять ярко-голубой камень, — ну, такой яркий, как, скажем, изразцы на куполах самаркандских мечетей. Казалось, что камень пригорел, опаленный цветом неба. На языке геологов это называется окислением руды. Я бы назвал это цветом встречи. Миллионы лет лежала медная руда в земле; человек поднял ее к солнцу, огляделась она, увидела эти горы, реки, снега, наконец самого человека, обрадовалась и загорелась голубым огнем. Иные камни до того голубые, что я глядел на них, весь обомлев, вздрагивая. Я хватал то один, то другой, иные были так велики, что не умещались в пригоршне... но нельзя же взять весь отвал!

Когда мы подошли к конторе экспедиции, там, ожидая представителя профсоюза — он шел с нами, — оживленно беседовало несколько вновь приехавших. Один, рослый, пухлый, с угодливыми глазами, — видимо, из тех, которых в народе зовут «обещателями», — сразу же обратился не к председателю профсоюза, а к нам:

— Товарищи писатели! Мне здесь не дают искупить вину.

«Обещатель», шофер-механик, приехал сюда, не пройдя комиссии по вербовке. По его словам, он истратил все, что имел, и теперь ему не на что уехать. Вдобавок хочется ему искупить вину: он бывший уголовник, амнистированный в 1958 году. Второй — маленький, молодой, стройный, в сером полосатом костюме и в розовом выцветшем платке на голове, завязанном по-казахски. Он горняк из Караганды. Что его привело сюда?

— Жарко там, — улыбается он во все лицо, — очень захотелось в холоде поработать.

— Поди, алименты, — сказал горестно работник профсоюза. — Вы не поверите, сколько у нас алиментщиков скрывается. Просто стыдно называть! А вам что?

Третий из «обиженных» — длинный, очень милый на вид юноша. У него все в порядке. Он приехал по направлению вербовочной комиссии, прошел и врачебную комиссию и место уже получил. Но дело в том, что приехал грузчиком, а по специальности забойщик.

— Я согласился на грузчика, только чтоб сюда попасть.

— Ну, и попал. Чего же еще?

— Увидел — и захотелось в штольню. Могу к Дню шахтера рекорд дать, уважьте, товарищ! Вы ж профсоюз, сила ж здесь.

«Профсоюз» хмыльнулся:

— То-то что сила. Дай бог погореть, да не дай бог овдоветь. А мы вдовы, без милиции. Всё — сами. Ну, пойдемте в контору, там поговорим подробнее.

Перед тем, как представителю профсоюза скрыться, он спросил нас:

— Вы что ж, завтра в Читконду?

— В Читконду.

— Там горы, так горы! Не горы, а горный зверь, можно добавить. До Читконды вертолет летит минут двадцать, полчаса, иногда меньше. По земле дорога туда только зимой, а летом зажоры, колдобины, ямины да речки. Бухгалтер, впрочем, ходит к нам двенадцать часов.

— Какой бухгалтер?

— Читкондинский, с отчетом, пешком. Как надо отчет сдавать, так и идет. А вообще-то ходу нет: можешь так бултыхнуться, что и не всплывешь.

— Все ж вы утверждаете, что бухгалтер ходит? Колдовством, что ли?

— Зачем колдовством? В наших местах никакое колдовство не поможет. Просто ходит,— спокойно ответил мне все тот же профсоюзный работник.

Грохот вертолета, как это ни странно, помогает сосредоточиться. Исчезает шарканье ног, топот, говор,— однообразный и глухой шум мотора заглушает все, и то, что припасено для вас горами, разворачивается во всем своем первозданном величии.

Вертолет тем временем начал свой взбег на небеса, не покидая гор. Мы то поднимались, переваливая через какие-то хребты, то опускались в ущелья, и тогда казалось, что скалы смотрят на нас с кривой, но все же одобрительной улыбкой. Я чувствовал себя и смущенным и взбудораженным. Зубчатые и узорчатые скалы взваливаются друг на друга, падают, вокруг них беззвучно шумят потоки, а в щелях лежат плотные и бездушные снега.

Глядя на эти снега, я думал, что зиму здесь переносить легче, чем лето. Снег придает этим скалам мягкость. Путь ваш приобретает одно, пусть даже и очень острое, направление, но одно. Летом здесь тысячи направлений, и каждое из них дрожаще, липко и клейко, как смерть. Шаткие дожди, цепкие камни... да, страшноваты вы, рудожелтые, покрытые оленьим мхом, ягелем, зыбкие пустыни Читконды.

Холодным пламенем мелькнуло озеро. Вертолет устремился прямо на приозерные курчавые кочки: мы и не заметили, что среди нежной зелени и трепетных ручьев прячется площадка из досок размером не больше деревянной крыши. Прыгая через ручьи, брызгая грязью и размахивая руками, к вертолету бежали люди: женщины в шароварах и сапогах, мужчины почти без исключения то с широкими, то с узкими бородами, стройные, длинноногие,— я наблюдал за ними очарованным взглядом. Конечно, я не мальчишка, хотелось показать, что во мне нет и следа того пронзительного и трепетного восхищения, которое я испытывал в детстве, читая «Капитана Гаттераса» Жюль Верна или что-либо в этом роде, но я не мог сдержать себя, жадный восторг владел мною.

#### 14. Вечер в Читконде. Дикie снега и упоительные лавры

От вертолетной площадки до того места, где речушка Читконда начинает пересекать поселок, хода минут десять, если не меньше. Всюду щепы, выкорчеванные пни, новые домики из лиственницы, а вокруг необозримые, блестяще зеленые леса, щетинистые буро-желтые горы, снега в расщелинах, за снегами плоскогорье, и там — бурильные «на уголь» вышки.

- И хорош он?
- Уголь-то? Благодатный.
- И много?
- Понадобится, все горы отопим.

Жаль, накрапывает дождь. Где-то тут, в километре-двух, шумит водопад, но месить грязь не хочется, подождем ведра.

Присели у склада, неподалеку от столовой, которая здесь — да, кажется, и повсюду в подобных геологических закоулках — носит странное и сложное название «котло-пункт». В этом «котло-пункте» геологи оплачивают только продукты без тех солидных начислений, которые неизбежно умеет сооружать ОРС.

Подле угла длинного склада — стадо оленей и сам оленевод Нил Иванович, надменный, темнолицый, скуластый эвенк. На нем торжественная штурмовка цвета хаки, фуражка военного образца, он смотрит на нас невозмутимо и отвечает еще невозмутимей. Олени, устремив на нас золотистые задумчивые глаза, казалось, говорят о своем хозяине: «Вы уж извините, какой есть, такой есть». Наш друг Гоша предлагает Нилу Ивановичу записать его рассказы о тайге на магнитофон, для передачи по радио.

— Это, однако, можно, — небрежно сказал эвенк. — Откуда вы? Из Читы? Это можно. Рассказов много: тайга.

— А вы далеко ходили? — спросил я у эвенка.

— Они ходили, — ответил он, указывая на геологов, — я провожал. Ходили, поди, километров сто, а то и двести, кто мерил!

Мне захотелось пойти к нему домой, посмотреть, как он живет.

— А где вы остановились?

Он неопределенно указал на лес:

— Тут, скользим. Олешек, поди, кормить надо: ягель там.

Паузы несколько томительны. На лицах геологов мелькают усмешки: мы, по-видимому, не можем найти «подхода», а геологам вмешиваться неудобно. К тому же Гоша, волнуясь, не совсем ясно выговаривает слова. Эвенк, щурясь, склоняет голову вбок, вслушиваясь в слова.

— Правда ли, Нил Иваныч, что вы ни разу не блуждали в тайге?

— А разве ты в своей деревне блуждаешь?

— Ну, в деревне три-четыре улицы.

— Для меня тайга — та же деревня.

— Даже в местах, которые вам совершенно незнакомы?

— Говорю, деревня.

Нил Иванович действительно тайги не опасается, но вот магнитофона он убоился: страшно стало, что заблудится в словах. Мы его ждали три часа возле магнитофона — он не пришел. И на другой день он не появился в поселке.

Дождь усилился; и мы зажигаем в нашем новеньком домике железную печку. Раскаленное железо славно припекает, спотыкающиеся лучи пламени скользят по каплям смолы на стенах, а за порогом сквозь раскрытую дверь среди мха, похожего на кораллы (травы здесь нет или во всяком случае она очень редка), — щепы, щепы, щепы. Дров собирать не нужно, просто выйдешь за порог и наберешь щепы сколько тебе хочется. Проходит мимо высокая и красивая девушка-геолог, в широченных, как у запорожца, шароварах, вязаном свитере, белой шляпе и черном накомарнике. Кивнув мне с одобрительной улыбкой, она спросила:

— Любуетесь на романтику?

— Любуюсь. А вы? — спросил я громко: что-то странное мелькало в улыбке этой девушки, мягкое и горькое одновременно; мне стало как-то немножко не по себе.

— Уже нет. Привыкла. Я еще в Хапчеранге начала привыкать...

«Ах, вот оно что!» — подумал я. Девушка глядела несколько в сторону. Мне казалось, что она не прочь отвести разговор, если я перебую ее. Я молчал.

— ...Иногда, впрочем, очнешься, посмотришь: зимой здесь, у-у, строго, да и упоительно красиво! Гулко так: ветка упадет, и будто на весь мир... куда там Джеку Лондону!

— Тут много читают Джека Лондона?

Продолжая глядеть в сторону, она покачала головой.

— В Тамбове я его много читала, здесь — больше Александра Грина.

— А в Хапчеранге кого читали?

— Повторяю вам: у нас читают не Джека Лондона, а Грина, и даже, пожалуй, большинство читает Льва Толстого или Горького. Снега променяли на лавры. Толстой, а Горький в особенности предпочитали зиме лето, ягелю запах лавра. Впрочем, и у Джека Лондона не во всех рассказах действие происходит на Севере. Кстати, о лавре. Мы вас очень просим рассказать нам сегодня побольше о Максиме Горьком. А я вам сейчас такую упоительную баню приготовлю! Жалко, веничка здесь сделать не из чего: полярная березка никак не годится.

Баня и без веничка оказалась великолепной: жаркая, пьянящая. Каменка звенела, поднимая к потолку выплеснутую на нее воду клубами бодрого и игривого пара. Парились мы долго. Гоша был несколько робок и нетверд в пару, Василий Григорьевич нырял в пар уверенно и небрежно.

Когда мы из бани шли в свой домик, чтоб оттуда направиться в красный уголок, над нами светозарно и тихо посверкивало тонкое, очистившееся небо, раскрывшее всю свою трепетно-бескрылую лазурь. Трепетно шумел лес, словно изгоняя спотыкающийся дождик. Большим, ровным и плавным треугольником прошли над лесом гуси. Стройная девушка-геолог, разговорившаяся со мной, ждала нас у дверей красного уголка. Она остро взглянула на меня и, следя за моим взором, сказала:

— Гуси? Пролетная стая: на юг жарит, к лаврам. К дождю.

— Почему к дождю?

— Так наш проводник-эвенк сказал. Если гусь летит первым на юг — начнутся дожди. А если лебедь — снег. Лебедь, видите ли, на клюве снег несет, а гусь — дождь. Впрочем, пожалуйста, вас ждут.

Красный уголок недавно срублен. Стены ясные, широкие, еще без плакатов и портретов, и оттого чудный запах лиственницы вдыхаешь почти с благоговением. Простой дощатый стол покрыт газетой, на нем радиоприемник и, на случай если погаснет электричество, керосиновая лампа. Гибкие трубы печки пересекают комнату, беспокойно потрескивают в печке щепы. Лица слушателей чуткие, тонкие, пытливые, от пламени печки кажущиеся еще более пытливыми и нежными.

И мне казалось, что я уже понял едкий сарказм девушки-геолога. Она хотела, чтобы я сразу нашел верный тон беседы. Приближалась зима, быть может самое суровое время яростных сражений с грозной и мрачноватой таки природой. Слушать собравшимся хотелось о тех героях, которые не страшились крутизны жизни, которые сквозь темень, ветры, мрачные снега, дикие леса и глухие горы всегда видели впереди живой и яркий факел победы!

— Вы хотите слушать о Максиме Горьком? — спросил я. — Вы правы. Я прожил довольно длинную жизнь, видел немало писателей, художников, людей науки и искусства. Я наблюдал за ними с напряженным вниманием. И до сего времени я не встретил ни одного, кого можно было б, хотя в отдаленной степени, сравнить по уму, характеру, воле с Максимом Горьким. Какое горячее и пленительное сердце, какой

глубокий и чистый разум, какое ясное и чуткое понимание человека и его дела! Я жалею только об одном — что не могу со всей яркостью передать вам то непрестанно разгорающееся пламя жизни, которым постоянно светился Максим Горький.

— Он хорошо знал Сибирь? — несколько пугливо и тревожно спросила меня стройная девушка-геолог.

Она сбросила плащ, на ней была красная жакетка, такая же красная маленькая шапочка, не закрывающая высокой прически, виден был белый воротник кофточки. Молодой человек, длинноволосый, худой, в серо-лиловой безрукавке, облокотившись на чурку, не сводил с нее мечтательных и влюбленных глаз.

— Знал ли Горький Сибирь? Он знал ее только по книгам, но так как книги были для него второй душой, то он знал Сибирь, как свою душу. Я сегодня с одним читателем несколько поиронизировал относительно лавра и лавров. И, идя сюда после этого иронического разговора, я вспомнил одну свою беседу с Горьким — за несколько месяцев до его кончины — в Тессели, в Крыму; среди лавров и кипарисов, хотя, впрочем, не утверждаю, что там растут лавры. Ну, допустим, растут, допустим, что я ощущал их мерцающий запах. Вечерами через сад, по склону Горький вел нас к морю. Не доходя до обрыва, мы останавливались на дорожке, и Горький указывал на чашу терновника. Терновник рос густо; своенравно, цепко. Мы врубались в него, очищая место для сада. Рубить еще ничего, но таскать его на дорожку было трудно: он как бы раздувался, хлестал по рукам, цеплялся за все, за что можно уцепиться. И все же в конце концов мы собирали его в огромную кучу и зажигали. Смеркалось, пока мы рубили и таскали его. Черные бакланы летели вдоль обрыва к долине Ласпи; к камням возле маяка. За костром, который разгорался медленно, виднелась с одной стороны стена Яйлы, уже уходящей во тьму, деревья, среди них темный дом, а с другой — обрыв, шумящее море и иногда проплывающий корабль. Когда костер разгорался, на борту корабля, точно в ответ, начинали загораться струящиеся и мягкие огоньки.

Скрылся корабль. А костер все горит и горит. И уже не видно ни моря, ни гор, ни деревьев, только одно это расширяющееся трескучее пламя да тьма над обрывом, заметным лишь по шуму моря. Молчание. И однажды, подталкивая тростью ветку — у него уже не было сил наклониться и взять ее, — Горький сказал мечтательно: «Всю-то жизнь мне хотелось попасть в Сибирь, в тайгу, развести там большой-большой костер и просидеть возле него всю ночь. И, может быть, не одну. Мне всегда казалось, что люди живут в Сибири необыкновенно яркой, смолистой жизнью. Именно, смолистой! И запах, и огонь, и звучность».

Он замолчал, сделал несколько шагов в направлении дома, поднял трость, точно проверяя, так ли она нужна на сибирских дорогах, и проговорил: «Как только себя немного получше почувствую, непременно — в Сибирь. И подальше, к Байкалу. — А затем, еще помолчав и еще раз подняв вверх трость, добавил: — А может быть, и дальше Байкала».

#### 15. Хмель на клюве лебедя

Мы засиделись дольше полуночи: геологи расспрашивали об Индии, потом почему-то Сингапур занял их, хотя я и пробыл в Сингапуре всего два часа и тамошние мои наблюдения были не столь уж обширны.

Стало совсем темно, и лишь благодаря щепе тропинка отмечалась тонким, сквозящим светом. Позади кто-то из молодежи серебристо смеялся, а сбоку тихо и прозрачно поддакивал ручеек. От красного

уголка до нашего домика шагов полтора, не больше, но и на этом коротком пути я растерял своих друзей и к домику пришел один. Оказалось, что девушка в красном растопила нам печь, поставила чайник и положила возле печки запас дров.

— Спокойной ночи и до свиданья,— сказала она, светло улыбаясь.— Я же говорила, что у нас преимущественно читают Толстого.

И девушка в красном скрылась.

Когда мы возвращались в Чару, я был очень рад, что вертолет остановился по пути на несколько минут в Наминге.

В горах выпало много снега, кое-где он лежал и по берегам рек, отливая бирюзою. Снега переплетали ущелья белыми лентами, и горы от этого казались более легкими и манящими, чем тогда, когда мы летели в Намингу.

А в Чаре было тепло, сухо, с реки дул теплый, нежный, нагретый солнцем ветер. Улетать не хотелось. Но самолет уже ждал, и вот мы на его скамье,— и Чару точно выплеснуло!

Опять тайга, горы, реки, озера, по-прежнему все пышно-зелено, только кое-где лиственницы позолотило, они стоят лучистые, сияющие, чуть-чуть склоненные вперед, а может быть, так кажется оттого, что самолет делает крен? «Но что такое? — хочется воскликнуть мне. — Что это за серые и белые пятна над тайгой?» Ба-а! Да это ведь стаи осенних птиц. Это вот гуси, а это — лебеди! Да, да, лебеди. Стая за стаей летят они к заветному югу. Над ними лучезарное небо, под ними — высокая, вековечная тайга... А самолет? А что им самолет!.. Они летят, и временами кажется, что позолоченные лиственницы, похожие на те столбы со свисающими гроздьями хмеля, которые я когда-то видел в Чехии,— лиственницы на мгновение касаются птичьих клювов. Не осень и не снег несут гуси-лебеди, а хмель, блистающий и заздравный хмель жизни.

Хмель, хмель, хмель творчества...

Кудрявый и душистый пламень жизни!



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

★

## КУПРИН

*Тридцать первого марта 1962 года Корнею Ивановичу Чуковскому исполняется восемьдесят лет. Эта дата застает его в пору великолепной ясности духа и полной творческой силы.*

*Литературная деятельность К. И. Чуковского очень многообразна. На его детских стихах выросло уже не одно советское поколение. Его тонкая и умная книга «От двух до пяти» пользуется самой широкой популярностью. Его статьи о технике перевода и о редакторском искусстве учат всыскательности и мастерству. И все, кто любит русскую поэзию, с книгой К. И. Чуковского о Некрасове входили в рабочую лабораторию одного из самых больших поэтов.*

*Воспоминания К. И. Чуковского воскрешают для многих из нас живые черты облика деятелей русской культуры — от Репина до Маяковского. В этом номере нашего журнала мы печатаем только что написанные им воспоминания о Куприне.*

*Мы от всего сердца желаем Корнею Ивановичу сохранить на долгие годы свою неиссякающую веселую молодость, свою плодотворную любовь к литературе и отличную «рабочую форму». И от лица всех наших читателей мы желаем ему крепкого здоровья, жизненной силы и новых творческих успехов.*

1

**С**таричок долго отказывался, наконец махнул крохотной ручкой.  
— Ладно, согласен... попробуем!

— Да что тут пробовать! — возразил Александр Иванович Куприн. — Дело верное. На себе испытал.

Александр Иванович извлек из-под дивана небольшую жестянку и вскрыл ее перочинным ножом. В жестянке оказалась пахучая жирная зеленая краска.

Старичок был пьян, но не очень. Было в нем что-то противное: мешки под глазами, тараканьи усы.

— Ну, господи благослови! — сказал Куприн и, сунув в жестянку малярную кисть, мазнул ею по седой голове старичка.

Старичок ужаснулся:

— Зеленая!

— Ничего! Через час почернеет!

Капли краски так и застучали дождем по газетным листам, которыми старичок был прикрыт, как салфетками, чтобы не испачкался его новый костюм.

Вскоре его седая шетина стала зеленой, как весенний салат.

Он выпил еще одну рюмку, хихикнул и блаженно уснул.

Спал он долго — часа два или три. К ночи он проснулся с мучительным воплем. Краска стала сохнуть. Кожа на его крохотном темени стягивалась все сильнее.

Старичок заметался по комнате.

Потом подбежал к зеркалу и горько захныкал: голова осталась такой же зеленой.

— Ничего, ничего, потерпите! Еще десять — пятнадцать минут...

Я сбежал вниз к парикмахеру Ионе Адольфовичу (парикмахерская была тут же, при гостинице) и упросил его отправиться со мною в 312-й номер, чтобы спасти старичка. Но волосы несчастного склеились от масляной краски и стали жесткими, как железная проволока.

Иона взглянул на них и свистнул:

— Какая мне радость ломать себе бритву!

Он нисколько не удивился, что волосы у старичка изумрудные. Он работал при этой гостинице несколько лет и хорошо знал привычки ее обитателей: гостиница была писательским подворьем.

Лишь после того, как краска с головы была смыта при помощи керосина и ваты, можно было, и то с величайшим трудом, избавить старичка от зеленых волос.

— Эх, поторопились! — с упреком сказал Александр Иванович. — Потерпели бы десять минут и были бы жгучий брюнет. Ведь эта краска специальная: голландская!

Старичок ничего не ответил. С ним случилась новая беда. Когда его голова стала голой, оказалось, что вся она в пятнах. Сколько ни терли ее керосином, пятна не хотели смываться.

— Ну что ж! — сказал Куприн. — Поздравляю! Настоящий глобус. Австралия! Новая Гвинея! Италия!

Старичок буркнул ему что-то сердитое, нахлобучил шляпчонку и убежал как ошпаренный.

— Сволочь! — выразительно сказал о нем Александр Иванович. — Полицейская гнида! И какого черта вы пожалели его! Он у меня так и остался бы навеки зелененький!

По словам Куприна, этот худосочный субъект, с виду такой безобидный и жалкий, был смотрителем одесской тюрьмы — ярый черносотенец, погромщик. Куприну показали его где-то в Крыму, и вдруг неожиданно негаданно писатель увидел его здесь, в Петербурге, в кабачке «Капернаум» на Владимирской.

Сейчас я не помню подробностей: дело было давно, в декабре 1905 года. Помню только, что Куприн, обладавший необыкновенным умением сближаться ради своих писательских надобностей с людьми всевозможных профессий: с банщиками, шулерами, карманниками, фальшивомонетчиками, взломщиками несгораемых касс, укротителями тигров и львов, — стал подолгу просиживать в своем кабачке с этим плюгавым тюремщиком, внимательно вслушиваясь в его пьяные речи, и выведал его великий секрет: оказалось, что тот приехал в столицу жениться, но смущается своей сединой. Тут-то Куприн и предложил ему чудотворное «голландское» средство для окраски волос, повел его в «Пале Рояль» (что на Пушкинской) в чей-то номер и по-своему расправился с ним.

Между тем я пришел к Куприну по важному и спешному делу: в качестве редактора журнала «Сигнал» я хотел упросить его, чтобы он написал для журнала рассказ. Но поговорить об этом в тот вечер уже не пришлось: в номер нагрянули незнакомые люди и увлекли Александра Ивановича к новым приключениям и подвигам.

На следующий день я пришел к нему спозаранку. В прихожей меня встретил его верный оруженосец и собутыльник Маныч — рослый, молчаливый, насупленный и важный мужчина, который весь год неотступно сопровождал Куприна по всем его путям и перепутьям. Об этом человеке



Куприн сочинил забавную басню, из которой я помню лишь последние строки:

Когда увидишь Манычá,  
Дай стрекача!

И началось особенное — купринское — кружение по городу. Неутомимый ходок, Александр Иванович вечно рыскал из улицы в улицу в азартной погоне за новыми впечатлениями. В тот день ему нужно было побывать и на митинге работников прилавка, и на съезде каких-то сектантов, и в психиатрической лечебнице доктора Прусика, чтобы потолковать с глазу на глаз с каким-то необыкновенно интересным лунатиком.

Когда я спрашивал: «А как же рассказ?» — он только улыбался в ответ, и мне пришлось безропотно шагать вслед за ним с тремя или четырьмя его спутниками, число которых неуклонно росло, так как Куприн был человек компанейский и всегда на ходу привлекал к себе все новых и новых людей. На Васильевском к нам присоединился художник Петя Троянский, добрый малый, пьянчуга, усердно сотрудничавший в журнале «Сигнал».

Вскоре мы очутились за столом «Золотого якоря» — знаменитого кабака петербургских художников. Здесь Куприн наконец подтвердил данное мне обещание написать для нашего журнала рассказ:

— Название рассказа — «Гост»,

## 2

Я обрадовался и встал, чтобы сейчас же уйти, но Куприн уговорил меня отправиться вместе с ним к какой-то сумасбродной англичанке, которая только что приехала в нашу страну и не знает ни слова по-русски. Чтобы их беседа могла состояться, им обоим нужен переводчик — так вот не согласен ли я взять на себя эту роль?

Мы пошли через мост на Большую Морскую, а Маныч помчался вперед на извозчике — предупредить иностранную даму о нашем приходе.

Англичанка оказалась румяная, дородная, пышная, отнюдь не похожая на иностранную даму. Вначале я отнесся к ней с самой простодушной доверчивостью и тщательно переводил Куприну ее в высшей степени сумбурные речи. Но не прошло и пяти минут, как она прыснула и убежала из комнаты.

Я понял, что сделался жертвою «розыгрыша».

Дама была русская, вдова одного моряка, с детства знавшая английский язык, о чем и сообщил мне Александр Иванович, когда увидел, что мистификация раскрылась.

По молодости лет я обиделся и перестал посещать Куприна.

Но дней через пять или шесть он прислал мне такое письмо, которое сохраняется у меня до сих пор.

«Милый Чуковский!

Это уж свинство. Из-за того только, что я «передержал» шутку — в чем и извиняюсь, — Вы к нам не заходите. И Мария Карловна и я по Вас соскучились. Если нет времени зайти, то хоть напишите, что не сердитесь.

Ваш душою

ауктор «Поединка» А. Куприн».

Не сомневаюсь, что извиниться побудила его молодая жена Мария Карловна, выросшая в высококультурной петербургской семье и пытавшаяся (по крайней мере на первых порах) привить ему учтивые манеры.

Нежно влюбленный в жену, Александр Иванович был рад (опять-таки на первых порах) добросовестно выполнять ее требования.

Но никогда не покидала его в те времена мальчишеская озорная любовь к проделкам и дурачествам всякого рода.

Помню, он объявил себя гипнотизером и медиумом и устроил на квартире у писателя Алексея Ивановича Свирского «астрально-спиритический сеанс». Оказалось, что ему ничего не стоит вызвать по желанию публики душу любого покойника — Наполеона, Екатерины Второй, Тургенева, Скобелева, Марии Стюарт, вплоть до министра Плеве, недавно убитого эсеровской бомбой. Душам покойников задавались вопросы. Большинство ответов усердно отстукивалось ножками большого стола, но иные из обитателей загробного мира предпочитали отвечать во весь голос.

На сеансе присутствовал критик Аким Вольтинский. Он пожелал побеседовать с духом немецкого философа Лессинга. Его желание было исполнено, но Лессинг, кроме одного-единственного слова *unzer*, не мог произнести по-немецки ни звука. Зато поэт Надсон, вызванный по требованию его верной подруги, известной переводчицы Марии Валентиновны Ватсон, оказался так словоохотлив, что в конце концов даже охрип. То есть охрип, собственно, не он, а Маньч, который был тайным соучастником Александра Ивановича и произносил в темноте то дискантом, то густым баритоном все речи именитых мертвецов.

Сеанс был оборудован так ловко, что присутствовавшая на нем поэтесса Изабелла Гриневская громко оповестила всех нас, что с этого времени она твердо уверовала в бессмертие человеческих душ.

Подобным забавам Куприн предавался тогда с большим аппетитом: так велик был у молодого писателя избыток играющих жизненных сил.

Пришел к нему в Одессе один репортер.

— Где и когда я мог бы проинтервьюировать вас?

Куприн посмотрел на него и отвечал, не задумываясь:

— Приходите сегодня же в Центральные бани... не позже половины седьмого.

И в тот же вечер, сидя нагишом перед голым газетным сотрудником, Куприн изложил ему свои литературные взгляды, после чего они оба, и репортер и Куприн, лихо отхлестали друг друга намыленными венниками.

— И как тебе пришла в голову такая дикая мысль? — спросил у Куприна один из его одесских приятелей, Антон Богомолец.

— Почему же дикая? — засмеялся Куприн. — Ведь у репортера были такие грязные ногти и уши, что нужно же было воспользоваться редкой возможностью снять с него копоть и пыль.

Иногда эти эксцентрические, озорные проделки имели более рискованный характер.

Рассказывают, например, что, приехав в Балаклаву, Куприн послал «верноподданническую» телеграмму царю Николаю II, тоже проводившему лето в Крыму, и в этой телеграмме ходатайствовал, чтобы царь предоставил рыбацкому поселку Балаклаве права и привилегии вольного города Гамбурга.

Думаю, что это — легенда. Такого случая быть не могло. Но все же чрезвычайно характерно, что о Куприне сочинялись именно такие легенды.

В то время Александр Иванович производил впечатление человека даже чрезмерно здорового: шея у него была бычья, грудь и спина — как у грузчика; коренастый, широкоплечий, он легко поднимал за переднюю ножку очень тяжелое старинное кресло. Ни галстук, ни интеллигентский пиджак не шли к его мускулистой фигуре: в пиджаке он был похож на кузнеца, вырядившегося по случаю праздника. Лицо у него было широ-

кое, нос как будто чуть-чуть перебитый, глаза узкие, спокойные, вечно прищуренные — неутомимые и хваткие глаза, впитывавшие в себя всякую мелочь окружающей жизни.

Таким он запомнился мне в первые годы знакомства, когда я особенно часто бывал у него. В его маленькую рабочую комнату я всегда входил робко, трепеща от волнения, так как считал его (и считаю сейчас) одним из самых замечательных русских писателей, поднявшимся в своем бессмертном «Поединке» и в нескольких других произведениях до тех высот мастерства, изобразительной мощи и гуманного пафоса, какие доступны лишь великим талантам.

Но вся моя робость исчезала мгновенно, едва только я входил к нему в комнату. Ему до такой степени была ненавистна всякая мысль о литературной иерархии, у него было столько живых интересов, не связанных с писательским цехом, что при каждом свидании с ним мне странным образом начинало казаться, будто мой любимый писатель Куприн, только что завоевавший себе всероссийскую славу, не имеет ничего общего с тем Александром Ивановичем, который вот сидит у себя в комнате без пояса, в линялой рубашке, надетой прямо на голое тело, мурлычит какую-то солдатскую песню и возится со своим затейливым «деревянным альбомом», стараясь во что бы то ни стало стереть с него огромную чернильную кляксу. Этот Александр Иванович стоит как-то в стороне от всех своих книг, и я, маленький, начинающий автор, чувствую себя с ним очень легко.

После первых же приветствий он требует:

— Ну-ка возьмите перо... и пишите, что вздумается, хотя бы свою пародию на Бальмонта.

И придвигает ко мне «деревянный альбом».

Этим альбомом у него называется простой березовый некрашенный стол, на доске которого многие литераторы, большие и малые, оставили по нескольку строк — экспромты, остроты, афоризмы, стишки.

Кто из нас ни приходил к Куприну, каждого он просил написать на столе «что вздумается», а когда весь стол был заполнен автографами, он как-то вечером взвалил его на свою крепкую спину и пронес через весь Петербург к дому, где жил один удивительный немец, справлявший в тот вечер свои именины.

Взойдя по лестнице со столом на спине, Куприн остановился на одной из площадок и позвонил у дверей. Когда ему открыли, он молча поставил в прихожей свой «деревянный альбом», чем неслыханно обрадовал немца, который высоко ценил такие сюрпризы<sup>1</sup>.

Этот немец, Федор Федорович Фидлер (или ФФФ, а порою Ф<sup>3</sup>, как подписывался он под шутливыми письмами), был страстным почитателем русской словесности и создал богатый домашний музей, где были собраны редчайшие рукописи современных и старинных писателей и всякие другие раритеты — вплоть до исторической палки, которой один разъяренный старик проучил газетного пасквилянта Буренина. (Того Буренина, о котором Минаев в свое время писал:

Идет по улице собака,  
Идет Буренин, тих и мил.

<sup>1</sup> Доска от этого стола сохранилась. Сейчас она в Пушкинском доме. Федор Федорович Фидлер (1859—1918) известен своими переводами на немецкий язык стихотворений Кольцова и Некрасова. По этим переводам, напечатанным в популярном лейпцигском издательстве «Реклам», германские читатели узнали обоих поэтов. По профессии Фидлер был педагогом — преподавал в гимназиях немецкий язык. Не знаю, сохранились ли дневники, которые он вел непрерывно в течение многих лет (на немецком языке). Он читал мне оттуда отрывки, представляющие немалый интерес.

Гляди, городской, однако,  
Чтоб он ее не укусил.))

Именины Фидлера были писательским праздником: в тот день в его тесной квартире собиралось человек тридцать поэтов, беллетристов и критиков. Приходили и мы, молодые, к которым Фидлер относился с большой теплотой.

«Деревянный альбом» Куприна, испещренный автографами всевозможных писателей, чрезвычайно обрадовал Фидлера. Шутка ли: здесь были автографы Федора Батюшкова, Андрея Белого, Ивана Бунина, Скитальца, Ивана Рукавишников, Вас. Немировича-Данченко, Семена Юшкевича, Алексея Свирского, Ходотова, Тана-Богораза, Анатолия Каменского, Кармена-отца, Косоротова, Реславлева и самого Куприна.

Мария Карловна и Александр Иванович жили тогда на Разъезжей, недалеко от Пяти углов. Черноглазая, жизнерадостная, остроумная женщина, она была необычайно привлекательна, и ее чуть-чуть хриповатый, насмешливый голос звучал задорно и победно. Она крепко верила в дарование мужа и твердой рукой направляла его.

Я познакомился с нею вскоре после того, как они поженились; «Поединок» еще не был доведен до конца. Существовали только начальные главы. Работу над окончанием романа Куприн откладывал с недели на неделю. И вот, чтобы побудить Александра Ивановича возможно скорее выполнить эту работу, Мария Карловна сказала ему, что они должны непременно разъехаться, покуда он не закончит своего «Поединка».

— А до той поры я для тебя не жена!

Эти слова подействовали на него чудотворно. Он снял себе комнатку где-то на Казанской улице, возле собора, и стал писать роман с удесятенной энергией.

Закончив главу, он тотчас же спешил на Разъезжую и что есть силы дергал за ручку звонка. Мария Карловна открывала дверь, но не совсем, а чуть-чуть, на цепочку, он просовывал ей новую главу, а сам оставался на лестнице. Проходило полчаса или больше. Мария Карловна внимательно прочитывала рукопись до самой последней строки и лишь тогда распахивала дверь.

— С влюбленными мужьями иначе нельзя,— говорил Александр Иванович.— Однажды мне до того нетерпелось повидаться с женой, что я схитрил и подсунул ей старый отрывок, который она уже читала неделю назад. Она впопыхах не заметила, впустила меня, но с той поры стала так осматривать, что продерживала меня на лестнице целую вечность, потому что вчитывалась в каждое слово, чтоб опять не попасть впросак.

Вся эта история не была супружеской тайной. Вскоре после того, как «Поединок» появился в печати (и имел такой грандиозный успех), Куприн стал очень картинно, со множеством уморительно забавных подробностей, рассказывать друзьям и знакомым, как он дописывал последние главы романа и какую благодатную роль сыграла в этом деле Мария Карловна. Рассказывал при ней, за обедом, или, вернее, рассказывали они оба, перебивая и дополняя друг друга, потому что, как и многие молодые супруги, они часто говорили зараз об одном и том же, в одном и том же стиле, с одинаковым выражением лиц и смеялись одинаковым смехом.

### 3

Куприн исполнил свое обещание. Вскоре, к моей неопишуемой радости, я получил его «Гост», фантастическую новеллу о том, что будет через тысячу лет, когда человечество после кровавых революций и войн наконец-то станет единой семьей и disfrаждается до вековечного счастья.

Конечно, представление Куприна о техническом прогрессе, к которому придет человечество через тысячу лет, кажется теперь очень наивным. Самое большее, чего, по его догадке, достигнут мудрецы инженеры в 2906 году, это — превращение земного шара в гигантскую электромагнитную катушку и создание двух аппаратов, чрезвычайно похожих на телевизор и радио. За какие-нибудь полвека с тех пор, как Куприну пришла в голову эта фантазия, техника шагнула вперед едва ли не дальше, чем за тысячу лет, которую он отвел ей в рассказе.

Впрочем, не развитие техники занимало писателя. Главная тема рассказа — прославление революционных героев, гибнувших в неравной борьбе ради счастья своих далеких потомков. Эти далекие потомки, утверждает Куприн, с благодарностью вспомнят революционных бойцов, которые для них, для потомков, завоевали счастливую жизнь. «Вечная память, — скажут они, — вам, неведомые! вам, безмолвные страдальцы! Когда вы умирали, то в прозорливых глазах ваших, устремленных в даль веков, светилась улыбка. Вы провидели нас, освобожденных, сильных, торжествующих, и в великий миг смерти посылали нам свое благоговение».

А иные из этих счастливых потомков вспомнят революционных героев не только с благодарностью, но и с мучительной завистью — с завистью к их трагической участи.

— А все-таки... — восклицает в рассказе женщина ХХХ века, — как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...

Революция в ту пору сильно увлекала Александра Ивановича. Недаром с такой силой прозвучал для читательских масс его «Поединок»: столько было в нем сокрушительной ненависти к бесчеловечному строю.

Эта ненависть выразилась сильнее всего в его гневной статье «События в Севастополе» — о преступлении адмирала Чухнина, который в 1905 году разбомбил в Севастопольской бухте крейсер «Очаков» и с идиотской жестокостью сжег живьем на глазах у всего города несколько сот матросов, поднявших на крейсере восстание. Куприн, видевший этот страшный костер, тотчас же описал его в газетной статье, после чего был изгнан властями из Крыма и привлечен к уголовной ответственности. Но прежде чем уехать в Петербург, он успел спрятать от царской полиции десятерых очаковских матросов, которые чудом спаслись с подожженного крейсера.

«Тост» Куприна появился во втором выпуске нашего журнала 18 января 1906 года<sup>1</sup>.

Конечно, знаменитый писатель мог поместить свой рассказ в каком-нибудь более солидном издании. Предоставив его нашему журналу, он оказал мне большую поддержку, о которой я и теперь, через пятьдесят с чем-то лет, не могу не вспомнить с живейшей признательностью.

К тому времени издание «Сигнала» было уже прекращено полицейской властью, и мы стали выпускать его под новым названием «Сигналы», пригласив подставного редактора — журналиста Владимира Турока.

А я как редактор «Сигнала» был привлечен к суду за оскорбление величества, за подрывание основ государства и другие столь же тяжкие грехи (по 103, 106, 128 и 129 статьям уголовного Уложения).

Меня арестовали, посадили в тюрьму («предварилку»), и если я про-

<sup>1</sup> В четвертом томе отличного шеститомного собрания сочинений А. И. Куприна сказано, будто в «Сигналах» это произведение озаглавлено: «Рассказ А. И. Куприна» (стр. 747). Нет, это с самого начала названо «Тост», причем заголовок занимает в «Сигналах» чуть ли не четверть страницы.

вел в заточении всего только десять дней, это произошло оттого, что Мария Карловна, по инициативе Александра Ивановича, явилась к моему следователю Цезарю Ивановичу Обух-Вощатынскому и внесла за меня колоссальный залог — десять тысяч рублей из средств издаваемого ею журнала.

Когда я пришел на Разъезжую, чтобы поблагодарить Куприных, они, не желая выслушивать изъявления моей пылкой признательности, принялись уверять — в своем обычном насмешливом стиле, — что очень боятся, как бы я не сбежал от суда за границу.

— Тогда пропадут наши денежки! А чтобы мы были спокойны и знали, что вы не в Берлине, извольте приходите к нам почаще обедать!<sup>1</sup>

## 4

Сам Александр Иванович приходил к обеду далеко не всегда. Вдруг ему почудится, что он недостаточно знает какие-нибудь важные подробности из жизни петербургских цыган, и он на целые сутки застрянет в их таборе, то вдруг заподозрит, что тот осанистый тамбовский помещик, с которым он на днях познакомился у стойки в ресторане Доминика, есть на самом деле прославленный шулер, и он решит проверить свой домысел и просидит, не сходя со стула, в прокуренном притоне картежников семь или восемь часов, следя за каждым движением заподозренного им игрока.

«Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика, — читаем в одном из купринских рассказов о некоем петербургском писателе, в образе которого он вывел себя. — Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь «рыцарь из-под темной звезды», — ...известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман — ужас всех редакций, зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть... жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки».

Рассказ, из которого я беру эти строки, называется «Штабс-капитан Рыбников». Там выведен японский шпион, искусно играющий роль русского штабс-капитана.

На самом деле шпионом он не был. Я хорошо его помню: встречался с ним и в ресторане «Давыдки», и в квартире Куприных на Разъезжей, и во Владимирском соборе, куда Александр Иванович водил его, желая проверить, умеет ли он креститься по-русски. Его так и звали: Рыбников. Лицо у него было желтое, глаза раскосые, монгольского типа. Куприн из озорства стал уверять, будто он японский самурай. напавший на себя русский мундир. А потом и сам поверил в свое измышление и целый месяц не отставал от злополучного штабс-капитана, уговаривая и прямо-таки умоляя его, чтобы тот признал себя переодетым японцем. Но Рыбников только посмеивался в свои редкие черные «японские» усики, охотно позволяя Александру Ивановичу платить за него по ресторанным счетам. Был он щуплый, суетливый, весь издерганный — с какой-то кривой ухмылкой.

Помню жадные молодые глаза Александра Ивановича, которыми он за трактирным столом зорко вглядывался в своего собеседника — то в этого Рыбникова, то в огненно-рыжего летчика Уточкина, то

<sup>1</sup> Около этого времени привлеченный к суду поэт Н. М. Минский, за которого артистка Л. Б. Яворская (она же княгиня Барятинская) внесла несколько тысяч рублей залогу, тайно уехал в Берлин — и залог Барятинской пропал.

в грузного, мрачного, как бы удрученного своей сверхъестественной силой атлета Ивана Поддубного, то в попа-расстригу Леонида Корецкого.

Особенно запомнились мне его своеобразные отношения с Уточкин. Приезжая в Питер, знаменитый спортсмен всегда останавливался в гостинице «Франция», невдалеке от арки Генерального штаба, и тотчас по приезде торопился встретиться с Александром Ивановичем, причем меня всегда удивляло, что Уточкин, сидя с Куприным за каким-нибудь трактирным столом, говорил не столько о спорте, сколько о литературе, о Горьком, Джеке Лондоне, о своем любимом Кнуде Гамсуне, многие страницы которого он знал наизусть и, несмотря на страшное свое заикание, декламировал их с большим энтузиазмом, а Куприн отмахивался от этих литературных сюжетов и переводил разговор на велосипедные гонки, на цирковую борьбу, на самолеты и моторные яхты. Если послушать со стороны, можно было подумать, что Куприн — профессиональный спортсмен, а Уточкин — профессиональный писатель.

Такой жгучий интерес испытывал Александр Иванович не только к работе спортсмена, но буквально ко всякой работе.

Вечно его мучила жажда исследовать, понять, изучить, как живут и работают люди всевозможных профессий — инженеры, фабричные, шарманщики, циркачи, конокрады, монахи, банкиры, шпики, — он жаждал узнать о них всю подноготную, ибо в изучении русского быта не терпел никакого полужнания, никакой дилетантщины и почувствовал бы себя глубоко несчастным, если бы вдруг обнаружилось, что ему неизвестна какая-нибудь бытовая деталь из жизни, скажем, водолазов или донских казаков. Не было такой жертвы, которой бы он ни принес, чтобы изучить доскональнее всю, как теперь говорится, специфику той или другой человеческой деятельности.

В 1902 году в Одессе газетный репортер Леон Тречек познакомил его с начальником одной из пожарных команд. Куприн воспользовался этим знакомством, и когда в центре города на Екатерининской улице загорелся среди ночи набитый жильцами дом, Куприн в медной каске помчался туда вместе с отрядом пожарников и работал в пламени и в дыму до утра.

Говорят, что однажды он захотел испытать, как чувствует себя профессиональный грабитель, забравшийся ночью в чужую квартиру. «Выбрал место и время, взломал дверь, отобрал вещи, уложил их в чемодан, но... вынести их не хватило решимости»<sup>1</sup>.

Чтобы изучить досконально промысел рыбаков-«листригонов», он целыми сутками пропадал вместе с ними на утлых баркасах среди бурного моря, ежечасно грозящего гибелью.

Здесь его требования к себе как писателю-реалисту, изобразителю нравов, буквально не имели границ. Оттого-то и произошло, что с жокеем он умел вести разговор, как жокей, с поваром, как повар, с матросом, как старый матрос.

Он по-мальчишески щеголял этой своей многоопытностью, кичился ею перед другими писателями (перед Вересаевым, Леонидом Андреевым), ибо в том и заключалось его честолюбие: знать доподлинно, не из книг, не по слухам, те вещи и факты, о которых он говорит в своих книгах.

Про чахлого глуховатого М. П. Арцыбашева, прославлявшего в своих произведениях радости здорового и могучего тела, Куприн говорил убежденно:

— Не может быть хорошим беллетристом близорукий и глухой человек, страдающий к тому же хроническим насморком.

<sup>1</sup> Ник. Вержбицкий. Встречи с А. И. Куприным. Не сомневаюсь, что и это — легенда, но опять-таки очень характерная.

У него у самого было обоняние звериное, и в своих рассказах он никогда не забывал отмечать, что, например, лавки торгового ряда пахнут кумачом, керосином и крысами, а комнаты старого клуба — кислым тестом, карболкой и сыростью, а свежие девушки — арбузом и парным молоком, а прихожая перед балом в офицерском собрании, когда в нее съезжаются нарядные женщины, — морозом, духами, пудрой и лайковыми перчатками. И вот запах другой прихожей: «Пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах».

По части запахов у Куприна был единственный соперник — Иван Алексеевич Бунин, и когда они сходились вдвоем, между ними начиналось состязание, азартная веселая игра: кто определит более точно, чем пахнет католический костел во время пасхальной заутрени, чем пахнет цирковая арена, и т. д., и т. д., и т. д.

Помню, в Одессе, на приморской даче писателя Александра Митрофановича Федорова, Куприну устроили своеобразный экзамен. Подали несколько маленьких дынь и предложили распознать по их вкусу и запаху, не глядя на их кожуру, к какому сорту принадлежит каждая дыня.

Он нюхал и пробовал каждую с видом ученого дегустатора и отвечал безошибочно: «Это Виктория, а это Бельгард», и так дальше, чем вызвал восхищение присутствующих, среди которых были такие ценители, как художник Костанди, артист Закушняк и старый передвижник, друг Репина, Николай Дмитриевич Кузнецов.

Вообще Куприн был чудесно вооружен всевозможными практически ми знаниями: знал толк в лошадях и собаках, мог часами говорить о своих наблюдениях над рыбами, деревьями, птицами, пчелами, отлично разбирался в самоцветах и драгоценных камнях.

У меня до сих пор сохраняется подписанный Александром Ивановичем документ об одном самоцвете, принадлежавшем артистке М. С. Марадудиной. Артистка уверяла, что камень — сапфир, Куприн утверждал, что она ошибается. По этому случаю он продиктовал мне такую бумагу: «Пари между А. И. Куприным и М. С. Марадудиной».

Он, Куприн, утверждает, что камень, который она, М. С. Марадудина, носит на пальце, — желтый топаз. Она же в дерзостном и яростном ослеплении утверждает, что камень этот — желтый сапфир.

Выигравший требует с проигравшей стороны все, что хочет».

Ниже — рукой Куприна:

«Сие моей подписью удостоверяю.

А. Куприн».

Нужно ли говорить, что пари было выиграно им: экспертиза установила, что камень Марадудиной не сапфир, а топаз.

Пари состоялось в одном из модных игорных домов, где Куприн пропал целыми сутками.

Одно время он очень любил «пропадать» в разных отечественных и заезжих зверинцах, подолгу простаивал перед клетками тигров, павианов и львов, изучая их повадки и нравы. Недаром Анатолий Дуров, знаменитый укротитель зверей, основатель династии нынешних Дуровых, печатал в своих афишках, посвященных зверям:

Сам Куприн-писатель

С ними был приятель.

Помню, как впоследствии изучал он обитательниц «Ямы» в Кузнецком переулке, недалеко от того дома, где жил Достоевский, с таким азартом, с таким любопытством, словно он первооткрыватель какой-то неизвест-



ной страны, словно никто никогда не видал этих ям, словно на свете и не существует ничего интереснее, чем быт всевозможных Александрии и Тамар.

Таким образом, я имел полное право в одной из статей о нем применить к нему те самые слова, какие сказал он о Киплинге:

«Ему знакомы мельчайшие бытовые черты из жизни офицеров, чиновников, солдат, докторов, землемеров, моряков; он знает самые сложные подробности сотен профессий и ремесл; ему известны все тонкости любого спорта; он поражает своими научными и техническими познаниями. Но он никогда не утомляет своим огромным багажом. Он лишь пользуется им в такой мере и так искусно, что вы готовы поверить, что именно сам Киплинг ловил треску вместе с рыбаками на севере Атлантического океана, и нес службу на маяке, и метался в жестокой индийской лихорадке... и строил мосты, и вел, как машинист, железнодорожные поезда, и т. д. и т. д. А в этом доверии заключается одна из тайн поразительного обаяния его рассказов и его большой и заслуженной славы».

*А. Куприн! будь дружен с лирой  
И к тому — не «циркулируй»!*  
Скиталец.

Вполне естественно, что человек с такими вкусами, интересами, склонностями не мог вести размеренную семейную жизнь: аккуратно являться к столу и каждый вечер возвращаться в определенное время домой.

«Чем больше я узнавал его, — вспоминает Бунин, — тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому все трын-трава...»

Мария Карловна не угнетала его слишком жесткими требованиями, но в конце концов стало очевидным для всех, что Александр Иванович не может, да и не желает стеснять себя узкими рамками так называемого «приличного общества». Так приманчива была для него скитальческая, свободная от всякого регламента жизнь, что, если бы даже он не был писателем, он все равно «циркулировал» бы от балаклавских «листригонов» к киево-печерским монахам, из сумасшедшего дома в игорный притон. И все равно не мог бы обойтись без «Золотого якоря», «Капернаума» (он же «Давыдка») и «Вены», где все тесней окружала его всякая трактирная «шпана».

Мария Карловна в своих воспоминаниях «Годы молодости» пишет, что в конце концов его «адъютантами» стали сотрудники мелких бульварных газет и хулиганского «Синего журнала». Все больше он сходил с такими людьми, как критик Петр Пильский, поэт Александр Рославлев, газетный фельетонист Федор Трѳзинер, этими загубленными водкой талантами. Пильский был темпераментный и бойкий писатель, умело владевший пером, но бреттер, самохвал, забияка, драчун. Трѳзинер в свое время тоже блистал дарованиями, но в те годы, когда я познакомился с ним, был безнадежно большой алкоголик, давно уже махнувший рукой и на себя и на свое литературное поприще. Даже псевдоним у него был спиртуозный: Сэр Пич Брэнди (брэнди — по-английски коньяк). Рославлев, третьестепенный эпигон символистов, не бывал трезвым уже несколько лет.

Больно было видеть среди этих людей Куприна — отяжелевшего, с остекленелым лицом. Он грузно в мешковато сидел у стола, уставленно-

го пустыми бутылками, и разбухшая багровая шея мало-помалу становилась у него неподвижной. Он уже не поворачивал ее ни вправо, ни влево — весь какой-то оцепенелый и скованный. Только его необыкновенно живые глаза ни за что не хотели потухнуть, но потом тускнели и они, голова опускалась на стол, и он погружался на долгое время в мутную, свинцовую полудремоту. Для меня всегда оставалось загадкой, почему такой сильный, волевой человек, безбоязненно входивший в клетку к тиграм, не может вырваться из пьяной, забубенной среды и преодолеть ее жестокое влияние.

Обыватели злорадно глумились над этой слабостью большого писателя. По городу в то время ходили стишки:

## 1

Если истина в вине,  
Сколько истин в Куприне!

## 2

Водочка откупорена,  
Плещется в графине.  
Не позвать ли Куприна  
По этой причине?

Карикатурист Ре-Ми на знаменитой сатириконской картине «Салон ее светлости русской литературы» изобразил Александра Ивановича бражником, которому в пьяном бреду примерещился чертик (в облике писателя Алексея Ремизова).

Зато каким становился он просветленным и бодрым, когда ему хотя бы на несколько дней удавалось стряхнуть с себя весь этот трактирный угар и любовно приобщиться к природе.

Раза три я встречал его в «Пенатах» у Репина, перед которым он благоговел с малых лет. Всласть наговорившись с художником, он долго бродил по его цветущему саду и, как выздоравливающий, радовался каждой травинке.

Как-то в летнее время, обедая у Репина в саду, один из гостей нечаянно опрокинул бокал с лимонадом. Лимонад разлился по клеенке, покрывавшей обеденный стол. (Жена Репина, Наталья Борисовна Нордман, считала скатерти излишними.) Не успели гости отойти от стола, как с дерева спрыгнула белка и стала вылизывать пролитый лимонад. Это лакомство ей очень понравилось. С тех пор Илья Ефимович, покончив со своей скромной едой, никогда не забывал выплескивать на стол немного лимонада — для белки.

Узнав об этом, Александр Иванович оживился, обрадовался, словно ему рассказали о каком-то фантастическом чуде, и поспешил по-мальчишески притаиться в кустах, чтобы увидеть своими глазами зверька, совершающего набег на репинский стол. (Впоследствии в одном из своих писем ко мне он вспомнил о репинской белке и даже обещал написать о ней рассказ для детей.)

— До чего бы я хотел побывать этой белкой и сигать вот этак по вершинам деревьев, — сказал он с печальным вздохом, следя за молниеносными полетами белки в листве.

Впоследствии я вспомнил это восклицание Александра Ивановича, прочтя у него в повести: «Я хотел бы на несколько дней сделаться лосадью, растением или рыбою...»

А зимою в той же Финляндии в морозный и солнечный день Александр Иванович отправился вместе со мною по гладкому, ослепительно сверкавшему насту залива на лыжах под парусом и, хотя до той поры

ему никогда не случалось пользоваться парусом для лыжного спорта, сразу же, как истый спортсмен, усвоил всю технику этого дела и молодецки понесся вперед по направлению к Кронштадту<sup>1</sup>.

Здесь, на природе, вдали от городских искушений, он воскресал и светлел, и я видел в нем бывшего Куприна, сильного художника, упоенного жизнью, сжигаемого страстным любопытством ко всему, что творится вокруг.

В то время меня увлекала мечта о создании подлинной, художественно ценной литературы для маленьких. Лет за пять до того я упросил Алексея Толстого, Сергеева-Ценского, Сашу Черного и других «молодых» участвовать в редактируемом мной альманахе «Жар-птица», выходящем в издательстве «Шиповник». О том же я просил и Куприна, но тогда он был поглощен своей «Ямой» и не написал ничего.

Теперь я возобновил мою просьбу, и он очень скоро откликнулся: прислал для детского журнальца, который выходил тогда при «Ниве», рассказ «Козлиная жизнь». Рассказ очень понравился мне, о чем я и написал Куприну. В ответ он прислал мне такую открытку:

«Sir!

Письмо Ваше о «Козле» меня тронуло. Но до сих пор козлиных следов не вижу. А то бы давно прислал еще что-нибудь. Да что бы Вам в самом деле не проехать в Гатчино? Поглядите моих зверей, погуляем по парку. Может быть, мою лодку к тому времени починят. А я приеду к Вам и вместе пойдем приветствовать Старика в одну из сред.

1917. 2.V.

Гатчино.

Ваш А. Куприн».

Письмо не требует больших комментариев. «Сэром» Куприн называл меня потому, что незадолго до этого я совершил путешествие в Англию. Рассказ «Козлиная жизнь» был напечатан не сразу; этим и объясняются слова Куприна: «козлиных следов не вижу». Стариком (с большой буквы) он всегда именовал И. Е. Репина.

Вскоре после того, как я напечатал «Козлиную жизнь», Куприн прислал мне такое письмо (к сожалению, без даты):

«Дорогой Корней Иванович.

Будьте благодетелем: вышлите мне номера два журнала с «Козлиною жизнью». Тот экземплярчик, что Вы мне прислали на редакцию, у меня кто-то ужулил, а «Нивы» я так и не получил.

Передайте мой глубокий поклон Старику,— Ваши слова об его отношении ко мне меня тепло растрогали. А я не из чувствительных.

Ваш сердцем

А. Куприн.

Сколько у, меня сире-е-е-ни!»

## 6

Так и запомнились мне два Куприна: один — отравленный вином, опустившийся, другой — неутомимый, талантливый, молодо шагающий по своему гатчинскому весеннему саду, среди великолепных кустов

<sup>1</sup> Жаль, что в настоящее время этот спорт у нас не в чести. Лыжи для него нужны особенные — на узеньких железных полозьях, чтобы они не распоззались на льду. Парус натягивается на длинные бамбуковые палки, связанные бечевкой крест-накрест, между ними перекладина, за которую вы и хватаетесь, приладив парус у себя за спиной.

буйно цветущей сирени. И с ним два сенбернара огромного роста, которых в своей записке ко мне он любовно называет «зверьями». (Зверь — в его устах похвала.)

Однажды сюда, в его гатчинский сад, въехал уральский казак на своем норовистом коне.

Сухой и горбоносый  
Хорош казачий конь!  
Зрачки чуть-чуть раскосы,  
Не подходи, не тронь.

Все глядели на дикого коня издалека, с опаской. Но Куприн подошел к нему спокойный, уверенный, —

...погладил темя,  
Пошекотал чело  
И вдруг привстал на стремя,  
Упруго влип в седло..  
Всем телом навалился,  
Поводья в горсть собрал,—  
Конь буйным чертом взвился,  
Да, видно, опоздал!  
Не рысь, а сарабанда.  
А гости из окна  
Хвалили дружной бандой  
Посадку Куприна...

Эти стихи написал Саша Черный, старый друг и почитатель Александра Ивановича. История с казацким конем произошла у него на глазах. В том же стихотворении поэт называет Куприна могучим «приземистым» дубом, так как многим в ту пору казалось, что душевные и физические силы писателя все еще не изменили ему.

Куприн с величайшей симпатией относился к Саше Черному и к его стихам. Часто декламировал вслух:

Губернатор едет к тете.  
Нежны кремовые брюки.  
Пристяжная на отлете  
Вытанцовывает штуки.

И те стихи, которые впоследствии так любил Маяковский:

Склонив хребет, галантный дирижер  
Талантливо гребет обеими руками...

Позже, уже в эмиграции, он написал о Саше Черном — тотчас же после смерти поэта — горячую и нежную статью, которая остается неизвестной для русских читателей, так как по случайным причинам до сих пор не вошла в собрание сочинений Куприна<sup>1</sup>.

Мало кому известно, что Куприн и сам был очень неплохим стихотворцем. Стихи сочинял он на все случаи жизни, главным образом шуточные экспромты: басни, эпиграммы, всевозможные «юморески», пародии. Лирика плохо давалась ему. Думаю, если бы собрать все стихи, написанные Куприным с юных лет, получилась бы книга изрядных размеров.

<sup>1</sup> Статья напечатана в газете «Возрождение», 1933, № 2625. Озаглавлена «Саша Черный». Подпись: А. Куприн. Саша Черный еще в 1910 году посвятил Куприну стихотворение «Первая любовь».

В 1914 году, в первые же недели войны, он перевел язвительное стихотворение Гейне о предках кайзера Вильгельма II, войска которого только что вторглись в Россию. Этот перевод он тогда же собственноручно вписал в мой альманах «Чукоккала»:

«Дворцовая легенда»<sup>1</sup>

Есть в Берлине в замке старом  
Группа в мраморе одна:  
С жеребцом, пылая жаром,  
Пала некая жена.

Говорят, что эта дама  
Забрюхатела, и вот  
Возвеличился из срама  
Королевский прусский род.

Чистокровный прародитель  
Оказался молодцом,—  
Каждый прусский повелитель  
Так и смотрит жеребцом.

Речи их текут из стойла,  
Смех их — ржанье, мыслей — нет,  
Вся их жизнь — жранье и поило,  
Человека — вымер след.

1 сентября 1914.

Перевел А. Куприн».

Перевод сделан сразу, в один присест. Вообще Куприн писал и стихи, и статьи, и рассказы очень быстро, без всякой натуги — тонким, легким, стремительным почерком. Писать он мог при всяких условиях, в любой обстановке, примостившись к окну вагона или к уголку трактирного стола. И часто бывало, что те страницы, которые написаны им впопыхах, оказывались у него наиболее насыщены свежими, полновесными, классически четкими образами. Эта завидная легкость работы досталась ему нелегко: не забудем, что перед тем, как добиться ее, он прошел многотрудную школу газетной поденщины.

7

Все же торопливость работы не могла не повредить ее качеству. Нередко бывало, что в самую гущу глубоко продуманных и тщательно взвешенных образов вдруг прорвется неожиданно-негаданно какой-нибудь дикий ляпсус, которого меньше всего ожидаешь от писателя, вооруженного такими точными знаниями.

Один из подобных ляпсусов встретился мне в «Поединке». Мария Карловна вспоминает об этом случае в своих мемуарах. Она рассказывает, что зимой 1906 года, уже после того, как «Поединок» вышел третьим или четвертым изданием, я спросил у Александра Ивановича:

« — С каких же это пор голуби стали зубастыми?»

— Не понимаю, — недоуменно пожал плечами Куприн.

— Однако голубь ваш несет письмо госпожи Петерсон в з у б а х.

— Не может быть, — рассмеялся Александр Иванович».

Взяли книгу, проверили, оказалось — в знаменитом романе голубь и вправду зубастый.

<sup>1</sup> «Дворцовая легенда» — первоначальное название стихотворения Гейне «Романская сага».

«— Ведь вот бывает же такая ерунда, которую сам совершенно не замечаешь! — смеялся Александр Иванович».

И это не единственный случай. В отличном (хотя и неровном) рассказе «Черная молния» он написал о «бумажных монетах», каких спокон веку никогда не бывало. А немного раньше — года за два — в одном его рассказе, напечатанном в «Петроградской газете», меня поразила такая строка: «Вся сосна (или ель) затрепетала листочками...»

Трудно было понять, как это могло произойти, что проникновенный изобразитель Полесья, автор таких повествований о лесе, как «Болото», «На глухарей», «Лесная глушь», человек, который до тонкости знал биологию каждого дерева, пня и куста, оказался так невзыскателен к своему дарованию, что присвоил хвойному дереву листья!

Я написал о купринских «еловых листочках» в укоризненной газетной заметке. Куприн не обиделся и в свое оправдание сказал благодушно, что для «Петербургской газеты» вряд ли стоило особенно стараться: это ведь не «Русское богатство».

Здесь — печальная особенность его литературной работы, более вредная, чем ляпсусы вроде «бумажных монет». Первоклассный художник, лучшие произведения которого были встречены горячими хвалами Льва Толстого и Чехова, в то же время считал себя вправе сочинять десятки легковесных вещей, впадающих в банальную риторику, в дешевый шаблон.

В эпоху реакции 1907—1913 годов в Петербурге разрослась чертополохом крикливая и беспринципная желтая пресса, начисто порвавшая с героическими традициями недавнего прошлого: «Аргус», «Журнал журналов», «Синий журнал», «Весна» и многие другие. Мамин-Сибиряк, Короленко и Горький отнеслись к этой прессе враждебно, Куприн же, вышедший из низов бесшабашной газетной богемы, почувствовал здесь родную стихию и стал охотно поставлять низкопробным бульварным изданиям развлекательное, пустозвонное чтиво, словно он не автор «Поединка», «Реки жизни», «Изумруда», замечательной «Свадьбы»<sup>1</sup>, «Гамбринуса», а какой-нибудь микроскопический Брешко-Брешковский.

Среди них он был словно кит среди мелкой рыбешки, но рыбешка слишком тесно окружила — и в конце концов поработила — его. Он стал рьяным участником всех ее литературных затей, рассчитанных на громкую сенсацию, и, когда она вздумала создать коллективный уголовный роман «Три буквы», без дальних раздумий вступил в этот коллектив мелюзги.

Биограф писателя сообщает, что именно в этот период Куприным написаны такие мелкотравчатые, построенные на анекдотах рассказы, как «Неизъяснимое», «Люция», «Сила слова», «Заклятье», «Удав»<sup>2</sup>. В этих рассказах писатель дал полную волю всегдашнему своему тяготению к эксцентричным, пряным, курьезным, внешне эффектным (хотя бы и неправдоподобным) сюжетам.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы только в тогдашних рассказах он изменял своему дарованию: ведь и раньше и после, даже в наиболее серьезных вещах, написанных в толстовско-чеховской манере, он порою поддавался соблазну соскользнуть в безвкусную мелодраму, в банальщину. (Самый наглядный пример — повесть «Яма», где чрезвычайно рельефно представлены и взлеты и падения его мастерства.)

<sup>1</sup> «Свадьба» — лучший рассказ Куприна — почему-то остается до сих пор незамеченным.

<sup>2</sup> См. В. Афанасьев. А. И. Куприн. Критико-биографический очерк. Гослитиздат. М. 1960.

Кроме того, не забудем, что даже в этот период он сохранил непримиримую ненависть к «свинцовым мерзостям» российской действительности и продолжал обличать их со свойственным ему сосредоточенным и сокрушительным гневом (в рассказах «Анафема», «Черная молния» и других).

А если вспомнить при этом, что рассказ «Анафема», клеймивший православную церковь, был напечатан в развлекательном издании «Аргус», станет ясно, что ни о каком нравственном падении Куприна не могло быть и речи (как толковали о том во многих литературных кругах). Политический индифферентизм той растленной среды, с которой он связал свое имя, в очень малой степени отразился на нем.

Осенью 1911 года я посетил его в Гатчине и застал у него художника Щербова, знаменитого карикатуриста, который среди разговора извлек из кармана широких штанов бутылку английской горькой. Этикетку для этой бутылки, разноцветную, очень затейливую, изготовил, как потом оказалось, сам Щербов, и на ней замысловатой вязью среди всяких прихотливых орнаментов было выведено слово: «Купринская».

Никогда я не видел Александра Ивановича таким обескураженным и грустным: незадолго до этого один литературный бандит, Фома Райлян, принадлежавший к подонкам той самой компании, с которой Куприн так охотно яхкался, напечатал о нем такой оскорбительный пасквиль, что в припадке негодования писатель вызвал клеветника на дуэль. Клеветник отказался драться, и это вызвало новый скандал. Враги заговорили об «офицерских замашках» Александра Ивановича (автор «Поединка» — дуэлянт!!!).

Щербов (бородатый чудак, смесь художника, дикаря и ребенка) с величайшей нежностью, которая была для меня неожиданной, утешал приунывшего друга, стараясь отогнать от него печальные думы.

— Обгазуются! — говорил он картавя и снова доставал свою бутылку.

Не помню, в этот ли раз или позже, я застал в Гатчине у Александра Ивановича его лучшего и вернейшего друга, профессора Федора Батюшкова, чрезвычайно удрученного всей этой дуэльной историей. Батюшков, рыцарски преданный Куприну еще с давних времен, был его опекуном, его заступником, ангелом-хранителем, нянькой, вызволял его из всяких передраг. Отличный человек (только чуть-чуть скучноватый), он вообще сыграл благодетельную роль в жизни Александра Ивановича. Если память мне не изменяет, он-то и удержал Куприна от опрометчивой расправы со скандалистом Райляном.

Но скандал и без того был велик.

Как мы знаем теперь, он произвел очень тяжелое впечатление на Горького.

«Измучен историей Куприна—Райляна,— писал Горький из Италии Константину Треневу,— со страхом беру русские газеты, ожидая самых печальных происшествий. До смерти жалко Александра Ивановича и страшно за него».

Как нарочно, около этого времени компания темных дельцов решила извлечь барыши из пылкой любви Куприна к цирковому спорту: по их настоянию он принял участие в чемпионате французской борьбы и регулярно выступал на арене в качестве члена жюри.

Горькому эти цирковые выступления Александра Ивановича причиняли душевную боль.

«Куприн,— писал он А. Н. Тихонову-Сереброву,— публичный писатель, которому цирковые зрители орут: «Иде (где) Куприн? Подать Куприна!» Тургеневу бы или Чехову — крикнули этак?»

У Горького и Куприна были отношения сложные. Впервые я увидел их вместе 4 марта 1919 года на заседании Союза деятелей художественного слова. Незадолго до того я расхворался, и поэтому заседание происходило у меня на квартире — в Ленинграде, на Кировной.

Первым за полчаса до начала пришел Александр Иванович. По всему его обличью было видно, что угарная полоса его жизни уже миновала. И следа не осталось от того обрюзгшего, мешковатого увальня, с распухшим и неподвижным лицом, каким он был еще очень недавно. Не чувствовалось в нем и веселой готовности ко всяким мальчишеским озорствам и проделкам, которая отличала его во времена «Поединка». Он сильно исхудал и притих.

Приветливо поздоровался с моими детьми и, так как они увлекались в то время какой-то настольной игрой (игра называлась «пять в ряд»), тотчас же начал играть вместе с ними.

Сыграли две партии, вошел Горький, хмурый и очень усталый.

— Я у вас звонок оторвал, а дверь открыта.

Куприн кинулся к нему с самой сердечной улыбкой, но почему-то неуверенно, робко.

— Ну, как здоровье, Алексей Максимович? Всё после Москвы управляетесь?

— Да, если бы не доктор Манухин, давно уже был бы на Волковом... (Горький закашлялся.) Надо бы снова к нему, да все времени нет. Я сейчас из Главбума... потеха... Вот документ... поглядите.

Горький пошел в прихожую и достал из кармана пальто какую-то большую бумагу.

Оба они стали читать документ и возмущаться его крайней нелепостью.

И опять удивила меня какая-то новая интонация в голосе Александра Ивановича, смиренная и как будто чуть-чуть виноватая.

Разговор был самый заурядный, словно встретились случайные знакомые, не обремененные памятью о былых отношениях.

— Вы молодцом! — сказал Александр Иванович. — Вот мне — подумайте только! — уже сорок девять.

— А мне пятьдесят! — сказал Горький.

— И смотрите: ни одного седого волоса!

В таком духе шел весь разговор. Слушая его, вряд ли кто мог догадаться, сколько страстного интереса друг к другу, сколько взаимного восхищения, тревог, разочарований, обид пережили в минувшие годы эти два собеседника, обменивающиеся здесь, за столом, незначительными, ни к чему не ведущими фразами.

Трудно даже и представить себе, как много значил в жизни Куприна Горький. Куприн не раз повторял, что никому он не был так обязан, как Горькому.

«Если бы Вы знали, — писал он Алексею Максимовичу в 1905 году, — если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это».

И утверждал, что, если бы не Горький, он так и не закончил бы своего «Поединка». «Я могу сказать, — писал он Горькому, — что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам».

«Поединок» при выходе в свет был посвящен Куприным Алексею Максимовичу: «...с чувством искренней дружбы и глубокого уважения». В следующих изданиях этого посвящения нет. Потом многое разделило их, они разошлись — и надолго. Теперь это все отодвинулось в прошлое. Теперь, после Октябрьских дней, они, как и в старые годы, снова встре-



тились на общей работе: для горьковской «Всемирной литературы» Куприн, по предложению Горького (и, кажется, при содействии Батюшкова), перевел трагедию «Дон Карлос» и написал небольшую статью о своем любимом Александре Дюма<sup>1</sup>.

То заседание Союза деятелей художественного слова, о котором я сейчас говорю, было многолюдным и долгим. Присутствовали: Александр Блок, Мережковский (враждебные друг другу из-за поэмы «Двенадцать»), Николай Гумилев, Юрий Слезкин, Виктор Муйжель, Эйзен-Железнов и еще двое-трое, имена которых я забыл. Каждому из нас было поручено дать отзыв о намеченных для переиздания книгах. Смушаясь присутствием Горького, я кое-как прочитал свою рецензию о его пьесе «Старик». Унылый Муйжель пробубнил что-то нудное. Потом выступил Александр Иванович и, обращаясь главным образом к Алексею Максимовичу, сделал (не по бумаге, а устно) очень содержательный и тонкий разбор рассказов Давида Айзмана, которые рекомендовал для издания. Говорил он неторопливо, деловито, умно — точными и вескими словами. Доклад произвел большое впечатление на всех. Даже у Блока потеплели глаза.

После заседания Куприн, с какой-то подчеркнутой вежливостью попросившись со всеми (в том числе и с детьми), отвел Алексея Максимовича в сторону и просил похлопотать о какой-то старухе писательнице (чуть ли не о Марии Валентиновне Ватсон). Горький, вечно торопившийся, не имевший ни минуты свободной, все же задержался в прихожей: было видно, что этот Куприн, Куприн, принимающий к сердцу чужую беду, Горькому особенно близок.

Наскоро простившись со всеми, он ушел с Александром Ивановичем, и в окно было видно, как они оба, оживленно беседуя, идут по Манежному: Горький — большими шагами, а Куприн — семенящими, мелкими.

Вскоре после этого свидания с Горьким Куприн написал мне такое письмо:

«Дорогой Корней Иванович.

Окажите содействие!

Я просил Алексея Максимовича походатайствовать об участии четырех гатчинских реалистов, засаженных на Шпалерную (сопливые контрреволюционеры!). Но Алексей Максимович, уже принимавший раньше под свое крепкое крыло моих подобных клиентов, заболел. Тогда я пристал к А. В. Луначарскому (и тоже в пятый, кажется, раз). Начав с притчи о марктовеновской собаке и докторе, я указал ему, что ужасные заговорщики были все в возрасте от 14—17 лет. Вся их вина: один (да еще на службе, да еще на казенном Ремингтоне) переписывал дурацкую эсеровскую прокламацию, а другие были уверены, что история запишет их имена на скрижали. В сущности, игра в Робинзона, путешествие в Америку, «Хвост Пантеры» и Шерлок Холмс! Не более!

Луначарский мое письмо со своею припиской препроводил Лобову. Трое мальчиков были вскоре освобождены. Но четвертый И в а н Т а р а с о в, к нашему общему огорчению, перешагнул за семнадцатилетний возраст (ему 17). И вот его отправляют на общественные работы, а у него порок сердца. Мотив — именно великовозрастность.

Я уже не говорю о его отце и матери: каждый день вижу их ужасные, умоляющие, жалкие глаза! Но мне хорошо известно, что из всей крамольной компании Тарасов был наиболее ребенком, наиболее наивным фантазером и в то же время наименее виноватым. Также я знаю (в Гатчине все всё и обо всех знают), что у этих поросят не было старших ру-

<sup>1</sup> См. А. Б о д р о в а. История одной рукописи. «Новый мир», № 3, 1958.

ководителей. Все дело — любительская, смешная отсебятина. Господи! Разве вместо твердой, серьезной, огромной власти метать свои громы в полоротых шибздииков?

Если можете, поклянчите у кого-нибудь! Очень тронете преданного Вам

А. Куприна».

На полях:

«Р. С. Увидите Алексея Максимовича — передайте ему мою благодарность. А. К.  
1919; 27. V».

Алексей Максимович принял в Иване Тарасове большое участие, но оно оказалось ненужным, так как тот был освобожден еще раньше.

Я привел это купринское письмо, чтобы читателю стала ясна одна малозаметная черта в характере Александра Ивановича: его сердечная отзывчивость, участливость. Вспомним хотя бы о том щедром залоге, который в 1905 году он разрешил Марии Карловне внести за меня. Правда, доброта его проявлялась порывами. Порою он бывал бешено вспыльчив, порою, как и каждый из нас, несправедлив, недостаточно чуток. Но никогда не покидала его страстная забота о людях, так или иначе обиженных жизнью. Очень верно говорит Бунин, что в Куприне было «наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму...»

Помню, его одесский приятель Антон Антонович Богомолец, юрист, рассказал ему (в 1902 или 1903 году) о какой-то старухе, которую беспощадно колотит родной сын, громадного роста биндюжник. Куприн в тот же день разыскал этого человека в порту и, рискуя быть изувеченным его кулаками, сказал ему такие крутые слова, что тот закаялся измываться над матерью. Я видел эту женщину, когда она пришла к Богомольтцу, чтобы поблагодарить Куприна. Куприн принял ее с сыновней почтительностью и, не желая, чтобы мы восхваляли его, сказал, когда его гостья ушла:

— Хорошо пахнут старухи на юге: горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и — ладаном.

Осенью 1919 года он совершил самую большую ошибку, какую когда-либо совершал за всю жизнь: перешел советскую границу и стал эмигрантом. На восемнадцать лет оторвался от родины и этим страшно обескровил свое дарование. Невозможно без глубокого волнения читать его зарубежные письма к друзьям: в них отражается такая сиротская, безнадежно тоскливая жизнь, всецело погруженная в мелочные заботы о хлебе, какая была бы не под силу и юным талантам, а Куприн на чужбине сразу постарел и ослаб.

«Я как-то встретил его (в Париже.—К. Ч.) на улице,—вспоминает Бунин,—и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он... плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза».

И горькая, безысходная бедность.

«Сейчас дела мои рогожные,—писал Куприн из Парижа одному педагогу.—...Ах, если бы вы знали, какой это тяжкий труд, какое унижение, какая горечь писать ради насущного хлеба, ради пары штанов, пачки папирос... Правда, иногда ласковый привет читателя умилит, об-

радует, поддержит морально, да без него и страшно было бы жить, думая, что вот возвел ты многоэтажную постройку, работу всей жизни — а она никому не нужна. И плохой советчик в одинокие минуты бедность».

«...Все, все дорожает. Зато писательский труд дешевеет не по дням, а по часам. Издатели беспощадно снижают наши гонорары, публика же не покупает книг и совсем перестает читать».

«...И нет дня, чтобы не были с утра до вечера заняты либо хлопотами о *carte d'identité*<sup>1</sup>, либо спешным взносом налогов: налогов прямых, косых, дополнительных, пооконных, потрубных, посемейных, подоходных, прожиточных, квартирных, беженских, эмигрантских, потом за все четыре румба, за то, что вы брали ванну чаще, чем раз в год, и за количество штанов и подштанников... Руки делаются свинцовыми, и перо выпадает из рук».

«...У нас уже 48-й день стоят холода самые полярные. За то, чтобы поглядеть на каменный уголь, взимают 40 сантимов; подержать в руке — франк, а лизнуть — франк 50 сантимов».

В 1937 году Куприн возвратился на родину такой изможденный и хилый, что его невозможно было узнать, словно его подменили. В этом немощном, подслеповатом человеке с такой тоненькой шеей, с таким растерянным, изжелта бледным лицом не осталось ни единой черты от того Куприна, какой запечатлен в его книгах. Из них он всегда будет вставать перед нами как здоровый, мускулистый, полнокровный талант, пышущий нутряными, могучими силами. Замечательный художник, мастер меткого и емкого слова, достойный ученик Льва Толстого и Чехова, автор «Свадьбы», «Поединка», «Листригонов», «Реки жизни», «Гамбринуса» — он стал для советских людей одним из любимейших русских писателей. Та «многоэтажная постройка», которую он с таким увлечением воздвигал в свои лучшие годы и о которой думал в припадке отчаяния, будто она «никому не нужна», теперь, говоря фигурально, стала желанным и уютным жилищем для миллионов его внуков и правнуков.

---

<sup>1</sup> Удостоверение личности.



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ

\*

## РАЗВЕДЧИКИ СИБИРСКОЙ НЕФТИ

**Н**едavno пришла радостная весть из Сибири. Разведчики недр в результате многолетних поисков открыли в тайге, среди болот и озер Тюменской области, крупные месторождения нефти. Забили первые нефтяные фонтаны будущего сибирского Баку.

Разведка найденных соковок продолжается. Поисковые партии прокладывают трудные маршруты на сибирской земле..

1

Задолго до рассвета меня разбудил дождь. Не могу уже заснуть, слушаю, как он барабанит по брезентовой кровле палатки. Проснулся и Семен Никитич Урусов. Из соседней палатки доносится:

— Сосна! Я — Береза. Я — Береза. Прием, прием.

Буровой мастер связывается по радио со штабом геологоразведочной экспедиции. Обычно мы выходим на связь в семь утра, когда поисковые партии докладывают о событиях минувшей ночи. Мастер не дождался условленного часа. Наверно, встревожен вестником таежной осени.

— Береза! Я — Сосна. Что там у вас? Прием, прием.

Голос диспетчера экспедиции, усиленный репродуктором, слышит весь лагерь.

Против моего ожидания Урусов не проявил никакого беспокойства. Мало того, он даже обрадован разбудившим нас дождем.

— Льет как из ведра, — говорит он таким тоном, будто сообщает радостную новость. — У вас тоже? Скоро поднимется вода в Мульме. Как слышите? Поднимется, говорю, вода. Теперь «Урай» не застрянет.

— И я так думаю, Семен Никитич, — соглашается диспетчер. — Похоже, что сегодня доберется к вам. Только скорее отпусти его. Выгрузишь «башмаки» — и пусть сразу же отчаливает. У вас все?

— Пока все. До связи!

— До связи!

Услышав слово «башмаки», я понял, почему Урусова сейчас не огорчает надолго, видимо, зарядивший дождь.

2

Позавчера не пробился к лагерю разведчиков буксирный катер, названный именем поселка лесников. А как его ждали здесь, надеясь получить спасительные «башмаки» для трактора!

Груда этих стальных ребристых траков лежала на корме «Урая», и мне хорошо было известно, зачем они нужны Урусову.

Его бригада высадилась на берегу таежной реки, чтобы пробурить разведочную скважину, и не может приступить к работе: не удалось переташить через болото какие-то части бурильного оборудования. Они находятся неподалеку, всего лишь в семи кило-

метрах. Это расстояние оказалось непреодолимым для трактора на обычных гусеницах. Нужно расширить их, прикрепить «башмаки». Тогда он пойдет по болоту.

Вот почему с таким нетерпением ждали нас в лагере Урусова. Помню, как он обрадовался, когда начальник Шаимской экспедиции Иван Федорович Морозов сообщил по радио, что все «башмаки» погружены и с минуты на минуту катер выйдет в рейс. Морозов спросил, много ли осталось оборудования на старой вышке, сколько времени понадобится, чтобы переправить его через болото.

— Все подхватим в два-три рейса,— донесся из тайги голос Урусова.— Только помогите сегодня обуть трактор...

— Сейчас отправим «Урай». Иду на пристань.

Мы вышли из рации.

— Не подвела бы нас Мулымья,— озабоченно говорил Морозов, поднимаясь по трапу на борт катера.— Давно не было дождей. Легче стало работать в тайге, на болотах. А водные пути испортились. Парадокс! Мало воды — плохо. Много — тоже плохо. Как думаешь, Николай, пропустит тебя Мулымья?

Капитан не совсем уверенно ответил:

— Пробьемся, Иван Федорович.

— Надо во что бы то ни стало пройти к Урусову. Понимаешь, без этих «башмаков» не начнет бурить.

Капитан неодобрительно поглядел на тяжелый груз, сваленный в кучу на палубе.

— А мне без этого железа было бы спокойнее. Поглядите — корма ушла в воду на все восемьдесят сантиметров...

— Ну уж и на все! — возразил Морозов, хотя видно было, что катер сидит в воде глубже, чем обычно, когда не валят ему на борт столько «желез». — Во всяком случае, товарищ Кориков, еще раз повторяю: сегодня же доставьте груз на место назначения,— сказал он, переходя на официальный тон.

В Шаимской экспедиции хорошо известно: если Иван Федорович заговорит вдруг вот так, отчеканивая каждое слово, лучше не пускаться в пререкания. Значит, он взвесил все за и все против, принял решение и будет жестко настаивать на своем.

Только что я был свидетелем небольшого, но поучительного конфликта, в котором проявилась эта обдуманная требовательность начальника экспедиции.

В его комнату вошел — вернее сказать, ворвался — одетый в брезентовую куртку и резиновые сапоги рослый парень с железным шлемом сварщика в руке. Разговор начавшись сразу же на высокой ноте.

— Почему задержали выплату по наряду? Я буду жаловаться!

Морозов спокойно произнес:

— Не только задержал, но и вычту с вас за брак.

— Попробуйте! — с угрозой выкрикнул сварщик.

— Я уже дал указание бухгалтеру.

— Работа принята, акт подписан. Платите по наряду.

— Акт составлен неправильно,— все так же невозмутимо продолжал Морозов.— И за это ответит тот, кто его подписал. А если вы откажетесь заварить как следует швы, не уплачу ни копейки за всю работу.

Сварщика прислали из Тюмени сварить цистерну для горячего. После того как был подписан акт и работа принята, обнаружилось, что в нескольких местах швы заварены неряшливо, и нужно было вторично их заварить. Сварщик отказался сделать это без дополнительной оплаты. «Работа принята. А что еще нужно сделать — платите особо».

— Ставлю вас в известность,— сохраняя тот же официальный тон, без видимого раздражения предупредил Морозов чуть поостывшего посетителя,— что в нашей экспедиции это первый, насколько я знаю, случай позорного рвачества. И для того, чтобы такое не могло никогда повториться, я использую все права руководителя экспедиции.

— Не имеете права лишать рабочего зарплаты,— прервал его сварщик.

— Вы сами лишаете себя заработанных денег. Идите выполняйте то, что должны сделать. Больше нам не о чем с вами толковать.

Когда сварщик удалился, видимо надолго запомнив этот разговор, Морозов сказал мне:

— Вероятно, формально я был неправ. Акт есть акт, и этот горячий парень мог бы доказать свою невиновность в том, что обнаружено было после того, как его работу принял. Но я подумал: можно ли позволить, чтобы недобросовестность не была наказана? И поэтому твердо решил заставить этого парня заново сварить швы. И ни в коем случае не оплачивать эту работу, хотя причитаются за нее сущие пустяки...

Капитан «Урая», прощаясь с Морозовым, спросил:

— Много людей возьмете на базе?

— Посадишь всех, кто нужен Урусову.

Это значит, что нужно зайти в поселок, где живут рабочие бригады Урусова, и взять на борт двенадцать человек: они отправятся с нами на разведочную буровую. По выражению лица капитана видно было, что это не доставит ему никакой радости. Еще раз он прошел на корму, окинул неодобрительным взглядом «башмаки», под тяжестью которых осадка катера увеличилась на десять сантиметров. Матрос вытянул на палубу сброшенный с пристани причальный канат, и мы тронулись в путь.

Поселок Урай, облюбованный штабом геологоразведочной экспедиции, стоит на пологом берегу реки Конды, и едва мы отошли от причала, зеленая стена тайги закрыла от взора и рубленые аккуратные дома и целую россыпь передвижных «балков» — крохотных избушек на бревенчатых полозьях.

Русло Конды не очень широко, тайга чуть расступилась, пропуская ее в свои дебри, и можно разглядеть каждое дерево на обоих берегах. Ближе к воде тянутся заросли светло-зеленого тала. За ними вымахнули во весь рост стройные бронзовые сосны, озирают оттуда, из-под облаков, свои владения. Раскаленными угольками светятся в темной хвое ягоды рябины, и отчетливо проступает в ольховнике каждый листок, тронутый осенним увяданием.

Солнце еще греет по-летнему, но из лесу тянет холодком. Это особенно заметно, когда катер, оглябая песчаные перекаты, прижимается то к одному, то к другому берегу. Но и здесь не всегда можно пройти. Во многих местах бурелом пошвырял в воду огромные стволы, загородил фарватер.

Тем не менее без всяких злключенияй мы прибыли в поселок буровых рабочих. В просветах между деревьями показались такие же, как и в Урае, передвижные «балки» и рубленые дома — поставили их предусмотрительно в некотором отдалении от реки.

Двадцать пять километров — расстояние не очень большое даже для буксирного катера, который не отличается резвым ходом. Но извилисто русло Конды заставило нас добрых шесть часов петлять в тайге. Есть такой термин — «коэффициент извилистости». Для здешних рек он выражается в следующей формуле — один к трем. Это означает: на каждый километр прямого русла приходится три километра извилин. Река выписывает сложный узор, состоящий из самых замысловатых кривых — они бывают крутыми, растянутыми, сближенными или отстоящими на большом расстоянии одна от другой. Плынешь по такой реке с большим «коэффициентом извилистости», и солнце ежeminутно меняет свое положение. Только что светило спереди, вот уже бросает свой луч справа или осталось за кормой. Иногда катер дважды огибает одну и ту же песчаную косу или поросший елью мыс, то зайдет с одной стороны, то с другой. Как велит ему река.

А другого пути здесь, увы, нет. Пока не наступит зима — передвигаться можно только по рекам. Потом, когда мороз совладеет с ними, с болотами и озерами, пойдут в тайгу целые колонны машин. Беда лишь, что в эту пору года гораздо труднее бурить скважины.

Когда наш катер приблизился к деревянным мосткам пристани, здесь уже собрались все пассажиры. Они не замешкались, взбираясь на палубу, и через минуту здесь яблоку негде было бы упасть. Каждый принес с собой спальный мешок, а бригадная повариха Валя заставила принять на борт несколько ящиков с консервами, папиросами, сухарями, мешки с крупой, мукой, сахаром, закопченные на костре ведра и котелки.

Капитан не мог ничего возразить: все, что несли с пристани на «Урай», нужно было непременно взять, все это везли в тайгу, в лагерь разведчиков. Ни кто не сказал бы, что Валя и рабочие буровой бригады берут с собой хоть килограмм лишнего груза.

И вот наконец мы отплываем, и снова раздвигается перед нами лес, взлетают и са-

дятся где-то в зарослях тала черные, как головешки, гагары, бурлит за кормой янтарная торфяная вода, загорается в брызгах выхлопной трубы радуга и гаснет в тот момент, когда очередная петля реки уводит нас в тень прибрежных кустов.

На палубе сидят люди, не первый раз видящие все, что открывается глазу на Конде,— эту строгую красоту тайги в преддверии осени, причудливые очертания стволов, вымытых до сверкающей белизны, нависшие над головой корневища сосен и дубов, под которыми потемнела, будто опечалилась река.

Третью, а то и пятую осень встречают на Конде бурильщики, монтеры, слесари, механики, мотористы геологоразведочной партии. В большинстве своем это молодежь — кто из ремесленного, кто из техникума. Многие пришли сюда в разведку из ближних поселков, иные из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска. Сколько раз вот так же на палубе речного катера плыли они к буровой или с вахты к себе в поселок! Кажется, давно уже примелькалось все, что сейчас захватило, взволновало и покоряет человека, впервые увидевшего тайгу Северного Зауралья. Но что же иное заставило их притихнуть, вполголоса перебрасываться несколькими словами и смотреть, смотреть, не отрываясь, на проплывающие перед нами, то повеселевшие под солнцем, то нахмурившиеся в тени, брошенной на них облаком, полные какой-то неразгаданной тайны низкие берега этой лесной реки?

Стоит, облокотясь о поручни, молодой человек в стеганой на вате куртке. Курит, изредка оборачивается, услышав чей-либо голос. Молча провожает взглядом вспорхнувшую чайку. Так же безмолвно смотрит на пучок хвои, привязанной к шесту,— бакенщик позаботился, чтоб мы не сбились с фарватера.

Это помощник бурильщика Александр Васильевич Богданов, я с ним грузил на катер продовольствие для бригады. Показалось мне, что Богданов не принадлежит к категории молчаливых людей. Он шутиливо досаждал Вале своими советами, как лучше уложить на палубе ящики и мешки, сам живо откликался на шутку. В разведке не новичок. Работал в Приполярье, бурил скважины в низовьях Оби, да и здесь уже третий год. Родом из тюменского села Мазурово. Страстный рыболлов. Это его две удочки привязаны к мачте.

Пользуюсь первым пришедшим в голову предложением, чтобы заговорить с ним, прошу дать прикурить. Александр Васильевич протянул коробок спичек. И когда обернулся, я уловил в его взгляде — нет, я не ошибся — то, что никак не могло бы поощрить на разговор. Я почувствовал, что в эту минуту бестактно оторвал человека от занятия, которое доставляет ему высокую радость. Он ничего не сказал, не подал виду, что вовсе не расположен к беседе. Но я вернул ему спички и отошел в сторону.

А по обе стороны нашего неторопливого суденышка проплывала тайга, то угрюмо придвигаясь вплотную и заставляя лавировать между поваленными соснами, то приветливо расступаясь перед нами, и тогда открывался впереди небесный простор и прохладный ветерок полоскал на мачте красный выпел.

Так бы и шло все в полном, как говорится, благополучии, и мы через два-три часа добрались в лагерь Урусова, выполнив свою ответственную миссию, и хлопотливая Валя, отложив в сторону учебники — она готовится к экзаменам в медицинский техникум,— накормила бы нас ужином. Но в тот вечер мы не посидели у костра, не увидели Урусова. Остался необутым его трактор...

### 3

Плавание по Конде было вполне безопасным: вода еще не упала так низко, как на Мулымье.

Первое препятствие при входе в этот приток Конды мы взяли без особых усилий. Здесь лесники поставили свои боны, ловят бревна, сплавленные с верховьев реки. Войти в Мулымье можно, только подмяв под днище катера скрепленные цепями огромные стволы. Не знаю в точности, как это отражается на обшивке судна, на его винте. Бревна, по которым прошел «Урай», тут же всплыли за его кормой, ничто им не повредило. А вот катер, наверно, получил не одну царапину. Да и винт его ведь совсем не приспособлен к таким испытаниям.

Мне показалось, что куда разумнее было бы ставить раздвижные боны, чтобы каждое судно, входя в Мулымью, не рисковало потерять винт или пробить свое днище. Наш капитан согласился с этим. Точку зрения лесников выяснить не удалось. Судя же по тому, что видишь на многих реках Тюменской области, здесь они не обременяют себя заботами о сохранении нормальных условий для плавания судов.

Итак, мы вошли в Мулымью и сразу же почувствовали, что на этой реке хозяйничают нерадивые люди. Здешние леспромхозы, слышал я, управляются с планом заготовки древесины. Валят они лес по плану. Но почему так оголены берега? Разве здесь избавили лесников от обязательства оставлять защитную зону вдоль рек, не губить их варварскими порубками на прибрежных участках?

До чего же уныло выглядят заболоченные, одичавшие в полном смысле слова мулымьинские берега! Катер шел вверх по течению, и все, кто недавно стоял на палубе, любуясь тайгой, вбирая в себя ее красоту, все с горечью теперь глядели на опустошенную землю. Мы уже не видели по обе стороны зеленые стены, не стояли над рекой ее верные стражи — сосны и кедры, дубы и ели. За жиденькой изгородью прибрежного тала виднелись брошенные, необрущенные стволы — не дотасили зимой до речки, а возможно, забыли про них. Вдоль берега тоже покоились на мелководье тысячи распиленных деревьев. Зрелище было настолько горестное, такую досаду вызывало в каждом, кто здесь живет в постоянном общении с природой, что неволью то у одного, то у другого срывалось крепкое словцо по адресу лесников.

Капитан в продолжение всего рейса не выходил из рулевой рубки, опасаясь, наверно, как бы матрос не сбился с фарватера. Теперь, когда потянулись эти обезображенные берега, он присоединил свой голос к тем, кто «выдавал» лесникам.

— Погубят Мулымью, это факт. Пятьсот тысяч штрафа заплатили за вырубку водозащитных зон, а премий за перевыполнение плана взяли еще больше... Скоро здесь воробью будет по шишолотку, это факт!

— А что им? — заговорил помощник бурильщика Богданов. — Уйдут отсюда, новые делянки присмотрят, а нам оставят деревянное дно...

Я еще не знал, что это такое — деревянное дно. Не прошло и часа, как мы оказались там, где речное дно превратилось в бревенчатый настил.

Несколько раз «Урай» сталкивался с «топляками». Внезапный удар, судно вздрагивает, на мгновение останавливается. Слышно, как проходит под корпусом катера «топляк» — полузатонувшее бревно. Огромный ствол погружен в воду, заметить его можно только в очень ясный, солнечный день. Тогда еще издали разглядишь, в каком месте реки плывет тебе навстречу «топляк», угрожая сломать винт, продырявить корпус катера. Словно торпеды, пущенные вражеской рукой, эти бревна подстерегают судно, превращая каждый рейс в плавание, полное риска.

Река несет такую «торпеду» день, два — все дальше и дальше от места, где выкачали на берег заготовленные стволы и не позаботились сплотить их как следует да проследить, чтобы все до единого они дошли до запани.

На пути «топляка» оказалось мелководье. Бревно уткнулось в песок. Догнал его еще один «топляк». И тот остался здесь. Так возникает деревянное дно.

Теперь только, весной, когда высоко поднимется вода, можно будет пройти здесь на катере. Там, где бревнами покрыто дно, не могут нереститься рыбы. Гибнет уйма древесины. Засоряются реки. Наносится огромный ущерб судоходству.

И больше всех страдают от этого разведчики, пришедшие в таежный край за нефтью. Река — единственный путь в заболоченной тайге. Все маршруты разведчиков пролегают поэтому вдоль рек. Лишить их возможности перебрасывать с места на место тяжелое оборудование по рекам — значит задержать разведку земных недр, отдалить то время, когда хлынет большая нефть Сибири.

Катер резко останавливается. Сильный толчок, всех, кто стоял на палубе, валит с ног. Еще один «топляк»? Капитан дает задний ход. Наглухо воев двигатель, вскипает рыжая вода за кормой. Судно не шелохнулось. Матрос опускает за борт длинный шест.

— Шестьдесят! — кричит он капитану.



Под нами только шестьдесят сантиметров воды. Осадка у катера сейчас наверняка не меньше семидесяти. Значит, угораздило все-таки наскочить на мель. А ведь как берегся наш молчаливый капитан! Сколько раз умело обходил перекаты, угадывая их по каким-то ему одному известным приметам! А сейчас посадил «Урай», да еще на полном ходу.

Ревет двигатель, окутывая синим дымом судно, вращается винт, но «Урай» не сползает с грунта.

— Всем — на корму! — приказывает капитан.

Перебираемся на корму, сгрудились между ящиками и мешками, ждем. Еще одна попытка сняться с мели не приносит удачи. И тогда кто-то обращается к капитану:

— Давай, Николай Тимофеич, пособим-ка тебе.

Человек восемь или десять, все, кому хватило места на носу, упираются шестом в дно реки. Включен «полный задний ход». Катер сползает с грунта.

Под одобрительные возгласы пассажиров «Урай» снова поднимается вверх по течению. Двигатель работает на средних оборотах. Тише едешь — дальше будешь. На Мулымье эта поговорка не устарела.

К сожалению, недолго движемся вот так, осторожно огибая подозрительные места, то и дело меняя курс, часто сбавляя ход до «самого малого». Снова резкий толчок валит нас на палубу, опять упираемся в длинный шест, помогая двигателю, но все наши усилия не приводят ни к чему. Сидим на мели полчаса, час. Солнце уже окунулось в позолоченную листву. Яростно атакует мошкара, будто спешит расправиться с ними прежде, чем совсем стемнеет.

И как раз в тот момент, когда мы вытаскиваем из воды шест, готовые уже откачаться от бесплодных попыток снять наше судно с мели, «Урай» вдруг разворачивается и как ни в чем не бывало продолжает прерванный рейс. Не понятно, что случилось — размыло винтом песок или оторвалось и ушло своим курсом, вниз по течению бревно, прижатое к днищу катера.

Матрос стоит возле рулевой рубки, измеряя шестом глубину реки. Время от времени докладывает:

— Восемьдесят. Девяносто. Восемьдесят пять.

Все умолкли, слушают эти краткие донесения. Медленно проплывают за бортом, покачиваясь на воде, сосновые стволы. Никто теперь не обращает на них внимания. Только бы еще немного, ну хотя бы два-три часа Мулымья не заставила нас размышлять винтом песок под днищем катера. Обмелела река, выглянули из воды на фарватере «лысины». Еще не стемнело, можно издали увидеть такие отметины, своевременно изменить курс и обойти их стороной.

— Семьдесят пять! — предостерегающе крикнул матрос.

Капитан застопорил двигатель. Дальше идти нельзя. Может, у берега глубже? «Урай» осторожно приближается к правому, обрывистому берегу. Нет, и здесь мало воды. Направляемся в другую сторону. Матрос предупреждает капитана:

— Семьдесят!

Не хватает всего лишь десяти сантиметров глубины, чтобы пройти дальше. Под нами — деревянное дно. Бревна лежат плотным слоем от берега до берега. И невозможно отыскать между ними щель, чтобы продолжить это затянувшееся плавание.

Капитан вышел из рулевой рубки.

— Вернемся, Иван Ильич?

Механик монтажной бригады не соглашается отступить. В лагере Урусова ждут его. Нужно обуть трактор в «башмаки». Все люди на борту «Урая» должны утром подняться на вышку. Они тоже не хотят повернуть назад.

— Схожу посмотрю — наверно, остался проход между бревнами, — говорит механик и быстро снимает с себя сапоги, брюки, пиджак.

— Простынешь, Иван Ильич, — пробует остановить его капитан.

Механик спускается за борт и бредет по пояс в воде, спотыкаясь о бревна. Вот он достиг середины фарватера. Здесь совсем мелко. Он идет к берегу, и мы видим, что там тоже нет прохода.

— Крепко утрамбовано! — сокрушается механик. — Бревно к бревну, как припаянные...

Кто-то советует капитану высадить всех на берег.

— Налегке, может, пройдешь, а мы тебя догоним...

«Урай» пробирается к берегу между корягами и рухнувшими в воду деревьями. Все понимают, что это последняя попытка одолеть заслон, возникший на нашем пути. Если и теперь не оставим позади деревянное дно, ну что ж, повернем обратно. Никто ни в чем не упрекнет нас: мы сделали все, чтобы прибыть сегодня в лагерь Урусова.

Смотрим с берега, как наше многострадальное судно выходит на фарватер. Помогли бы ему в эту минуту дружно прозвучавшие добрые напутствия! Нет, не пропустило вперед деревянное дно...

Не раз случалось вот так же поворачивать назад людям, сидевшим на палубе «Урая». Всегда неприятно отступать. Но сейчас горечь отступления была какой-то особенно тяжелой.

— Эх, могли бы завтра пустить буровую, — сказал механик.

Он уже согрелся в машинном трюме и теперь, поднявшись на палубу, заговорил о том, что было у каждого на уме.

Завтра не выйдет в поход за нефтью бригада Урусова. Не начнут в его лагере бурить скважину. Еще один день пропал безвозвратно. Сколько таких дней, недель, месяцев похитили эти таежные реки с деревянным дном, непроходимые болота, где тонут машины и тракторы, бесчисленные озера, возле которых земля не просыхает в самые знойные дни. Трудные маршруты прокладывают в поисках нефти разведчики Тюменской области...

Мне вспомнился недавний полет в ее северные районы. Под крылом нашего АН-2 висели вместо колес два поплавка. Поэтому он держался поближе к воде. От Тобольска до Ханты-Мансийска мы летели над Иртышом. Затем повела нас на север Обь. Иногда мы рисковали уйти от реки, выгадывая десяток-другой километров, но тут же возвращались к ней. Если нужно совершить вдруг посадку, только Обь и выручит: вокруг на все четыре стороны света — дремучая тайга.

Вначале я не мог заметить ни малейшего следа, оставленного в ней человеком. Рядом со мной сидели в кабине два геолога. Глядя на тайгу, один сказал:

— Неплохо поработала здесь партия Ковальчука.

Потом, минут через двадцать, я услышал голос второго; он тоже не отрываясь смотрел на тайгу:

— Быстрицкий как раз в этом месте нащупал перспективную структуру.

Меня разбирало любопытство: что они видят в безбрежном хвойном океане?

— Смотрите — эту просеку рубили топографы. А вот ту — чуть пошире — партия сейсмиков.

На темно-зеленом фоне протянулась едва приметная черная тесемка. Теперь и я мог увидеть маршруты разведчиков. Они шли на север, рубили вот эти просеки, переправлялись через реки и озера, увязали в болотах. Черные тесемки всюду вытянуты, как по линейке. Нигде не позволили себе разведчики уклониться в сторону, обойти препятствие.

Первыми шли топографы. След, оставленный их небольшими отрядами, очень трудно разглядеть с высоты птичьего полета. Сомкнулись кроны деревьев над узкой тропой, зеленеет трава там, где дымил, отгоняя мошкору, походный костер.

Затем, пользуясь картой топографов, в тайгу врубались партии сейсмической разведки. Они были вооружены не только пилами и топорами. Загрели в лесной чаще тракторные тягачи, потянули за собой по просекам «балки». Сейсмики явились сюда, чтобы прощупать с помощью очень чувствительных приборов земные недра, отыскать пласты, в которых скопится нефть или газ.

По следам сейсмиков двинулись геологопоисковые экспедиции. Бурили скважины, поднимали из недр образцы пород. И на протяжении многих лет никому не посчастливилось увидеть, как бьет из земли нефть...

Давным-давно открыли нефтяные залежи западнее Урала — в Башкирии, Татарии, на Волге и Каме. Примчался в Москву ставропольский газ. А тюменские разведчики

по-прежнему рубили вот эти просеки, сражались с болотной стихией, прокладывали в тайге «зимники», чтобы перетаскивать с места на место вышки, станки, трубы и в сорокаградусные морозы бурить глубокие скважины. И ни разу не удалось им отыскать мало-мальски значительную залежь нефти.

Глядя на геологическую карту Зауралья и всей Сибири, где найдены поистине неисчислимые запасы полезных ископаемых, вспоминаешь проникновенные слова А. М. Горького: «Земля как бы чувствует, что родился на ней законный, настоящий, умный хозяин, и, открывая недра свои, развертывает пред ним сокровища».

Все богатства щедро отдала законному хозяину сибирская земля. Все, кроме нефти и газа.

А может, и вовсе их нет в этих краях? Не ошибся ли «отец нефтяной науки», прозорливый ученый Иван Михайлович Губкин, предвещая, что не только к западу, но и восточнее Урала наша земля богата нефтью?

Шли годы, и никто из тюменских разведчиков не открыл дорогу нефтяному фонтану.

...Мы долго летели над озерами. Они лежали справа и слева от Оби — круглые, продолговатые, овальные, нанизанные, словно бусы, на тонкую нить речных протоков. Когда видишь сверху этот озерный край, кажется, будто упало на землю огромное зеркало, разбилось на тысячи осколков и в каждом запечатлен окружающий мир — деревья, камыши, облака. Из одного озера в другое переправляются и тень, которую отбрасывал, пролетая над ними, наш АН-2. Теперь он не так пунктуально следовал за петлями Оби — всюду сверкали в лучах солнца посадочные площадки.

— Вот они, слезы Сибири,— со вздохом проговорил мой сосед в кабине самолета.— Здешний рыбак, конечно, возразит: они нас кормят, эти озера. А нам от них одни слезы. Попробуйте выбрать здесь точку для скважины, притащить станок, вышку, поселить на несколько месяцев бригаду, снабжать ее всем, что нужно для разведки... Озера для нас такая же беда, что и болота. Забываешь об этом, только когда стоишь с ружьем на зорьке...

И как бы в подтверждение этих слов поднялись с озера потревоженные утки. Тысячи птиц заслонили водную гладь, и на какой-то миг исчезла тень самолета. А через минуту над другим озером увидели мы такую же стаю лебедей. Когда они взлетели и потянули низко над водой, казалось, встречный ветер принес из недалекого Заполярья и швырнул на озеро хлопья чистого снега.

— Взгляните, Павел Сергеевич, до сих пор не увезли ее отсюда.

— А как возьмешь? По этой речушке теперь не добраться сюда.

Я увидел из кабины самолета буровую вышку и барак на берегу речной протоки между двумя озерами. Мои попутчики, огорченные тем, что вышка оставлена в тайге, рассказали:

— В прошлом году здесь пробурили скважину. Похоже было — дадим немного нефти. Получили сернистую воду. Речная протока обмелела — ни войти, ни выйти. Станок и трубы зимой вытянули оттуда. А вышка—видели?—так и маячит на берегу...

Стоит она в тайге, как бы напоминая, что и сюда проникли искатели сокровищ земных недр и ушли с пустыми руками.

Вскоре показалась под крылом самолета еще одна длинная широкая просека. Оставили этот четкий след, наверно, такие же упрямые, мужественные люди, как и те, что трудились на берегу обмелевшей речной протоки. Потерпев неудачу в одном месте, они шли дальше, не теряя надежды увидеть нефть...

И увидели золотистый поток, хлынувший из недр земли вот здесь, на пологом пустынном берегу Конды, по которой возвращаемся мы, удрученные вынужденным отступлением.

Теперь уже некуда спешить, никто не ждет нас в поселке буровых бригад, и поэтому капитан не возражает, когда я прошу остановиться там, где весной прошлого года получили первый в Зауралье нефтяной фонтан.

Катер приткнулся бортом к длинному стволу кедра. Цепляясь за оголенные, высохшие ветви, я кое-как взобрался на берег. За мной последовал Александр Васильевич

Богданов — воспользовался случаем побывать на том месте, где когда-то бурил с Урусовым знаменитую скважину № 6.

Недалеке от реки возвышался грубо сколоченный деревянный помост, в центре которого чернела труба, водруженная в землю: Ничего примечательного не обнаружилось в этом сооружении и по соседству на выкорчеванной, во всех направлениях изрубленной тракторными гусеницами, колесами грузовых машин площадке. Кое-где глубокие колеи проросли травой, за деревянным помостом выглянули тонкие стебли бьярышника и голубики. Тайга пыталась вернуть в свои владения клочок земли, отвоеванный людьми.

Богданов показал мне глубокую яму, вырытую метрах в пятидесяти от скважины.

— Когда ударил фонтан, амбар заполнило доверху...

На дне земляного амбара гускло отсвечивала маслянистая пленка. В ней, как в черном полированном граните, отразилось облако, зажженное закатом.

— Некуда было девать нефть. Сожгли, чтоб не загрязнить речку.

Скважину закрыли, узнав, что она дает триста пятьдесят тонн нефти в сутки.

— Посмотрели б вы, как разыгрался в тот день фонтан...

Богданов уже рассказал, как бригада Урусова высадилась на этом берегу, с какими муками притащили тяжелое бурильное оборудование, сколько раз спасали от аварий скважину: ю не хватило горючего, го вышел из строя двигатель и нельзя было в весеннюю распутицу привезти запасные части. Зная все это, можно было представить себе, что пережили разведчики, когда «разыгрался» первый на их долгом и трудном пути нефтяной фонтан.

— Я не так давно в бригаде,— продолжал Богданов.— А Урусов — он лет десять, наверно, бурил в тайге разведочные. И каждый раз пустые. Бывало, пускаем новую — спросит кто-нибудь: «Ну как, Семен Никитич, догоним нефтишку?» «А куда ей деваться? — скажет мастер.— Мы ее, как медведя в берлоге, со всех сторон обложили. Не уйдет...» Вот и догнали. Когда пошла нефть, помню, первым он руки в ней вымыл... Стоим, смотрим на нее — наглядеться не можем. Так долго ждали этого дня...

Дождались большей удачи тюменские разведчики в солнечный день весны 1960 года. И когда вырастут на Конде промыслы и рабочие поселки, уцелеет, наверно, среди новых вышек вот этот грубо сколоченный деревянный помост, напоминая, что здесь, отвоевав у тайги клочок болотистой земли, разведчики получили первый в Сибири нефтяной фонтан.

#### 4

Было уже совсем темно, когда «Урай» подошел к пристани поселка буровых бригад. Не успели мы ошвартоваться, как примчался старший геолог Аркадий Владимирович Завьялов. Он провожал нас в плавание, он же и встретил теперь.

— Вернулись, герои? Ну, рассказывайте, рассказывайте — интересно послушать, как вы путешествовали.

Капитан заговорил о том, что Мулымя совсем обмелела, невозможно пройти. Завьялов резко оборвал его:

— Почему сразу же не повернул назад? Увидел, что обстановка изменилась, должен был не терять времени и — полным ходом назад!

— Так хотелось все-таки пробиться...

— А мы хотим, товарищ Кориков, иметь на борту «Урая» оперативного человека! Смотри, что получилось. День потеряли, а за это время вызвал бы я из Урая водометный катер, и сейчас пусть не весь груз, хотя б людей уже отправили Урусову. Хотелось пробиться... Каждый хочет прийти туда, куда его послали, нужно еще для этого голову на плечах иметь...

Честно говоря, «разнос», учиненный вдруг старшим геологом, вызвал у меня внутренний протест. Как же это так? Все, что случилось сегодня на моих глазах — все настойчивые попытки прорваться, осилить обмелевшую реку, — оказывается, нельзя отнести к заслугам капитана? Значит, никакой доблести не было в том, что мы изо всех сил старались протолкнуть наше судно вперед?

Дальнейший ход событий убедил меня, что Завьялов, хотя и с излишней горячностью, справедливо оценил наше поведение.

Отчитав капитана, старший геолог поспешил на радиостанцию.

— «Урай» не дошел до Урусова, — сообщил он начальнику экспедиции. — Да, да, не пустила Мулымья.

— Когда вернулся Корилов?

— Только что.

— Предупредите, что в следующий раз получит строгое взыскание.

— Говорит, хотел пробиться... Можете послать сейчас водометный?

— Выйдег, как голько заправится горячим. Людей и провизию отправляйте. «Башмаки» оставьте пока на «Урае».

Вот и начальник экспедиции тоже не одобрил действия нашего капитана. А все потому, что есть здесь водометный катерок без имени, без звания, но зато обладающий чудесным качеством — ходит там, где никто другой не проберется. Капитан знал, разумеется, что он стоит в двадцати пяти километрах от поселка и готов поспешить на выручку. Надо было без промедления возвращаться, не тратить время возле тех препятствий, что оказались не по силам «Ураю». Двенадцать рабочих бригады Урусова целый день сидели на палубе катера. Вот за что досталось капитану. А мы, пассажиры, в этом рейсе тоже оказались не на высоте. Могли бы подсказать Корилову то, что не пришло ему самому на ум.

Когда забрезжил тусклый рассвет, со стороны пристани послышался шум мотора. Старший геолог велел будить всех, кто вернулся на «Урае». Под бортом у него болталось суденышко, при первом взгляде показавшееся таким крохотным, что нельзя было представить себе, как мы здесь разместимся, куда положит ящики и мешки Валя. Она явилась на пристань засвегло и уже перегаскала с «Урая» на эту безыменную скорлупу все свое имущество.

Экипаж водометного катера, состоявший из двух человек — капитана и моториста, — встретил нас не очень любезно. Мы не были на них в обиде. Они провели ночь без сна, спешили сюда. Хотели отдохнуть немного, а Завьялов потребовал отчаливать немедленно.

— Если выручать, так уж давайте до конца. Что ж это получится — двое будут отсыпаться, а двенадцать ждать, пока они все сны перевидают? Отчаливайте, друзья, счастливого плавания...

Моторист спустился в свой трюм, капитан шагнул в рулевую рубку, и начался второй этап нашего путешествия.

Катер всасывал в себя воду и выталкивал ее за корму. Если нужно было дать задний ход, сильная струя воды направлялась в обратную сторону.

Преимущества водометного судна обчаружились уже при входе в Мулымью. Мы ни на минуту не задержались возле бонового заграждения. Катерок так лихо проскользнул над ним, что мы не успели даже это заметить. Ничем не рискуя, он взбирался на груды пльвущих по реке бревен. Несколько раз и ему, несмотря на очень малую осадку, довелось перебираться через песчаные отмели. Но там, где вчера мы топтались целый час, безыменное суденышко расчищало себе путь в считанные минуты. Пустит струю воды впереди себя, развернется, снова промоет под собой речное дно — и можно двигаться дальше.

На тюменских реках можно увидеть и амфибию. Она часто выручает разведчиков. Но такие водометные суденышки ничем не заменишь. Скользит шустрый катер по реке, подминает под себя встречный «топляк» или отшвырнет его, как щепку, сильной струей воды.

Все с нетерпением ждали: пройдет ли он там, где нас повернуло вспять деревянное дно.

Не сбавляя хода, юркий катерок мигом взял и это препятствие. С той же резвостью, не отступая перед самыми грозными преградами, он упрямо поднимался вверх по Мулымье.

Вскоре мы оказались перед грудой древесины, загорюдившей узкий фарватер. Катер стал энергично прокладывать канал в этом загоре. Впечатление было такое,

словно мы пробиваемся через льды. Со всех сторон угрожающе вздымались над падубой бревна в два обхвата, ныряли, как живые существа, под корму, чтобы нанести предательский удар снизу, цеплялись корой за корпус отважного водомета.

Выйдя без всяких повреждений из этой схватки, мы потащили за собой один ствол и долго не могли освободиться от него. Резко меняя направление, пуская струю воды то вперед, то назад, катерок пытался сбить прижатое к днищу бревно. Убедившись, что таким способом не управиться с ним, капитан двинулся навстречу показавшемуся впереди «топляку». Кто-то крикнул:

— Берегись, «торпеда»!

Капитан смело шел на сближение с «торпедой». Послышался треск, суденышко вздрогнуло, на какой-то миг замерло на месте — и снова, набирая скорость, продолжало свой путь. За кормой неуклюже всплыл оторванный «топляком» громоздкий ствол сосны.

В полдень мы увидели лагерь Урусова. Как и на берегу Конды, где разведчики получили первый нефтяной фонтан, здесь тоже вырубил в тайге островок, выкорчевали пни, расчистили место для буровой. Можно было заметить, что люди пришли сюда недавно. Не пожухла листва на ветвях берез, не осыпалась хвоя с кедров и елей, поваленных вокруг вышки. Возле палаток, разбитых чуть поодаль, еще не вытоптали траву.

Урусов стоял на свежеструганных мостках вышки, где два дизелиста запускали двигатель. Что-то у них там не ладилось. Урусов молча смотрел, как они торопливо вынимают и снова ставят на свои места какие-то замасленные детали. После очередной неудачной попытки оживить дизель мастер сказал без тени недовольства в голосе:

— Так дело не пойдет, ребята. Поостыньте немного. Спокойно, без паники, во всем разберитесь.

Не спеша, с какой-то подчеркнутой даже медлительностью он спустился с мостков и зашагал к своей палатке. Казалось, ничто его не огорчило. Поглядел, как возьется с двигателем запарившиеся дизелисты, и ушел, будто и не беспокоит его все, что здесь творится.

Впоследствии я убедился, что этот подтянутый, невысокого роста, крепко сложенный человек с живыми, приветливыми глазами и какой-то удивительно располагающей к откровенному разговору светлой улыбкой отлично владеет собой и не дает воли своим чувствам. То, что выглядело при первом знакомстве равнодушием, было на самом деле обычным для него проявлением сдержанности.

Мастера, конечно, разозлило то, что он видел на мостках вышки. И это понимали дизелисты. Перед тем как начать бурение скважины, нужно привести в полную готовность все оборудование. Мастер впряме был отчитать их как следует за то, что никак не могут запустить двигатель и еще не разобрались, в чем причина.

Но Урусов не набросился на них, сдержал себя. Он ушел, посоветовав спокойнее продолжать работу, и не вернулся до той минуты, когда ожил дизель и густые клубы синего дыма заволокли вышку.

## 5

Дождь выручил. Вода в Мулымье поднялась, и в полдень, когда небо уже очистилось от облаков, прибыл «Урай». Вскоре вышел в первый рейс стосильный трактор, обутый в железные «башмаки».

— Вчера у вас была увеселительная прогулка, — сказал Урусов, садясь в кабину. — Вот сейчас увидите, что такое наши таежные маршруты...

Оглушительно громяхая своими расширенными гусеницами, трактор выбрался из лесу. Перед нами простиралось болото. Кое-где торчали над светло-зеленым мхом серые стволы засохших берез и сосен.

Трактор ринулся напрямик, подминая под себя с треском падавшие деревья. Гусеницы глубоко вдавливались в мягкий торфяной покров. Позади возникли две широкие борозды, быстро наполняясь ржавой водой. То и дело водитель менял направление, заметив, что слишком глубоко погружается в болото. Спасая трактор, он нацеливался на

дерево, валил его с ходу, чтобы дать опору гусеницам. Эти сложные маневры удлиняли путь, но иначе нам бы не обойтись; не помогли бы тяжелой машине ее «башмаки».

Невдалеке виднелась «грива» — так называют здесь небольшую рошу между болотами и озерами. Прошло много времени, пока удалось нам дойти туда и остудить мотор.

Урусов заговорил о том, что настала пора совсем по-иному работать в этих краях.

— Можно было, понимаете, как-то мириться с отсутствием подходящей для нас техники, когда только искали нефть. Неизвестно еще было — найдем ее или впустую будем год за годом бурить. Дело прошлое, но многие ведь не верили, что здесь загремят фонтаны. Открыли мы несколько богатых месторождений. Не только на Конде и ее притоках; нашли большие залежи нефти в Сургуте, на Оби. Отсюда восемьсот километров. Вся эта территория очень перспективна. Сейчас нужно ускорить разведку, подсчитать запасы, чтобы начать разработку нефтяных месторождений. Нужно выиграть время, а мы растрчиваем его в этих проклятых болотах. Наши конструкторы, изобретатели создали отличные вездеходы. Вот в Антарктику послали «харьковчанку». Идет она и по снегу и по болоту, как по асфальту. Есть и грузовые автомобили с каким-то особым широкими шинами, не погружаются они в трясины. Есть и амфибии большой грузоподъемности — они нам тоже во как пригодились бы. Есть и вертолеты, которые поднимают в воздух не пять-шесть человек, а целый дом. Подцепит такой воздушный грузовик вышку и перенесет через болото... Конечно, придет сюда эта техника — без нее здесь не построишь трубопроводы, промыслы, не получишь миллионы тонн нефти. Только скорее бы двинули ее в наши края. Жаль, время уходит...

За «гривой», где мы немного передохнули, открылось еще одно болото. Здесь тоже пришлось несколько раз спасать трактор, направляя его на стволы засохших, кое-где уныло торчавших деревьев. Оставалось метров полтора, не больше, до следующей «гривы», где маячила вышка над пробуренной недавно скважиной, когда трактор, несмотря на все ухищрения водителя, застрял в раздавленном торфянике. Мы срубили несколько чахлах березок, давно утративших листву, и подложили под «башмаки» — не удержали они трактор на трясине. Еще раз таким же способом выручили его из беды и наконец завершили этот рейс, продолжавшийся почти три часа.

— Быстро управились, — сказал Урусов. — Я думал, проканителимся до темноты...

В обратный путь мы двинулись, волоча за собой широкое, сколоченное из толстых бревен сани, нагруженные имуществом буровой бригады. Экономя время, мастер схватил с собой все, что хотелось перебросить на новую вышку, хотя и очень рискованно было тащить по болоту слишком тяжелый груз. К счастью, трактор выдержал и это испытание.

Вспомнив, о чем говорил Урусов, я живо представил себе такую совсем не фантастическую картину. Тот же лагерь на выкорчеванной земле, те же палатки — летом они даже удобнее тесных, похожих на вагонное купе дощатых «балков». На площадку опускается вертолет. Мы садимся в его кабину, и через пять-шесть минут, пройдя над болотами, над реденькой щетиной засохших березок и сосен, над зеленой «гривой», вертолет опускается возле старой, почерневшей вышки. Еще несколько минут на погрузку оборудования — и можно возвратиться в лагерь на берегу Мулымья. Не пришлось обустраивать в «башмаки» трактор и потратить почти целый день на то, что сделано в считанные минуты...

Именно вот так перебрасывают целые вышки через болота, озера, непроходимые лесные заросли там, где появились большегрузные вертолеты. В лагере Урусова их не видели. А пора бы избавить и его и всех разведчиков Тюменской области от досадных затрат времени и сил на борьбу с болотной стихией.

Этому должны помочь не только воздушные грузовики, но и сухопутные вездеходы, и амфибии, и облегченные буровые станки. Такие станки уже есть, и нужно в первую очередь послать их туда, где все грузы волокут по болотам, по мелководным извилистым протокам и речкам. Эти жизненные артерии геологоразведочных экспедиций нужно оградить от варварских порубок, чтобы на долгие времена сберечь единственные пути, связывающие отдаленные районы.

Разведчики еще не привели в тайгу строителей нефтяных промыслов и рабочих поселков. Но со временем здесь будут жить и трудиться тысячи людей. Пусть сохраняются для них и зеленые «гривы», где почва устлана серебристым, похожим на чистый иней борovým мхом, и осетры в Иртыше и Оби, и прославленная, не имеющая себе равных в мире сосвинская сельдь, и дубовые роши возле нынешних поселков — иные ведь станут городами нефтяников Сибири. Может, и здесь, на берегу Мульмы, в недалеком будущем вырастет если и не город, то крупный нефтепромысел.

Бригада Урусова только что приступила к бурению разведочной скважины. Семен Никитич надеется, что и здесь, так же как по ту сторону болота, будет найден хороший нефтяной пласт. Вспыхнули огни на вышке, загрохотал двигатель.

— Счастливого пути, разведчики! Пусть ничто не помешает вам пробиться к сибирскому кладу...

## 6

В семь утра зазвонил телефон.

— Дом приезжих? Говорите с Шадриным.

Дом для приезжих стоит напротив конторы Игримской геологоразведочной партии. Я вижу в ярко освещенном окне человека, который разговаривает со мной по телефону. Это старший инженер Лев Николаевич Шадрин. В светлом квадрате оконной рамы едва хватило места для его богатырских плеч и густой шевелюры. В трубке звучит внушительный, приятного тембра бас. На днях Шадрину исполнилось двадцать восемь лет, но при первом знакомстве ему дают всегда гораздо больше.

Сын костромского столяра, Шадрин получил диплом инженера в Московском нефтяном институте имени Губкина, работал бурильщиком, буровым мастером, участвовал в разведке газовых месторождений на Вогулке, в Тутлейме. Прокладывал маршруты в тайге, будучи старшим мастером сейсмической партии. Бурил разведочные скважины в Сартынье. Третий год находится на посту старшего инженера Игримской партии.

Шадрин обладает одним качеством, которое называют — почему-то с оттенком иронии — пунктуальностью. Вот и сейчас — звонок раздался ровно в семь, минута в минуту, как условились накануне.

— Вы готовы? Отлично. Не забудьте спальный мешок.

Привычка ежедневно разговаривать по радио с поисковыми партиями выработала у Шадрина еще одно свойство: он немногословен. Когда нужно в считанные минуты выслушать сводку, узнать все, что происходит на разведочной буровой, и тут же, у микрофона, быстро сформулировать точные распоряжения — приучаешься не засорять деловую речь лишними словами. Что же касается последней фразы, она выдает тоже похвальную черту его характера.

— Как же это вы странствуете в наших дебрях без спальника? — удивился вчера Шадрин. — Непременно зайдите к нашему кладовщику.

Возможно, нет ничего примечательного в том, что старший инженер напомнил сейчас о спальном мешке, отправляясь с приезжим человеком в тайгу. Но я-то знаю: в это осеннее утро Шадрина одолевают куда более серьезные заботы. Могло случиться, что и не вспомнил бы о чем-то снаряжении, и, честное слово, меня бы это нисколько не обидело.

Грузовик с зажженными фарами спускается к речной пристани. Поселок Игрим стоит на высоком берегу Сосьвы. Недавно вырубили здесь тайгу. Узкая дорога вьется между пнями.

Нас четверо в кузове — Шадрин, старший геолог Саня Комендантов, мастер бригады освоения скважин Слава Рукавишников и я. Пятый участник экспедиции занял место рядом с шофером не по своей прихоти.

— Садитесь в кабину, Алла, — распорядился Шадрин.

Так бывает всякий раз, когда геолог Алла Комендантова отправляется с ними на вахту. Повинуясь приказанию старшего инженера, она садится в кабину, оставив на попечение мужа свою сумку. Обычно кто-нибудь из сидящих в кузове шутливо советует старшему геологу оправдать высокое доверие жены, зорко беречь ее добро. Всегда в



этой или в другой шутке сквозит не злая зависть: вот, мол, никогда не разлучаются молодые. Сидят в одной комнате геологического отдела, вместе едут на буровые, вместе в этом же грузовике возвратятся домой.

Сейчас никто не подтрунивает над ними: слишком встревожены тем, что ожидает нас сегодня на буровой № 228, где бушует газовый фонтан. Во что бы то ни стало нужно его обуздать.

Игримская геологоразведочная партия открыла большие месторождения природного газа. В тайге бурят новые и новые скважины, исследуют газоносную целину. Нужно узнать, велики ли запасы дешевого бездымного топлива. Его пошлют уральским заводам, чтобы заменить привозной уголь.

Извержение газа на буровой № 228 возникло не потому, что разведчики утратили власть над стихией. Нет, фонтан забушевал, если так можно сказать, в соответствии с планом исследования подземных кладовых. На какое-то время необходимо открыть новую скважину, взять пробы, подсчитать, сколько она дает газа, измерить силу, которая выталкивает его по трубам из недр земли.

Все это уже проделали, и теперь нужно было снова наполнить скважину глубиной 1600 метров снизу доверху тяжелым глинистым раствором, чтобы остановить извержение. В обычных условиях такую задачу решают без особых затруднений. Есть для этого специальные, так называемые «заливочные» машины, они снабжены очень мощными нагнетательными насосами и могут «задавить» любой самый буйный фонтан.

Случилось так, что все эти машины ушли зимой на другие буровые в тайгу и вытащить их оттуда не было никакой возможности до первых морозов. Не оставалось ничего иного, как попытаться обуздать фонтан лишь теми техническими средствами, которые имеются на буровой.

Самоходная баржа «Славная», с честью оправдывая свое наименование, без всяких задержек доставила нас к тому месту, где можно было высадиться на берег и снова продолжить путь в кузове грузовика. Буровая находилась в пяти километрах от реки, но и здесь мы услышали ее фонтан. Казалось, где-то рядом за деревьями поднимается в воздух целая эскадрилья реактивных самолетов. Над тайгой полыхало зарево. Я знал, что газ, извергающийся из скважины, сжигают, чтобы он не скопился в лесу и не причинил какой-нибудь беды.

По мере того, как мы приближались к буровой, шум нарастал, и вскоре уже нельзя было разговаривать: Человеческий голос тонул в грохоте.

Грозное зрелище возникло перед нами, когда впереди показалась вышка. Возле нее ревел огненный смерч. Ветра не было, но пламя металось из стороны в сторону, словно подхваченное ураганом. Земля здесь была выжжена дотла. Обгорели ветви деревьев вокруг огромного факела.

Шадрин соскочил с грузовика, за ним последовали все, кроме Аллы. Она отправилась дальше, на соседнюю буровую, где сегодня предстояла тоже нелегкая работа: нужно было опустить «кондуктор» — стальные трубы длиной около двухсот метров — и залить цементом промежуток между этой предохранительной колонной и стенками скважины.

— Вечером приеду к тебе! — крикнул Саня Комендантов, возвращая жене сумку.

Алла что-то прокричала в ответ, но никто не расслышал ни слова.

Шадрин подошел к факелу. Прикрывая лицо от обжигающего пламени, он осмотрел длинную трубу, из которой вырывалась мгновенно сгорающая струя газа, подъялся на мостки вышки, где орудовали Слава Рукавишников и четверо рабочих его бригады. Они уже приступили к делу, приводя в готовность снаряжение, необходимое для того, чтобы атаковать, как выразился Шадрин, газовый фонтан.

— Мы его схватим за горло, — сказал он, наклоняясь ко мне и пересиливая своим привычным басом неумолчный грохот.

Тридцать шесть часов прошло, прежде чем удалось «схватить за горло» фонтан.

Иногда казалось, что все уже испробовано и нельзя будет загнать обратно, в подземную камеру, вырвавшийся на волю газ. Трижды пробивало толстую предохранительную прокладку, «мембрану» насоса. Фонтан ревел, полыхало над раскаленным кратером пламя. Люди снова и снова шли в атаку, швыряя навстречу буйной струе

газа потоки воды и тяжелого глинистого раствора. Фонтан не поддавался их усилиям, по-прежнему извергая тысячи кубометров газа, пылавшего возле вышки.

— Пошли, передохнем немного,— крикнул Шадрин, когда в пятый раз пробило «мембрану» и выключили двигатель, остановили насосы.

Мы ввалились в дощатый домик на бревенчатых полозьях, плотно прикрыв за собой дверь. Багровый отсвет пламени падал через окошко на утомленные, осунувшиеся лица. В этом «балке» стояли одна над другой, как в вагоне, койки, но никто не воспользовался ими. Немыслимым казалось прилечь, заснуть, когда за стеной беснуется разъяренное чудовище...

Некоторое время молча сидели у стола. Потом Шадрин доложил обо всем начальству по радио, предупредив дежурного, чтобы не отходил от радики — «ночью будем продолжать работу».

О том, как продолжится борьба, сейчас не говорили. Каждому было понятно: еще и еще будут нагнетать в скважину воду и тяжелый раствор, «выжимать» из двигателя и насосов больше, чем они давали когда бы то ни было, пока не погаснет огонь и оборвется этот тревожный, хватающий за сердце скрежет. Никто не поспешит сюда на помощь, не пришлют «заливочную» машину, надо будет совладать с фонтаном своими силами.

## 7

Вчера я узнал, как Шадрин в прошлом году поздней осенью пускал буровую в пятидесяти километрах от Игрима. Вышку построили, завезли оборудование. Нужно было доставить туда часть бригады, взять в селении Ниндельпауль еще двадцать человек, продовольствие. Выехали на гусеничном артиллерийском легком тягаче, его армейцы списали на «гражданку». Очень ходкая машина, не такая тяжелая, как трактор, пригодилась для болотистых маршрутов. Отправились рано, с таким расчетом, чтобы засветло дойти до буровой. Только не хватило светлого времени. Прошли километров пять-шесть и стали тонуть. Болото еще не промерзло. Успели зацепить трос за дерево, вытянули лебедкой.

Стемнело, пока возились с машиной, а тут еще начался дождь со снегом. Решили переждать до утра. С грехом пополам развели костер. Палаток не было, отравили на буровую. Так и сидели всю ночь под кузовом, поддерживали огонь в костре. Утром двинулись дальше. И хорошо, что не рискнули идти ночью: рядом, метрах в двадцати, подстерегало «окно» — такая бездонная топь.

Обошли стороной самые опасные места и доставили людей на буровую. Теперь нужно было пойти за продовольствием и остальными рабочими бригады в Ниндельпауль. Утром выпал первый снежок. Это самое плохое время. Мороза еще нет, а все «окна» замаскированы. Не видишь, где можно пройти, а где провалишься. Но и ждать, пока подморозит, не могли. Бригада не собрана в одном месте, продукты на буровой кончились.

Другого выхода не было — Шадрин отправился в Ниндельпауль. Половину пути одолел, пятнадцать километров оставалось до поселка, когда машина угодила в «окно». Выскочил он с водителем Алексеем Пашиным, увидели рядом три березки, зацепились тросом. Включили могор, и все три дерева вырвало с корнем. А машина уходит все глубже в трясины. Заглох мотор, захлебнулся в жидкой грязи. И кабина скрылась. Только еще кузов торчит. Что делать? Шадрин оставил водителя на месте происшествия.

— Следи,— сказал,— чтобы машина не ушла совсем в болото, поддерживай тросом. Его привязали к другому дереву.

Вернулся Шадрин на буровую. Отшагал пятнадцать километров по этому проклятому болоту, взял трактор и — обратно выручать из беды тягач. Начали вытаскивать его и чуть не оставили на этом гиблом месте обе машины: трактор тоже стал тонуть. Хорошо, успели срубить несколько деревьев, притащили сюда, сделали настил для трактора, и он все-таки выдернул из трясины потонувшую машину.

Шадрин увилел, что техника сейчас не поможет выйти из трудного положения. Оставил на буровой тягач, трактор и двинул налегке на своих подводах в Ниндель-

пауль. Десять часов топал по болоту. Злость его такая взяла, что ни разу даже не сделал привала. Шел по колено в рыхлом торфе, и только одно стучало в мозгу: «Нет, черт возьми, не сорвешь ты нам год! Забудимся, дустим завтра двести шестнадцатую!» Надо сказать, не начали бы бурить скважину № 216 — сорвали годовой план разведочного бурения. И не вздумай потом рассказывать, как тебя болото прижало. Другим разве легче?

Пришел Шадрин в поселок, сказал бригаде:

— Все испробовали, ребята, и так и этак — машины сюда не пробились. Делать нечего — нужно на своих плечах перебросить продукты.

И ни один из двадцати буровиков не заскучал от такой перспективы. Распределили груз поровну. Ну, кто покрепче — взял лишнюю буханку хлеба, десяток-другой консервных банок. И двинулся пеший отряд по болоту.

Так вот и перебросили за три дня весь груз из Ниндельпауля. Десять часов туда, десять обратно. И в середине декабря, в самые длые морозы, кончили бурить скважину, как и намечено было по плану. Не сорвали годовую проходку.

...Гудит, скрежешет за стеной фонтан. Пламя факела освещает лица людей, сидящих в «балке».

Саня Комендантов не пошел на соседнюю буровую. Придется Алле самой проследить, чтобы все там проделали, как положено по инструкции.

Сменились рабочие бригады Славы Рукавишникова. Шадрин спрашивает:

— Ахметов, конечно, остался на вахте?

Ахметов — самый опытный дизелист. Он уже провел здесь сутки и, когда прибыла из Игрима вечерняя вахта, не отправился домой.

Выйдя из прокуренного «балка», поднимаемся на вышку. Сейчас снова будут атаковать фонтан. Все занимают исходные позиции. Шадрин — на командном пункте, возле устья скважины, где расположен пульт управления. Ахметов у дизелей. Комендантова послали к факелу наблюдать, что произойдет там, в кратере, когда начнут «давить» фонтан. Рукавишников и его слесари не отходят от насосов.

Вздрыгнула стрелка манометра на стальной трубе, в которую хлынула вода. Отсюда этот поток устремился в скважину. Шадрин не сводит глаз с манометра. Черная стрелка ползет вверх, оставляя позади двузначные цифры. Вот она подобралась к ста двадцати, движется дальше, коснулась уже ста пятидесяти. И замерла, словно не решаясь перешагнуть этот рубеж.

В стальном русле мчится такой стремительный поток, с такой силой срывается в скважину, что, если бы вдруг на его пути оказалась кирпичная стена, он мгновенно пробил бы в ней отверстие. Сто пятьдесят атмосфер давления! Но этой силы не хватает, чтобы остановить извержение газа. Стрелка другого манометра, поставленного на устье скважины, там, где бушует фонтан, застыла возле цифры «160». Для того чтобы «схватить его за горло», нужно превысить немного, хоть на десять атмосфер, чудовищное давление подземных пластов, выталкивающих газ.

Шадрин плавно поворачивает рычажок на щите приборов управления. Сейчас снова попробуют «выжать» из двух стареньких дизелей и порядком уже изношенных насосов чуть больше, чем они могли дать даже в лучшие свои времена... Вот так же пробовали повысить давление до ста семидесяти атмосфер и устром и в течение долгого дня. И каждый раз снизу, где стоят Рукавишников и его слесари, кто-нибудь взмахом руки требовал вдруг немедленно выключить насосы. Пробивало «мембрану», не выдерживали предельного напряжения и другие детали. Фонтан гремел с той же силой. И этот оглушающий грохот вызывал в людях все большую злость, заставляя без передышки готовиться к новой атаке.

Неужели и сейчас не удастся пересечь дорогу фонтану? Шадрин выпрямился, застыл у пульта. Закусив губу, не сводит взгляда с манометра. Наверно, с таким же яростным упорством, думая только о том, чтобы не сдать ее, побороть слепую силу стихии, шагал он в Ниндельпауль, увязая по колено в болоте, десять часов туда, десять обратно... Отсюда, с мостков вышки, видна фигура Сани Комендантова — он прикрыл

лицо рукавом куртки и смотрит на пламя. Саня еще не взмахнул рукой — значит, в кратере ничего не изменилось и вода еще не заполнила скважину.

Вяло, как бы нехотя, ползет под стеклом манометра черная стрелка. Ладно, пусть уж не спешит — дошла бы хоть когда-нибудь до заветной черточки, где выведена цифра «170»! Сквозь рев фонтана робко пробиваются голоса дизелей. Их заставили сейчас сделать то, что казалось невозможным. И все другие механизмы приняли такую нагрузку, которую после всего, что им пришлось уже испытать на других буровых, кажется, не выдержать.

Но стрелка уходит все дальше, и вот уже только три-четыре ступеньки отделяют ее от заданного рубежа. По-прежнему никто не останавливает Шадрина, и я вижу — впервые светлеет его лицо, так долго скованное угрюмой озабоченностью. Еще секунда — и он улыбнулся, задорно сверкнули глаза, и можно уже не следить за неторопливым движением стрелки, и не подгонять ее, и не ожидать с тревогой сигнала Рукавишников. Вот он подбежал к нам, бросил взгляд на манометр и, обняв Шадрина, кричит на ухо:

— Теперь мы его задавим!

Шадрин утвердительно кивает головой. Да, атака не захлебнулась. На какое-то мгновение удалось взять верх над силами стихии. Сейчас нужно закрепить успех. Фонтан еще не покорился, над кратером гудит пламя. Только бы еще немного выдержали предельную нагрузку насосы и не заглохли дизели! С минуты на минуту увеличивается тяжесть еголба жидкости, которую удалось протолкнуть навстречу газу. Заслон становится все более прочным, скоро ему ничто не будет угрожать.

Так хочется погасить факел, избавиться от этого изнуряющего грохота! Время от времени кто-нибудь объявляет:

— Смотрите, пламя уменьшилось!

Но тут же с досадой вынужден признать, что ошибся. И как раз в ту минуту, когда все отвернулись от кратера, чтобы подтянуть к скважине увесистую деталь оборудования, багровое полотнище свернулось, сжалось в комок и мгновенно исчезло. Наступила удивительная тишина. До чего же приятно было услышать человеческий голос, шелест листвы, мелодичное позвякивание гаечного ключа! Мы вернулись в мир звуков, которого лишил нас этот бешеный фонтан.

Шадрин засмеялся:

— Вырвались из ракеты на орбиту...

Мы подошли к черному кратеру. Обуглившаяся земля дымилась, пахло гарью. Глубокою траншеей выжгла в болотистой почве опенная струя газа. Из отверстия трубы слабыми толчками выплескивалась вода. Шадрин подставил свои заляпаные грязью сапоги, хорошенько вымыл их. Его примеру последовали старший геолог и мастер освоения скважин. Этим они как бы засвидетельствовали свое полное преобладание над побежденным фонтаном.

Все остальное не потребовало такого напряжения и не было связано с таким риском. Некоторое время нагнетали в скважину глинистый раствор, потом ее наглухо закрыли. И долго еще мы наслаждались тишиной — она казалась лучшей наградой за тридцать шесть часов борьбы с бушующим фонтаном.

Только теперь, когда вскипел на костре чайник и можно было впервые отвлечься от «мембран», дизелей, манометров, насосов, я узнал, что Шадрин совершил летом увлекательное путешествие по туристской путевке в Африку и — вот досада! — никак не выкроит времени напечатать фотоснимки; что Саня и Слава учились в одной школе в городе Октябрьском, в Башкирии, потом надолго расстались — Саня поступил в Московский нефтяной институт, Слава — в Уфимский, и свела их судьба через шесть лет здесь, в геологоразведочной партии; стало мне еще известным, что эту встречу нельзя назвать случайной: оба мечтали поехать туда, где самый большой простор для разведчика земных недр, и потому, не списываясь друг с другом, встретились за Уралом, на Северной Сосьве.

Заговорили о том, какие богатства лежат под этими болотами и озерами, и Шадрин сказал:

— Знаете, сколько мы сейчас добавили к разведанным запасам? Этот фонтан даст три миллиона кубометров в сутки. Вместе с тем, что уже получено здесь, — миллиардов четырнадцать у нас в кармане. Так, что ли?

Саня Комендантов подтвердил: запасы Игримской площади увеличились до четырнадцати миллиардов кубометров природного газа.

Протяжный гудок «Славной» донесся к нам от реки. Пора было возвращаться в Игрим. Покидая это поле боя, где удалось заковать в стальные трубы газовый фонтан, мы еще раз посмотрели на остывающий кратер. Не скоро, подумалось, оживет здесь, оденется в зелень выжженная дотла земля. Но никогда не забушует над нею пламя, не вырвется на волю покоренная стихия.

Машина двинулась к Северной Сосьве по узкой лесной дороге, увозя отряд разведчиков, одержавших еще одну победу на своем трудном маршруте.

## 8

Собрание коммунистов Шаимской геологоразведочной экспедиции началось с большим опозданием. Назначили в пять, а только в семь часов вечера председательствующий главный геолог экспедиции Анатолий Дмитриевич Сторожев объявил, что из сорока восьми членов партийной организации прибыло тридцать девять и ждать больше не имеет смысла: остальные несут вахту на разведочных буровых и причину их неявки можно считать удовлетворительной. Он не сказал, почему собрание началось на два часа позже, — все знали, что никто в этом не виновен. Коммунисты экспедиции прибыли в поселок Урай из буровых и монтажных бригад, из сейсмической партии, разбросанных в радиусе добрых ста километров. Только шесть человек доставил сюда вертолет. Другие ехали на тракторах, которые, как известно, не могут двигаться с большой скоростью даже по хорошей дороге, а таких здесь еще нет и в помине. Многие участники собрания приплыли по Конде и Мулымье. Буксирный катер взял на борт строителей вышек, бурильщиков, монтажников, добравшихся до берега из дальних разведок тоже на тракторах.

Шаимская экспедиция совсем недавно расположилась на окраине поселка лесников, где вырубали и раскорчевали тайгу. Клуба еще здесь нет. Собрание происходило в недостроенном цехе механической мастерской, посреди котэрой, радуя сердца механиков, шоферов, слесарей, стояли два новеньких токарных станка и зияла продолговатая яма для ремонта автомашин.

Выступил на собрании молодой дизелист Рафик Галиуллин.

— Очень хорошо, что мы выполнили план на сто девять процентов, — сказал он. — Вот только хочу спросить: когда мы перестанем беспокоиться каждый о себе? Сеймики имеют свой план, у них свое дело — давать структуры. А спросите начальника сейсмической партии: зачем ты, дорогой товарищ, сидишь на трех станках — у тебя и токарный, и фрезерный, и сверлильный, — если в партии всего-то две машины? Здесь, в этой мастерской, нужно ремонтировать все оборудование экспедиции, наверно больше ста машин. И что мы имеем? Вот эти два станочка. Я спрашиваю: почему у человека совесть не заговорила? Потому что смотрит только себе под ноги. Как бы самому не споткнуться. А что рядом — не мое дело. Еще вот пример. Ушли монтажники с нашей буровой. Все сделали, все, товарищи буровики, вам приготовили — давайте проходку. Пускаем дизель, а радиатор забит какой-то дрянью. Хорошо, что вовремя заметили. Это что? Опять то же самое — не болеет у человека душа за общее дело. Работаем мы в трудных условиях — гайга, болота, бездорожье. Иной раз сам не виноват, почему сорвешься где-нибудь. Но нельзя дрожать только над собой. Я так думаю: это не по-коммунистически.

Видно было, что это выступление никого не оставило равнодушным. Слова молодого дизелиста заставили по-иному взглянуть на то, что примелькалось и перестало уже волновать.

Речь зашла о колодце в поселке Мулымья. О простом деревенском колодце, выложенном кедровыми бревнами. Казалось, не имеет он прямого отношения к разведке нефтяных месторождений. А здесь, на собрании коммунистов экспедиции, заговорили

об этом колодце так же взволнованно, как о бурении скважин, ремонте оборудования, о выходе на новые участки нефтеносной площади.

Колодец выкопали, когда в поселке насчитывалось десять или двенадцать домов. Потом построили новые дома, население выросло, и тут обнаружилось, что приток воды в этом колодце не так уж велик — только по утрам можно зачерпнуть полное ведро. Кто-то предложил устроить воскресник, выкопать новый колодец. И вот уже месяц хозяйки ни свет ни заря запасаются на весь день водой, а воскресник так и не состоялся.

— Не поднялись люди на такое простое дело! — с горечью говорил на собрании геолог Аркадий Владимирович Завьялов. — Разве можно пройти спокойно мимо этого факта?

Взял слово начальник экспедиции Иван Федорович Морозов.

— Бывает, товарищи, так: совсем, кажется, пустяковое дело, а заглянешь в самую суть — и видишь большую проблему. Ну, пошлем завтра в Мулымью двух плотников, выкопают новый колодец. И что же — забудем, что случилось? Не знаю, нужен ли еще более показательный факт, чтобы задуматься о воспитании в коллективе нашей экспедиции сознания своей, личной ответственности за все, что происходит вокруг тебя...

Нет, не таким уж пустяком предстал на собрании мулымьинский колодец! Выступали монтажники и геологи, механики и бурильщики, обсуждали многие очень важные вещи, но не обошли молчанием и прискорбный случай, о котором рассказал Завьялов. И каждый разглядел в нем то же, что заставило встревожиться геолога. Отвечать перед самим собой за все, что происходит вокруг тебя... Как это необходимо всюду и в особенности здесь, на трудных тюменских маршрутах!

— Я скажу, товарищи, о том, что творится у нас с кернами...

Так начал свою речь бурильщик Владимир Дмитриевич Шидловский, и всем стало понятно: сейчас достанется начальнику ремонтной мастерской.

Разведочная скважина помогает геологам «прошупать» сверху донизу подземные пласты. Во время бурения берут образцы пород — керны. Для этого имеется специальный инструмент. Буровая бригада обязана через строго определенные интервалы опускать его в скважину, чтобы получить «визитную карточку» пласта. Но случается нередко, что как раз в тот день, когда нужно поднять керн, на буровой нет исправного инструмента.

— Наше дело — бурить, — продолжал Шидловский, — давать метры. Стоишь на вахте — одна у тебя забота: не сорви проходку. Не дали инструмент — что ж, не твоя вина. Бури дальше. Теперь посмотрим, что получается. На каждую скважину мы тратим сотни тысяч рублей. Ну, и в новых деньгах тоже немало — тысяч восемьдесят. А какая цена этому инструменту? Рублей сто, не больше. Без него проскочили один интервал, другой, третий. Керны не вынесли, геологию подвели и не прошупали все пласты одной скважины. И опять тратим десятки тысяч...

— Не так денег жалко — время уходит... — бросил кто-то с места.

— А деньги-то чьи? — отпарировал Шидловский. — Свои считать умеем, хорошо бы и государственные рубли научиться подсчитывать. Я говорю это вот к чему. Когда-нибудь прикинут на счетах всю нашу разведку. Соберут лишние скважины, выведут кругленькую сумму, и получится, что какой-то простейший инструмент заставил угробить сотни тысяч... Нельзя быть такими щедрыми за счет государства. Сегодня дали керн — хорошо. Завтра не подняли его — ну что ж, на другой скважине получим. А это — не колодец выкопать в Мулымье... И вот еще какое дело. Все мы знаем — разведка есть разведка. Немало у нас скважин, где нефть не имеет промышленного значения. Можно ли бросать такие скважины на произвол судьбы? Если есть хоть небольшой приток нефти, значит нужно как следует поработать, применить соляную кислоту, гидравлический разрыв пласта, все испытать, чтобы увеличился приток. Нет для этого техники? Значит, нужно ее достать. Отворачиваться от таких скважин — это настоящая бесхозяйственность. Придут промысловики — они непременно возьмутся за них. А мы, разведчики, не в состоянии, что ли, оздоровить их? Может

быть, удастся без больших затрат увеличить запасы, которые мы должны подготовить для будущих промыслов.

Разошлись за полночь — одни поспешили на пристань, чтобы вернуться к утру на буровые вышки, другие заночевали у друзей в поселке и в доме для приезжих.

В резолюции собрания сказано было о специальной бригаде для «оздоровления» скважин, о передаче лишних станков из сейсмической партии в механическую мастерскую, о ремонте инструментов для получения кернов и о колодце в поселке Мульмыя.

И за каждой строкой этого делового документа слышалось го, что с какой волнующей силой звучало на собрании коммунистов геологоразведочной экспедиции: никогда не мириться с тем, что кажется тебе несправедливым, отвечать перед собой, перед своей совестью за все, что происходит вокруг тебя...

## 9

Несколько дней сижу над геологическими картами, слушаю споры геологов о «структурах», «куполах» и «крыльях», найденных на глубине двух тысяч метров, разглядываю осколок камня с отпечатком пыльцы сосны, которая стояла на земле миллионы лет назад, и морскую ракушку такого же почтенного возраста. Перехожу из комнаты в комнату Тюменского геологического управления, где изучают, анализируют опыт экспедиций, их трофеи, их поражения и победы. И постепенно открываются передо мной другие маршруты — они проложены в земных глубинах.

— Что ни скважина — то новая загадка!

Это непременно услышишь, как только зайдет речь о геологических условиях, в которых формировались некогда залежи нефти и газа восточнее Урала. Многие в подземном мире оказались здесь совершенно не похожим на то, что встречают разведчики недр к западу от Урала.

Отсюда и «загадки». Нашли нефтяной пласт в одном месте, и тут же, в соседней скважине, — никаких следов нефти. Пласт исчезает, «выклинивается», обманув ожидания геологов. Лучшие, наиболее перспективные участки геологических структур, их «своды» и «купола» оказались кое-где пустыми. Там, где по всем расчетам должен был хлынуть щедрый поток нефти, получают несколько тонн в сутки. Для того чтобы проследить за прихотливым расположением продуктивных пластов, нужно бурить больше скважин, чем где-нибудь в Башкирии или Татарии.

— Все у нас гораздо сложнее, чем по ту сторону Урала, — говорит главный геолог Тюменского управления Лев Иванович Ровнин. — Вы уже видели, как мы сражаемся с болотами. Нам и по земле ходить труднее, чем кому другому, и в недрах проложить маршрут — то же, что решить уравнение со всеми неизвестными...

Отгадывая очередную «загадку», решая день за днем такие «уравнения», тюменцы закаляются в преодолении трудностей — как и всегда бывает там, где люди идут к намеченной цели, не отступая, не сворачивая в сторону. И вот — наглядное свидетельство их возмужания — карта Тюменской области, где «газовый меридиан» протянулся с севера на юг от Сосьвы до болотистой поймы Конды, а «нефтяная параллель» устремилась отсюда далеко на восток, связав Шаимские вышки с фонганом в Мегроне, возле Оби. На этой огромной территории, которую геологи именуют Западно-Сибирской впадиной, открыто уже пятнадцать месторождений газа и нефти! А сколько еще здесь «белых пятен»! Нехоженые просторы зовут разведчиков, и они стараются быстрее проникнуть в районы, где никто не прорубил просеки, не поднял из недр образец породы, не разгадал еще ни одной загадки.

Расширяется фронт изысканий, все дальше уходят геологоразведочные партии, открывая новые залежи нефти и газа восточнее Урала. Еще не подсчитаны все запасы на разведанных площадях, но уже известно, что это богатство очень велико, его хватит на многие-многие годы. Только бы сократить дистанцию, которая отделяет разведку от промышленной разработки, приблизить время, когда поднимутся здесь вышки сибирского Баку...



---

---

# МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

## НЕОПУБЛИКОВАННАЯ СТАТЬЯ А. И. ГЕРЦЕНА

*Публикация и вступительная статья И. Птушкиной*

В апреле 1962 года исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения великого русского писателя, революционера и мыслителя А. И. Герцена, сыгравшего, по словам В. И. Ленина, «великую роль в подготовке русской революции». В этот юбилейный год художественное и публицистическое наследие Герцена будет объектом особенно пристального внимания как исследователей писателя, так и его читателей. Большой интерес при этом не может не вызвать неизвестная статья Герцена 1843 года, найденная нами недавно в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва).

Статья посвящена публичным лекциям Т. Н. Грановского по истории средних веков, которые он начал читать поздней осенью 1843 года в Московском университете. Эти лекции сыграли исключительную роль в развитии русской общественной мысли, русской исторической науки, русского общества. Герцен был одним из первых, кто со всей глубиной и свойственной ему пронизательностью большого мыслителя и революционера оценил публичный курс Грановского во всем его значении.

Уже после первых лекций Герцен стал активным пропагандистом курса Грановского, так как сразу же понял, как велика может быть роль такого курса в условиях жесточайшей николаевской реакции и цензурного гнета. Только спустя более чем десятилетие, используя трибуну Вольной русской типографии, Герцен смог открыто объяснить причины «колоссального успеха» лекций Грановского. В «Былом и думах» он писал: «К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавал теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова,— в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще пошло, если он продолжает свою речь»,— думал каждый и свободнее дышал». Герцен подчеркивал, что Грановский, для которого был характерен «постоянный, глубокий протест против существующего порядка в России», оказывал своими лекциями исключительное воздействие на слушателей. Он «думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду». Именно поэтому Герцен выразил свою полную солидарность со словами Чаадаева об «историческом значении» лекций Грановского.

Герцен задумал выступить со статьями о лекциях еще за несколько дней до начала курса; уже 18—19 ноября 1843 года он писал Н. Х. Кетчеру: «Грановский] собирается с силами и духом, чтоб грянуть публич[ные] лекции. ...я собираюсь писать в «Моск[овские] ведомости» разбор и отчет об лекциях».

Первая лекция была прочитана Грановским 23 ноября 1843 года, а уже 27 ноября в «Московских ведомостях» была опубликована первая статья Герцена о публичных лекциях. В этой статье Герцен оценил публичный курс Грановского как «явление прекрасное и глубоко знаменательное, труд разумный и отчетливый, не механический продукт фабрично-искусственной деятельности, а деяние поэтическое и свободное». Герцен подчеркивал, что Грановский в своем курсе выступает «не как адвокат средних веков, а как заявитель великого ряда событий, в их органической связи с судьбами всего человечества». Особую заслугу Грановского Герцен видел в стремлении лектора живым, увлекательным рассказом пробудить у слушателей активный интерес к общим вопросам, к современности. Герцен обещал читателям новую статью о лекциях. «Если что-нибудь не воспрепятствует,— писал он,— я доставлю вам общий обзор лекций и несколько частных замечаний».

Первая статья Герцена о лекциях Грановского произвела значительное впечатление на современников. 28 ноября 1843 года Герцен записал в дневнике: «Статья моя об его (Грановского.— *И. П.*) лекциях напечатана вчера. Сюрприз удался вполне, он и не подозревал; утром Корш ему прислал № Грановский был так тронут, что не мог сразу все прочесть... Статья сделала эффект, все довольны, славянофилы не яростны тоже довольны. Пора приниматься за вторую статью».



Исследователям Герцена было известно, что вторая статья о публичных лекциях Грановского была задумана им сразу же после появления первой статьи в печати. Дневниковые записи Герцена, а также его письма давали возможность установить, что эта вторая статья была написана уже в течение первой половины декабря. Однако в печати она не появилась, так как была запрещена попечителем Московского учебного округа графом С. Г. Строгановым, ведавшим делами цензуры. 17 декабря 1843 года Герцен записал в дневнике: «Вторую статью о лекциях Грановского граф Строганов отказал поместить в «Московских ведомостях», — может, он прав: боязнь крика, попов, доносов справедлива» О запрещении второй статьи графом Строгановым Герцен сообщил также в Петербург Н. Х. Ксечеру в письме от 19—20 декабря 1843 года.

Поскольку текст статьи, написанной в декабре 1843 года, оставался до последнего времени неизвестным, исследователи творчества Герцена не могли раскрыть и показать причины запрещения статьи и решить интересный вопрос творческой биографии великого публициста: насколько эта вторая «декабрьская» статья о лекциях Грановского была использована Герценом в известной статье «О публичных чтениях г-на Грановского (Письмо второе)», опубликованной в июльской книжке журнала «Москвитянин» за 1844 год. Обнаруженная в настоящее время, в процессе подготовки академического собрания сочинений писателя, рукопись «декабрьской» статьи Герцена дает возможность ответить на эти вопросы.

Многие десятилетия хранилась эта рукопись среди семейных бумаг Д. Н. Свербеева, в литературном салоне которого в Москве в сороковые годы часто собирались представители западников и славянофилов. (Интересно отметить, что Свербеев жил тогда в том самом доме на Тверском бульваре, где родился Герцен и где сейчас находится Литературный институт имени Горького.) Герцен никогда не был близок с Д. Н. Свербеевым, но часто посещал его литературный салон, где принимал активное участие в политических и литературных спорах, происходивших между западниками и славянофилами. Как попала статья Герцена в архив Свербеева, установить пока не удалось.

Рукопись статьи представляет собой авторизованную писарскую копию. Подпись «И—р» («Искандер») в конце статьи, а также дата «1843. декабря 15» поставлены рукой Герцена. В тексте статьи Герценом также исправлена ошибка, допущенная писарем в латинском выражении «in studio», и вычеркнута последняя фраза статьи. Можно предположить, что копия была сделана для редакции «Московских ведомостей» и должна была служить оригиналом для набора.

Новонайденная рукопись дает возможность решить вопрос о том, насколько отличается текст запрещенной статьи Герцена от опубликованного полгода спустя его «Письма второго» о публичных лекциях Грановского. Сравнение текстов этих двух статей приводит нас к выводу, что для журнала «Москвитянин» Герцен написал новую, совсем другую статью. Это объяснялось прежде всего объективными обстоятельствами. 22 апреля 1844 года чтение публичного курса было закончено, поэтому в новой статье уже не имело смысла давать подробный разбор первых лекций Грановского, как это было сделано в запрещенной статье, а необходимо было оценить курс в целом. Этому и была посвящена опубликованная в июле 1844 года статья Герцена. Он включил в свою новую статью в несколько измененном виде лишь один отрывок из неопубликованной статьи: он использовал начало статьи о постоянно возраставшем «участии к чтениям г-на Грановского», поскольку лекции историка до конца пользовались огромным успехом, и снова поставил в заслугу доценту, что он не жертвовал «глубиной для приятной легкости». Кроме того, Герцен повторил в новой статье мысль о необходимости объективного, подлинно научного изучения истории, выразив ее по-иному и придав ей такую форму, которая не дала бы возможности придаться цензуре.

По своему содержанию неопубликованная статья представляет исключительный интерес. Статья остро полемична: она направлена против воззрений славянофилов, которые резко критически отнеслись к курсу Грановского. «Неблагородство славянофилов «Москвитянина» велико, — писал Герцен в дневнике 11 декабря 1843 года, — они добровольные помощники жандармов. Они негодуют на Грановского за то, что он не читает о России (читая о средних веках в Европе), не голкует о праздношавии, негодуют, что он стоит со стороны западной науки (когда восточной вовсе нет) и что будто бы мало говорит о христианстве вообще. Все это было бы их дело, но они кричат об этом так, что и Филарет начал толковать, хотят печатать в «Москвитянин», что он читает по Гегелю etc.».

Не называя прямо своих идейных противников, Герцен, несомненно, полемизирует с воззрением славянофилов на исторический процесс. Догматическому изложению истории Герцен противопоставляет живое, творческое ее изучение, обращенное к современности. В лекциях Грановского Герцен видит образец именно такого подхода к историческим явлениям. Подробно разбирая лекции, посвященные философии истории, Герцен особое внимание уделяет Гегелю. По-видимому, именно эта часть статьи Герцена вызвала резкое возражение графа Строганова, который очень скоро осознал не удобное царскому правительству влияние лекций Грановского на общественное мнение. Известно, что и первую статью Герцена о лекциях Грановского Строганов согласился напе-

чатать в «Московских ведомостях» только при условии, «чтоб имя Гегеля не было произнесено». В своем дневнике Герцен задавался вопросом: «Откуда эта гегелефобия?»

Имя Гегеля, его философские взгляды в это время действительно подвергались суровым гонениям. Возрастающее влияние гегелевской диалектики, которую позднее Герцен определил как «алгебру революции», вызывало большую тревогу среди правящей верхушки. Именно этим объяснялись те попытки, которые делались, например, митрополитом Филаретом, чтобы обезвредить Гегеля. Так, он потребовал от профессора Московской духовной академии протоиерея Голубинского, чтобы тот выступил с опровержением Гегеля, однако «Голубинский отвечал, что ему не совладать с берлинским великаном и что он не может его безусловно отвергнуть». Граф же Строганов в разговоре с Герценом прямо сказал, что он будет «всеми мерами» «противудействовать гегелизму и немецкой философии», так как они противоречат богословию и религии.

Совершенно понятно, что в условиях обострявшейся борьбы против гегелевской философии статья Герцена, в которой отмечалось объективное значение философии истории Гегеля для науки, не могла быть напечатана; граф Строганов не мог допустить появление в печати такой статьи.

Сила Герцена-мыслителя проявилась не только в оценке исторического значения Гегеля, но и в глубоком понимании его исторической ограниченности. Заслугу Грановского Герцен видит в том, что «он смотрит на Гегеля как на исторический момент науки,— а вовсе не как на последний предел, он смотрит на него как на такой момент, который миновать нельзя, так как нельзя и остаться на нем навеки».

Герцен подробно останавливается на лекциях Грановского, посвященных разложению и гибели языческого мира и Римской империи, утверждению христианства, а также характеристике быта древних германцев. Особое внимание уделяет Герцен той оценке, которую дал в своих лекциях Грановский литературным явлениям эпохи крушения Римской империи. Отмечая, что «поэзия того времени — подлые панегирики, риторические фразы, отсутствие мысли», Герцен заключает: «Слепота и ребячье неразумье поражает людей в страшные години, предвещающие обновление». Герцену кажется особенно важным, что Грановский излагает события исторического прошлого живо и выразительно, что он умеет в массе исторических фактов отобрать наиболее значительные и, подобно великим художникам, «двумя-тремя ударами резца» обозначить явление так, что оно «никогда не изглаживается из памяти».

Вся статья Герцена пронизана стремлением связать лекции Грановского с насущными задачами современной политической и идейной борьбы. Герцен старался со всей силой подчеркнуть, что, хотя публичный курс посвящен истории средних веков, он отвечает на многие волнующие вопросы того времени. Недаром почти двадцать лет спустя в статье «Москва нам не сочувствует» (1862) Герцен писал: «В Москве кафедра Грановского выросла в трибуну общественного протеста».

Необычайно широк круг вопросов, которые затрагиваются в статье. Она представляет существенный интерес не только для тех, кто изучает творчество Герцена, но и для многочисленных исследователей русской и западноевропейской истории, философии, литературы и публицистики. С большим вниманием и волнением прочтут ее также те многочисленные читатели, которым дорого и близко удивительно живое и яркое, неповторимо своеобразное герценовское слово, политическая мысль великого и неутомимого борца за счастье народа.

#### А. И. ГЕРЦЕН

### ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ г. ГРАНОВСКОГО

(Письмо второе)<sup>1</sup>

**V**

частье к чтениям г. Грановского не только не ослабло, но возрастает более и более. Круг слушательниц увеличивается: есть нечто увлекательно-прекрасное в постоянном внимании дам к его чтениям; видя, как они тройным венком окружают кафедру, — становится хорошо на душе, и невольно завидуешь доценту. Г-н Грановский читает свой предмет со всею серьезностью науки, он не сыплет ненужных цветов, не жертвует подробностями и глубиной для приятной легости, он не делает свою науку дамской (как называли в стары годы жалкие и плохие переделки астрономии, физики и пр.), — мне кажется, ничем он не мог более выразить своего уважения и благодарности слушательницам, посещающим его чтения. Прошло время того оскорбительного внимания к женщине, когда для

<sup>1</sup> Первое письмо помещено было в № <142> «Московских ведомостей» <за 1843 год>. — Примечание А. И. Герцена.

нее, рядом с дельным изложением науки, излагали намеренно искажённым образом, считая один мужской ум способным к глубокомыслию. Наука и разум не имеют пола. Истина и талант равно принадлежат мужчине и женщине.

В прошедшем письме я сообщил вам несколько мыслей о значении лекций г. Грановского; обращаюсь теперь к самому курсу. Два первые чтения были посвящены введению, в котором доцент передал главнейшие моменты развития исторической науки. В этом чрезвычайно сжатом и быстром обзоре талант преподавателя вполне обозначился; характеристика школ, мыслителей, направлений немногими словами, одной фразой, всегда резкой и удачной, — напомнила мне те барельефы великих художников, в которых несколькими чертами, двумя-тремя ударами резца фигура обозначена так, что никогда не изглаживается из памяти. Введение г. Грановского было необходимо. — им он передал современное состояние науки и ее сочленение со всем предыдущим развитием, сверх того, им он показал свою точку зрения на историю; такое определение себя относительно предмета в наше время более необходимо, нежели когда-либо, всего же необходимого в истории. История для одних наука, для других орудие партии. События былые немые и темные; люди настоящего, входя в тайники, в которых они схоронены, берут свой фонарь и одни и те же факты освещают разное, изменяют тенями: прошедшее, чтоб получить гласность, переходит чрез гортань настоящего поколения; оно, как всякий предмет, готово раскрыть свою истину, но только желающему безусловно истины: большая часть историков не хсят быть просто органами чужой речи, а суфлерами; они заставляют прошедшее подтверждать их заготовленные теории. Такое вызывание прошедшего из могилы унизительно. — это не есть истинное воззвание из мертвых, а чернокнижные нечистые попытки Аполлония Тианского. Даже и в этом случае, когда историки имели в виду пользу и поучение, искажая факты, их простить нельзя. — они слишком надменны и неучтивы к человечеству; нет никакой необходимости натягивать по-своему смысл исторических событий и насиловать их для моральной цели, потому что истинный смысл их бесконечно глубже и нравственнее личных нравоучений. Дело историка — понять этот смысл и раскрыть его. В наше время это вполне понятно: достаточно назвать Нибура, братьев Гримов, Огюстина Тьерри, Савиньи, Ранке, Эйхгорна. Но рядом с прекрасными и добросовестными трудами этих мужей науки, с благоговением склоняющихся пред объективным значением прошедшего, всякий день появляются искаженные духом одностороннего воззрения, так сказать, раскольнические опыты ложной истории. Мне кажется, все разнообразнейшие попытки корыстного изложения историй можно соединить под одним именем иезуитского направления. Разумеется, что многие, не принадлежащие ни к ордену, ни к католицизму, даже враждебные ему. — по какой-то симпатии, по какой-то сродности душ принимают иезуитизм в истории и с тем вместе их средства и их раздражительную нетерпимость. Таков протестант Лео — талантливый историк Италии и иезуит во всеобщей истории. Неуважение к судьбам человечества, непомерная гордость, с которой они берутся поправлять прошедшее, недостаток сочувствия с настоящим, обрекающее их на праздность, самолюбие, тем более глупее, что оно ежедневно оскорблено событиями. — таков характер историков этого рода. Лео, например, убедившись, что высшая органическая форма государства есть форма средневековая, двуглавая и носящая сама в себе условия вечного расторжения, — принимает за личную обиду историю трех последних веков: ему в голову не приходит покориться царственному течению истории, в голову не приходит, что однажды прошедшее есть вечно прошедшее, потому что проходит одно временное, долженствующее пройти; он не внимает ни глаголу веков, ни веянию духа, а шлет бессильные знафемы современности, не покоряющейся г. профессору. Отсюда ясно, что человеку, предпринимающему рассказ истории средних веков, должно было с самого начала отклонить всякое подозрение в каком бы то ни было одностороннем направлении: излагая развитие исторической науки, он очевидно показал свой наукообразный, святоуважающий объективное значение истории, взгляд. Наконец, введение его было необходимо для слушателей, — оно

возводило их разом на ту высоту, с которой возможно истинное понимание частного отдела истории.

В этом введении г. Грановский, упомянувши о бытописании в древнем мире, показал, что стремление схватить в мысли единство и разумность истории не могло иначе развиться, как в мире христианском, снявшем преграды исключительных народностей, постигнувшем иудеев и еллинов единою паствою. Без сознания этого единства не только невозможна история как наука, но и самая идея человечества невозможна. Средние века, несмотря на то, что имели великое творение Августина «о веси господней», — долго не могли достигнуть до разумного понимания истории; мыслители того времени были обращены на другие вопросы; история тех веков была летопись, составленная скромным отшельником легенда, которую слушали, сидя зимой пред очагом. На пороге, отделяющем средние века от реформационных, указал г. Грановский мужа, глубоко понимавшего историю «перед ним лежали уже два оконченные мира. мир древний и мир средних веков. он имел два великих документа»<sup>1</sup>. Этот муж — Махиавелли. Сказавши о нем, преподаватель в коротких словах рассказал о трудах Вико, о французской школе, о немецких рационалистах в истории; их бедные декламации вызвали очень удачное выражение г. Грановского. «этот прозаический гимн. — сказал он. — воспеваемой плоскои мысли полезности». Потом, остановившись на трагическом образе Кондорсе, который закованной рукою, сжимая плахи, писал свои утопические верования, — г. Грановский перешел к XIX веку — тут Фихте встретился ему первый. «Этот мыслитель холодно смотрел на историю, вечно обращенный к грядущему». — Вот эти несколько ударов резца, управляемого истинно художнической рукою. В самом деле, Фихте, стоик нового мира, непреклонный и великий в своей логической мощи, не мог склонить гордой выи своей пред законом исторической последовательности: история для него скорее была в будущем, нежели в прошедшем. Мысль, отрешенная от мира событий, не знает категории времени. Но миновать его г. Грановский не имел права: от критической философии к современной один путь — творения Фихте. Далее г. Грановский рассказал главнейшие заслуги Шеллинга и основные положения философии истории Гегеля. Здесь заметно было, что Грановский, коротко знакомый с писаниями великих германских мыслителей, не подавлен ими. Он смотрит на Гегеля как на исторический момент науки, — а вовсе не как на последний предел, он смотрит на него как на такой момент, который миновать нельзя, так как нельзя и остаться в нем навеки; — он, историк, знает, как истинны слова философа, что человек никогда не может стать выше своей эпохи. Не зная Гегеля и отвергать его не мудрено; но идти далее можно после добросовестного изучения. Нельзя не согласиться с г. Грановским, что построение истории у Гегеля и его разделение односторонно, и по очень простой причине: он, в противоположность Фихте, в истории больше смотрел назад, нежели вперед; он видел в одном отделе истории целое: его разделение, исчерпывающее все движение идеи развитием от Адама до цветения Берлинского университета, забывает все будущее развитие от цветения Берлинского университета до совершения судеб человеческих; но это не мешает мне быть не согласным с почтенным доцентом в его замечании, что последний период, по Гегелю, представляет старчество человечества; если он это основывает на том, что Гегель римский период называет в о з м у ж а л о с т ь ю, то по наведению оно выйдет так, но по смыслу, придаваемому германским мыслителем германо-христианскому миру, оно вовсе не так. Делая свои воззрения с скромностью, свойственною знанию дела, г. Грановский очень справедливо присовокупил, что Гегель для философии истории несравненно более сделал всем воззрением своим на науку, нежели собственно лекциями об истории, изданными после его смерти. К этому он мог бы присовокупить, что односторонняя архитекtonика исторического развития не оттого вышла ошибочна, что она строго вытекла из начал логики. а, напротив, оттого, что она дурно выведена была из них.

<sup>1</sup> Выносные знаки означают собственные слова доцента. — *Примечание А. И. Герцена.*

Целость истории не может быть заключена ни в каком отделе ее, след., и в прошедшем; что за подвижная грань настоящее и почему именно наше настоящее получает такое безусловное значение. Целость истории состоит из прошедшего и будущего вместе. Впрочем, этот недостаток не должен заслонять заслуги, и поправкой гордиться нельзя, — она сделана временем, которое все поправляет. Никто не отвергает заслуг Вико за то, что у него человечество вертится всю жизнь в беличьем колесе *dei corsi et ricorsi*: чтоб написать «*Sienza nuova*», надобно было иметь испанский гений, а чтоб гораздо спустя отчасти поправить недостаток воззрения Вико, достаточно было французского историка Мишле, который из беличьего колеса сделал спираль, развертывающуюся в бесконечность. Хорошо сделал г. Грановский, что не забыл упомянуть брошюру Чешковского — «*Prolegomena zur Historiosophie*»: ему принадлежит честь первого опыта наукообразно выйти из гегелевского построения истории, и он первый заметил односторонность, о которой мы говорили. Главная мысль его состоит в том, что он, оставляя целью германского мира ведение истины, не принимает эту цель за всеобщую цель истории, предоставляя грядущему благое и исполненное любви одействование истины. Теперь это не ново, но пять лет тому назад славянин Чешковский первый произнес это в философском мире Германии. В заключении г. Грановский с негодованием защитил науку от некоторых нареканий и показал всю суетность односторонних исторических школ (Бональд, Местр) и их упрямое неуважение к прошедшему, которое они гнут под...<sup>1</sup> личных мнений. — Вторая лекция была читана увлекательно; г. Грановский несколько раз одушевлялся, и речь его отзывалась глубоко в душе. Вы можете смеяться, как вам угодно, но глаза мои были влажны. Эта мощь предоставляется одному истинному таланту и истинному одушевлению. Я не стыжусь слез, которые не один раз наворачивались у меня на глазах, когда Талиони бывала на сцене и увлекала меня своей грацией, музыкальной изящностью своих поз и чистотю своих движений.

В третьем чтении г. Грановский явился на своем собственном поле и истинно удовлетворил всем требованиям, которые я делал, — конечно, это немного значит, я не имею никакого права судить лекции истории с ученой точки зрения. — Меня обрадовала чрезвычайная жизнь, выразительность, с которою воскресали события в чтении доцента; надобно много жить с своим предметом, много думать о нем, чтоб так излагать его. Четыре чтения были посвящены дряхлому языческому миру и вступающим на сцену германцам. Слушатели могли видеть лицом к лицу эти два великие фактора, из которых под благословением церкви развились средние века. Прекрасно передал доцент главные черты страшной повести, как с речью предсмертного бреда отходил в вечный город. Он вводит в жизнь римскую, когда в ней, по-видимому, все еще покойно и цветет, когда будущее, чреватое целым миром, хочет разверзнуться, но еще не разверзлось, когда сильная гроза предвидится, когда ее неотразимость очевидна, — но еще царит наружная тишина и тупое доверие к незыблемости и прочности существующего порядка. Страшное зрелище! Вот почти слово в слово, как начал г. Грановский: «Рассматриваемый извне древний мир еще блистал отблеском прежнего величия, по-видимому, он обладал всеми условиями могущества и развития. У него была своя образованность, своя администрация, свое право; римский император владел землями от Рейна и Дуная до внутренности Африки, от Атлантического океана до Евфрата; Средиземное море, как озеро, заключалось в его владениях. Все религии, народности, цивилизации древнего мира слились в одну политическую массу. Враги римлян — германские кунниги добивались римских титулов... Но вглядываясь пристальнее в эту огромную массу, мы видим, что она страдает страшными язвами...» — и г. Грановский рассматривает элемент за элементом жизнь Рима и везде указывает следы разъедающей гангрены и иронию видимой мощи, прикрывающей отчаянное бессилие. Императорская власть, управление, городо-

<sup>1</sup> В рукописи слово пропущено; очевидно, оно было не разобрано копистом. — *Примечание редакции.*

вая и сельская жизнь, подати и религия, наука и нравственность — все носит страшные следы разложения. Декурионы просят охотой в рабы и колонны, Аркадий и Гонорий предлагают в Галлии подданным права участия в правлении — подданные отказываются. Рабы соединяются для грабежей с германцами; неистовая, развратная столичная чернь мятется на площадях, и изнеженная, развратная аристократия пирует среди общих бедствий. — От быта общественного г. Грановский переходит к быту умственному. Поэзия того времени — подлые панегирики, риторические фразы, отсутствие мысли. Представителем тогдашних литераторов берет г. Грановский Авзония. «Он принадлежит к одной из богатейших аристократических фамилий, учился в знаменитейших школах, наставник двух императоров. Валентиниана и Грациана, префект Рима, консул. потом префект Галлии — в то время, когда варвары прорывались со всех сторон в империю, когда римляне тревожно приходили к Рейну и следили ход его, видя в нем единственную защиту, когда язычество вело последнюю борьбу с христианством. И что же этот государственный муж, этот знаменитый ученый — нашел ли в себе сочувствие, отозвался ли современности? — Он писал пошлые идиллии, педантские похвалы педантам профессорам Бордосской школы и пр.» — Слепота и ребячье неразумье поражает людей в страшные години, предвещающие обновление. Другой литератор и также аристократ Сидоний Апполинарий, зять императора, видел своими глазами, как Галлию терзали варвары, — и писал мадригалы, послания и шарады. В этом равнодушии общества, в этих занятиях мелочами, когда разрушается целый мир, — есть что-то веющее холодом того жалкого старчества людей, которые делаются ничтожными и суетными на краю могилы. Все было превратно в этом мире. «Философия отрывала человека от действительности» — и сосредоточивалась в гордом самобытном противоборстве с жизнью или в горестном недоверии к ней! Жаль, что г. Грановский не вполне оценил, а потому не воспользовался всем трагическим элементом, находившимся у стоиков гордо-грустных, и у скептиков — несчастных в вечном расторжении: г. Грановский только назвал их, а характеризовал одних неоплатоников, да сказал несколько слов о тех совопросниках мира сего, неутомимых бойцах слова, которые спорили направо, спорили налево, без любви к истине, а для диалектических упражнений. Этот разлагающийся мир не имел сам в себе средств обновления — но по обеим сторонам совершались великие события. На востоке восходило солнце веры Христовой, и сам алогост Павел принес благовест искупления в Рим; но «Рим, томимый мучительной жаждой, не мог утолить ее из этого святого источника». Ему самому надобно было быть распятому, как разбойник, одесную Христа, чтоб переродиться и быть помянутому в царствии его. — На севере двигались какие-то дикие, долговолосые, белокурые народы, обитатели дремучих лесов и холодных стран: они шли совершить казнь языческого мира огнем и мечом. Удары их уже слышны в Риме. проповедование евангелия уже раздается на его форумах, — а он стоит еще нелепый и отживший и тяготеет над всем древним миром. Становится жалко и смешно, слушая, как римские умники считали христианство чем-то преходящим или надменно не знали его, читая безнравственные и сухие Милезийские сказки. Но — рабы, городские жители, труждающиеся и обремененные, — принимали христианство, и оно быстро распространилось. Юная церковь имеет в рядах своих мужей святых и великих, в противоположность софистам философии: св. Климента Александрийского, св. Амвросия, св. Иеронима и великого Августина. — Жалею, что рамы письма не позволяют мне передать вам одушевленный рассказ Грановского о высокой деятельности епископов и отцов церкви, увлекательное повествование о св. Амвросии, о народных поучениях, которыми они внедряли слово божие низшим сословиям людей — и которые г. Грановский справедливо ставит на первое место христианской литературы. И среди всего этого была возможность такого лица, как Юлиан Отступник; очень хорошо сделал г. Грановский, остановившись несколько на нем. Вот оно, последнее усилие умирающего, — посмотрите, как в нем древний мир очистился, стал строг и мудр, глубокомыслен и доблестен, как он собрал все субстанциальные силы свои, чтоб

явить миру полноту своего здоровья и доказать свое право на жизнь, — все тщетно; мало зрелищ более торжественных и успокоительных, как бессилие каких-нибудь титанов против воли Провидения, как несостоятельность несхороненного прошедшего против грядущего, свыше благословенного.

В пятом чтении г. Грановский переходит в леса Тевтонии. Он оставляет Рим следующей похоронной речью: «Церковь в лице своих святителей произносит приговор над древним обществом и благословляет германских пришельцев; блаж. Августин ждал их, как наказание падающей веси». Доцент начинает с рассказа о быте германцев во времена дохристианские, — ему необходимо надлежало показать германский элемент *in situ*, типом его избрал г. Грановский скандинавский быт. С каждым словом слушателям открывался другой мир; они из тяжело-го, сгущенного воздуха искусственно освещенной залы, у которой потолок готов был рухнуть на голову, из вечного шума и суеты городской площади выходят на другую почву; повеяло свежим воздухом лесов, являются племена полудинные, но полные силы и энергии. Слушая простой рассказ о их быте, понимаешь, что эти племена были достойны великого призвания обновить языческий мир, принять в себя благодать искупления, и потом XV столетий находиться главою всемирного развития. — Ного не поразил в аудитории величественный образ этих старых пиратов, которые, чувствуя приближение смерти, сажались на ладьи свои, выплывали одиноко в море и сжигали себя вместе с кораблем; или другой образ, в котором так человечески сочеталась дикость с нежностью — я говорю о *sage*, упомянутой доцентом, в которой пленник, несколько раз порывавший железные цепи, не имеет сил порвать волоса любимой женщины. В ребячьих, неустоявшихся чертах этих народов, на их детском челе можно прочесть великое призвание их, их огромную будущность. Говоря о нравах германцев, между прочим, г. Грановский сказал: «Больших селений не было, германец господин жил в дворе своем, окруженный летами, для них он был единственный судья и пр.». — Видите ли вы, как лицо отторгается от поглощения в государстве (как то было в древнем мире); тут становится ясно, что из германца никогда не выйдет гражданина в смысле греко-римском, а выйдет человек в смысле христианском. Ничто не мешает этому германцу господину — «скучая праздною жизнью, — как говорит г. Грановский, — собрать дружину и идти, куда глаза глядят, занять земли, где случится, переменить их и пр.». Тут в зародыше виден основной элемент германского развития, источник феодализма и рыцарства — бесконечная самобытность личности. Мы увидим после, как вследствие этого германская душа должна была отозваться на учение Спасителя, искупающее именно личность человека. У германцев нет той непосредственной, субстанциальной связи с землею, как у восточных и древних народов; родина в нем и с ним, он всегда готов, как скандинавы, о которых рассказывал г. Грановский, разобрать по бревнам избу свою и пустить ее по морю, — куда пристанет, там осесть. Оттого — «вдруг исчезает народ могущественный без следов, на его место появляется новое имя, доколе неизвестное в истории». Этой почве только недоставало оплодотворения евангелием. При своих мрачных богах германцы остаться не могли; скандинавы обращались с богами так же дерзко, как под конец афиняне с своими. «Они упрекали богов в том, что они смертные; наконец, у них было темное предчувствие, что мир сгорит и родится новая земля, на которой будет царить любовь». Слова любви были уже близко тогда от лесов Германии.

Позвольте в третьем письме изложить вам превосходную лекцию г. Грановского о проповедовании слова божия в Германии. Теперь ежели не мне, то, наверно, вам хочется отдохнуть. Ежели вы имели терпение прочитать все письмо, конечно вы имеете на то полное право, — и не мне оспаривать его.

1843. Декабря 15.

И—р.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЛЕБЕДЕВ

★

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ИЛИ АНТОНОВИЧ?

*(К проблеме революционно-демократических традиций в критике)*

**В**ышел сборник литературно-критических статей Максима Алексеевича Антоновича<sup>1</sup> — уже третье по счету издание его избранных работ за советское время. Интерес к творчеству Антоновича со стороны советского читателя естествен: имя этого автора тесно связано в нашем сознании с именем великого мыслителя-материалиста, главы революционных демократов-шестидесятников, гениального предшественника русской социал-демократии Н. Г. Чернышевского.

Наша критика, наше литературоведение и философия призваны хранить и развивать традиции революционно-демократической идеологии. Дело тут, правда, несколько осложняется тем, что существуют разные точки зрения на роль, которую сыграл Антонович в истории русской общественной мысли и литературы.

1

Действительно, «трудно найти другого деятеля, — пишет об Антоновиче во вступительной статье к новому изданию его сочинений Г. Тамарченко, — который вызвал бы столь же разноречивые суждения и оценки как со стороны современников, так и по сей день — со стороны советских исследователей». Правда, этой фразой исследователь в основном и ограничивает признание факта упомянутой им разноречивости. И лишь восклицательная интонация отдельных

<sup>1</sup> М. А. Антонович. Литературно-критические статьи. Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Г. Е. Тамарченко. Гослитиздат. М.—Л. 1961.

утверждений Г. Тамарченко позволяет догадываться о мере их полемической заостренности, а может быть, и условности.

«В «Современнике» без Чернышевского и Добролюбова, — пишет исследователь, — Антонович вовсе не отходит от последовательного революционного демократизма в духе Чернышевского, а, наоборот, остается верным его последователем...» Антонович, утверждает Г. Тамарченко, в своих литературно-критических статьях, в частности в статье о Достоевском, «вовсе не ограничивается одной личной дискредитацией противника». Со стороны Антоновича, продолжает автор, «выступление против Некрасова было не предательством или отступничеством, а трагическим заблуждением». Или даже так: «Неточно цитируя и даже перефразируя» (в данном случае речь идет об «Отцах и детях») тексты своих литературных противников, «Антонович нигде не искажает смысла цитированных отрывков» и т. д.

За всеми подобными похвалами угадывается возможность и иных оценок. Но с кем именно спорит здесь исследователь — остается неясным. Неясным остается и само содержание спора.

В 1960 году Издательство Академии наук СССР выпустило монографию М. Пеуновой «Мировоззрение М. А. Антоновича». М. Пеунова в высшей степени положительно оценивает деятельность Антоновича как «одного из видных представителей» революционно-демократической идеологии в России, как «одного из сподвижников и последователей Н. Г. Чернышевского», «горячего приверженца эстетической теории Чернышев-



ского», борца за торжество ее принципов, «возвысившегося вслед за Чернышевским до понимания связи философии с политикой» и т. п.

Так же как и Г. Тамарченко, М. Пеунова отмечает, что деятельность Антоновича по-разному оценивается и оценивалась различными представителями русской общественной мысли. Но в отличие от Г. Тамарченко она прямо говорит о том, какой социальный водораздел определяет различие этих оценок у дореволюционных авторов, прямо называет тех советских исследователей, точку зрения которых на деятельность Антоновича она не разделяет.

«Выдающаяся роль М. А. Антоновича в идейно-политической жизни России», по мнению М. Пеуновой, «была высоко оценена» в прошлом такими людьми, как, например, Н. Г. Чернышевский и Г. З. Елисеев — «видный деятель «Современника». А вот совсем «иначе относились к М. А. Антоновичу представители монархо-либерального лагеря» (такие, например, как А. Л. Волынский). С. А. Венгеров «писал об М. А. Антоновиче, как о «разносителе», «ругателе». Наконец, «научное изучение философского наследия М. А. Антоновича», по мнению М. Пеуновой, открывается статьей В. Кирпотина, опубликованной в 1928 году в журнале «Под знаменем марксизма». Что же касается таких советских авторов, как Б. Козьмин, Л. Плоткин, А. Лаврецкий, то их взгляды на творческий путь Антоновича неприемлемы для М. Пеуновой (см. стр. 35—36 ее книги).

Правда, в числе литературных противников Антоновича в дореволюционной России М. Пеунова почему-то не называет на этот раз Писарева, а между тем ведь именно он первым сказал о том, что после смерти Добролюбова и ареста Чернышевского Антонович изменил традициям прежнего направления «Современника». Именно Писарев, а не Б. Козьмин (и не С. А. Венгеров) первым стал третировать Антоновича как бездарного эпитона великих революционеров шестидесятых годов. Именно Писарев одарил Антоновича прозвищем, от которого последнему так нелегко было избавиться, — «лукошко российского глубокомыслия». Но, очевидно, М. Пеунова не говорит в данном случае обо всем этом потому лишь, что считает известный спор Писарева с Антоновичем «полемикой людей одного общественно-политического направления».

Правда, замечает М. Пеунова, «в решении ряда конкретных вопросов» между Антоновичем и Писаревым «наблюдались разногласия», но остроту и страстность спора М. Пеунова, так же как и Г. Тамарченко, склонна в значительной мере объяснить «полемическими издержками».

А «издержки» были. На «лукошко российского глубокомыслия» и утверждение, что «роль первого критика в «Современнике» не соответствует гегершиям размерам его сил». Антонович отвечал Писареву такими выражениями, как «недоносок благосветловский», «недоразвившееся дитя г. Тургенева», «скудоумный г. Писарев» и т. д. Антонович обвинял Писарева в отступлении от идей шестидесятых годов. Писарев обвинял в том же Антоновича. Спорили они долго и непримиримо.

Однако спор Писарева с Антоновичем был давно. Суть и смысл этого спора теперь уже перестали волновать сколько-нибудь широкие слои нашей общественности, забыты. «Проблема Антоновича» сама по себе не может объяснить той страстности, с которой некоторые авторы стремятся поднять наследие этого «горячего приверженца» на «надлежащую высоту».

Замалчивается и постепенно все более забывается точка зрения тех исследователей, которые не приходили в восторг от эстетических принципов и критических методов Антоновича, мнение их оппонентов все более обретает нормативность неоспоримой истины.

«Литературно-критические работы Антоновича,— читаем в Большой Советской Энциклопедии (т. 2, 1950, 2-е изд.),— непосредственно примыкают к эстетическим произведениям Чернышевского. Антонович горячо отстаивает идейное, реалистическое искусство, отражающее действительность и выражающее стремление и интересы народа. Из литературно-критических статей Антоновича следует особенно отметить: «Асмодей нашего времени» (о романе Тургенева «Отцы и дети») (1862), «Мистико-аскетический роман» (1881)» и т. д. «Произведения Антоновича проникнуты искренним патриотизмом и чувством национального достоинства». Малая Советская Энциклопедия (т. 1, 1958) коротко, но не менее безапелляционно заявляет: «Как литературный критик Антонович отстаивал идейное, реалистическое искусство».

В статье, опубликованной в первом томе

Философской Энциклопедии (1960), М. Пеунова уже не считает нужным отмечать возможность двойной оценки литературной деятельности Антоновича. В рекомендательном списке литературы, указанной в статье, нет ни имени Козьмина, ни имени Плоткина, ни имени Лаврецкого. Что же касается таких выступлений Антоновича, как «Асмодей нашего времени», то, по мнению М. Пеуновой, «эта статья сыграла положительную роль в условиях 60-х гг., хотя,— замечает Пеунова,— оценка Антоновичем романа («Отцы и дети».— А. Л.) была несколько односторонней» (подчеркнуто нами.— А. Л.).

С этих же позиций написана и панегирическая статья об Антоновиче в первом томе Исторической Энциклопедии (1961). Исследователь В. Дьяков пишет в этой статье: «...В яркой полемической форме Антонович развил принципы революционно-демократической эстетики» (подчеркнуто нами.— А. Л.), «до конца жизни Антонович сохранял верность идеалам шестидесятников; даже к марксизму, оказывается, Антонович «относился с симпатией», хотя... и «не понимал его». О тенденциях Антоновича «к вулгаризации», о его «ограниченности» сказано уже как о чем-то совершенно несущественном, частном. Список рекомендуемой литературы предельно краток: статья Кирпичина, монография Пеуновой, «Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР» (т. 2, М. 1956).

В 1958 году Издательство Академии наук СССР выпустило в свет второй том капитальной «Истории русской критики». Каждому из крупнейших русских критиков в этом труде была посвящена отдельная глава. Об Антоновиче говорилось в главе пятой. «Антонович,— писал автор этой главы А. Шишкина,— принадлежал к той передовой части русского общества, которая в обстановке спада революционной волны и разгула правительственной реакции осталась верна революционно-демократическим идеям и сохранила веру в народ и в революционные пути перестройки общества». Это, по мнению исследователя, главное во всей деятельности Антоновича, все остальное — детали, отклонения. Более того, если Пеунова или Тмарченко считают еще нужным как-то объяснить и извинить вулгаризаторские «грехопадения» Антоновича, то Шишкина находит для этой проблемы

принципиально иное, оригинальное решение. «Антонович,— по ее мнению,— борется против вулгаризаторских тенденций в материалистической эстетике и решительно протестует против всяких попыток поставить искусство в подчиненное положение по отношению к науке, свести его к роли простого популяризатора». Были, конечно, и у Антоновича (у кого не бывает!) ошибки, но, повторяет Шишкина, «ошибки Антоновича не затрагивали решающих для литературы проблем — понимания реализма, идейности, классических традиций и т. д.»

Наконец в 1961 году в издательстве Ленинградского университета вышло обстоятельное исследование В. Чубинского «М. А. Антонович. Очерк жизни и публицистической деятельности». Эта книга во многом уже увенчивает ту тенденцию, которая оказалась преобладающей в последнее время в изучении наследия Антоновича.

Заклучая свою книгу и подводя итог всему сказанному в ней, В. Чубинский пишет: «Далеко в прошлое ушло то время, когда один из первых исследователей творчества Антоновича В. Е. Евгеньев-Максимов был вправе писать, что «история русской литературы в течение долгих лет была сугубо немилостива к М. А. Антоновичу: о нем говорили редко, а если уж говорили, то в явно недоброжелательном тоне». Сейчас,— замечает исследователь,— все те бранные и пренебрежительные эпитеты, которые сопровождают имя Антоновича в сочинениях либерально-буржуазных литературоведов, критиков, историков философии, сохраняют значение лишь как нагляднейший пример того, к каким несправедливостям и искажениям фактов приводят подчас «объективных» и «служащих истине» ученых классовые антипатии.

Усилиями многих советских исследователей восстановлен подлинный облик даровитого публициста-демократа, друга и соратника Чернышевского и Добролюбова...

Правда, В. Чубинский отмечает еще отдельные ошибочные, по его мнению, высказывания об Антоновиче некоторых советских исследователей. Но делает он это в столь лапидарной форме и в столь безапелляционном тоне, что каждому читателю его книги должно стать совершенно ясно: все эти «споры» об Антоновиче — дело прошлое. «Облик даровитого публициста-демократа, друга и соратника» наших ве-

ликих предшественников «восстановлен» полностью и навсегда.

В. Чубинский не рассматривает специально эстетических и литературно-критических воззрений М. А. Антоновича, однако, затрагивая мимоходом такие выступления последнего, как «Асмодей нашего времени» или «Мистико-аскетический роман», исследователь всякий раз считает нужным сказать своему читателю, что в общем, мол, и целом Антонович в этих случаях был, вне всякого сомнения, прав. Да и как же иначе! Ведь именно «в школе Чернышевского и Добролюбова формировалось мировоззрение Антоновича, определялась его политическая позиция, шлифовались взгляды на задачи и цели журналистики и — что очень важно — вырабатывался характер». Даже характер!

Итак, нет больше никакого спора вокруг наследия Антоновича. Имя Антоновича отныне занимает место в одном ряду с именами Чернышевского и Добролюбова. Его эстетические взгляды, его литературно-критические принципы окружаются таким же ореолом — ведь революционные демократы были прямыми предшественниками русских марксистов, мы призваны развивать их традиции боевой наступательной критики, служащей народу и выступающей от его имени...

Так каковы же, наконец, эстетические и литературно-критические взгляды Антоновича?

## 2

Антонович неоднократно (в разных статьях и по разным вопросам) формулировал свое эстетическое «кредо», формулировал достаточно ясно. Его перу принадлежит и работа, специально посвященная изложению и объяснению эстетической теории Чернышевского. И нам кажется, что эстетика Антоновича существенно, в принципе своем отлична от эстетики его великого учителя, хотя и имеет с ней нечто общее.

Эстетическая теория главы русских революционных демократов неоднократно исследовалась нашими учеными. Основные положения этой теории широко известны. Рассматривая проблемы «эстетических отношений искусства к явлениям жизни», Чернышевский, как мы помним, наряду с прочими выводами подчеркивал, что «характеристический признак искусства, составляющий сущность его», есть «вос-

произведение жизни». Вместе с тем искусство, по Чернышевскому, имеет и «другое значение — объяснение жизни». Но «...поэт или художник, — говорит Чернышевский. — не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если б и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произведении...»

Именно эти положения легли в основу теории «реальной критики», сформулированной, как известно, Добролюбовым. Согласно этой теории критик призван на основе художественного произведения, «воспроизводящего» определенные явления жизни, судить о самих этих явлениях. Ибо если только мы имеем дело с подлинным искусством, то хотя бы некоторые существенные стороны действительности это искусство не может не отразить. «Писатель-художник, — говорит Добролюбов, — не заботясь ни о каких общих заключениях относительно состояния общественной мысли и нравственности, всегда умеет, однакоже, уловить их существеннейшие черты, ярко осветить и прямо поставить их пред глазами людей размышляющих. Вот почему и полагаем мы, что как скоро в писателе-художнике признается талант, то есть умение чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то, уже в силу этого самого признания, произведения его дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение... Мы сочли нужным, — добавляет Добролюбов, — высказать это для того, чтобы оправдать свой прием — толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения, не навязывая, впрочем, автору никаких заранее сочиненных идей и задач».

Думается, что нечего попусту и говорить о «наследовании» и «продолжении», о «развитии на новой основе» и т. д. и т. п. революционно-демократических традиций в критике, обходя вопрос о принципах «реальной критики» Чернышевского — Добролюбова. Эти принципы — душа всей литературно-критической деятельности наших великих предшественников, ее смысл, ее суть. Иное, конечно, дело, что теперь уже на этих принципах невозможно остановиться...

Антонович порывает с этими принципами, с таким подходом к искусству и в своей

литературно-критической практике и в своей эстетической теории.

Для Антоновича задача, смысл и содержание искусства заключаются прежде всего, если не исключительно, в иллюстрировании определенных идей. В этом, по его мнению, главная ценность всякого искусства. «Вообще, — замечает критик, — всегда поэзия служила одним из главных орудий публицистики...» Общественное назначение искусства согласно Антоновичу определяется именно тем, что «пропагандируемая идея представляется в живых образах, в лицах; вместо сухих доказательств приводятся житейские случаи, наглядные примеры...» Потому-то «искусство есть одно из лучших средств для популяризации общепользных идей».

Что же касается эстетической «стороны» художественных произведений, то, по мнению Антоновича, возражать против нее не следует, ибо «эстетическое наслаждение есть нормальная потребность человеческой природы, удовлетворяемая прекрасными предметами, и невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности. Значит, — заключает Антонович, — искусство как удовлетворение этой потребности полезно, если бы оно даже больше ничего и не давало человеку, кроме эстетического наслаждения, если бы оно было просто искусством для искусства, без стремления к другим высшим целям».

По мысли Антоновича, «заслуживает порицания не эстетическое наслаждение само по себе, а только злоупотребление им; теория искусства для искусства отвергается не потому, что она неестественна и несправедлива, требуя от искусства эстетического наслаждения, а потому, что она односторонняя...» А между тем надо, чтобы искусство «доставляло человеку не одно только эстетическое удовольствие, но и пользу в обширном и благородном значении этого слова (то есть чтобы оно являлось проводником и иллюстратором определенных идей. — А. Л.), чтобы оно было не только искусством для искусства, но искусством для мысли» (подчеркнуто нами. — А. Л.). Иными словами, надо, чтобы в искусстве, «кроме художественности, была и правда» (подчеркнуто нами. — А. Л.). Хорошо, когда художник соединяет в своем творчестве способность к эстетическим «эффек-

там» с умением пропагандировать определенные идеи. Это лучше всего. Неплохо, когда, даже не заботясь о всяких там «поэтических прикрасах», художник (как, к примеру, Некрасов в представлении Антоновича) творит «холодно и обдуманно», с «наперед намеченной целью». Это полезно. Но, считает Антонович, если у поэта ложный образ мысли, если он «проводит» в своем творчестве реакционные (то есть противные образу мыслей того же Антоновича) идеи, то пусть он лучше откажется от намерений быть тенденциозным художником и обратится к «самостоятельным целям искусства». Вот, к примеру, «у г. Тургенева... поэзия и тенденция появлялись периодически, вперемежку; за «Асей» — чистой поэзией — следовало «Накануне» с тенденциями; затем «Первая любовь» — поэзия, а после нее «Отцы и дети» с резко выраженной тенденцией, наконец «Призраки» — поэзия...» И Антонович жестоко порицал Тургенева за неприемлемую тенденцию, советует этому писателю отказаться от проведения тенденций и стать «чистым» художником. Некрасову же Антонович готов посоветовать, так сказать, подбавить к «дидактике» чисто поэтического элемента, ибо «произведения Некрасова... уступают лирике и лирикам в непосредственной жизненности» и т. д.

Отбрасывая мысль Чернышевского о «воспроизведении жизни» как «характеристическом признаке» искусства, составляющем сущность его, утверждая искусство лишь как средство распространения тех или иных идей, Антонович логически приходит к противопоставлению идейности и художественности, «поэтичности» и «тенденциозности». С этих позиций он и громит Тургенева, нимало не заботясь о том, какие же реальные жизненные явления эта поэзия и эта художественность отражают. С этих позиций Антоновичу представляется, что Добролюбов как-то еще терпел, мол, Достоевского лишь потому, что в произведениях последнего «до шестидесятих годов не было заметной тенденциозности». С этих же самых позиций критик приходит под конец своей литературно-критической деятельности к противопоставлению Чехова и Щедрина, а Боборыкина (по мнению Антоновича, Боборыкин — шестидесятник!) рассматривает в одном ряду с такими писателями, как Островский и Л. Толстой.

В общем, в итоге складывается определенное впечатление, что Антонович лишь кое-как «терпит» само искусство в искусстве, лишь, так сказать, «переносит» подлинную поэзию в поэзии. Главное же для него — чтоб идеи были подходящие, поэзия же — дело приятное, но и без нее обойтись можно и без особенного ущерба...

Грех не в том, конечно, что Антонович защищал идейность в искусстве. Не в этом заключается отход критика от позиций Чернышевского и Добролюбова. Грех в другом — в том, как он это делал.

Противопоставив идейность художественности, Антонович неизбежно должен был прийти к противопоставлению идейности и правдивости в искусстве.

Его разбор тургеневских «Отцов и детей» — яркий пример такого противопоставления.

Понимая «художественность» как внешнюю оболочку произведения, как некий «эстетический эффект», а не как форму отражения действительности прежде всего, Антонович никогда не утруждает себя анализом «художественной стороны» рассматриваемых произведений. Но вместе с тем он отказывается от возможности рассмотрения и объективного содержания данного произведения. Таким образом и его анализ идейного смысла произведения искусства оказывается совершенно оторванным от задачи выяснения меры правдивости этого произведения. Так, вместо таких понятий и таких критериев, как «верность действительности», «правдивость воспроизведения реальных фактов» (столь свойственных революционно-демократической критике шестидесятников), Антонович выдвигает иные понятия и критерии. Его не заботит вопрос о том, верно ли «описаны» или «писаны» какие-то явления или характеры; он «знает», как они должны быть описаны, и этого, на его взгляд, вполне достаточно. Он «знает», что такое-то жизненное явление «надо» только хвалить, а такое-то «ругать». Например, «детей» — разночинную молодежь — Тургенев, по мнению Антоновича, «должен был» хвалить, а «отцов» — всяких там «лишних» или полулишних дворянчиков — Тургенев «должен был» ругать. Народ «надо» хвалить, а тех, кто его ругает, ругать. При таком «критерии» для Антоновича не оставалось сложностей ни в искусстве, ни в самой жизни. Писарев «ругает» Катери-

ну — «надо» ругать Писарева! Ибо Катерина — это народ, а следовательно, Писарев — это клеветник и отступник. Правда, Писарев говорил, что, выступая против добролюбовской сценки Катерины, он лишь «защищает» идеи Добролюбова «против его собственных (то есть Добролюбова же. — А. Л.) увлечений». Но таких «тонкостей» Антонович уже не признавал.

Неизвестно, правда, как отнесся в свое время Антонович к статье Чернышевского о рассказах Н. Успенского. Известно зато другое. После того как Чернышевский написал статью, поддерживавшую молодого писателя за то, что он пишет о народе без всяких прикрас, прошло менее трех лет. «Рассказы Успенского вышли вторым изданием. В № 5 «Современника» за 1864 г., — писал в статье «Раскол в нигилистах» Б. Козьмин, — была помещена статья Ап. Головачева, посвященная новому изданию. И вот на этот раз «Современник» не находит в рассказах ничего, кроме сплошной клеветы на народ и презрения к нему. «В его (Успенского. — Б. К.) отношениях к народу, — пишет Головачев, — слышится не равнодушные или беспристрастие, а какая-то смесь высокомерия и презрения, напоминающая старого зажиточного барского бурмистра». Таким образом, — заключает исследователь, — то, что для Чернышевского было правдой, для его эпигонов стало ложью»<sup>1</sup>.

Излагая эстетические взгляды Антоновича, В. Кирпотин (вспомним, как характеризует оценку, данную этим исследователем Антоновичу, автор новейшей монографии о «верном последователе» Чернышевского!) в свое время заметил, что мысли, высказанные некогда Антоновичем, настолько «здоровы и разумны», что «под ними можно подписаться и в наши дни». Нам, однако, кажется, что более прав в этом случае Б. Козьмин, писавший в статье «Раскол в нигилистах» (1928) об Антоновиче как эпигоны Чернышевского, все дальше и дальше отступавшем «от основных идей Чернышевского» вправо.

Оставляя пока в стороне вопрос о том, кто и по каким соображениям мог бы «подписаться» ныне под статьями Антоновича, обратимся теперь к другой стороне интересующей нас проблемы.

<sup>1</sup> Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. Издательство АН СССР. М. 1961.

## 3

Поражение освободительного движения в период первой революционной ситуации в России сразу же вызвало потребность пересмотра некоторых убеждений революционной демократии. Россия переживала период беззаветных исканий правильной революционной теории.

Для революционно-демократической доктрины периода революционной ситуации шестидесятых годов была характерна твердая вера в готовность русских «простолюдинов» к совершению немедленного революционного действия. Революционного взрыва не произошло. Очевидность этого факта поставила русскую революционную демократию перед необходимостью пересмотреть некоторые из своих взглядов, укрепить и развить свои основные принципы применительно к новым условиям тогдашнего русского общества.

Раньше, до поражений освободительного движения 1859—1863 годов, «для русского революционера все было ясно. Он твердо знал, на что ему рассчитывать и на что надеяться. Народ и его ожидаемые бунты и восстания играли определенную роль в этих расчетах... Теперь, после 1863 г., положение дел изменилось коренным образом. Там, где раньше все было ясно и определено, теперь все стало темно и неопределенно»<sup>1</sup>. В этот-то момент и вспыхнул спор между «Современником» (представленным в этом споре прежде всего Антоновичем) и «Русским словом» (представленным прежде всего Писаревым).

Антонович выступил с горячей защитой «буквы и духа» всего того, что писалось ранее Чернышевским и Добролюбовым. Писарев высказался за пересмотр ряда существеннейших принципов революционно-демократической идеологии шестидесятников.

Писаревская «ревизия» революционной теории шестидесятников в глазах Антоновича оказалась своего рода легкомысленным ренегатством, мальчишеским «нигилизмом», святотатственным отступничеством. Но беда Антоновича заключалась в том, что он выступал в литературе не столько как наследник и последователь, сколько как элигон Чернышевского и Добролюбова и, защищая идеи своих великих предшественников, нередко упрощал их. «Под руковод-

ством Чернышевского,— пишет Л. Плоткин,— Антонович умел неплохо популяризировать... Но играть роль идейного руководителя «Современника» ему оказалось не под силу. Арест Чернышевского оказался для Антоновича личной катастрофой. Он был хорошим соратником великого революционера. Но четырехлетие, проведенное им в «Современнике» без Чернышевского, доказало, что он не способен двигать дальше, развивать применительно к новым условиям принципы своего учителя»<sup>1</sup>.

Человеку, претендовавшему на роль главного хранителя идейного наследства своих великих учителей, Писарев бросил в лицо справедливые слова. «... У вас,— говорит он, обращаясь к Антоновичу,— нет самостоятельного мирозерцания... у вас нет ничего, кроме грешного самолюбия...»

Вот это «грешное самолюбие» и стало для Антоновича его истинной позицией в подходе к любым общественным вопросам. И постепенно от революционных устремлений былых времен у Антоновича осталось только преклонение перед великими шестидесятниками. И за полемическим задором со временем все меньше оставалось боевого литературного и политического содержания.

Антонович прожил долгую жизнь — почти восемь с половиной десятков лет, он умер уже после Великой Октябрьской революции. Он успел прочитать пехановские работы о Чернышевском. Они ему не понравились, его раздражала даже мысль о возможности критического отношения к его великому учителю. Да, это был действительно в своем роде «несгибаемый» шестидесятник, это был действительно в своем роде «верный последователь» великих мыслителей ушедшей эпохи. Только жил он в эпоху уже иную. И он все-таки не устоял перед ней. Но по-своему.

«В сложной обстановке идейной борьбы и быстрой смены одного революционного этапа другим Антонович,— рассказывает в своей книге М. Пеунова,— остался верен принципам 60-х годов. Но принципы идейного наследства 60-х годов Антонович воспринимал и защищал в какой-то степени догматически. Он не развивал их дальше,

<sup>1</sup> В. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России.

<sup>1</sup> Л. А. Плоткин. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. Издательство АН СССР. М.—Л. 1945.

не применял к изменившейся исторической обстановке, а лишь защищал то, что было достигнуто в 60-е годы.

Жизнь шла как бы мимо Антоновича. Анализируя текущие события, он смотрит не на перспективу развития, а назад, на эпоху 60-х годов; у него имеется только один эталон для оценки тех или иных явлений — сравнение с принципами шестидесятников. В этом проявилась своеобразная консервативность и отсталость прогрессивного деятеля. Но оставаясь на позициях идейного наследия 60-х годов, Антонович до конца своей публицистической деятельности борется с реакционными направлениями, с либерализмом, с веховщиной».

Трудно сказать, чего больше в этой характеристике творческого «пути» Антоновича — осуждения или «понимания», отрицания или сожаления. Но суть для нас здесь не в том. Антонович действительно употребил все свое гражданское мужество, все силы души, весь разум для того, чтобы навсегда, «в любую погоду» остаться верным своим великим учителям. А человеком он, как говорится, «от природы» был незаурядным, задатки у него были отличные, да и мужества было достаточно.

После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского в редакции «Современника» на Антоновича возлагались очень большие надежды. И отнюдь не без оснований. Тот самый Г. З. Елисеев, на которого столь благосклонно ссылается М. Педунова, писал в своих воспоминаниях: «Первые статьи молодого Антоновича поставили его сразу подле Чернышевского, сделав его таким же alter ego Чернышевского в тяжелой и опасной полемике с враждебными философскими теориями, каким alter ego его был Добролюбов в области литературной критики и полемики... При подобной обстановке чего нельзя было ожидать в будущем от даровитого Антоновича!»<sup>1</sup>

Но вот изменилась обстановка. В новых условиях продолжение и развитие революционного демократизма могло осуществляться только по-новому, с новых позиций.

Антоновичу все более казалось, что только один он «идет в ногу». Последователь превращался в эпигона. Эпигон стал «пра-

вовернее» своего великого учителя. «Правоверность» эпитона стала превращаться в форму скрытого (как правило, и для самого эпигона) отступничества от великих традиций.

Как известно, всякая добродетель, продолженная до бесконечности, обращается в конце концов в свою полную противоположность. Так учит диалектика. И, как писал Ф. Энгельс, «этот переход в свою противоположность, это достижение в конце концов такого пункта, который полярно противоположен исходному пункту, составляет неизбежную судьбу всех исторических движений, участники которых не отдают себе ясного отчета в их причинах и условиях существования и которые направлены поэтому к чисто иллюзорным целям. «Ирония истории» вносит в них свои неумолимые поправки»<sup>1</sup>.

Антонович воевал с Писаревым, подозрительно косился на Щедрина, открыто выступил против Некрасова: все эти люди раздумывали над уроками 1861—1863 годов, и этого одного было уже достаточно, чтобы Антонович их заподозрил в готовности к измене. Он чувствовал, что вокруг него все меняется, ему казалось, что его окружают изменники, уже предавшие или вот-вот готовые предать своих великих учителей. Отход от былых воззрений, сомнение в их безусловной истинности, тяга к самостоятельности общественного мышления — вот что представлялось ему главной бедой, главной опасностью, которая грозит всему революционному движению в стране.

Исторически обусловленные изменения революционно-демократической идеологии Антонович воспринимал как явление морального порядка. Ему оказалась органически чуждой та мысль, что «...всякое развитие, — как писал К. Маркс, — независимо от его содержания, можно представить как ряд различных ступеней развития, связанных друг с другом таким образом, что одна является отрицанием другой... Ни в одной области не может происходить развитие, не отрицающее своих прежних форм существования. На языке же морали, — замечает К. Маркс, — отрицать — значит отрека́ться». (Кстати сказать, все это написано К. Марксом в защиту... Ф. Энгельса от некоего К. Гейнцена, все тупо-

<sup>1</sup> Г. З. Елисеев. Воспоминания. В книге «Шестидесятые годы». «Academia». М.—Л. 1933.

<sup>1</sup> См. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I, «Искусство». М. 1957, стр. 360.

умное «постоянство» которого оказалось не в состоянии сколько-нибудь прочно удерживать его имя в истории общественной мысли!

«Отречений! Этим словечком критикующий филистер может заклеить любое развитие, ничего не смысля в нем; свою неспособную к развитию недоразвитость он может в противовес этому торжественно выставлять как моральную незапятнанность...»<sup>1</sup> Так, заключает К. Маркс, «волшебная палочка филистерской критики превращает интеллектуальный минус в моральный плюс»<sup>2</sup>.

Интеллектуальная деградация Антоновича, его идейное эпигонство являлись действительной причиной того вызывающего высокомерия, того «грошового самолюбия», той прямолинейной нетерпимости, которые все более становились стилем его литературно-критических и прочих выступлений.

Критика Антоновича, вспоминает Г. З. Елисеев, все более становилась «похожа не столько на литературную статью, сколько на судебный доклад». И вот «ту уголовную манеру критики, которую он (Антонович.— А. Л.) употребил относительно Тургенева, где автор притягивается к суду и где составлялся обстоятельный протокол по всем пунктам его уклонения от истины, исповедуемой критиком, и затем он подвергался приличной распекающей,— такую манеру критики он признал единственно верною и полезною. А так как для такой уголовной критики годились более сочинения отрицательного, чем положительного достоинства, более всего пиши находила себе эта критика в мелких произведениях периодической прессы, занятой преимущественно злобою дня, то критика естественно должна была спуститься до личной полемики. А так как предметы, по которым приходилось вести полемику, большею частью были достаточно разъяснены и никакой надобности в составлении обстоятельного протокола об отступлении автора в тех или иных пунктах от истины не оказывалось, то и оставалось ограничить полемику распекающей провиннившегося автора, но так как немногие авторы позволяли безответно распекаеть себя, большая часть, напротив, раздражалась ими, то по-

лемика превращалась в простую площадную брань... Эту манеру уголовной критики и положил в основу «Современника» Антонович, ставши во главе его... Критический отдел по мысли Антоновича сделался уголовным, но не удержался даже на степени критического уголовного суда... а превратился прямо в полицейскую съезжую, куда Антонович выходил на личную расправу с разными сочинителями...»

Не Антоновичу было учить Добролюбова и Чернышевского идейной непримиримости, боевой страстности в пропаганде своих убеждений, бескомпромиссности в отстаивании принципиальных позиций в разного рода литературных спорах и критических столкновениях. Но Добролюбов писал в свое время с негодованием о людях, которые «критике дают совершенно приказное и полицейское значение», которые совершенно серьезно принимают «пошлую метафору, что критика есть трибунал, пред которой авторы являются в качестве подсудимых!» Добролюбов спрашивал: «...Как же не видеть разницы между критиком и судьей? В суд тянут людей по подозрению в проступке или преступлении, и дело судьи решить, прав или виновен обвиненный; а писатель разве обвиняется в чем-нибудь, когда подвергается критике? Кажется,— мрачно иронизирует Добролюбов,— те времена, когда занятие книжным делом считалось ересью и преступлением, давно уже прошли. Критик говорит свое мнение, нравится или не нравится ему вещь; и так как предполагается, что он не пустозвон, а человек рассудительный, то он и старается представить резоны, почему он считает одно хорошим, а другое дурным. Он не считает своего мнения решительным приговором, обязательным для всех; если уж брать сравнение из юридической сферы, то он скорее адвокат, нежели судья».

Все это сказано великим критиком-революционером, кажется, как бы в прямое назидание своему «последователю». Но Антонович теперь уже «выше» понимания подобных истин. Когда критика принимает характер обязательной инструкции, регламента, это значит лишь то, что такая критика не имеет силы быть убедительной, не имеет силы доказывать, и тогда-то ей приходится декретировать.

Высокомерие Антоновича, «грошовое самолюбие» эпигона было формой его общест-

<sup>1</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 296—297.

<sup>2</sup> Там же, стр. 296.



венного отщепенства, идейной изолированности, это было «сердитое бессилие».

«Итак,—изначально Антонович одну из своих статей, опубликованных в «Современнике» в 1863 году,—я снова вступаю в храм литературы, или, говоря проще, выхожу на базар литературной суеты; безотрадным холодом повеяло на меня в этом храме, и чувство одиночества я ощутил среди литературного базара...» И вот, «утвердившись на старом наблюдательном poste и приютившись на прежнем месте», Антонович окидывает подозрительным взглядом ряды русских литераторов: где еще притаилась измена, кто еще допустил отступление от «принципов», кого осудить и распечь? Антонович успел распечь едва ли не всех наиболее крупных русских писателей того времени.

Тургенев явился первым и, пожалуй, главным литературным врагом Антоновича в течение всей жизни последнего. По мнению воинственного критика, Тургенев — это прежде всего беспринципный политикан, по своим истинным взглядам стоящий где-то рядом с Катковым и только рядящийся в одежды показного народолюбия. Однако он, Антонович, уже по прочтении «Отцов и детей» догадался-де, что за птица их автор. Уже в этом своем романе, замечает критик, «г. Тургенев обнаружил себя ясно и вполне и тем раскрыл нам истинный смысл своих прежних произведений, сказал без околничностей и напрямки то свое последнее слово, которое в прежних его произведениях было смягчено и затушевано разными поэтическими прикрасами и эффектами, скрывавшими его истинное значение».

Антонович нимало не смущается тем обстоятельством, что в свое время творчество этого писателя совсем по-иному оценивалось и Чернышевским и Добролюбовым. В глазах Антоновича Тургенев — «главный представитель и служитель чистого искусства для искусства», и потому, в частности, как говорит критик, «мы отрицаем... ваше искусство, вашу поэзию, г. Тургенев...» Что ж после этого говорить о «каком-то там» Достоевском! Мракобес, да и только.

Правда, и о Достоевском когда-то писали Белинский и Добролюбов, и писали не так, как теперь пишет Антонович. Но это опять-таки не смущает критика. По его мнению, характеристика, которая была дана Добролюбовым творчеству Достоевского,

«совершенно неприменима» к такому, например, произведению, как «Братья Карамазовы». И прежде всего по той причине, что, как и в «Отцах и детях» Тургенева, в новом романе Достоевского «весьма мало художественности, гораздо меньше, чем было ее в прежних произведениях Достоевского». Читать сцены следствия и суда над Дмитрием Карамазовым, например, «истинное наказание для читателей», и «это наказание еще усиливается вследствие антилогической и бессмысленной пунктуации, заимствованной автором от изданий Каткова». Так же как и Тургенев, Достоевский «с самого начала... был истым художником, представителем искусства для искусства». И так же как и Тургенев, Достоевский не удержался на этой позиции и скатился к открытой катковщине. Так под суд же его! На съезжую!

Самые большие, самые значительные из своих литературно-критических статей Антонович посвящает грубому разному двух великих русских писателей.

Иному современному читателю может, пожалуй, показаться, что Антонович лишь, так сказать, «несколько перегнул» ту самую «палку», с которой-де и сам Чернышевский обрушивался на всякого рода либеральные, религиозно-мистические и прочие тенденции в литературе того времени. На самом же деле нет ровным счетом ничего общего между методом «литературно-критических» разномов Антоновича и принципами литературно-критической деятельности Чернышевского. Как справедливо пишет Б. Бурсов в своей книге «Мастерство Чернышевского-критика», Чернышевский всегда был очень далек от всякого навязывания литераторам своих идей. «Он... писал не о том, как должна поступать литература согласно его теории, но о том, чему обязывает ее весь ход общественной жизни и ее собственная практика». Но, конечно же, «отсутствие менторского тона в статьях Чернышевского вовсе не есть признак его низкой требовательности по отношению к литературе... Речь,—продолжает Б. Бурсов,—тут идет о другом. Свои требования к литературе в целом и к данному писателю в отдельности он раскрывал так, что они становились голосом самой жизни».

Потому-то «дифференцированный подход к каждому писателю, выдвижение на первый план характеристики индивидуальных черт его таланта в целях воздействия на не-

го в определенном, желательном для самого критика и соответствующем интересам читательской массы направлении,— все эти характерные черты критики Чернышевского и Добролюбова были не только проявлением их художественного такта и критического таланта, но и полностью вытекали из их принципиальных эстетических установок... Борьбой за каждого писателя критика Чернышевского непосредственно влияла на литературный процесс». Выдвинутый Чернышевским и Добролюбовым принцип «реальной критики» как раз и согласовывался с позицией, которая «избегала навязывания писателю каких-либо взглядов, а объективно анализировала жизненное значение его произведений и возможности его художественного роста».

Трудно не согласиться с тем, что все это очень не похоже на ту позицию, которую занял в критике Антонович.

Впрочем, иному читателю может показаться, что приемы и метод литературно-критической деятельности Чернышевского и Добролюбова не оправдали себя, так как в дальнейшем, после смерти Добролюбова и ссылки Чернышевского, значительная часть крупнейших русских писателей все более и более стала отдаляться от последователей и учеников великих критиков. Но тут надо вспомнить и о том уроне, который был нанесен передовой критической мысли некоторыми из числа этих последователей и учеников.

«Если бы Чернышевский и Добролюбов продолжали оставаться на литературной сцене,— замечает Б. Бурсов,— по всей вероятности они не допустили бы тех грубых ошибок, которые характерны для Антоновича, Ткачева и Шелгунова, хотя великие революционные демократы и признавали прямую связь между политическим и литературным размежеванием». Не допустили бы «третирование «Современником» тургеневских «Отцов и детей», недооценку Толстого... полное зачеркивание Достоевского и т. д. и т. д.».

Однако за Антоновичем, как писал в свое время В. Евгеньев-Максимов, «числится еще один грех... Мы имеем в виду его знаменитую брошюру против Некрасова... В ней,— пишет В. Евгеньев-Максимов,— Антонович выступил с тягчайшими обвинениями по адресу Некрасова и как человека и как журналиста, утверждая, что в своей журнальной деятельности он неизменно руководство-

вался самыми низкими побуждениями, а прежде всего стремился к наживе... Не ставя своею целью характеристику Некрасова как поэта, Антонович, однако, пытался доказать в своей брошюре, что и в области поэтического творчества Некрасов — такой же корыстный лицемер, как и в области журнальной деятельности»<sup>1</sup>.

Мы сознательно изложили весь этот скандальный «инцидент» со слов исследователя, достаточно примирительно настроенного к разного рода «странностям» и «крайностям» Антоновича. «Нет надобности,— говорит В. Евгеньев-Максимов,— распространяться, как жестоко ошибался в своем взгляде на Некрасова Антонович. Не будем распространяться об этом.

Обратимся к другой статье Антоновича — «Несколько слов о Николае Алексеевиче Некрасове», в которой критик, по мнению Г. Тмарченко, «публично засвидетельствовал свой отказ от... ошибочного отношения к Некрасову и его творчеству».

Действительно, последняя статья не содержит никаких оскорбительных выпадов против великого поэта. Но как понимает Антонович само творчество Некрасова?

«Некрасов,— пишет Антонович,— был поэт по преимуществу, если даже не исключительно, дидактический; он творил холодно, обдуманно и строго сознательно...» Произведения Некрасова, говорит критик, «равно как и вся дидактика, имея над лирикой преимущество, состоящее в определенности и совершенной ясности их смысла, идей и тенденции, уступают лирике и лирикам в непосредственной жизненности и живости, в искренности, в задушевности и самой бескорыстной правдивости. Лирик не знает того процесса, посредством которого совершается в нем поэтическое одушевление, или по крайней мере не владеет этим процессом, так что он не может воодушевиться по заказу, с известною целью или расчетом; что в нем возбудили внешние впечатления или внутренние воздействия, то он и выражает; в его произведениях возможны ошибки, но никак не фальшь. Дидактики же до некоторой степени сами господа своего поэтического одушевления, которое у них вызывается рефлексией; а рефлексия уже вся в руках человека, и он может направлять ее по произволу. Словом,— заключает свою мысль Антонович,— дидактическое одушев-

<sup>1</sup> Сборник «Шестидесятые годы».

ление может приходиться по заказу, руководиться известными целями или расчетами. Поэтому в дидактических произведениях часто встречаются неискренность, деланность, натянутость и даже просто фальшь — недостатки, от которых не совершенно свободна и поэзия Некрасова... Инстинктивно чувствуя и сознавая силу своего ума, Некрасов весьма редко прибегал к содействию поэтической фантазии...»

Так «понимает» Антонович поэзию Некрасова. И дело тут, конечно же, не в неточных формулировках. Зависимость приведенной оценки от общезстетических взглядов Антоновича совершенно очевидна. Дело тут и не в неизжитых, быть может, элементах личной неприязни критика к поэту, выдворившему в свое время его из лучшего журнала в России. Антонович достаточно принципиален для того, чтобы превозмочь такие элементы. Оценка Антоновичем некрасовской поэзии — одно из характерных проявлений его эстетических убеждений, его критических принципов, тех убеждений и принципов, верным которым Антонович был уже до конца своей жизни.

В своих «Воспоминаниях о Николае Алексеевиче Некрасове» (1903) (сб. «Шестидесятые годы») Антонович пишет: «Поэтическую репутацию Некрасова можно считать окончательно установившейся; большое значение и высокую ценность его поэзии можно считать общепризнанными. Против поэзии Некрасова раздавались и раздаются только голоса тех, которые судят о ней исключительно с эстетической точки зрения или даже не с общезстетической, а с узкоэстетической, исключительно лирической точки зрения и которые воображают не только вопреки литературе всех веков и народов, но и вопреки риторике и пниктике, будто вся поэзия состоит только в лирике, Некрасов — не лирик, следовательно, он — не поэт».

И дальше: «Такой односторонней, несправедливой оценке помогает и стих Некрасова. В его стихе нет соловьиных трелей, нет сладкозвучных мелодий и нежной, серебристой и чарующей гармонии... Действительно, — говорит Антонович, — Некрасов не был лириком, или бывал им только редко, так сказать, мимоходом». И на этом основании критик противопоставляет Некрасова таким «поэтическим посредственностям, как Фет, Майков и даже Апухгин».

Да что там Фет и Майков! Некрасову,

по словам Антоновича, были чужды и те «красивые думы», те «философские вопросы», которые столь волновали в свое время, иронизирует критик, всяких там Мильтонов, Байронов, Шиллеров и Гейне! Короче говоря, заключает Антонович, «Некрасов был поэтом односторонним; только отчасти он был лириком, а главным образом и преимущественно он был дидактическим поэтом. Это, конечно, эстетический недостаток». Но Антонович готов простить этот недостаток Некрасову.

А вот другой русский критик, писавший о Некрасове раньше Антоновича, ценил в этом поэте именно лирика и готов был поставить Некрасова-лирика в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым... даже выше! Это был учитель Антоновича — Чернышевский. И говоря все это, он писал Некрасову: «Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашею тенденциею — тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, — притом же, я вовсе не исключительный поклонник тенденции, — это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других... Не от мировых вопросов люди топят, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие [же] права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично для меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею.

Когда из мрака заблужденья...  
Давно отвергнутый тобою...  
Я посетил твою кладбище...  
Ах, ты, страсть рококая, бесплодная...

и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, — заключает Чернышевский свое письмо к Некрасову, — но только затем, чтобы сказать Вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, — политика только как сильно врывается в мое сердце, которое

живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею».

Антонович должен был бы, оставаясь последовательным, считать эти строки проявлением совершеннейшего либерализма в делах литературных. И действительно, далеко было Чернышевскому до Антоновича!

Итак, Тургенев или Достоевский — это представители «искусства для искусства», Некрасов — «поэт дидактический»... Не очень-то в самом деле похоже все это на то, что в свое время говорили об этих же художниках великие учителя Антоновича! Да и как действительно все подобные оценки примирить с принципами «реальной критики» и примиримы ли они с этими принципами вообще? Нет, совершенно очевидно, что Антонович выступает уже с иных методологических позиций, имеющих очень мало общего с позицией тех людей, в верности идеям которых он ежеминутно клянется...

Рассмагивая статью Антоновича об «Отцах и детях» Тургенева, Г. Тамарченко признает, что Антонович в этом случае «сознательно отказывается от приемов «реальной критики»... и «рассмагивает роман исключительно как выражение авторской генденции». Но ведь все дело-то в том именно и состоит, что «Асмодей нашего времени» — так назвал Антонович свою статью о Тургеневе и его романе — не исключение, а характернейшее проявление литературно-критического метода «верного последователя» великих шестидесятников.

Возвращаясь геперь, наконец, к вопросу о том, кто бы мог «подписаться» под статьями Антоновича, следует, очевидно, прежде всего сказать, что Чернышевский-то уж во всяком случае под ними не подписался бы!

#### 4

А впрочем, можно ли это утверждать со всей определенностью? Не слишком ли все-таки мы отдаляем Антоновича от эстетики и критики истинных революционеров шестидесятых годов? Неужели же в самом деле между Антоновичем и Чернышевским нег ровным счетом ничего общего? Неужели всякую общность в их взглядах и позициях напридумывали современные исследователи?

Проще всего, конечно, было бы остановиться на подобном предположении: Антонович-де никак не связан с Чернышевским, и никогда, мол, и не был он никаким сорат-

ником и учеником великого революционера. Так было бы рассудить проще всего и в известном смысле даже и спокойнее всего.

Но, мы уже говорили об этом, связь между Чернышевским и Антоновичем существует. И не только, так сказать, узкобиографически — такая-то связь может, как известно, существовать и между людьми, смысл деятельности которых и совершенно различен. Ну мало ли кто начинал свою деятельность как друг и соратник истинно великих людей, а продолжал ее уже на совершенно иных, если можно так выразиться, началах! Связь между взглядами Антоновича и идеями Чернышевского несколько иного рода. Суть и характер ее определяются самой природой такого любопытного общественного явления, как идейное эпигонство.

Вообще эпигонство как общественно значимая проблема чаще всего возникает в кризисные исторические моменты, периоды коренных сдвигов в идеологической и политической жизни народов, когда прежние теории и верования вдруг отходят в прошлое, обнаруживая свою иллюзорность. Тогда-то, как правило, и происходит тот «раскол» среди передовых людей общества, при котором одна их часть идет на пересмотр некоторых принципов господствовавших ранее и казавшихся непогрешимыми идеологическими систем, а другая, занимая позицию своеобразной идеологической инерции, тшится доказать их абсолютную идеологическую универсальность.

В итоге ранее господствовавшее учение подвергается пересмотру в любом случае. Но в первом сознательно, а во втором — со стихийной неизбежностью. В первом случае открывается, таким образом, определенная возможность для известного прогресса и действительного продолжения жизнеспособных начал прежнего учения, во втором — прежнее учение, лишаясь конкретно-исторического смысла, превращается в пустую и чисто «словесную» оболочку. Причем эпигонам этого учения волей-неволей приходится выдвигать на первый план и всячески подчеркивать как раз наиболее слабые стороны учения, ибо отсутствие ясности создает свободу для «исколкувания», а недостаточность конкретно-исторического содержания тех или иных принципов оказывается необходимым условием для доказательства их абсолютной методологической универсальности.

«Раскол в нигилистах», происшедший в России после поражения в стране освободительного движения в период первой революционной ситуации, не мог не привести к тому, что проблема революционного эпигонства оказалась в сознании передовой части тогдашнего общества одной из центральных проблем всей духовной жизни. Кто истинный последователь и продолжатель традиций Чернышевского, а кто его эпигон — по существу именно этот вопрос явился настоящим стержнем и тех споров, которые разгорелись между Антоновичем и Писаревым, и тех несогласий и напряженностей, которые нарастали и в самом «Современнике» (между Антоновичем, с одной стороны, и Щедриным — с другой, а до некоторой степени и между Антоновичем и Некрасовым).

Пытаясь вернуть своим оппонентам из «Русского слова» обвинение в эпигонстве, Антонович писал в программной статье «Лжереалисты» (так он именовал «писаревцев») в 1865 году: «Правду говорят, что нелепые защитники и истолкователи какого-нибудь дела или учения своей неловкой защитой и своими неразумными перетолкованиями иногда наносят этому делу или учению гораздо больше вреда, чем ожесточенные противники его своими нападениями. И это как нельзя более естественно. Уж если защитник приводит в пользу своего дела и учения только вздорные или нелепые доводы, то это прямо дает повод думать, что других резонов и нет, и что самое дело или учение вздорно, что на него и нападать не стоит, что оно и без нападений падет само собою. Один из приемов, употребляемых иногда при опровержении какого-нибудь учения, состоит в том, чтобы довести это учение до абсурда, показать, что из него вытекают нелепые выводы. Чего же лучше для противника, если такое доведение до абсурда делают сами защитники и поклонники этого учения, если они сами свое учение представляют в нелепом виде, сами разукрашивают его множеством бессмыслиц. Тогда противник торжествует, и учение, в сущности основательное и разумное, может компрометироваться и унижаться единственно только вследствие бестолковости некоторых из его последователей. Эта истина общезвестна и давно запечатлена стереотипными выражениями: «медвежья услуга», «избави бог от друзей, а с врагами справиться можно», «заставь дурака богу

молиться, а он только лоб себе расшибет» и т. п.».

Но и историческая вина и личная трагедия Антоновича заключались как раз в том, что все сказанное тут им по справедливости относилось прежде всего именно к нему самому.

Конечно, некоторые стороны эстетического учения Чернышевского и Добролюбова Антонович отстаивал и пропагандировал. Но при всем том в его интерпретации мысли Чернышевского и Добролюбова в общем и главном неизменно искажались. На первый план Антоновичем были выдвинуты как раз наиболее слабые, наименее в силу тех или иных причин разработанные стороны революционно-демократической эстетики.

Известно, что Чернышевский в силу определенных исторических причин главное свое внимание обращал почти всегда на задачу «эстетической реабилитации действительности», подчеркивая первичность общественного бытия и вторичность его «воспроизведения» искусством. Эстетическая теория Чернышевского, таким образом, не была лишена некоторой односторонности, поскольку проблема специфической сущности, творческой природы самого искусства не выдвигалась тогдашними обстоятельствами духовного развития общества как наиболее острая из всех возможных. Указанное своеобразие революционно-демократической эстетики, наиболее ярко проявившееся именно у Чернышевского, не раз уже отмечалось нашими исследователями.

«Односторонне трактуя соотношение искусства и действительности,— пишет М. Зельдович,— Чернышевский находит возможным свести сложную диалектику этого соотношения к полемически острой, но отнюдь не точной формуле: действительность выше искусства»<sup>1</sup>.

Об известной «односторонности» эстетики Чернышевского говорит и З. Смирнова. Внимание Чернышевского, пишет она, устремлено было «почти исключительно на доказательство красоты и богатства реального мира, воспроизводимого искусством, творческая же сила человека, проявляющаяся в художественной деятельности, порой недооценивается Чернышевским. Од-

<sup>1</sup> М. Зельдович. Эстетический трактат Н. Г. Чернышевского и проблемы русской литературы 50-х годов. См. «Русская литература», № 2, 1961.

носторонность ряда утверждений диссертации Чернышевского,— замечает исследователь,— не раз отмечалась в нашей литературе»<sup>1</sup>.

Действительно, признание «односторонности» эстетики Чернышевского никак не может считаться «новым словом» для нашей науки. «...Бесспорно,— пишет М. Каган,— что Чернышевский явно недооценивал значения эстетического наслаждения и, соответственно, эстетического воспитания (в узком смысле этого слова)...»<sup>2</sup>. На «уязвимость философской позиции Чернышевского в отношении к профессиональному искусству» указывает Б. Бурсов в своей книге о мастерстве Чернышевского-критика.

У Антоновича же недооценка специфики искусства превращается, как мы видели, в принципиальное игнорирование этой специфики, приводит к отождествлению искусства с публицистикой, к отказу от анализа художественной природы искусства.

В том, что Антонович не видит красоты тургеневских произведений, не чувствует художественной мощи лучших романов Достоевского, не улавливает поэзии Чехова, не понимает лирику Некрасова,— во всем этом проявляется не просто недостаток личного художественного вкуса критика, а именно принцип подхода Антоновича к искусству. Оно для него — рупор определенных идей, и только. А потому Антонович и заставляет себя «не чувствовать» того, о чем пишет.

Так «заострение» известной «односторонности» эстетических воззрений Чернышевского приводит Антоновича к искажению сути этих воззрений...

Мы очень часто говорим, что марксистская эстетика, советская критика призваны продолжать и развивать лучшие традиции эстетической и литературно-критической мысли наших непосредственных предшественников — русских революционных демократов. Мысль эта бесспорна.

Передовые теории не возникают на пустом месте, в стороне от столбовой дороги мировой цивилизации — они имеют свои традиции, основываются на уже достигнутом, опираются на уже имеющийся опыт. Но не возникают на пустом месте и ложные тео-

рии. Они тоже имеют свои традиции; сторонники этих теорий тоже берут на вооружение опыт своих предшественников, хранят и развивают его.

Есть традиция, в том числе и в эстетике и в литературной критике, которая идет от Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова (в известной мере через Писарева и, конечно же, Щедрина) к Горькому, Плеханову, Луначарскому, к советской эстетике и литературной критике в их наиболее высоких достижениях. Но есть и другая традиция, хотя бы и побочная. И она связывает имя Антоновича (конечно, не непосредственно, не прямо и даже вряд ли вполне осознанно для самих сторонников этой традиции) с представителями вульгарно социологической школы в нашем литературоведении (прежде всего в той мере, в какой именно вульгарно-социологическая доктрина явилась у нас теоретической базой для всякого рода рапповства и рецидивов рапповства в литературно-критической практике) и далее с некоторыми недавними или даже современными глашатаями теории «иллюстративности» в нашем искусстве, столь склонными всегда узурпировать право на «разъяснение» тех задач, которые время и народ ставят перед искусством. Сходство известных приемов и критериев оценки художественных произведений здесь порою просто поразительно, хотя, конечно, Антоновичу и нечему поучить своих сторонников и последователей — как бы они его не поучили кое-чему...

Представляется, что тот повышенный интерес к имени Антоновича и, главное, та почти панегирическая оценка его деятельности, которые встречаются ныне (а в последнее время и просто преобладают) в нашей исследовательской и популярной литературе, отнюдь не уменьшают меры убедительности предлагаемой нами здесь концепции.

Что же касается тех задач, которые наша критика действительно призвана ставить перед нашим искусством, то тут надо со всей определенностью сказать, что уж во всяком случае в эти задачи не входит выполнение искусством функций «простого рупора» определенных идей, плоское иллюстраторство. А. В. Луначарский писал в свое время: «Плох художник, который своими произведениями иллюстрирует уже выработанные положения нашей программы. Художник ценен именно тем, что он

<sup>1</sup> З. В. Смирнова. Вопросы художественного творчества в эстетике русских революционных демократов. Соцэкгиз, М. 1958.

<sup>2</sup> М. С. Каган. Эстетическое учение Чернышевского «Искусство». М.—Л. 1958.

поднимает новину...» Художник, говорил Луначарский, «должен выражать то, что до него не выражено. Повторение же выраженного... не есть искусство, а только ремесло, иногда очень тонкое».

Известно, что Плеханов в своей борьбе с субъективно-социологическими эстетиками поздненароднического толка опирался на наследие Чернышевского. Но Антонович с его ярко выраженным эстетическим субъективизмом он в этой связи, естественно, никогда не вспоминал. То же можно сказать и о Луначарском, который уже в советское время активно выступал против так называемого «экономического материализма» в эстетике. Традиции этой борьбы не утратили своего значения и ныне, поскольку как всякого рода субъективизм, так и вульгарно-социологическое упрощенчество в области эстетики и критики противостоят истинно марксистскому пониманию общественной роли и самой природы искусства.

«Маркс и я,— писал Энгельс еще в 1890 году,— были виноваты отчасти в том, что молодежь иногда придавала больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и поводов отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии... К сожалению,— добавляет Энгельс,— сплошь и рядом полагают, что новую теорию вполне поняли и могут ее применять сейчас же, как только усвоены основные положения, да и то не всегда правильно.

В этом я могу упрекнуть многих новейших «марксистов»...»<sup>1</sup>.

Думается, что не следует забывать об этих словах.

Великий итальянский мыслитель-марксист, выдающийся теоретик искусства Антонио Грамши писал, имея в виду вульгаризаторов марксизма, выступающих на попрание эстетики и критики: «Оценка произведений искусства с точки зрения их художественности наглядно показывает... самодовольное простодушие тех попугаев, которые, располагая несколькими избитыми шаблонными формулировками, считают себя обладателями ключей, открывающих любые двери (эти ключи,— замечает Грамши,— называются, собственно говоря, «отмычками»)

Именно догматизм, страсть к шаблонному решению вопросов, косность критической мысли, эстетический штамп — именно эти приемы и методы, еще встречающиеся в нашей критике и эстетике, ищут и находят свое историческое обоснование в наследии деятелей, подобных Антоновичу.

Традиции, которые мы продолжаем, под которыми мы подписываемся, должны быть ясно осознаны. Ибо есть весьма существенная разница между действительной революционностью эстетики Чернышевского и революционной фразой его эпигонов, между революционной принципиальностью великого демократа и узким сектанством некоторых его «верных последователей» и «учеников».

<sup>1</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII, стр. 246—247.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Валерия Герасимова. *Добрая повесть*.— А. Громова. *Герои в пути*.— А. Сивянский. Поэтический сборник В. Пастернака.— Н. Прянишников. Об изучении мастерства Толстого.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Струмилин, академик. *Энергетика и коммунизм*.— Е. Немировский. «Книга — огромная сила».— Сергей Львов. Хороший рассказ о хорошей стране.— В. Молчанов. Верный сын Африки.

## Литература и искусство

### ДОБРАЯ ПОВЕСТЬ

Борис Бедный. *Девчата*. Повесть. «Знамя», № 7, 8, 9, 1961.

Повесть Б. Бедного «Девчата» читаешь с непосредственным удовольствием. Пусть эта оценка звучит несколько просто-душно и может показаться излишне «потребительской». Но, по правде говоря, ко многим ли произведениям — романам, повестям, поэмам, — внушительным потоком заполняющим книжные прилавки, можно по праву применить эту оценку?

Что подкупает в «Девчатах»? Хорошая простота, любовь к человеку, доброе и пристальное к нему внимание, чувство современности и живость авторского письма.

Как будто ничего особенного в повести не происходит. Больше того, основной сюжетный «ход» повести не блещет новизной и оригинальностью.

Мы уже встречались и в прозаических произведениях и в кинофильмах с подобной ситуацией: приятели идут на пари, удастся ли одному из них «победить» девушку. Та узнает об унижительном для нее споре и порывает с человеком, которого успела полюбить. Тем не менее отношение к ней победителя постепенно перерастает в большое, настоящее чувство, и в конце концов любящая пара воссоединяется.

Такова довольно незамысловатая сюжетная канва повести Б. Бедного. Можно

только повторить, что не она является сильной стороной «Девчат». Решает, на мой взгляд, общее звучание повести. Банальный как будто сюжет автор сумел развернуть убедительно и так точно нарисовать несколько человеческих лиц, что у меня не возникает сомнения в достоверности всего происходящего.

Прежде всего удалась героиня повести — Тося. Эту маленькую повариху видишь, слышишь, почти физически ощущаешь. Живо, непосредственно, с присущим Тосе юмором и колючестью звучит ее бойкая речь. Вообще автор «Девчат» хорошо передает живые человеческие голоса, чутко улавливая современную окраску речи.

Вот девчата общежития далекого лесозаготовительного пункта собирают одну из своих подружек на первое в ее жизни свидание. «Не долго думая, Тося вытащила из шкафа чужие одежины и примерила издали их к Кате.

— Девчонки, правда, лучше?

Анфиса пожала плечами. Надя на миг оторвалась от плиты, безучастно посмотрела на Катю и снова занялась своей картошкой. А Вера даже головы не повернула.

— Единоличники вы несчастные! —



пристыдила Тося девчат.— Подруга на первое свидание идет, а вам хоть бы хны!

— Одни женихи у вас на уме,— отозвалась уязвленная Вера,— занялись бы чем посерьезней.

— Эх, мама-Вера! Как тридцать стукнет,— обещаю только про международное положение думать. С утра до вечера, без перерыва на обед!»

Или вот малолетка Тося урезонирует любящую «погулять» Анфису: «По всему поселку слава идет, как к тебе на коммутатор по ночам кавалеры шастают!.. И как ты не боишься? Вот останешься матерью-одиночкой, тогда наплачешься!»

Даже мальчик Петька, несущий авоську, из которой «высовывался русалочий хвост крупной трески», так говорит с молодым инженером Дементьевым:

«Дементьев схватил Петьку и поднял в воздух.

— Куда путь держишь, гражданин хороший?

— Пусти! — завопил Петька, размахивая авоськой и норовя мазнуть Дементьева русалочьим хвостом по лицу.

— Скажи чей, тогда отпущу.

— Ты моему папке выговор влепил, не буду с тобой разговаривать.

— Ага, значит, ты Чуркин!

— Не говорил я этого... Пусти, бюрократ несчастный!» (Подчеркнуто везде нами.— В. Г.).

Надеюсь, что у читателя вызвали улыбку эти небольшие выписки из «Девчат». Юмор, ненавязчивый и — если можно так выразиться — озвученный современностью, является примечательной особенностью творческого почерка Б. Бедного. Вот самостоятельный художник нарисовал портрет героя повести — лесоруба-передовика Илья.

«Тося почтительными глазами глянула на портрет, на котором был изображен парень в пыжиковой шапке с бензомоторной пилой в руках. Он показался вдруг Тосе знакомым, хотя она могла бы поклясться, что никогда в жизни не видела этого носачливы. Всю силу своего таланта местный художник вложил в то, чтобы поточней выписать бензопилу. Шапка тоже удалась ему».

Но в общем, «с бензопилой в руках и благочестивым лицом праведника» молодой лесоруб «смахивал на новейшего **лесоаготовительного** святого **механизированной** формации».

Наконец оригинал портрета останавливается у своего изображения.

«— А это что за птица? — спросил Илья, скользнув глазами по своему портрету.

Негандующие девчата сбежались со всего зала, подобострастно захихикали:

— Себя не узнал!

Илья придвинулся к портрету и искренне удивился.

— Да разве это я?

— А шапка?

— Шапка моя... — признался он и pokrutil головой.— Искусство!»

Добавим, что нередко не только на полотне подобного незадачливого самодеятельного живописца, но и в прозаических произведениях, пьесах и кинофильмах та или иная «бензопила» или шапка выписывались куда тщательнее, чем человек.

Этого не случилось в повести «Девчата», хотя производственные моменты, а также рабочий быт лесорубов нарисованы автором с точностью. Центр же творческого его внимания — люди. Автор любовно раскрывает их далеко не примитивный внутренний мир — будь то курносенькая девушка Тоська, будь то скромный пожилой работяга Ксан Ксаных, будь то его некрасивая, но не захотевшая ему лгать невеста Надя.

Конечно, не все фигуры повести выписаны с одинаковой удачей (так как не все изображенные в ней ситуации — о чем я уже говорила — представляются нам свежими и волнующими). Думается, что за короткое сравнительно время стала уже банальной бытующая и в кинофильмах и пьесах такая фигура, как красивая, неглупая, но разменивающая себя на легкие любовные утехы, а затем горько кающаяся Анфиса. Этот образ перекликается и с Валькой-дешевкой из «Иркутской истории» и с многими другими ее сестрами. Маловыразителен и тоже где-то стандартен полюбивший Анфису инженер Дементьев. Все, что связано с взаимоотношениями этой пары, звучит подчас сентиментально.

«Глазам Дементьева вдруг больно стало смотреть на нее — благодарную, оттаивающую от того холода, который сковал ее... В глазах Анфисы мелькнул непонятный ему испуг. Она придвинулась к Дементьеву, **нестемело** прильнула к нему, словно искала защиты от себя самой:

— Хороший мой, вам другую бы полюбить...»

Ощущение некоторой искусственности вызывает совершающееся к финалу повести всеобщее духовное прозрение: прозревает, осуждая свою былую легковесную жизнь, Анфиса; прозревает, отказываясь от брака с нелюбимым человеком, Надя; прозревает Илья в большом своем чувстве к Тосе; прозревает, наконец, поверив этому, Тося, и, по-своему, полупрозревает даже хулиган Филя...

Переложено той самой литературной «коринки», от которой неоднократно предостерегал Антон Павлович Чехов.

Но недостатки повести возмещаются, на мой взгляд, ее несомненными достоинствами. О них мы уже говорили. Остается только решить: чем определяется то чувство удовольствия, с которым читаешь эту повесть? Рождается оно не только потому, что автору удалось занимательно и живо рассказать, как развивалась молодая любовь Ильи и Тоси. И не потому, что наглядно нарисованы писателем картины труда и быта лесорубов.

Это чувство возникает, видимо, оттого, что вся повесть Б. Бедного проникнута духом человечности, что всем своим звучанием его произведение призывает к добрым человеческим чувствам. И прежде всего — к озаряющей всякую жизнь большой, истинной любви.

Все, что идет от эгоизма, лжи, лицемерия, пошлости, отрицается в повести.

Забавная малолетка Тося, в затруд-

нительные моменты своей жизни даже «шмыгающая носом», страдает не только потому, что над ней зло и пошло подшутил любимый человек.

Ее, семнадцатилетнюю девчонку, захватывают глубокие человеческие переживания, она приходит к серьезной обобщающей мысли.

«Тосе даже и не себя было жаль сейчас, не своей оплеванной первой любви, а того, что Илья так опозорился: летал перед ней орлом, притворялся, что душа у него широкая, а на поверку оказался самой настоящей мокрой курицей... И не в одном Илье тут было дело. Привыкшей к размашистым обобщениям Тосе обидно вдруг стало, что вся людская порода такая несовершенная. Никак люди со своими постыдными пережитками не распрошаются, так и тащат их с собой в коммунизм. А уж болтают о себе, болтают...»

Это размышление заканчивается Тосиным внутренним горячим призывом: «Эх, люди-человеки! И когда вы только лучше станете?»

Думается, что добрая, пронизанная мягким юмором повесть «Девчата» не навязчиво, а как бы исподволь и приводит читателя к мыслям о том, что каждый человек должен освободиться от любых нечистых пережитков старого мира, чтобы душевно красивым, чистым и цельным войти в коммунизм.

**Валерия ГЕРАСИМОВА.**

★

## ГЕРОИ В ПУТИ

**Зигмунд Скуинь. Внуки Колумба. Перевод с латышского Ю. Каппе. «Молодая гвардия». М. 1961. 320 стр.**

Роман этот начинается с того, чем фактически оканчиваются многие романы и повести о молодежи, написанные за последние годы. Герой идет работать на завод.

Да, Липст Тилцен, главный герой романа молодого латвийского писателя Зигмунда Скуиня «Внуки Колумба», лишь ненадолго останавливается у заводских ворот, чтобы прочесть объявление о наборе рабочей силы, и решительно направляется в отдел кадров. Он не сомневается в том, что ему надо идти на завод, и впоследствии не раскаивается в этом решении. Между тем Липст очень молод: ему в начале повествования

всего семнадцать лет, и его даже не хотят принимать на завод: по закону несовершеннолетние работают всего шесть часов, а это нарушает ритм работы предприятия, и начальство старается отделаться от «неудобных» юношей. Однако Липст в конце концов попадает на завод, находит там хороших друзей, вскоре становится полноправным членом заводского коллектива. Работа и любовь, семейные осложнения и хорошая мужская дружба, вечерние огни большого города и ритмичный шум завода, новогодний бал-маскарад в заводском клубе и работа комсомольского патруля, — словом, радости

и горести повседневной жизни нашего молодого современника — вот что служит предметом изображения в романе Зигмунда Скуиня.

Но все это не значит, что Зигмунд Скуинь хотел в противовес многим произведениям, посвященным «неустроенной», «неблагополучной» молодежи, показать героя, который без всяких сомнений и колебаний твердо шагает по прямому пути. Его главный герой — Липст Тилцен — задуман явно не так. У этого красивого рослого парня далеко не все решено и не все благополучно. Наоборот, иногда его судьба выглядит даже излишне усложненной, особенно в начале романа.

Липст пробыл два года с лишним в художественном училище и убедился, что он только зря тратил время: нет у него настоящего влечения к живописи. Но убедился он в этом довольно давно, а решил бросить училище и пойти работать на завод лишь теперь. И, честно говоря, не столько потому, что стало неловко дальше сидеть на шее у матери, сколько из-за обольстительной девушки Юдите, которую на глазах у Липста уводит «пижон в дорогом пальто и... велюровой шляпе». Липст, поглядев в зеркало на свои «гнусные, бесформенные штанины», и решает идти зарабатывать деньги, чтоб выглядеть не хуже этого «пижона».

Вообще Липст, несмотря на свою энергию и решимость, довольно легко поддается соблазнам. Не приняли его поначалу на завод — и он, не очень раздумывая, отправляется с малознакомым и весьма сомнительным Сприисом Узтупом, соглашается участвовать в его мошеннических махинациях, хоть и сгорает от стыда, а на заработанные таким образом деньги проводит вечер в ресторане. Правда, по дороге домой Липст попадает в милицию, но это уж по ошибке: он заступился за девушку, а его приняли за хулигана. Все наоборот: за мошенничество он получил деньги, а за доброе дело — штраф и суровые наставления. Но зато милиция бережет Липста, и прямо тут же, ночью, лейтенант Шеридо улаживает недоразумения с отделом кадров, так что Липст уже наутро отправляется работать. Описаны все эти похождения Липста живо, лирично, с юмором, но совпадений и необыкновенных случаев тут все же многовато, особенно для одного вечера.

Впрочем, дело не только в этом вечере. Вся линия взаимоотношений Липста с кра-

савицей Юдите кажется в романе чужеродной, позаимствованной из совершенно другой среды. Не потому, конечно, что таких легкомысленных красоток с прочно укоренившимися мещанскими идеалами нет в жизни. Есть они и в Риге, и в Москве, и повсюду. И то, что Липст по молодости лет не может разобраться до конца в Юдите, тоже неудивительно. Хуже то, что автор и сам явно поддается чарам Юдите и описывает ее в таких тонах, будто речь идет о романтической героине, а не о мещаночке-манекенщице, без особых переживаний согласившейся на заурядный брак по расчету.

«В белых вспышках молний, в громовом неистовстве грозы рушатся время и пространство. Глаза Юдите все ближе и ближе, в них молнии, море и берег. Вот они совсем близко, и теперь в них весь мир». Выполнено это в тонах Ремарка, но Юдите явно мелка для романтической стилистики: это не Пат из «Трех товарищей» (хоть все встречи Липста и Юдите отзываются атмосферой именно этой книги).

Автор может возразить: это Липст так видит Юдите глазами своей любви. Да, но авторская точка зрения ни в чем и нигде не отличается от юношеского слепого восторга героя. Вот первое появление Юдите перед читателем: «Она возникла из темноты и внезапно очутилась прямо перед Липстом, схваченная узким снопом света, который, казалось, лился из нее самой. Легкие парчовые туфельки ступают почти неслышно. Она скользит, как по воздуху, в тихом шелесте шелка... Преображенная сказочным волшебством, она стала еще прекраснее, но уже не принадлежала к этому миру. Таинственная, торжественная, недостижимо далекая».

Нет, это не появление Золушки на королевском балу, это всего лишь демонстрация новых мод в Доме культуры, и другие манекенщицы, конечно, «принадлежат к этому миру». Но Юдите — дело другое. Не только Липсту, но и автору явно изменяет чувство юмора, когда заходит речь об этой неотразимой красотке. Уж и бросила она Липста, и вышла замуж за противного пижона с лицом, похожим на голландский сыр, и наговорила по поводу своего решения кучу самых дешевых пошлостей, и вдобавок ко всему, катаясь со своим «голландским сыром» на машине, чуть не убила ни в чем не повинного Казиса, друга Липста, — а думать о ней можно по-прежнему

лишь возвышенно. Например, так: «Время смахнуло и развеяло осадок горьких воспоминаний, оставалась лишь нетронутая красота первой любви, которая в чередѣ дней не увяла и не погасла».

Липст на заводе и Липст с Юдите — это, в сущности, разные люди, и изображены они по-разному, и эти принципы изображения плохо совмещаются в одной и той же вещи.

Замысел автора в общем понятен: мой герой не так-то уж прост и «правилен», но парень он все же хороший, основа характера у него здоровая, и он пойдет по верному пути. Пускай он пришел на завод, чтоб заработать деньги на хорошее пальто и велюровую шляпу, — он вскоре по-настоящему полюбил завод и новых друзей, которых приобрел здесь, ценит очень высоко. Пускай он иногда, по легкомыслию и слабости характера, проводит время с гуineaдцем Сприцисом, — он презирает этого типа «с кривой ухмылкой на лице преждевременно состарившегося младенца» и в конце концов рвет с ним всякие отношения. Пускай Юдите мешанка — ведь он-то любил ее по-настоящему. Да, все это так, но получается, что кривые тропки, по которым шагает Липст, изображены более подробно, да и более ярко и интересно, чем его прямой путь.

Кроме того, заводские друзья Липста за этот счет несколько обеднены. Правда, изображая их, автор не прибегает к тем приемам, которыми охотно пользуется, когда говорит о Юдите, к той романтической возвышенности, которая — прежде всего из-за несоответствия с объектом изображения — то и дело отдаѣт пошловатостью. Но эти славные, хорошие парни и девушки легко сливаются в восприятии читателя. Например, сестры-близнецы Ия и Вия до конца романа так и остаются безнадежно похожими друг на друга, а заодно и на тысячи подобных им близких героинь. Да и их счастливым супругам, Казису и Робису, зачастую не хватает живых красок, индивидуальности облика. Лучше других удался Угис Сперлинь, за чудаковатой мечтательностью которого ясно проступает кристально чистая душа, доброта, великодушие и незаурядная сила воли. Но об этом парне хотелось бы узнать гораздо больше, и невольно жалеешь, что автор тратит так много времени на банальные, в сущности, обра-

зы Юдите, Сприциса, «голландского сыра» — Шумскиса.

Хочется сразу оговориться: эти недостатки в изображении заводской молодежи в значительной мере скрадываются живой лирической манерой повествования, присущей Зигмунду Скуиню, светлым юмором, пронизывающим роман. И можно сказать, что если не все образы молодых рабочих в равной мере удались автору, то фон повествования, разнообразный и даже подчас пестроватый, выписан очень ярко и живо, атмосфера быта современной рабочей молодежи схвачена метко и верно.

Но все ли важнейшие черты облика молодого современного рабочего одинаково убедительно переданы в талантливом романе Зигмунда Скуиня? Вот об этом хочется поговорить.

Молодых героев Зигмунда Скуиня работа на заводе вполне удовлетворяет: они очень живо заинтересованы своими производственными и личными делами, и это для них и есть самая настоящая и правильная жизнь — другой они не ищут. Правда, в конце романа Угис Сперлинь уезжает в Магадан. Но он это делает оттого, что девушка, которую он любит, вышла замуж за другого. Он вернется, как только время и расстояние залечат рану.

Плохо ли это? Разумеется, нет. Что же плохого в том, что молодые люди сразу выбрали свою дорогу, что они работают с огоньком, с душой, творчески? Да, конечно, это не бог знает что — делать велосипеды; велосипед не назовешь транспортом будущего. Герои Зигмунда Скуиня это отлично понимают. Слушая по радио сообщение о том, что советская космическая ракета достигла Луны, они посмеиваются над собой и воображают, что скажут о них внуки.

«— Почему вы делали велосипеды в то время, когда другие создавали ракеты? — спросят они.— И что ты им тогда ответишь?»

— Я отвечу: «В те времена велосипеды тоже были нужны».

— Э-эх! — скажут они.— Ну и неказистые старики у нас...»

Но в этих шутках нет горечи. Не всем же в конце концов делать ракеты, и велосипеды действительно пока что тоже нужны. Кроме того, вскоре завод будет выпускать мопеды, а у этих машин — большое будущее, не то, что у велосипеда, из которого больше уже ничего не выжмешь никакими усовер-

шенствованиями. А героям «Внуков Колумба» хочется творить, изобретать, улучшать. И они это делают. И считают, что они правы.

Они и в самом деле правы. Но это не вся правда о человеке нашего времени. И Зигмунд Скуинь это знает. Ему все время хочется сказать о своих героях нечто большее, обрисовать то, что стоит за их повседневными, пусть и очень хорошими, правильными делами. Ведь роман и назван «Внуки Колумба!» Почему? Автор так раскрывает это: мы живем в эпоху великих открытий. Она только начинается. Многие тайны космоса, тайны физики, химии, биологии еще ждут своего раскрытия. Коммунизм — это ведь тоже новый мир, в который еще никто не ступал ногой. Угис в детстве огорчился, что не жил во времена Колумба, — ему казалось, что все открыли без него. А огорчаться не стоило, теперь он это понимает; самые великие открытия еще впереди.

Что ж, опять-таки все это хорошие и благородные слова. Но они даны, в сущности, как декларация, а жизнь героев течет сама по себе, фактически не прикасаясь с этими большими идеями. Ибо конкретные размышления Липста значительно уже, порой — наивней. Куда переходить — в инструментальный цех или в экспериментальный? В инструментальном можно выучиться на токаря, да и заработок там более прочный и высокий. Зато в экспериментальном — настоящая, творческая работа. Немного колебавшись, Липст решает: пойду в экспериментальный. Или тот же Липст раздумывает: прав или неправ старый мастер Крускоп, фанатически преданный работе, когда упрекает молодежь в равнодушии к делу, в легкомыслии, в тяге к развлечениям? Нет, мастер неправ, решает Липст, можно и работать и веселиться.

Можно сказать, что повседневные дела Зигмунд Скуинь передает ярче и точнее, чем пафос высоких идей. Атмосфера его романа, интеллектуальный уровень его героев, сама манера повествования, живая, непринужденная, очень эмоциональная, лирическая и шутивная, — все это создает довольно четко очерченный мир, в который не все может одинаково естественно и легко вписаться. Героям «Внуков Колумба» совершенно не свойственна яростная одержи-

мость, которая характеризует, например, героев Д. Гранина или Митчела Уилсона. И это нельзя считать недостатком.

Это просто разница темпераментов, стремлений, вкусов, которая существует и у людей, стоящих на общей идейной платформе. Но ведь способность видеть богатство и сложность мира, способность мыслить масштабно, думать о судьбах мира, а не только о делах своего завода и о своей семье — это свойственно вовсе не только одержимым, не только людям с пламенным темпераментом и железной волей. Это естественное свойство нормального, «среднего» нашего соотечественника и современника. А у героев Зигмунда Скуиня это качество проявляется слабовато, их чаще всего «заетает текучка», и они охотнее говорят о том, как устроить, чтоб молодожены Робис и Ия жили вместе, пока нет комнаты; кому поехать в Харьков перенимать опыт создания мопедов; как проводить уходящего на пенсию мастера Крускопа... И такие сцены написаны живо и точно, а когда начинаются рассуждения более высокого плана, автору явно изменяет вкус. «Стены маленькой комнаты словно раздвинулись, сливаясь с простором окружающего мира. Птицы-мысли летели на сверкающих крыльях через пространство и время». Или. «Прелестная взору такая близкая, знакомая до мелочей и в то же время неповторимо чудесная картина раздвинула в груди неведомые шлюзы, и в нее, заполняя пустоту, хлынула мощным потоком всемогущая, живительная сила бытия. Она затопляла сомнения, тоску и робость, без слов давая ответ на все вопросы неоспоримой логикой, звучащей в гудении каждого мотора, в каждой мгновенной вспышке света». Напыщенность этих тирад показательна, это значит, что размышления такого рода в романе неорганичны, что они не вытекают из самой сути авторского замысла.

Зигмунд Скуинь кажется писателем больших возможностей. Надо надеяться, что мир героев его следующей книги будет шире, сложнее, оригинальнее, что авторская мысль окрепнет, прояснится и будет оказывать большее воздействие на выбор и «обработку» материала.

**А. ГРОМОВА.**

## ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК Б. ПАСТЕРНАКА

Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. Редактор Н. Крючкова.  
Гослитиздат. М. 1961. 376 стр.

Поэзия Пастернака долгое время пользовалась известностью в сравнительно узком кругу знатоков и любителей поэтического слова. Сгущенная сложная метафоричность его стихов раннего периода многими воспринималась как претензия формы, за которой смутно улавливалось содержание. Выход в свет сборника стихотворений и поэм Пастернака, включившего, помимо ряда прежних вещей, его стихотворения 1956—1960 годов, которые ранее не издавались или печатались разрозненно, в периодике, является весьма своевременным.

Вызывает, однако, удивление, что в этом сборнике поэта, с именем которого в последние годы в широких кругах читателей связывались, понятно, представления отрицательного порядка, не дано вступительной статьи, каких бы то ни было примечаний, комментариев от редакции.

Творческий путь Пастернака неровен, сложен. В той или иной мере Пастернак тяготел к настроениям старой, дооктябрьской интеллигентской среды, к идеям отвлеченно понятой гуманности. Отсюда и возникал конфликт, характерный для него, — между «вечностью» и «временем», «поэзией» и «историей».

Не спи, не спи, художник,  
Не предавайся сну.  
Ты — вечности заложник —  
У времени в плену.

Однако в поэтической практике «вечность» и «время» выступали у Пастернака не только в таком обособлении, противопоставлении. В ряде поэм и стихотворений, созданных в разные периоды его жизни, запечатлены революция и новая, советская действительность, показанные (как это вообще свойственно Пастернаку) под углом зрения нравственных преобразований, которые связаны именно с нашим временем, народом. В стихотворении, посвященном Октябрьской революции (1925), он писал:

Мы — первая любовь земли...

А много лет спустя, в 1941 году, та же идея нравственного обновления прозвучала в стихах о дорожных встречах на ранних подмосковных поездах.

Сквозь прошлого перипетии  
И годы войн и нищеты  
Я молча узнавал России  
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,  
Я наблюдал, боготворя.  
Здесь были бабы, слобожане,  
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,  
Которые кладет нужда,  
И новости и неудобства  
Они несли, как господа...

Содержанием, нужным и близким людям сегодняшнего и завтрашнего дня, насыщены и многие стихотворения Пастернака, посвященные природе и принадлежащие, может быть, к лучшему, что им было создано за полвека поэтической работы. Значение их шире обычных пейзажных зарисовок. Все эти весны, зимы, дожди и рассветы учат добру и повествуют о природе самой жизни, которая осмыслена в его поэзии как всеохватывающая стихия, высшее благо и величайшее чудо. Удивление перед чудом существования — вот лирический лейтмотив Пастернака, навсегда пораженного, замороженного своим открытием: «опять весна».

Поэтическая новизна и своеобразие Пастернака, привлекая к нему внимание в начале двадцатых годов, после выхода книги «Сестра моя жизнь», и выдвинувшие его в ряд замечательных мастеров стиха, состояли в характере восприятия и изображения этой не новой природы. Она предстала в необычном виде — как целостное индивидуальное лицо, как живое единство мира, воссозданное поэтом с помощью смелых метафорических переносов смысла с одного предмета на другой. Пастернак исходил из положения, что два предмета, расположенные рядом, тесно взаимодействуют, бросают друг на друга отсвет, проникают один в другой, и потому он связывает их — не по сходству, а по смежности, — пользуясь метафорой как связующим средством. Мир пишется «целиком», а работа по его «воссоединению» выполняется с помощью переносного значения слов.

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,  
Где даль пугается, где дом упасть боится,

Где воздух синь, как узелок с бельем  
У выписавшегося из больницы.

Последняя строка позволяет понять, почему «даль пугается», а «дом упасть боится»: они тоже только что выписались из больницы, как и человек, от узелка которого засинел воздух.

Картины Пастернака своим жизнеутверждающим пафосом, обновленным восприятием мира созвучны умонастроению современного человека. Недаром сам поэт создание «Сестры моей жизни» связывал с мироощущением, характерным для нашей эпохи.

В своих пейзажах Пастернак редко говорит о себе и от себя, старательно убирает, прячет свое «я». Он предпочитает, чтобы «снег» или «дождь» изъяснялись за него и вместо него. Это приводит к тому, что природа, переняв роль поэта, повествует уже не только о себе, но и о нем самом — «не я про весну, а весна про меня», «не я про сад, а сад про меня»:

...У плетня  
Меж мокрых веток с ветром бледным  
Шел спор. Я замер. Про меня!

Но именно потому, что природа рассказывает о поэте, а он, перестав занимать центральное место, растворился в ней, образы Пастернака лиричны. Сама природа осознается как лирический герой, а поэт — повсюду и нигде. Он не сторонний наблюдатель природы, а ее подобие, двойник, живущий внутри нее и становящийся то морем, то лесом. Это полное единение с пейзажем, без свидетелей и соглядатаев, придает стихам Пастернака особую интимность и подлинность.

В новом издании стихотворений и поэм Пастернака широко представлена его пейзажная лирика последних лет, составившая книгу «Когда разгуляется». Здесь бросается в глаза ясность поэтического языка, в ранний период затемненного обилием ассоциаций — слишком настойчивым желанием поэта учитывать взаимовлияние вещей и связывать их частой сеткой метафор. Речь раннего Пастернака в своей основе естественна, непринужденна, но это непринужденность хаоса, рвущегося напролом и нуждающегося в распутывании, чтобы стать до конца понятным.

В дальнейшем в его стихе все большие права приобретает организующая, обобщающая мысль. Связь вещей осуществляется в

более прямых формах, без обязательных иносказаний, и сама вселенная теперь предстает как нечто бесхитрое, «одноосновное», построенное на таких простых и главных истинах, как жизнь, любовь, хлеб и т. д. В лирику Пастернака все шире входит жизненная проза, в которой он видел источник поэтического, трактуя ее как залог подлинности, достоверности образа (отсюда его стремление поэтизировать мир с помощью прозаизмов и рассказывать о красоте природы не языком поэтических банальностей, а «расхожими» словами нашего повседневного быта).

Но, пожалуй, главное, что сохранил и развил Пастернак в своем творчестве, это цельность поэтического взгляда на жизнь, где «ничего не может пропасть», где ветер

Раскачивает лес и дачу,  
Не каждую сосну отдельно,  
А полностью все дерева  
Со всею далью беспредельной...

К сожалению, в новом сборнике не нашли места такие из последних стихотворений Пастернака, как «Август» и «В больнице». В них поэт само прощание с жизнью заставляет звучать как проповедь «творчества и чудотворства», лежащих в природе бытия, искусства.

В сборнике, выпущенном Гослитиздатом, некоторые старые произведения Пастернака публикуются в новом виде, с существенными изменениями. Известно, что автор в конце жизни считал нужным внести исправления в текст отдельных стихотворений. Но поскольку авторская воля в этой книге прямо не оговорена, создается ощущение какой-то неясности, путаницы: иные памятные строфы отсутствуют, другие заменены, у некоторых стихотворений опущен финал и т. д. При этом не все поправки привели к улучшению поэтического текста. В отдельных случаях новый вариант явно проигрывает сравнительно с прежними изданиями. Жаль, что редакция уклонилась от разъяснений на этот счет.

Осваивает желать лучшего и состав книги. Мы здесь не найдем таких, на наш взгляд, определяющих для творчества Пастернака вещей, как «Плачущий сад», «Гроза, моментальная навек», «Может статься так...», «Косых картин, летящих ливня...», «Бальзак», «Рослый стрелок, осторожный охотник...», «Смерть поэта», цикл «Разрыв», поэма «Высокая болезнь», и многих, многих

других. В разделе «Темы и вариации» нет «Темы с вариациями», обращенной к Пушкину и являющейся «ключевым» произведением этого цикла.

Трудно оправдать эти упущения лимитов сборника: здесь много вещей третьестепенных, «проходных» для творчества Пастернака, публикацией которых можно было бы пожертвовать ради других, более важных. В частности, включение в сборник большого стихотворения для детей «Зверинец» или цикла 1936 года «Из летних записок» представляется в данном случае непозволительной роскошью. Можно было бы несколько ограничить и стихи Пастернака о войне, оставив лучшие из них.

В сборнике не получила отражения огромная переводческая деятельность Пастернака, перу которого, как известно, принадлежат переводы ряда пьес Шекспира, «Фауста» Гёте и т. д. Впрочем, может быть, эту область его литературной работы действительно следует как-то «разграничить» с его оригинальной поэзией, для того чтобы та и другая были представлены полнее. В частности, пастернаковские переводы грузинских поэтов Николая Барагашвили, Александра Абашели, Георгия Леонидзе, Тициана Табидзе, Паоло Яшвили и других стоит перевести отдельной книгой.

А. СИНЯВСКИЙ.



## ОБ ИЗУЧЕНИИ МАСТЕРСТВА ТОЛСТОГО

Толстой-художник. Сборник статей. Редакционная коллегия: Д. Д. Благой, К. Н. Ломунов, Л. Д. Опульская, А. А. Сабуров, А. И. Шифман. Издательство АН СССР. М. 1961. 462 стр.

По названию сборника, тематически определенному, мы вправе ожидать, что в сравнении с другими сборниками о Толстом, вышедшими за последние годы, он окажется более планомерным и целостным в своем содержании. В нем собран большой и разнообразный материал, который вводит нас в творческую лабораторию Толстого-художника, и это сразу же заинтересовывает читателя, ибо, как сказано в статье К. Ломунова «Школа высокого мастерства», открывающей сборник, «изучение лаборатории художественного творчества интересует и увлекает не только писателей и художников, но и всех, кто искренне любит искусство и литературу». Однако не все статьи, здесь опубликованные, непосредственно связаны с темой сборника. Есть среди них и такие, которые не имеют прямого к ней отношения. Такова интересная сама по себе работа А. Шифмана «Художественные элементы в публицистике Л. Н. Толстого», которая была бы более уместна в сборнике «Толстой-публицист». (Кстати, нельзя не разделить сетований автора по поводу того, что до сих пор «нет ни одной специальной монографии, в которой бы анализировались идейное богатство и творческое своеобразие» столь значительной части литературного наследия Толстого, как его публицистика.)

С другой стороны, в сборнике помещено

несколько работ на очень узкие темы. В предисловии они названы «как бы этюдами, показывающими мастерство Толстого на сравнительно ограниченном материале». Обращает также внимание дублирование и распыление наблюдений в некоторых статьях. Так, в статье В. Горной «Из наблюдений над стилем романа «Анна Каренина» речь идет о пушкинских традициях в романе. Но о них же говорится понемногу и в других статьях (например, в статье о «Хаджи-Мурате» или в статье «Психологический анализ в романе «Воскресение»). Думается, что по такому важному вопросу, как пушкинское начало в искусстве Толстого, следовало бы дать специальную статью, пусть даже за двумя-тремя авторскими подписями.

Косвенное отношение к теме сборника имеют две работы по фольклору у Толстого: статья Э. Зайденшур «Русская народная сказка «Работник Емельян и пустой барабан» в обработке Л. Н. Толстого» и статья С. Жислиной «История одной сказки». Обе статьи, особенно последняя, относятся к типу сообщений, которые публиковались в выходивших когда-то литературоведческих сборниках «Звенья».

Все это заставляет нас сделать вывод о некоторой пестроте состава сборника. Единственный порядок, какой можно усмотреть в расположении статей, это, как ска-



зано в предисловии, «соответствие с хронологией творчества Толстого».

Но обратимся к статьям, непосредственно отвечающим теме сборника, определенной в его названии.

Лучшей из них следует признать статью Э. Бабаева «Сюжет и композиция романа «Анна Каренина». Считая ошибочным давнее в критике мнение, что в «Анне Карениной» не один, а два романа, и опираясь на высказывание самого Толстого, что в его романе «своды сведены так, что нельзя заметить, где замок», автор обращает внимание на «общность коллизий, в которых разворачивается сюжет Анны и Левина», и приходит к такому выводу: «при всей обособленности содержания эти сюжеты представляют концентрические круги, имеющие общий центр». Этим центром, или «внутренней основой развития сюжета в романе», является «постепенное освобождение человека от сословных предрассудков, от «путаницы понятий» и «мучительной неправды» законов «разъединения и вражды». «Если жизненные искания Анны окончились катастрофой, — рассуждает автор статьи, — то Левин через сомнение и отчаяние «прокладывает свою определенную дорогу». Это была дорога к народу, дорога к правде и добру, как их понимал Толстой».

Обращаясь к композиции романа, Э. Бабаев устанавливает, что «опорными пунктами» ее являются «сюжетно-тематические центры, последовательно сменяющие друг друга». Отсюда интересная попытка автора статьи озаглавить каждую из восьми частей романа словами-символами, взятыми из романа же («Путаница», «Пучина жизни», «Паутина лжи», «Таинственное общение», «Избрание пути» и т. д.), — попытка, напоминающая те заглавия, которыми композиторы (или музыковеды) называют иногда части симфоний.

Написанная лаконично и вместе с тем в живой и свободной манере, статья читается с большим интересом и особенно ценна тем, что, будучи посвящена «технологии» романа, она рассматривает ее в неразрывной связи с идейным содержанием произведения и тем самым помогает более глубокому пониманию его в целом, как бы заново интерпретирует роман.

Несколько интересных наблюдений содержит статья Н. Наумовой «Искусство портрета в романе «Война и мир». К сожалению,

обнаруживать эти наблюдения читателю нелегко из-за нечеткости и «вязкости» изложения. Нет у статьи и какого-либо резюме, если не считать за таковое несколько общих слов, применимых к искусству портрета у любого большого писателя: «Толстому открыто все богатство оттенков эмоционального воздействия зрительного впечатления. При этом рисунок его всегда точен, конкретен и создает реальные картины тех или иных жизненных ситуаций с огромной художественной силой».

Грехом восторженных фраз грешат и другие статьи в сборнике. На его страницах то и дело мелькают определения вроде следующих: «поразительная пластичность образа», «величайший внутренний динамизм», «изумительное мастерство», «изумительная емкость характеристики», «можно только удивляться мощи творческого преодоления Толстым ложной исторической традиции» и т. д. и т. п. Разумеется, литературоведческой преемственности не противопоставлено употребление превосходной степени и эмоционально-восклицательных оборотов речи, но плохо, когда выражениями восторженного удивления порой подменяется работа анализирующей мысли.

Как известно, после Толстого осталось огромное рукописное наследство, дающее возможность изучать историю создания того или иного произведения великого писателя по различным его редакциям, планам, конспектам, вариантам. К этим материалам, особенно с тех пор как значительная их часть вошла в Юбилейное (девяностолетное) издание сочинений Толстого, все чаще стали обращаться наши литературоведы. Дело это, вообще говоря, нужное, и его следует продолжать, но, разумеется, при условии, если оно делается хорошо. К сожалению, две работы подобного рода в рецензируемом сборнике: статья Г. Краснова «Работа Толстого над образом Тушина» и статья В. Жданова «Из творческой истории поэмы «Крейцеров соната» — оставляют желать лучшего.

Авторы их стремятся быть путеводителями по лабиринтам многочисленных редакций и вариантов, привлеченных ими к исследованию, но читателю во всем этом трудно разбираться.

Приведем один пример. Как помнят читатели, герой «Крейцеровой сонаты» Позднышев, мучимый ревнивыми подозрениями,

досрочно покидает уезд, где был в служебной командировке. Вернувшись домой, он застаёт там того, к кому ревновал жену, и затем убивает ее. А раньше был случай, когда, придя домой с охотничьей выставки, Позднышев застал у жены того же человека, но в тот раз бурная сцена между супругами кончилась примирением (главы XXI—XXII повести). Между тем в одной из рукописей это примирение супругов после ссоры происходит не тогда, когда Позднышев приходит с выставки, а когда он неожиданно возвращается из уезда. Дело, казалось бы, ясное и обычное в творческой практике писателей: перестановка во времени двух сходных эпизодов (в данном случае двух возвращений мужа). Но вот как изложено это в статье В. Жданова:

«Не дождавись окончания дел, он поспешил вернуться домой. Произошло тяжелое объяснение с женой, и после примирения Позднышев признался ей, что он ревновал. В рукописи, из которой взята эта сцена, данный эпизод (в отличие от окончательной редакции) предшествовал финальной сцене и непосредственно не был с ней связан.

Начиная с первого варианта, сцене убийства предшествует другая (?), построенная на неожиданном возвращении одного из супругов домой. В ней показаны взрыв ревности Позднышева, его грубые нападки на жену и под конец примирение супругов.

В рассматриваемой теперь (?) рукописи эпизод поездки героя повести в уездный город сделан последним, а в качестве предшествующего наменен другой — возвращение Позднышева с охотничьей выставки...»

Каждый из трех кусков выписанного текста сам по себе понятен, но взятые вместе, в непосредственном следовании друг за другом, они представляют сухую головоломку. Подобные «загадки» встречаются и в статье Г. Краснова. Статьи на много выиграли бы, если бы авторы предварительно ознакомили читателей с рукописными материалами, которыми оперируют, предпослали им хотя бы самую краткую «опись», чтобы читателю легче было ориентироваться в них.

Иногда в изложении сказывается небрежное отношение к делу, недопустимое в научных исследованиях. Так, автор статьи о работе Толстого над образом Тушина, имея дело со второй частью первого тома

«Войны и мира», где описано Шенграбенское сражение, упорно называет ее второй частью романа (стр. 63, 77, 82, 87, 89). Далее на странице 85 он заверяет, что в «окончательном тексте» романа мы не найдем «Болконского, обозревающего близ офицерского шалаша поле предстоящего сражения и слышавшего офицерский разговор...» Здесь имеется в виду XVI глава второй части первого тома романа, но в ней Болконский и поле предстоящего сражения обозревает и разговор офицеров, находившихся в шалаше, слышит. Зачем же путать читателей?

Недоумение (но уже в другом плане) вызывает примечание в начале статьи В. Жданова (там, где он предупреждает читателей, что посвящает свою статью лишь финалу повести). Вот это примечание:

«В Юбилейном издании сочинений Л. Н. Толстого «Крейцера соната» напечатана в томе 27, под редакцией Н. К. Гудзия. Там же опубликованы первая и третья (незаконченная) редакции повести и отдельные варианты. Приведенные в нашей статье тексты «Крейцеровой сонаты» даны непосредственно по рукописям, и не все они опубликованы в указанном издании.

Какие именно тексты не опубликованы в 27-м томе, В. Жданов не сообщает. Между тем все (или почти все) тексты, какие он приводит или пересказывает в статье, имеются в 27-м томе. Возникает вопрос: почему же автор счел нужным приводить тексты «непосредственно по рукописям», игнорируя названный том Юбилейного издания и большую работу его составителей? Если из недоверия к этой работе, то почему оно не обосновано? Это во-первых. Во-вторых, в примечании не упомянуто, что в том же 27-м томе помещена большая работа Н. Гудзия «История писания и печатания «Крейцеровой сонаты», где весьма обстоятельно прослежена творческая история повести, и, конечно, вместе с финалом. В каком отношении стоит статья В. Жданова к работе Н. Гудзия, дополняет ли она ее или в чем-то оспаривает — об этом автор статьи не говорит.

Однако в рассмотренных двух статьях обращение к рукописям Толстого обусловлено самым их «жанром» и темами. Но обращение к рукописным материалам имеет место и в других статьях сборника, где в этом нет надобности и где ссылки на ру-

кописи являются лишь данью манере, установившейся с некоторых пор в работах по Толстому.

Содержательная статья Л. Опульской («Психологический анализ в романе «Воскресение») изобилует ссылками на 33-й том Юбилейного издания, где опубликованы черновые редакции и варианты к роману, и лишь изредка встречаются ссылки на 32-й том, где помещен сам роман. Видимо, автор считает, что особенности психологического анализа в «Воскресении» целесообразнее изучать по черновикам романа.

Или взять статью С. Леушевой «Образ Кутузова в свете историко-философских взглядов Толстого». И в ней автор чаще ссылается на 13—15-й тома Юбилейного издания, где опубликованы черновые редакции и варианты к «Войне и миру», нежели на 9—12-й тома, где помещен сам роман, хотя по всему ходу статьи очевидно, что автор прежде всего имеет в виду образ Кутузова в его, так сказать, каноническом виде. Вывод же, к которому приходит автор в результате своих разысканий, ничего нового в себе не заключает, а именно: «Умаление активной роли Кутузова — одно из проявлений субъективизма, привнесённого Толстым в образ полководца и снижающего степень его исторической достоверности».

Большую часть статьи Н. Азаровой («О некоторых особенностях повестей Толстого 80—90-х годов») занимает пересказ содержания «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонаты», причем и тут дело не обходится без обращения к рукописным вариантам. Автор даже склонен предпочитать некоторые из них окончательному тексту. Так, дойдя до переломного момента в жизни Ивана Ильича (когда он «осознает, что вся его жизнь прошла «не так», что она была заблуждением, что основы ее были несправедливы»), то есть дойдя до самого главного в повести. Н. Азарова заявляет: «Особенно отчетливо это выражено в одном отрывке из вариантов повести...» И дальше, как водится, следует выписка из рукописного варианта.

Вспоминается чеховский профессор (из записных книжек) с его мнением: «Не Шекспир главное, а примечания к нему». Так и тут: не романы Толстого главное, а их черновые редакции. Можно подумать, что если бы после Толстого не осталось рукописей, то многие литературоведы оказались бы

в затруднительном положении, так как не знали бы, что им делать с Толстым.

Значительная часть большой статьи Ф. Евнина «Последний шедевр Толстого» посвящена творческой истории «Хаджи-Мурата». При этом автор упоминает о другой работе на эту тему — А. П. Сергеенко (в 35-м томе Юбилейного издания). Ф. Евнин отзывается о ней уважительно (хотя и называет ее автора «П. А. Сергеенко», видимо, путая Сергеенко-сына с Сергеенко-отцом), но находит, что «исследователь (то есть А. П. Сергеенко.— Н. П.) не задавался целью установить, хотя бы гипотетически, те или иные закономерности в творческих исканиях Толстого». Важнейшей из этих закономерностей автор статьи считает превращение повести из «истории души» в «широчайшее социальное полотно», по его же утверждению решающей в этом смысле была последняя (десятая) редакция «Хаджи-Мурата». Зачем же было привлекать к рассмотрению другие редакции?

В ходе исследования автором даются более или менее интересные обещания, однако выполнение их не может удовлетворить читателя. Утверждая, например, что герой повести показан не столько «изнутри», сколько «извне», автор замечает в скобках: «Подробнее об этом — в разделе, посвященном образу Хаджи-Мурата». Но раздел этот (третья глава статьи) представляет собою не больше, как конспективное изложение содержания тех глав повести, где фигурирует Хаджи-Мурат.

На странице 357, выделяя в повести тему осуждения войны, автор опять обещает: «Как мы постараемся показать в статье, это осуждение наложило яркий, своеобразный отпечаток на стиль, лексику, фразеологию ряда глав повести». Но соответствующие страницы статьи написаны неубедительно. Автор считает, например, что картина разоренного набегом аула (XVII глава повести) описана «нарочито огрубленным» стилем, и приводит в доказательство такие фразы: «...крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его (хозяина сакли.— Н. П.), тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата... был проткнут штыком в спину...» и т. д. Но ведь именно так оно и было в действительности. Или, быть может, автор статьи подозревает, что Толстой сгустил здесь краски?

Ту же «нарочитую огрубленность» стиля усматривает автор статьи и в описании расправы горцев над казаками в XXV главе повести. В доказательство выписаны такие строки: «...горцы... били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади... Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его [Игнагова] по голове и рукам» и т. д. Комментируя это место, Ф. Евнин пишет: «Здесь в самой лексике и фразеологии (особенно в подборе глаголов) непосредственно передано негодование и изумление автора по поводу возможности совершения подобных действий над людьми».

Таким образом, объективно-точные описания гениального художника, потрясающие именно своей точностью, автор статьи смешивает с дешевой экспрессией плохих беллетристов, а реальную «грубость» описанных картин и событий переносит на слова, какими эти картины и события описаны.

В. Горная в статье «Из наблюдений над стилем романа «Анна Каренина» не раз говорит о том, что в этом романе Толстой «нашел множество приемов, позволяющих совместить подробный анализ переживаний героев с пушкинским целеустремленным развитием повествования». Однако читатель тщетно будет искать в статье таких мест, где бы с достаточной четкостью были сформулированы и убедительно проиллюстрированы хотя бы два-три из «множества» этих приемов. О зыбкости же суждений автора можно судить по такому примеру. На странице 201 читаем: «...на всем протяжении романа «Анна Каренина» психологический анализ, всестороннее исследование диалектики души Толстой постоянно совмещает с живостью сюжетного развития». А на следующей странице сделана такая оговорка: «В то же время нельзя не отметить, что сюжетная линия, связанная с жизнью и исканиями Левина, развивается менее стремительно...» Но ведь Левин с его жизнью и исканиями — это половина романа. Стало быть, вышесказанное «совмещение» имеет место в романе далеко не «на всем» его «протяжении» и отнюдь не «постоянно».

Статья В. Малинковского «Художественная деталь в кавказских рассказах Л. Н. Толстого» начинается обширной «преамбулой» о том, что Толстой в этих рассказах,

«используя достижения русского очерка 40-х годов, преодолевает его ограниченность и создает новую в критическом реализме эпическую малую форму — реалистический рассказ». Насколько можно понять, главную роль в этой трансформации очерка в рассказ автор приписывает «своеобразному приему повторения и варьирования художественной детали» (как будто в «физиологических очерках» не могло быть повторения подробностей), и дальнейшее содержание статьи сводится преимущественно к тому, что вот-де капитан Хлопов («Набег») ни при каких обстоятельствах не расстается с трубкой, а поручик Розенкранц курит папиросы, солдат Веленчук («Рубка леса») тоже курит трубку, а бывший аристократ Гуськов («Разжалованный») — «папиросочки» и т. п.

В качестве примеров в статье привлечены преимущественно вот такие «курительные» детали, причем автор придает им непомерно большое (мы бы сказали — магическое) значение. Так, по его словам, трубка капитана Хлопова есть художественная деталь, «помогающая передать его психологические переживания, а также авторские (?) чувства». Она же помогает «уяснить психологию храбрости». Странно также, что, относя использование таких деталей, как трубка капитана Хлопова, к писательскому новаторству Толстого, автор статьи, видимо, забыл о лермонговском Максиме Максимыче, который, как помнят читатели, тоже курил трубку.

Статья Б. Неймана «Речь персонажей в пьесе «Плоды просвещения» вменяет Толстому в заслугу то, что обязательно для каждого драматурга: дифференцирование речи персонажей по социальному признаку, а внутри той или иной социальной категории — по характерам. Автор всерьез пишет о том, что в пьесе господские дети называют отца «папá», а мужички — «батюшка», что в речи мужиков «не встречаются научные термины типа «ассоциация», «зона» и т. п., что «им чужды медицинские термины — микробы (?) скарлатины, дифтерита и оспы, которые подозревает на них (?) Звездинцева». Между тем в речи толстовских персонажей есть, конечно, своя специфика, особенно в речи мужиков с их «низкой» лексикой, разоблачающей жизнь господ. Но автор статьи явно не придал этой специфи-

ке особого значения, уделив ей всего один беглый абзац из двадцати четырех страниц.

Очень неважно обстоит в сборнике дело с языком. Большинство статей написано языком серым и скучным, зараженным той болезнью, которую К. Чуковский назвал «канцеляритом». Такие обороты речи, как «в целях выяснения использования Толстым», достаточно типичны для сборника.

Как это ни неприлично для академического сборника, в нем порой страдает и грамматика: «м а с т е р с т в о Толстого описывать внешность», «признание Тани о ее проделках» и др.

Наш обзор сборника окончен. Несмотря

на то, что в нем есть статьи, которые сами по себе серьезны и интересны, итог в целом получается грустный: сборник не только недостаточно хорошо организован, в нем наряду с хорошими помещены слабые работы, мало что дающие читателю.

Не пора ли нашей критике включить литературоведческие сборники в сферу своего самого пристального внимания?

Разработка наследия русской классической литературы имеет важное значение и потому должна веситься на неизменно высоком уровне.

**Н. ПРЯНИШНИКОВ.**

Оренбург.

★

### Политика и наука

## ЭНЕРГЕТИКА И КОММУНИЗМ

**А. Маркин. Океан силы. Прошлое, настоящее и будущее энергетики СССР.**  
Редактор В. Федченко. «Молодая гвардия». М. 1961. 176 стр.

**В** наши дни в Программе строителей коммунизма впервые во весь рост поставлена задача полной электрификации страны в течение ближайших двух десятилетий. Не всем еще ясно, сколько величественных и многосложных проблем большой энергетики включает эта сверхъёмкая задача. А между тем эти интереснейшие проблемы заслуживают внимания самых широких кругов советских читателей. И потому мне хочется горячо рекомендовать им новую книжку А. Маркина «Океан силы. Прошлое, настоящее и будущее энергетики СССР», где все эти проблемы освещаются доходчиво, с глубоким знанием дела.

О масштабах роста энергетики в СССР говорит хотя бы такое сопоставление. Первый план электрификации России — прославленный план ГОЭЛРО, разработанный в 1920 году, — ставил перед страной задачу построить за десять—пятнадцать лет тридцать электростанций с общей мощностью в 1750 тысяч киловатт и примерной программой производства энергии на всех станциях до 8,8 миллиарда киловатт-часов в год. Несмотря на то, что план ГОЭЛРО даже таким фантастам, как Герберт Уэллс, показался «электрической утопией», а вдохновитель этого плана — Владимир Ильич Ленин — «кремлевским мечтателем», план ГОЭЛРО уже в 1931 году был, как известно, перевыполнен. Можно себе представить, что сказал

бы Уэллс о новой Программе КПСС, которая предусматривает повысить мощность электростанций за двадцать лет с 67 до 600 миллионов киловатт, а выработку электроэнергии с 292 до 3000 миллиардов киловатт-часов в 1980 году. Ведь задания этого нового плана электрификации уже в триста сорок раз превышают план ГОЭЛРО! И все же ныне их никто из серьезных людей не сочтет фантастическими. Это может служить мерой нашего роста с 1920 года и новых плановых возможностей СССР в наши дни.

Но советские энергетики не ограничивают своих перспектив 1980 годом. Они уже сегодня призадумываются о возможных и необходимых масштабах энергетики и ее источниках на 2000 год. В книге этот масштаб определен не менее чем в 10 000 миллиардов киловатт-часов одной лишь электроэнергии в год! А с учетом энергии всех других видов двигателей — внутреннего сгорания, реактивных, для воздушного флота и космических кораблей и всяких иных — в переводе на электроэнергию — в пять раз больше! «И тогда, — замечает А. Маркин, — мы будем в состоянии производить такие работы, которые по масштабам сравняются с некоторыми стихийными геологическими процессами».

Пятьдесят триллионов киловатт-часов годового потребления энергии в одном лишь СССР к 2000 году — это действительно ве-

личественный масштаб технического прогресса! Напомним, что по расчетам специалистов ООН все мировое потребление энергии к концу нынешнего столетия составит не свыше 84 триллионов киловатт-часов.

Перспективы советского энергопотребления предъявляют высокие требования и к природным источникам, необходимым для воспроизводства энергии в соответствующих масштабах.

Человечество насчитывает уже около миллиона лет существования, но заметное ускорение темпов его развития началось только со времени изобретения паровой машины Уатта, то есть менее двухсот лет назад. За эти два века новой эры крупной машинной энергетики общественное развитие продвинулось на путях технического прогресса во много раз дальше, чем за весь предшествующий миллион лет. А вместе с тем столь же ускоренными темпами истощались и мировые запасы энергетических ресурсов. И уже не раз геологи разных стран поднимали по этому поводу тревогу, заявляя, что «цивилизация близится к своему закату». По их прогнозам уже давно — по одним расчетам в 1935, по другим в 1953 году — нефть должна была иссякнуть в США, а уголь не позже 1964 года — даже в СССР, богатейшей по его запасам стране мира. И хотя все такие прогнозы не оправдывались, это не решает острой проблемы истощения наличных энергоресурсов.

Быстро растут и масштабы потребления энергии. Сколько еще новых, неожиданных потребителей энергии появится у нас через двадцать—сорок лет! Правда, общегеологические запасы ископаемого угля в СССР определяются ныне почти в 9000 миллиардов тонн, и, по расчетам А. Маркина, на этом угле все нынешние тепловые электростанции мира могли бы работать десять тысяч лет! Цифра не малая. Но нужно учесть, что уже через сорок лет потребление электроэнергии должно у нас возрасти, по свидетельству того же автора, более чем в сто раз; во столько же раз соответственно сократятся и сроки истощения наличных запасов угля.

Но нас волнует сейчас не только проблема истощения топлива. Потребление топлива только электростанциями вырастает к 1980 году почти до двух миллиардов, а к 2000 году уже до пяти миллиардов тонн натурального топлива. Чтобы добыть, перевезти и

подготовить к сжиганию такую массу горючего, необходимы огромные затраты труда и материально-технических средств.

Крупные тепловые электростанции на угле, по-видимому, будут доминировать в советской энергетике до конца века.

В самом деле, никаких новых конкурирующих с топливом и гидроэнергией источников энергии за последние столетия еще не освоено.

Конечно, в поисках новых источников практически неисчерпаемой энергии ученые давно уже обращают свои взоры к солнечной энергии, атомным реакторам и термоядерной энергии. Но для широкого их освоения пока еще нет достаточных предпосылок. И сколько времени потребуется для преодоления всех трудностей, стоящих на этом пути, неизвестно. А между тем, как показывает повседневный опыт, каждый новый успех энергетике влечет за собой и новые трудности.

Мы уже отмечали, что через два десятка лет тепловые электростанции потребуют почти два миллиарда тонн натурального топлива. Эти электростанции будут гораздо экономичнее нынешних. И все же любая из них максимальной мощностью около пяти миллионов киловатт за каждые двадцать минут будет сжигать тяжеловесный железнодорожный состав угля. А взятые вместе, эти станции будут ежегодно извергать в воздушное пространство СССР не менее 50 тысяч железнодорожных эшелонов золы и серы. Каждая такая станция выбросит более одного миллиона тонн золы в год. Это настоящий Везувий, способный отравить и засыпать пеплом целые города. И еще неясно, как будет предотвращена такая опасность, но мы уверены, что она будет устранена советской наукой.

Не меньшие трудности представит решение транспортных проблем, связанных с перевозками топлива. Дело в том, что 92 процента топливных и 84 процента гидроэнергетических естественных ресурсов СССР размещаются за Уралом, в азиатских просторах Союза, в то время как 75 процентов населения, потребляющего энергию, сосредоточено по эту сторону Урала, в европейских границах страны. Эта диспропорция в размещении производительных сил СССР предъявляет серьезные требования к транспорту. Железнодорожная магистраль, соединяющая промышленные центры страны с

природными ресурсами Сибири, несмотря на то, что она электрифицирована на громадном протяжении — вплоть до Байкала, уже сегодня на некоторых участках испытывает перенапряжение. А по расчетам энергетиков, уже через сорок лет, чтобы справиться с возрастающими топливными перевозками на данном направлении, потребуется более десяти таких электрифицированных магистралей.

Любопытное сравнение. В царской России, при всем напряжении ее ресурсов, транссибирская магистраль строилась около десяти лет. Это значит, что для десятка дорог такого же масштаба, но значительно более высокого качества старой России потребовалось бы целое столетие. А в нашем распоряжении — какие-нибудь тридцать лет. И уже ныне ясно, что и в железнодорожном строительстве нужны какие-то большие сдвиги и новые методы, чтобы своевременно справиться с такими задачами. И уже носят в воздухе идеи строительства таких сверхмагистралей, каждая из которых сможет по своей провозоспособности заменить собою пятьдесят нынешних. Правда, для таких сверхмагистралей пришлось бы, по имеющимся расчетам, расширить раза в три нынешнюю колею — с полутора до четырех с половиной метров — и создать для нее новой емкости вагоны и большей мощности локомотивы, а также перестроить по новым габаритам немало мостов и тоннелей. Но если две такие новые магистрали смогут заменить собою целую сотню железных дорог старого образца и уже ясны и направления, где такие сверхмагистрали возможны и необходимы, то строители коммунизма должны думать о них уже сегодня, ибо за считанные годы их нужно не только спроектировать, но и построить.

Конечно, не следует забывать и возможностей электронного транспорта энергетических потоков. Они уже предусмотрены в генеральной перспективе строительства сотен тысяч километров высококачественных магистральных и распределительных сетей единой энергетической системы СССР, позволяющей перебрасывать электроэнергию из восточных районов в Европейскую часть страны и связанной с энергосистемами других социалистических стран.

Но и здесь перед нами возникают огромные проблемы. Хотелось бы снять с плеч транспорта часть потоков топлива. Но как?

Современные линии электропередач обладают недостаточной пропускной способностью. Самая совершенная сейчас линия может передать до двух миллионов киловатт мощности или около восьми миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

Для того чтобы перебрасывать в будущем с востока на запад, скажем, один триллион киловатт-часов, необходимо построить более ста линий. Целесообразно ли энергетической технике идти таким путем?

Автор видит решение проблемы в сооружении евразийских сверхмощных линий постоянного тока на направлении восток—запад. Они должны передавать мощности в двадцать пять, пятьдесят и даже сто миллионов киловатт.

Чтобы решить такую грандиозную задачу, необходимо мобилизовать силы ученых — энергетиков, физиков, химиков и многих других специалистов. Решение задачи переброски топлива облегчают возможности трубопроводного транспорта нефти и газов. Сокращают перевозки топлива и гидроэлектростанции. Но с расширением их строительства возникают новые трудности и новые проблемы большой энергетики.

Впрочем, строительство гидростанций тесно связано не только с энергетикой, но и с ирригацией в сельском хозяйстве, а также с задачами водного транспорта. Гидростанции решают много больших проблем: расширяют площади орошаемых полей, углубляют и удешевляют водные пути; потоки неиссякаемой энергии облегчают человеческий труд. Наша жизнь в буквальном смысле озаряется морем яркого света. Но давно известно: где свет, там и тени. Наряду с положительными моментами существует и немало отрицательных. Советские ученые и инженеры-проектировщики должны над этим очень серьезно подумать. Вот некоторые примеры.

Перед плотинами гидростанций образуются новые моря. Это делает непригодным к дальнейшей службе весь речной флот, ибо его захлестнет морская волна. Значит, за удешевление водного транспорта придется расплачиваться значительной частью старого речного флота и необходимостью капитальных вложений в новый — морского типа. Вместе с тем высокие плотины, прекращая свободный доступ самым ценным видам рыбы к нерестилищам, наносят непоправимый ущерб рыбным богатствам страны. Одна лишь проектируемая плотина на

Нижне-Обской ГЭС будет способствовать снижению годового улова ценнейших сортов рыбы почти на полмиллиона центнеров, что в денежном выражении составляет двести—двести пятьдесят миллионов рублей. Если же учесть все уже построенные и проектируемые гидростанции, то ущерб, причиняемый ими рыбному хозяйству, пришлось бы оценивать, вероятно, десятками и сотнями миллиардов рублей. Правда, этот ущерб в речном рыболовстве можно со временем с лихвой возместить искусственным рыборазведением в затопленных акваториях. Но пока, к сожалению, этот ущерб обычно вовсе не учитывают.

Нелегко учесть и тот ущерб, какой причиняет народному хозяйству обмеление Каспийского моря в результате постройки на Волге целого каскада плотин и водохранилищ огромной вместимости для регулирования потоков водной энергии. Воды Каспия с каждым годом отстают от благоустроенных поргов, а рыба теряет богатые питательные отмели. Однако и эти потери никак не отражаются в проектных расчетах эффективности капиталовложений в гидроэнергетическое строительство.

Нужно бы еще учесть народнохозяйственные потери от затоплений и подтоплений больших площадей сельскохозяйственного назначения. Нередко затопляются земли высокого качества, представляющие в приречной пойменной и густонаселенной зоне большую народнохозяйственную ценность.

Наконец на пути освоения гидростанций, воздвигнутых с громадными затратами и потерями, возникает еще опасность заилиения. Но тут следует сказать, что если доныне эти наносы были только одним из минусов гидроэнергетики, то со временем, на путях строительства коммунизма, они могут стать и одним из больших ее плюсов.

Дело в том, что ил, заполняющий собой водохранилища СССР, представляет собой прекрасное удобрение. Всему миру известно, какие урожаи приносят Египту богатые наносами ила речные разливы в долине Нила, где осадки достигают до 24 миллионов кубических метров в год. В СССР одна лишь Волга выносит во много раз больше столь же ценных осадков. Но они бесплодно заполняют морские глубины, а с постройкой гидростанций накапливаются в новых водохранилищах и не только доныне ничему еще не служат, но и требуют дополнитель-

ных затрат на землечерпание. Невольно приходит мысль о целесообразности сохранить это землечерпание с выносом и перекачкой речного ила в виде жидкой пульпы по трубопроводам на прибрежные поля и луга. Если своими затоплениями гидростанции заливают десятки миллионов гектаров плодородной почвы, то сотни миллионов тонн даровых удобрений в виде речного ила, доставляемых ежегодно за счет дешевой гидроэнергии со дна водохранилищ на соседние поля, могли бы, удвоив или утроив их урожайность, уже ныне с избытком возместить все земельные потери. Думается, что и эта важная задача заслуживает своего изучения.

Немало крупнейших проблем энергетики содержится в генеральном плане на ближайшие двадцать лет. Достаточно назвать грандиозную проблему поворота северных рек на юг, в русло Камы и Волги. Поворот рек из бассейнов Печоры и Вычегды не только повысит продукцию волжских гидроэлектростанций на 10 миллиардов киловатт-часов в год и приостановит обмеление Каспия, но во многом и преобразует природу нашей страны. В частности, наша красавица Волга после реконструкции примыкающих к ней рек и бассейнов станет самой большой и могучей рекой на земном шаре. Даже трудно себе представить величественные проблемы энергетики, которые возникнут уже в ближайшем будущем.

В новой работе А. Маркина об этом можно прочесть много интересного. Наука и техника открывают перед нами и здесь заманчивые перспективы. Физики и энергетики давно уже трудятся над решением задачи непосредственного превращения энергии топлива в электрический ток. С этой целью в лабораториях проводятся уже первые опыты с помощью так называемых магнитогидродинамических генераторов, обещающих повысить коэффициент полезного действия до 60 процентов, что почти вдвое выше, чем КПД нынешних паротурбинных электростанций. Построены первые, пока еще очень несовершенные, электрические генераторы тока. Вынашиваются идеи непосредственного превращения в электричество света, тепла, внутриядерной энергии. В частности, открываются большие возможности солнечных станций с кремниевыми полупроводниками, обладающими свойством прямого преобразования света в электрическую энергию.



Наша энергетика стоит у порога широкого использования глубинного тепла Земли на Камчатке, Курильских островах, на Кавказе и в Средней Азии. В будущем, освоив глубокое бурение, люди смогут и в любом другом районе сооружать за счет глубинной энергии так называемые геотермические электростанции. Проектируется на нашем Севере и первая приливная электростанция с использованием космических сил тяготения земных вод к Луне и Солнцу. В Академии наук СССР недавно обсуждались проблемы изменения климата северного полушария Земли путем создания искусственного Гольфстрима в Арктике.

Освещая все эти проблемы большой энергетике, А. Маркин рассказывает о тех замечательных людях, с именем которых связаны все наши успехи в этой столь перспективной области. Революционное значение электроэнергетики Карл Маркс провидел уже в прошлом столетии, когда она служила еще только детским забавам. В 1850 году в витрине одного из лондонских магазинов на Риджент-стрит была выставлена любопытная игрушка: крохотный электровоз бегал по кругу, увлекая за собой состав вагончиков. Перед витриной однажды остановился Карл Маркс и долго, не меньше чем лондонские дети, сосредоточенно рассматривал эту многообещающую игрушку. А затем, рассказывая о ней своим друзьям, по воспоминаниям Вильгельма Либкнехта, «он был весь охвачен пламенем энтузиазма».

Всем известно, с какой несокрушимой энергией и вдохновением проводил идеи электрификации нашей страны другой великий провидец — Владимир Ильич Ленин. У него нашлись достойные соратники. И в первом их ряду — незабвенный лидер советских энергетиков и пламенный бард электрификации Глеб Максимилианович Кржижановский. А рядом с ним — целая плеяда столь же одержимых идеями энергетике и преданных ей пионеров электрификации СССР: Р. Э. Классон, Л. Б. Красин, И. Г. Александров, А. В. Винтер, Б. Е. Веденеев, А. А. Горев, Н. Н. Колоссовский, Г. О. Графио, К. А. Круг, М. А. Шателен, Е. Я. Шульгин и другие. Некоторым из них в книге А. Маркина посвящены очень теплые строки. Автор сумел запечатлеть живые их образы, характерные черты, красочные бытовые детали. Особый интерес представляют заметки А. Маркина, почерпнутые из

личных встреч и бесед с Г. М. Кржижановским о Владимире Ильиче.

Мы узнаем, в частности, что В. И. Ленин уже в период подготовки к Генуэзской конференции в 1921 году в интересах мирного сотрудничества народов выдвигал идеи международного плана электрификации, горячо выступал в защиту проекта сооружения тоннеля под Ла-Маншем, подал мысль о разработке проекта электрической сверхмагистральной Лондон—Париж—Берлин—Москва—Пекин и уже тогда противопоставлял такие великие созидательные планы черным планам войны.

С тех пор прошло сорок лет. Черные планы войны и ныне находят немало тайных сторонников, но они сегодня не смеют открыто выступить против идей мирного сосуществования народов. Соотношение общественных сил в наши дни, когда проблема мира и войны стала проблемой жизни и смерти сотен миллионов людей, все решительнее складывается в пользу мира.

Но особенно далеко с тех пор продвинулись вперед идеи Владимира Ильича о роли электрификации в построении материально-технической базы коммунизма. И если сорок лет назад первый план ГОЭЛРО расценивался лишь как «вторая», дополнительная программа партии, то сегодня задача «полной электрификации страны» вошла уже в основную Программу КПСС, где она призвана обеспечить органическое соединение науки с производством и «значительное превосходство над наиболее развитыми капиталистическими странами по производительности труда, что составляет важнейшее условие победы коммунистического строя».

Современная наука все глубже вторгается в «неделимый» атом, проникает в тайны хромосом, генов и вирусов живой клетки и еще дальше, до самого ядра и всей электронной «начинки». А современная техника образует из этих элементов новые, все более сложные комплексы — от бесчисленных реле до электронно-счетных машин и гигантских электростанций, автоматически управляемых этими машинами. На путях электрификации каждый электрон — подлинный революционер в области технического и социального прогресса. Нужно лишь мобилизовать эти электроны в надлежащие комплексы и планомерно направить к заветной цели.

Мы располагаем уже большим опытом электрификации в СССР. И нам известно, что вполне успешно решать задачи электроэнергетики можно лишь в комплексе со всеми другими отраслевыми и социально-культурными задачами планового хозяй-

ства. Наша новая Программа КПСС удовлетворяет этим требованиям. И конечная цель ее ясна.

Эта заветная цель — коммунизм!

*Академик С. СТРУМИЛИН.*



## «КНИГА — ОГРОМНАЯ СИЛА»

**Книга. Исследования и материалы. Сборники 1—5. Главный редактор Н. М. Сикорский. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1959—1962.**

Советский Союз за рубежом называют страной книги. Советские люди давно поняли всю справедливость ленинских слов: «Книга — огромная сила». Большие тиражи, которые еще несколько лет назад безмерно удивляли иностранных корреспондентов, стали у нас привычным явлением. В периодических отчетах ЮНЕСКО советское книгоиздательское дело неизменно занимает первое место.

О высоком уровне советского книгоиздательства как о чем-то само собой разумеющемся писал недавно в журнале «Букмен» английский библиограф и историк книги Дж. Симмонс. Одновременно он с удивлением отмечал, что в Советском Союзе до самого последнего времени не было периодического издания, посвященного книговедению.

Удивление это закономерно.

Напрасно вы стали бы искать термин «книговедение» на страницах второго издания Большой Советской Энциклопедии — его там попросту нет! Между тем в двадцатых и в тридцатых годах термин этот был у нас популярен. Проблемами книговедения интересовались многие советские ученые. Проблемы эти разрабатывались в Институте книги, документа и письма Академии наук СССР, в Научно-исследовательском институте книговедения при Государственной публичной библиотеке в Ленинграде.

Но со временем получилось так, что институты эти закрыли, коллективы их распались, и даже самый термин «книговедение» надолго исчез со страниц нашей печати.

Думается, что большая доля вины лежит на самих книговедах. Забыв известный афоризм «Никто не обнимет необъятного», они вводили в науку о книге и технические

основы полиграфии и чисто юридические понятия авторского права. Они пытались объединить в пределах своей науки библиотковедение, книжную торговлю, библиографию. Здесь же оказалась библиоэнтомология, изучавшая насекомых — вредителей книги и методы борьбы с ними. Появилась некая «философия книги» и совсем уже мистическая «библиопсихология»...

Девиз «Всё о книге», принятый на вооружение зачинателями и законодателями нашего книговедения, подменил собой конкретное определение предмета и метода исследования, без чего не может быть никакой науки.

Здание, которое на протяжении многих лет возводили книговеды, со стороны выглядело внушительным и крепким. Однако при первых же испытаниях оно оказалось далеко не столь прочным. Критике, а ее было немало, книговеды никакой положительной программы противопоставить не смогли.

Создалось поистине парадоксальное положение: при небывалом размахе издательской деятельности теория книговедения находилась едва ли не в зачаточном состоянии.

И вот перед нами пять первых сборников «Книга». К их изданию Всесоюзная книжная палата приступила с 1959 года. В предисловии к первому сборнику сказано, что редакционная коллегия наметила круг проблем, которые будут ее интересовать. Круг этот довольно обширен и включает в себя следующие вопросы: общественное значение книги, ее создание, редакционная подготовка и производство, экономика и статистика, различные типы изданий, оформление книги и иллюстрирование ее, отдельные элементы книги, история книги и ее современное состояние, кни-

га в СССР, книга в странах народной демократии и в капиталистических странах, рукописная книга, замечательные книжные собрания в прошлом и настоящем, пути книги к читателю... Как видим, перед нами, говоря словами самой редколлегии, «книга во всем многообразии ее проявлений», то есть книговедение... в прежнем его аспекте.

Невольно возникает вопрос: нужно ли повторять ошибки прошлого? Об этом нельзя было не задуматься. И вот редколлегия провела дискуссию на тему «Проблемы советского книговедения», материалы которой были опубликованы во втором сборнике. Здесь выступили такие известные специалисты, как член-корреспондент Академии наук СССР А. Сидоров, профессора Б. Боднарский, Н. Киселев, Е. Шамурин, доценты Н. Сикорский, В. Попов, В. Маркус... Трудно было ожидать, что все участники дискуссии придут к единому мнению. Этого и не случилось. Однако все согласились, что необходимо развивать и совершенствовать теорию и практику книгоиздательского дела, разрабатывать вопросы оформления книги, изучать историю книгопечатания — все те вполне конкретные и осязаемые отрасли знания, которые нашли приют под широким крылом слишком уж щедрого термина «книговедение». Что же касается, скажем, библиоэтомологии, то ей, бесспорно, не место на страницах сборников «Книга».

Убедительная критика книговедения в его старом понимании была предпринята Н. Малыхиным, статья которого «Общественное значение книги» опубликована в третьем сборнике. Вместе с тем положительная программа, приведенная в этой статье, расплывчата и далеко не совершенна.

Дискуссия убедила и редколлегию в бесплодности попыток оживить канувшие в Лету понятия. Это видно хотя бы из того, что рубрика «Вопросы советского книговедения» начиная с четвертого сборника «Книга» уступила место рубрике «Вопросы советского книгоиздательства».

В последнее время редакция стала меньше интересоваться общетеоретическими вопросами. А жаль! Ибо вопрос «быть или не быть книговедению» еще не снят с повестки дня.

Разрешению многих проблем значительно помогает бесценный опыт, содержащийся в трудах основоположников марксизма-ле-

нинизма. Тема «Ленин и книга» поистине безбрежна, и, конечно, она не исчерпывается статьей Б. Яковлева, опубликованной под этим заголовком.

Статья эта задумана автором как обзор высказываний В. И. Ленина о книге, книгоиздательстве, библиотечном деле лишь по новым материалам, впервые опубликованным в связи с девяностолетием со дня рождения великого основателя Коммунистической партии и Советского государства. Большой интерес представляют новые ленинские документы, связанные с созданием первой партийной библиотеки в Женеве, а также материалы об «Издательстве социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина», основанном в 1904 году. Интересную характеристику Ленина как читателя содержит обзор требовательных карточек Владимира Ильича на книги Бернской и Цюрихской библиотек. Большое значение для нашей темы имеют подписанные В. И. Лениным первые декреты советской власти. В трудные годы гражданской войны Владимир Ильич находил время, чтобы заботиться о развитии книжного дела в молодом рабоче-крестьянском государстве.

В только что вышедшем пятом сборнике помещены статьи Л. Виноградова «Личная библиотека Ленина» и Р. Савицкой «Из истории издания Сочинений В. И. Ленина». Нужно надеяться, что редколлегия и в дальнейшем будет уделять внимание теме «Ленин и книга». Вместе с тем мы обращаем внимание на то, что столь важные темы, как «Маркс и книга», «Энгельс и книга», очень мало разработаны.

В центре внимания редколлегии находится изучение практического опыта советских издательств. Программа Коммунистической партии Советского Союза, решения партии по идеологическим вопросам открывают блестящие перспективы для развития книжного дела. В интересной статье В. Сомова, опубликованной в четвертом сборнике, рассматриваются задачи советских издательских работников в свете постановления ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях». Важные проблемы подняты в статье Н. Сикорского «Некоторые вопросы советского книгоиздательства на современном этапе». С. Костржевский избрал предметом исследования перспективы развития

издательской деятельности в СССР в 1959—1965 годах. К слову сказать, контрольными цифрами развития народного хозяйства, утвержденными XXI съездом КПСС, предусмотрено увеличение за семилетие общего тиража книг до 1600 миллионов экземпляров, журналов — более чем в два раза, годового тиража газет — более чем в полтора раза. В среднем на долю каждого советского человека в 1965 году придется около восьми вновь издаваемых книг — намного больше, чем в крупнейших капиталистических странах.

Большой интерес представляют статьи, обобщающие опыт отраслевых советских издательств. Упомянем исследования Е. Лихтенштейна «Из истории научных изданий в СССР», К. Пискунова «Друг детства и юности (об издании детской книги в СССР)», М. Смушковой и Е. Рубинштейн «Советский школьный учебник и работа учебно-педагогических издательств», Ф. Петрова «Первые советские энциклопедии» и другие.

Не забыты вопросы книжной торговли. Они рассмотрены в статьях таких старых и опытных специалистов этого дела, как М. Арбузов и С. Поливановский.

В интересной статье В. Ляхова дана попытка наметить самые общие пути развития советского книжного искусства за последние сорок лет.

Любителям книги хорошо знакомо имя известного советского графика А. Гончарова. Его иллюстрации к Шекспиру и Мережко, Лопе де Вега и Петрарке, Сервантесу и Хемингуэю никого не оставляют равнодушными. Живо и горячо написанная статья А. Гончарова «Моя работа над книгой», несомненно, найдет своих читателей.

В 1963—1964 годах наша страна будет отмечать одну из знаменательнейших дат своей многовековой истории — четырехсотлетие русского книгопечатания.

«Навстречу 400-летию русского книгопечатания» — так озаглавлена статья А. Сидорова, опубликованная в пятом сборнике. Этой статьей открывается серия публикаций, посвященных знаменательной дате, которые редколлегия предполагает поместить в последующих сборниках.

История отечественной и зарубежной книги имеет отнюдь не академический интерес. Советские графики издавна исполь-

зуют опыт мастеров прошлого. Книга прошлого сплошь и рядом помогает в повседневной практической работе иллюстраторам, орнаменталистам, художникам-шрифтовикам. Назовем хотя бы разработанный в Научно-исследовательском институте полиграфического машиностроения наборный орнамент, в основу которого положены мотивы старопечатной орнаментики. Большую популярность заслужил шрифт художника Г. Банникова, в котором использована графика гражданских шрифтов петровского времени.

На страницах первых пяти сборников «Книга» помещено немало серьезных исследований, посвященных прошлому книгопечатания, издательского дела и книжной торговли. Следует высоко оценить исследование В. Люблинского о «Грамматике в лицах» — редком наглядном пособии начала XVI века. Несомненный интерес представляет серия статей Т. Быковой о русской печати XVII века. Большое исследование Н. Киселева посвящено московскому книгопечатанию XVII века. Фр. Горак из Праги рассказывает о начале чешского книгопечатания.

В четвертом сборнике «Книга» появился новый раздел — «Библиофилия». Нет спора, собирание книг — занятие вполне почтенное. Однако литературным занятиям библиофилов свойствен известный дилетантизм. Впрочем, иначе и быть не может, ибо книголюб в своих исследованиях всегда ограничен тесными рамками «моей библиотеки». Исключения здесь редки, но тем более приятны. Назовем работу покойного Н. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах». Развернутая рецензия на это интересное издание принадлежит перу П. Беркова и помещена в разделе «Библиофилия». Нам кажется, что настоящее ее место — в разделе критики и библиографии, который, стати говоря, появился лишь в третьем сборнике и ведется нерегулярно.

Нам хотелось предостеречь редколлегию сборников «Книга» от теоретизирования на «пустом месте». Ничего не может быть печальнее научнообразных построений, особенно если предмет разговора этого не заслуживает. Одним из таких малозначительных поводов служит, по нашему глубокому убеждению, экслибрис — книжный знак. Мы не имеем ничего против хорошего обычая украшать книги личных библиотек

эклибрисами. Однако подводить под этот обычай теоретическую базу — дело совершенно излишнее. Книжный знак интересен как одна из малых форм прикладной графики, и именно в этой связи он и должен изучаться. Когда С. Фортинский, известный пропагандист эклибриса, рассказывает на страницах сборников «Книга» о советских художниках, работавших в области книжного знака, о выставках эклибрисов, против этого возражать трудно. Однако, когда он начинает мечтать о создании «корпуса» книжных знаков или рас-

суждать о принципиальных отличиях советского эклибриса от «буржуазных», здесь он вряд ли встретит поддержку. Не может не вызвать улыбку предлагаемая им «классификация» эклибрисов.

Статьи, напечатанные в первых пяти сборниках «Книга», по-настоящему интересны. Многие из них представляют серьезный вклад в науку. Вместе с тем они написаны хорошим литературным языком и вполне доступны широкому читателю.

Е. НЕМИРОВСКИЙ.

★

## ХОРОШИЙ РАССКАЗ О ХОРОШЕЙ СТРАНЕ

Куба. Историко-этнографические очерки. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР А. В. Ефимова и кандидата исторических наук И. Р. Григулевича. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 600 стр.

Когда год назад мы улетали с Кубы, нас пригласили в Институт дружбы с народами мира. Руководитель этого института, совсем еще молодой человек, но старый революционер Масола, с которым мы подружились, когда он летал с нами в провинцию Ориенте, чтобы показать город Сантьяго де Куба и горы Сьерра-Маэстра, — на прощание подарил каждому из нас книгу «Manual de capacitación cívica», что можно перевести как «Учебник гражданских знаний». Книга эта напоминает наши издания первых лет революции. Она выпущена министерством просвещения Кубы в спешном порядке и скромно, в предельно простом оформлении, на газетной бумаге. В ней содержатся статьи, рассказывающие об истории революционного движения, о принципах аграрной реформы, об отраслях промышленности новой Кубы, о структуре ее хозяйства, о путях преобразования культурной жизни. Вот уже год, мысленно возвращаясь к Кубе, я вновь и вновь открывал эту книгу, сетуя на свое недостаточное знание испанского языка и жалея, что на русском покуда нет такого справочного издания о Кубе.

Я жалел об этом особенно потому, что с тех пор как вернулся с Кубы, я выполняю обещание, данное кубинским друзьям, — рассказывать о том, что я видел на их замечательном острове. Каждый раз, когда выступления — они происходят в самых различных аудиториях — заканчиваются,

приходится отвечать на множество подчас сложных вопросов. Из них ясно, что советские люди, которые пристально и сочувственно следят за всем происходящим на Кубе, хотя и узнать о героическом острове как можно больше и как можно основательнее. Прочитать серьезную научную работу о Кубе стало моим горячим желанием. И вот оно сбылось. Институтом этнографии Академии наук СССР издана книга о Кубе, скромно названная в подзаголовке «историко-этнографическими очерками». Пожалуй, эту книгу можно было бы назвать иначе — по существу это своеобразная маленькая кубинская энциклопедия.

Книга состоит из трех разделов.

Первый раздел «Кубинская революция» открывается статьей одного из руководителей Объединенных революционных организаций Кубы — Блас Рока — «Социалистическая мораль — новая сила, вдохновляющая кубинский народ». Статья интересна вдвойне: и потому, что показывает, как принципы новой революционной социалистической морали становятся действенной силой в преобразовании жизни на Кубе, и потому, что революционная социалистическая мораль, которой подчиняются и выдающиеся деятели и рядовые бойцы кубинской революции, близка тем принципам коммунистической морали, которые с такой полнотой и отчетливостью сформулированы в новой Программе КПСС.

Блас Рока не только говорит о том, что

в революционной Кубе правило, действующее в индивидуалистическом мире. «каждый для себя», заменено правилом «каждый действует во имя интересов всех», но и приводит множество живых примеров, подтверждающих победу духа коллективизма. Он пишет, например, о тысячах учеников, студентов, учителей и учительниц, которые по зову революционного правительства отправились в самые далекие, глухие деревни, поселились в крестьянских хижинах, отказались от всех привычных удобств, чтобы не оставить ни одного бедняка неграмотным. На Кубе мне посчастливилось познакомиться с несколькими учителями-добровольцами. Я никогда не забуду тот огонь энтузиазма, который раскалял их речи и светился в их глазах.

Когда я писал эту короткую статью, телеграф принес трагическую весть: контрреволюционеры убили кубинского юношу добровольца, который поселился в горах Эскамбрея в семье простого крестьянина, чтобы обучить всех ее членов грамоте. Убийцы повесили и юного учителя и крестьянина — его ученика.

Этот юноша был одним из тех, о ком пишет в своей статье Блас Рока. Его убийство показывает, как страшат врагов революции славные рыцари новой революционной морали, которые несут свет в самые отдаленные углы страны.

В короткой статье Эрнесто Че Гевара «Некоторые замечания о революции» рассказывается об основных этапах, которые прошло революционное движение на Кубе.

Антонио Нуньес Хименес — видный деятель революции и ученый — в очерке «Кубинская революция» проследживает традиции освободительного движения начиная с антииспанского восстания индейцев под руководством касиков Атузя и Гуамá, которое произошло в первой половине XVI века. В этом же очерке прослежена вся горькая история вмешательства Соединенных Штатов Америки в дела Кубы — от интервенции 1898 года и вплоть до всем нам памятных событий недавнего прошлого.

В этом же очерке читатели найдут и ярко написанную историю штурма казармы «Монкада» в городе Сантьяго, послужившего прелюдией к революционному движению, возглавленному Фиделем Кастро, и всю драматическую историю преследований сторонников Фиделя и его самого, историю

его процесса, фрагменты из его знаменитой речи на суде, которая стала программой повстанцев.

Нуньес Хименес пишет: «Какое великое и мужественное сердце билось в груди этого патриота и негибаемого борца, чтобы в окружении полицейских бросить им в лицо слова о том, что их главная крепость будет взята Повстанческой армией, которая превратит это место пыток в школу!»

Пророчество Фиделя сбылось. Среди многих незабываемых дней, проведенных нами на Кубе, одним из самых ярких был день, когда мы пришли в бывшую тюрьму-казарму, превращенную в солнечный школьный город.

Характеристику важнейших признаков кубинской революции Нуньес Хименес начинает следующими замечательными словами: «Это радостная революция». Вслед за таким эмоциональным определением следуют другие, научные, но справедливость эпитета «радостная» в приложении к кубинской революции для каждого, кто сам видел эту радость в глазах ее участников, несомненна.

Мне вспоминается встреча с Анхелой Алонсо — активисткой Федерации кубинских женщин. У Анхелы трагическая судьба. Ее жениха несколько раз заключали в тюрьму и жестоко пытали батистовские жандармы. Когда ему грозил новый арест и он побоялся, что не выдержит новых испытаний, Анхела Алонсо (а она медицинская сестра) по его просьбе дала ему яд. Жандармы не смогли взять его живым из новых мучений, а Анхелу они жестоко избивали и бросили, думая, что она мертва. Революционеры-подпольщики вывели ее, потом помогли бежать в партизанский отряд.

Когда наши художники, вместе с которыми я был на Кубе, сделали первые карандашные наброски к портрету Анхелы и, то ли зная ее драматическую историю, то ли прочитав эту историю в ее облике, изобразили ее лицо прекрасным, но суровым, Анхела сказала:

— О, как красиво! Разве я такая?

— Вам кажется, что это не похоже? — спросил я.

— Похоже! Но смелый человек должен быть веселым, — сказала она.

Мне вспомнилось это восклицание Анхелы Алонсо, когда в теоретической статье

Нуньеса Хименеса среди многих научных определений кубинской революции я увидел простое, звонкое слово: радостная!

Читатели, интересующиеся Кубой, особенно пропагандисты и лекторы, найдут важный материал в статьях Я. Г. Машбица «Экономика Кубы на подъеме» и В. И. Леоновой «Год аграрной реформы». Статья В. Г. Спирина «Империализм США — враг независимой Кубинской Республики» обширным фактическим материалом дополняет то, что сказано по этому вопросу в статьях кубинских авторов.

Второй раздел посвящен истории Кубы и также состоит из статей кубинских и советских авторов. Он ведет читателей в глубь веков, к первоначальным обитателям острова — гуанахатабейам, сибонейам и таино, которые были почти полностью уничтожены испанскими завоевателями, знакомит со сложной историей образования кубинской нации и особенно подробно прослеживает все этапы демократического, освободительного и революционного движения — десятилетнюю революционную борьбу 1868—1878 годов против испанских угнетателей, национально-освободительную войну 1895—1898 годов, возглавленную Хосе Марти, и другие важнейшие события истории страны.

Нет необходимости, да и возможности характеризовать в этом кратком отзыве каждую статью в отдельности, но нельзя пройти мимо работы Л. А. Шура «Русские путешественники на Кубе в XVIII—XIX вв.». Она содержит богатейший материал и показывает, сколь давним и традицион-

ным был интерес наших прогрессивных деятелей прошлого к судьбе Кубы и к борьбе кубинского народа.

Третий раздел «Культура Кубы» не только расширяет наши представления о таких хорошо известных советскому читателю деятелях кубинской культуры, как Николас Гильен, но и раскрывает перед нами обширный круг новых понятий и сведений. Думаю, что не ошибусь в утверждении, что до выхода этой книги нигде было найти столь обширные и содержательные сведения о музыкальной культуре Кубы, о течениях в ее современной живописи, о становлении социальной тематики в современной кубинской поэзии.

Книга иллюстрирована фотографиями, картами, гравюрами, таблицами. Библиографические справки на разных языках, сопровождающие многие главы, и сводная библиография важнейшей литературы о Кубе на русском языке расширяют ее рамки, превращая ее в ценное справочное издание.

Соединение в авторском коллективе видных деятелей кубинской революции, кубинских и советских ученых символизирует дружбу, связывающую наши народы.

Все радует в этой книге: и полнота материала, и качество переводов, и любовь издания. Удивляет одно: поразительно малый, чтобы не сказать микроскопический, тираж — 3200 экземпляров! Он делает эту книгу недоступной даже для большинства тех библиотек, которые безусловно захотят ее иметь.

Сергей ЛЬВОВ.

★

## ВЕРНЫЙ СЫН АФРИКИ

**Кваме Нкрума. Автобиография. Перевод с английского В. М. Карзинкина, Н. Ф. Паисова и И. З. Романова. Под редакцией Н. Ю. Хомутова. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 288 стр.**

Прошлым летом в Советском Союзе впервые побывал президент и глава правительства Республики Гана, генеральный секретарь и пожизненный председатель правящей Народной партии конвента доктор Кваме Нкрума. Его приезд в СССР явился важной вехой в истории развития дружественных советско-ганских отношений.

В этой связи привлекает внимание «Авто-

биография» Кваме Нкрума, переведенная на многие языки мира.

Книга эта отнюдь не является только описанием жизни автора. Скорее это история бывшей английской колонии Золотой Берег за три последних десятилетия.

В предисловии к русскому изданию автор пишет: «В современную эпоху мировые события следуют одно за другим с такой молниеносной быстротой, что книги и статьи о

текущих делах рискуют устареть чуть ли уже не в те самые дни, когда они пишутся... Ветер обновления, дующий над Африкой,— это не просто ветер: это бушующий ураган, который не оставит камня на камне от старых порядков... Теперь уже стало совершенно ясно, что колониализм в Африке обречен на гибель. Окончательное уничтожение иностранного господства стало сейчас главной задачей африканских националистических лидеров на всем континенте.

В 1957 году Гана под руководством Кваме Нкрума стала девятым независимым государством Африки, а 9 декабря 1961 года Танганьика стала уже двадцать девятым независимым африканским государством. К концу этого года их, видимо, будет больше тридцати. Достаточно сказать, что 9 октября 1962 года получает независимость Уганда. Не за горами независимость и крупнейшей английской колонии в Африке — Кении.

Эти важнейшие перемены еще не являются кардинальным решением проблем, стоящих перед странами Африки. Колонизаторы всех мастей прибегают ко всякого рода уловкам, чтобы сохранить свои позиции в странах, получивших политическую независимость. В своей книге Нкрума отмечает: «Империалисты всеми средствами стараются сохранить свою власть над континентом, и главными из них являются неоколониализм и «балканизация», ибо разьединенная, «балканизированная». Африка дала бы им возможность и впредь эксплуатировать наши природные и человеческие ресурсы».

Колонизаторы не раз арестовывали популярного африканского лидера Кваме Нкрума, но он и в тюрьме не прекращал своей борьбы. Именно здесь он пришел к мысли о необходимости создать новую политическую партию, ибо лидеры старого конвента все больше скатывались к политике прислужничества колонизаторам.

Из тюрьмы Нкрума писал друзьям статьи и письма, в которых ставились актуальные вопросы политической борьбы. Именно в тюремных стенах Нкрума сочинил слова песни, ставшей впоследствии для ганцев гимном борьбы за свободу:

Победа будет наша,  
Победа будет наша!  
В борьбе народов Африки  
Мы победим!

Главы «Арест и тюремное заключение» и «Суд и тюремное заключение» рассказывают о преследованиях со стороны английских колониальных властей. Этот период был самым трагическим в жизни автора.

Под напором общественного мнения власти вынуждены были освободить Нкрума. Сразу же по выходе из тюрьмы Нкрума на большом митинге в Аккре объявил о создании Народной партии конвента, которая выдвинула лозунг «Самоуправление немедленно!» и призвала весь народ Золотого Берега к самоотверженной борьбе против колонизаторов.

Но без боя те уходить не хотели. Потребовалось еще восемь долгих лет, прежде чем в ночь на 6 марта 1957 года над зданием парламента в Аккре был поднят государственный флаг суверенной Ганы, а Британская империя потеряла свою первую и притом самую богатую колонию в Африке.

В первый год после прихода к власти Кваме Нкрума в одном из своих выступлений заявил: «Для меня борьба за освобождение Ганы не имела бы смысла, если бы она не была связана с освобождением всей Африки». Эти слова, четко определяющие программу деятельности президента Ганы, высечены на монументе, установленном в честь Кваме Нкрума перед зданием парламента.

В 1960 году по инициативе Нкрума была созвана конференция ряда стран Африки в Касабланке, положившая начало союзу республик Ганы, Гвинеи и Мали. Этот союз составил ядро объединения, двери которого широко открыты для других африканских стран.

Другим шагом на пути к единству стран Африки явилось уничтожение таможенной границы между Ганой и Верхней Вольтой, осуществленное в июне прошлого года.

Но завоевание политической свободы — только первый шаг на пути к подлинной свободе, ибо гимн, флаг и собственная делегация в Организации Объединенных Наций еще не делают государство действительно независимым.

Теперь, когда Африка выдвигается на достойное ее место, когда она разбивает цепи колониализма, одной из первоочередных задач молодого независимого государства является создание отечественной промышленности, свободной от гнета иностранных



монополий. На страницах «Автобиографии» Нкрума часто подчеркивает эту мысль. Она осуществляется и на деле. «Вот почему после завоевания независимости наша внутренняя политика направлена на то, чтобы сделать Гану сильным, жизнеспособным, сплочённым и промышленно-развитым государством, которое сможет, если понадобится, выступить в роли опытного и вдохновляющего руководителя. Мы строим монолитную партию, и кредо нашей партии — социализм».

За короткий период своего независимого существования Гана немало уже сделала для того, чтобы освободиться от засилия иностранных монополий, в том числе таких крупных, как «Юнайтед Африка». Народ, ставший хозяином страны, строит школы и больницы, мосты, дороги. На реке Вольте будут построены гигантская плотина и гидроэлектростанция, которая позволит снабдить электроэнергией всю страну, явится энергетической базой для промышленности, в частности для алюминиевой. Неподалеку от Аккры, близ города Тема, сооружается порт, который будет крупнейшим на всем континенте. Начато строительство металлургического завода. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству, и особенно разведению какао. Осуществляются и другие мероприятия, направленные на окончательное освобождение Ганы от иностранного влияния.

Уже после выхода книги в свет, когда президент Нкрума совершал поездку в Чехословакию, Китай и другие социалистические

страны, в Гане началась кампания за широкую африканизацию государственного аппарата и очищение его от так называемых специалистов, которых охотно и в большом количестве поставляют в страны Африки империалистические державы.

Правительственная газета «Ганиэн таймс» в передовой статье «Хватит таких специалистов» писала: «Для Ганы настало время разобраться, действительно ли все английские и другие иностранные служащие, выдающие себя за экспертов, являются таковыми на самом деле». Газета призывает избавиться от этих мнимых специалистов, чья деятельность в пользу империалистов угрожает свести на нет завоевания Республики.

«Автобиография» Нкрума, написанная очень живым языком, помогает понять одну из характерных черт нашей эпохи, основным содержанием которой, как сказано в Программе КПСС, является переход от капитализма к социализму, ликвидация колониальной системы и вступление на путь социализма все новых народов. Выступая недавно в парламенте, Нкрума заявил: «Гана пока еще не социалистическое государство, но социализм — это единственная форма, которая может в кратчайший срок принести хорошую жизнь народу».

В этом высказывании речь идет только о Республике Гана. Но с полным правом можно его отнести и к другим странам Африки, уже освободившимся от колониального гнета.

**В. МОЛЧАНОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**К. КОСТЕНКО.** Это было в Краснодаре. Повесть о том, как боролись и умирали молодогвардейцы Краснодона. «Молодая гвардия». М. 1961. 224 стр. Цена 51 к.

С волнением берем мы в руки каждую новую книгу, повествующую о бессмертных делах молодогвардейцев. Вот одна из них перед нами.

...Когда по предложению Земнухова, пишет автор, в городском парке собралась группа ребят, Ваня предложил им познакомиться. Ребята рассмеялись. Ведь они учились в одной школе и давно знают друг друга.

«Вы знали друг друга как школьных приятелей,— серьезно ответил Ваня.— А теперь нужно познакомиться заново — как людям, для которых нет ничего выше идеи, как народных мстителям».

Этот эпизод из книги К. Костенко отлично показывает, какой резкий переход от детства к зрелости, от беспечной школьной жизни к тяжелой борьбе с лютым врагом совершили краснодонские ребята.

Многое о боевых делах и обстоятельствах гибели молодогвардейцев стало известно совсем недавно.

Автор как бы раздвигает рамки официальных документов и ведет волнующий рассказ о безграничном патриотизме подпольщиков-комсомольцев. Впервые мы в таких подробностях узнаем, что происходило в застенках краснодонской полиции в январе 1943 года.

В книге названы имена участников важнейших операций, проведенных «Молодой гвардией». Интересные сведения получит читатель о ее командире Иване Туркениче и комиссаре Викторе Третьякевиче, о комиссаре молодежного партизанского отряда «Молот» Олеге Кошевом и других молодогвардейцах, чьи подвиги всегда будут служить для нашей молодежи примером мужества, стойкости, героизма, безграничной преданности нашей социалистической родине.

Б. Исаев.

★

**ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ.** Весна в шинели. Повесть, рассказы, записки «Советский писатель». М. 1961. 254 стр. Цена 45 к.

Книга Е. Ржевской оставляет впечатлительные подлинности и достоверности — и в этом ее главная сила.

Тема основных произведений книги — народ на войне Советские солдаты, колхозники в оккупированных селах, жители маленьких иностранных городков, лежавших на пути освободительного движения Советской Армии, — таковы герои записок «Под Ржевом», рассказов «Бойкая дорога», «По пути», «Зятьки», «Пани Мария».

Особое место в книге занимают записки «В последние дни». С очень точно найденными деталями рассказывает здесь писательница о том, как она вместе со своими товарищами проделала путь от Варшавы до Берлина, как в Берлине в составе разведгруппы, которой был поручен захват главарей фашизма, одной из первых вошла в еще дымящуюся имперскую канцелярию, как принимала участие в поисках трупа Гитлера, а затем в опознании этого полуобгоревшего трупа. Последняя задача была очень трудной, между тем совершенно необходимо было неопровержимо доказать факт смерти Гитлера. Эти страницы, а также страницы, где с документальной точностью восстанавливаются подробности последних дней и минут Гитлера и его сообщников, читаются с неослабевающим интересом.

Завершается книга небольшой повестью «На новом месте». Ее героиня — комендант поселка лесорубов Тая Фетисова — в прошлом тоже прошла войну и, наверно, отсюда, из этих испытаний, вынесла активное отношение к жизни, горячую, требовательную неуспокоенность сердца.

И. Питляр.

★

**Б. ПАЛЬВАНОВА.** Дочери Советского Востока. Госполитиздат. М. 1961. 176 стр. Цена 20 к.

Летом 1921 года семьдесят восемь узбечек, таджичек, туркменок и киргизок впервые приехали в Москву по приглашению Центрального Комитета партии. Московские коммунистки тепло встретили своих подруг.

О том, как делегация была принята В. И. Лениным, какие замечательные перемены произошли за годы советской власти в жизни женщин Средней Азии, рассказывает Биби Пальванова.

В живых очерках она раскрывает судьбы многих женщин советских республик Средней Азии. Характерна сама судьба ав-

тора книги. Дочь бедного дехканнина, Биби Пальванова стала ученым, общественным деятелем. Она член-корреспондент Академии наук Туркменской ССР, депутат Верховного Совета республики.

Вместе с автором читатель радуется успехам знатного хлопкороба Героя Социалистического Труда Турсуной Ахуновой, взволнованно следит за трудовым подвигом Зууракан Кайназаровой, из года в год добывающей все более высоких урожаев сахарной свеклы, гордится государственным деятелем Я. С. Насриддиновой — председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, и многими другими женщинами — строителями коммунизма в нашей стране.

С. Владимиров.

★

**КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО АЛЖИРА.** Сборник статей. Сокращенный перевод с французского. Издательство восточной литературы. М. 1961. 94 стр. Цена 25 к.

«Нужно ли писать о нашей музыке в то время, когда страна находится в огне патристической войны?» — спрашивает один из авторов сборника Башир Хадж Али. И отвечает: да, нужно, ибо в песнях, в искусстве живет душа десятиmillionного алжирского народа, героически сражающегося за свою свободу и счастье.

Французские колонизаторы в течение ста тридцати лет терзают и грабят Алжир, твердя к тому же, что эта африканская страна лишена «национальной самобытности и собственной культуры».

Статьи алжирских и прогрессивных французских авторов, включенные в сборник, не оставляют камня на камне от лживой идеологической аргументации фашиствующих «культур». Книга знакомит нас с традициями и современным состоянием алжирской литературы, музыки, архитектуры, живописи. Многие поэты, художники, музыканты современного Алжира сражаются в рядах патристических сил, не щадя своей жизни и отдавая народу свой талант. За годы кровопролитной войны искусство героического Алжира обрело новые темы, новые краски. Поэзия и музыка проникнуты суровым обличением цивилизованных варваров, полны kloкочущего гнева и непреклонной веры в торжество народного дела.

Читатель почерпнет из книги множество малоизвестных ему сведений: ведь история алжирской культуры еще не исследована. Весьма знаменательно, что сборник создан прогрессивными французами совместно с борцами за свободу Алжира. Особенно интересна статья Ива Лакоста и исторический очерк одного из руководителей алжирской компартии Садека Хаджереса «Четыре поколения, две культуры».

Конечно, сборник призван дать лишь первое, общее представление об истоках алжирского народного художественного творчества, его патристическом духе.

Но при всем том он убеждает нас, что герои Алжира, в-душие суровой бой с колонизаторами, отстаивают не только свою землю и независимость, но и защищают свою самобытную культуру, свои духовные ценности.

М. Ц.

★

**И. ЛАВРЕЦКИЙ.** Тень Ватикана над Латинской Америкой. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 207 стр. Цена 31 к.

В Латинской Америке католическая церковь насчитывает около ста пятидесяти тысяч священников и монахов, располагает разветвленной сетью клерикальных организаций, клерикальных партий и профсоюзов, а также множеством журналов и радиостанций. Она контролирует десятки университетов и тысячи средних и начальных учебных заведений.

В последнее десятилетие католическая церковь в Латинской Америке претендует на такое же влияние в политической жизни, каким она пользовалась в колониальный период. Но времена безраздельного господства «святых отцов» уходят в безвозвратное прошлое. Трудящиеся, независимо от религиозных убеждений, все энергичнее включают во всенародную борьбу против империализма США, против клерикальной реакции, за мир и социальный прогресс.

В наши дни значительная часть верующих осуждает церковных иерархов, действующих в корыстных интересах империалистических эксплуататоров. Даже среди священников-католиков нередко раздаются голоса, осуждающие антинародные действия церковников.

Книга «Тень Ватикана над Латинской Америкой» убеждает в том, что католическая церковь была и продолжает оставаться оплотом реакции. Обращаясь к фактам истории, автор показывает, что церковнослужители непосредственно участвовали в покорении и массовом истреблении колонизаторами населения Латинской Америки. С благословения церкви были полностью уничтожены ценнейшие памятники высокой индейской культуры, убиты, замучены и сожжены на кострах инквизиции миллионы обитателей Нового света только за то, что не желали склонить головы перед чужеземными завоевателями.

Нельзя не выразить сожаления, что автор слишком мало внимания уделил злодейской деятельности католической церкви на американском континенте после второй мировой войны и, в частности, клерикальной реакции на Кубе.

С. Воробьев.

★

**ЮРИЙ АРБАТ.** Шесть золотых гнезд. «Московский рабочий». М. 1961. 232 стр. Цена 51 к.

Яркие матрешки, фидоскинские прославленные шкатулки с удивительной росписью по черному лаку, жестовские декоративные

подносы, деревянные игрушки богородских резчиков давно стали традиционными русскими сувенирами. О том, как возникли замечательные художественные промыслы Подмосковья, какие мастера прославили свое имя выдумкой, изобретательностью, создавая подлинные произведения искусства, рассказывает Юрий Арбат в книге «Шесть золотых гнезд».

Раньше в народном искусстве самые замечательные произведения оставались безыменными и со временем фамилии талантливых мастеров забывались. Автор стремится (насколько это возможно) восстановить справедливость. В книге не просто названы дошедшие до нас фамилии старых мастеров, но сделана попытка определить, что внес каждый из них в складывавшиеся веками традиции народного искусства.

С интересом читается, например, история всем известной куклы-матрешки. С удивлением узнаешь о ее «молодости»: сделана была матрешка в конце девяностых годов прошлого века игрушечником Звездочкиным и расписана художником С. Малютиным.

«Железное цветение» на жестовских подносах (Жестово — деревня неподалеку от Федоскина, где изготовлением лакированных расписных железных подносов занимаются уже более ста лет), резьба по дереву В. П. Ворноскова, знаменитого ученика абрамцевской кустарной мастерской, организованной Е. Д. Поленовой, и многие другие «золотые гнезда» народного творчества находят в авторе книги страстного почитателя и ревностного пропагандиста.

Своеобразное оформление заставляет увидеть все, о чем пишет автор. На широких полях книги — многочисленные рисунки самого писателя, делающие ее еще более увлекательной.

С. Кайдаш.

★

**НААПЕТ КУЧАК. Лирика. Перевод с армянского Веры Звягинцевой. Гослитиздат. М. 1961. 184 стр. Цена 10 к.**

На русском языке изданы лирические миниатюры (айрены) Наапета Кучака — армянского народного поэта XVI столетия. Валерий Брюсов в своей антологии армянской поэзии так писал о нем: «...Стихи Кучака — свободные излипания души, признания в том, что поэт действительно извдал, записанные по мере того как их подсказывала самая жизнь... Он независим в выражении своих чувств; он ближе к уличной голле, нежели к дворцовым ступеням... В XVI веке Кучак дал в своей поэзии образцы истинной лирики...»

Лирические миниатюры Кучака по своему содержанию столь близки к народным армянским песням, что долгое время его произведения считались фольклорными. Лишь сравнительно сложная поэтическая форма стихотворений Кучака опровергает сомнения в подлинности его авторства.

В сборник, выпущенный Гослитиздатом, вошли лучшие произведения Наапета Кучака. По тематике своей они разделяются на три цикла: «Айрены любви», «Айрены скитаний», «Айрены раздумий».

В любовных айренах Кучак воспевает красоту и нежность своей возлюбленной, прославляет свободное и искреннее чувство. Песни скинальцев — это «летопись горя» армянского народа. Это песни армян, оторванных от родины, песни жен и матерей, песни невест, иссушенных тоской по дорогим и любимым.

Долгий век прожил Наапет Кучак, и все, что пришлось ему испытать и познать, воплотил он в «Айренах раздумий». Здесь и стихи о доле народной, о тех, кто притесняет, мучает и угнетает простых людей.

Цари, султаны, все, кому пришлось высоко  
стоят рабы, стоят войска, вам отдавая честь,  
Законь грозные у вас, повсюду ложь и  
Чините свой неправый суд — над вами  
высший есты!

Здесь и жизнерадостные, оптимистические строфы, полные лукавого юмора.

Стихи Наапета Кучака весьма трудны для перевода. Большая заслуга переводчицы лирического сборника поэтессы В. Звягинцевой в том, что она сумела донести до русского читателя строгую красоту древних айрен великого армянского поэта.

Л. Фейгина.

★

**С. ФРАДКИНА. В мире героев Веры Пановой. Творческий портрет писательницы. Пермское книжное издательство. 1961. 252 стр. Цена 65 к.**

Первая книга о творчестве Веры Пановой вышла в областном издательстве в Перми, написана она скромным работником «периферийного» вуза... В этом — и упрек столичным авторам и одновременно свидетельство самостоятельности и зрелости литературно-исследовательской мысли, которая за последние годы особенно интенсивно развивается во всех концах нашей страны.

С. Фрадкина хорошо понимает, что книгой о творчестве Веры Пановой она вступает в самую гущу литературных дебатов. И автор книги не боится спора — ни с критиками и читателями, ни с самой писательницей. В этом одна из наиболее привлекательных особенностей работы С. Фрадкиной.

Книга состоит из трех частей. Проследив в трех небольших главах развитие творчества Пановой от газетной работы до «Спутников», критик далее посвящает большой раздел подробному и последовательному разбору основных произведений писательницы — от «Спутников» до рассказов «Валя» и «Володя». Третья часть книги посвящена труднейшей задаче — определить своеобразие мастерства Пановой, отыскать то, что

отличает ее почерк. Автор книги стремится к наибольшей конкретности анализа, избегает бездоказательных утверждений и общих фраз. Поэтому и разговор об индивидуальном своеобразии Пановой критик ведет по двум наиболее существенным линиям, прослеживая выработанные Пановой способ изображения характера в процессе его формирования и способы раскрытия человека в его деятельности.

Книга опирается на большой материал и содержит множество тонких наблюдений. Вероятно, с автором можно кое в чем поспорить, несомненно, что к книге можно предъявить и некоторые претензии: в общем написанная живо и интересно, она не везде свободна от традиционной литературоведческой «учености» стиля. Но споры и замечания, как бы они ни были придирчивы, не отменяют главного: перед нами серьезная и умная попытка помочь читателям (в том числе и преподавателю и студенту) разобратся в творчестве одного из очень популярных и интересных современных писателей.

Т. Трифонова.

★

**Л. ЛЮБИМОВ.** Среди сокровищ Эрмитажа. Издательство «Знание». М. 1961. 32 стр. Цена 10 к.

Тем, кто бывал в Эрмитаже и, может быть, не раз любовался его сокровищами, полезно прочитать эту небольшую книжку, чтобы еще раз восстановить в памяти его богатейшие экспонаты, ознакомиться с их историей. У тех читателей, которым еще не пришлось увидеть ленинградский Эрмитаж,

работа Л. Любимова, безусловно, пробудит желание побывать там.

Книжка Л. Любимова — это не справочник и не научное исследование, а как бы экскурсия по залам Эрмитажа, живой, увлекательный рассказ человека, хорошо знающего и любящего искусство. Конечно, рассказать обо всех бесчисленных сокровищах Эрмитажа невозможно. Да автор и не пытается этого делать: он останавливается на самом интересном, самом существенном. Он знакомит нас с отделом древнего западного мира, обладающего прекрасным собранием античной скульптуры, с западноевропейским прикладным искусством, от раннего средневековья до начала XIX века, с отделом Востока, основанном в Эрмитаже в 1920 году и достигшим теперь колоссального богатства. Интересен рассказ Л. Любимова, посвященный раскопкам Алтайских курганов, которые обогатили музей самыми древними художественными изделиями из дерева, шерсти и войлока. Но более всего места отведено в книжке прославленной картинной галерее — собраниям итальянских, испанских мастеров живописи, полотнам французских, фламандских, голландских, английских художников.

Автор подчеркивает особенность, отмечающую наш знаменитый музей от ряда других в Европе и Америке: грандиозные собрания Эрмитажа составлялись не в результате захвата, а путем культурного общения России с другими народами, путем кропотливого собирательства и упорных археологических изысканий на нашей земле, сохранившей драгоценные памятники различных культур.

Г. Павлова.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.** 17—31 октября 1961 года. Стенографический отчет. Том I. 608 стр. Цена 1 р. 15 к. Том II. Цена 1 р. 15 к.

**А. Арзуманян.** Генеральный конструктор А. И. Микоян. 48 стр. Цена 6 к.

**Говорят погибшие герои.** Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941—1945 гг.). 328 стр. Цена 35 к.

**П. Кряжев.** Общество и личность. 96 стр. Цена 11 к.

**Д. Г. Куцентов.** Деятели петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Краткие биографические очерки. 164 стр. Цена 18 к.

**О партийности в хозяйственной работе.** 239 стр. Цена 28 к.

**К. А. Остроухова.** Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП. 88 стр. Цена 11 к.

**З. Паперный.** О художественном образе. 72 стр. Цена 6 к.

**Популярные лекции по атеизму.** 392 стр. Цена 68 к.

**Манар Посмитный.** В черноморских степях Записал В. Минко. Перевод с украинского. 120 стр. Цена 13 к.

**Спутник избирателя.** 256 стр. Цена 23 к.

**М. Шапаронов.** Химия и философия. 136 стр. Цена 15 к.

### СОЦЭГГИЗ

**Л. Б. Альтер.** Буржуазная политическая экономия США (на основных этапах развития американского капитализма). 808 стр. Цена 1 р. 78 к.

**А. М. Анфимов.** Российская деревня в годы первой мировой войны (1914—февраль 1917 г.). 383 стр. Цена 1 р. 5 к.

**М. И. Бахтин.** Союз рабочих и крестьян в годы восстановления народного хозяйства (1921—1925). 292 стр. Цена 73 к.

**Вопросы экономической теории в трудах В. И. Ленина.** 373 стр. Цена 61 к.

**Из истории польского рабочего движения.** 477 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг.** Сборник документов. 984 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Л. В. Левшин.** Критика теории стоимости английских буржуазных экономистов. 244 стр. Цена 35 к.

**А. И. Недорезов.** Национально-освободительное движение в Чехословакии (1938—1945). 370 стр. Цена 95 к.

**Г. Платонов.** Диалектический материализм и вопросы генетики. 163 стр. Цена 25 к.

**О. Рейнхольд.** Свободное хозяйство? Буржуазные и мелкобуржуазные экономические воззрения в Западной Германии. 190 стр. Цена 40 к.

**П. П. Шапошниченко.** Политика Бонна — угроза безопасности в Европе. Очерки внешней политики ФРГ 1949—1961 гг. 133 стр. Цена 20 к.

**Экономика СССР в послевоенный период** (Краткий экономический очерк). 487 стр. Цена 71 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Абхазские рассказы.** Сборник. Перевод с абхазского. 240 стр. Цена 42 к.

**А. Бен.** Счастливая рука. Рассказы, повесть, листки из блокнота. 232 стр. Цена 41 к.

**В. Боборыкин.** Трилогия Н. Погодина о Ленине. 200 стр. Цена 45 к.

**Р. Гинцбург.** Польша в снегу. Стихи. 100 стр. Цена 10 к.

**Н. Давыдова.** Любовь инженера Изотова. Роман. 392 стр. Цена 44 к.

**Л. Зорин.** Светлый май. Добряки. Увидеть вовремя. По московскому времени. Пьесы. 324 стр. Цена 63 к.

**И. Ибрагимов.** Чудесный характер. Веселые рассказы Кагире Казанищенского. Перевод с кумыкского. 272 стр. Цена 30 к.

**И. Крамов.** Литературные портреты. Лариса Рейснер Джон Рид. Воровский. Мате Залка. 336 стр. Цена 53 к.

**В. Кунушкин.** Хозяйка бегонии. Рассказы. 248 стр. Цена 46 к.

**Р. Левина.** Урту, сын Барги. Роман. 518 стр. Цена 88 к.

**Г. Лезгинцев.** Инженер Северцев. Роман. 416 стр. Цена 72 к.

**Л. Лиходеев.** Фельетоны. 216 стр. Цена 30 к.

**В. Ляленнов.** Борис Картавин. Детский роман. 308 стр. Цена 59 к.

**А. Маленький.** Покорители тундры. Роман. 716 стр. Цена 1 р. 27 к.

**С. Маршак.** Воспитание словом. Статьи. Заметки. Воспоминания. 544 стр. Цена 1 р. 7 к.

**В. Полторацкий.** Зеленая ветка. Мещерские истории. 220 стр. Цена 25 к.

**А. Радыгин.** Океанская соль. Стихи. 104 стр. Цена 12 к.

**Н. Реут, М. Снярябин.** Чужая стая. Повесть. 256 стр. Цена 31 к.

**А. Рутно.** У зеленой колыбели. Повесть. 216 стр. Цена 41 к.

**Север поэт.** Стихи поэтов Крайнего Севера. 340 стр. Цена 55 к.

**С. С. Смирнов.** Посадка на Кубу. Очерки. 248 стр. Цена 40 к.

**Е. Сурнов.** На драматургические темы. Книга статей. 400 стр. Цена 94 к.

**В. Торопыгин.** Тойбой обещанное. Стихи и поэма. 128 стр. Цена 16 к.

**В. Тушнова.** Второе дыхание. Новая книга стихов. 140 стр. Цена 18 к.

**Г. Тютюнник.** Водоворот. Роман. Перевод с украинского. 276 стр. Цена 50 к.

**А. Цейтлин.** Труд писателя. Вопросы психологии творчества, культуры и техники писательского труда. 592 стр. Цена 1 р. 30 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Н. Ф. Бельчинов.** Тарас Шевченко. Критико-биографический очерк. 224 стр. Цена 67 к.

**Ф. Боносский.** Долина в огне. Роман. Перевод с английского. 319 стр. Цена 99 к.

**Франц Верфель.** Верди. Роман оперы. Перевод с немецкого. 400 стр. Цена 1 р. 28 к.

**Герман Гессе.** Под колесами. Повесть. Перевод с немецкого. 159 стр. Цена 25 к.

**Франтишек Гечко.** Красное вино. Перевод со словацкого. Роман. 656 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Давид Гофштейн.** Стихи. Перевод с еврейского. 320 стр. Цена 51 к.

**Н. А. Добролюбов.** Собрание сочинений в девяти томах. 1-ом перв. 596 стр. Цена 1 р. 35 к.

**В. Жданов.** Н. А. Добролюбов. Критико-биографический очерк. 196 стр. Цена 27 к.

**Отон Жупанчич.** Пробуждение. Стихи. Перевод со словенского. 176 стр. Цена 33 к.

**Лидия Койдула.** Избранное. Перевод с эстонского. 176 стр. Цена 24 к.

**Лутфи.** Лирика. Гуль и Навруз. Поэма. Перевод с узбекского. 176 стр. Цена 17 к.

**Д. Обломовский.** Балзак. Этапы творческого пути. 591 стр. Цена 1 р. 43 к.

**Сабит Рахман.** Соловей. Рассказы и повести. Перевод с азербайджанского. 172 стр. Цена 41 к.

**Стеван Сремац.** Вукадин. Повесть. Перевод с сербо-хорватского. 288 стр. Цена 36 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Аркадий Адамов.** Последний «бизнес». Повесть. 303 стр. Цена 60 к.

**Ник. Асанов.** Радиус взрыва неизвестен. Повести наших дней. 384 стр. Цена 74 к.

**Виктор Астафьев.** Звезда над. Повести и рассказы. 336 стр. Цена 67 к.

**М. Булгаков.** Жизнь господина де Мольера. 240 стр. Цена 50 к.

**А. Ефремов, Е. Федоровский.** Книга об одном меридиане псд названием «Вспокойная прямая». 296 стр. Цена 65 к.

**С. Жемайтис.** Поющие камни. Сборник приключенческих повестей и рассказов. 200 стр. Цена 44 к.

**Юрий Збанацкий.** Малинский звон. Роман. Перевод с украинского. 432 стр. Цена 80 к.

**А. Котов.** Похищение Прозерпины. Рассказы. 160 стр. Цена 23 к.

**Иван Падерин.** Когда цветут камни (Последний удар). Роман. 463 стр. Цена 83 к.

**А. Полещук.** Ошибка Алексея Алексеева. Фантастическая повесть. 173 стр. Цена 25 к.

**Сподвижник Чернышевского.** Сборник очерков. 480 стр. Цена 89 к.

**В. Чукреев.** Тополя растут быстро. Повесть. 216 стр. Цена 47 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Н. Гей, В. Пискунов.** Эстетический идеал советской литературы. 208 стр. Цена 65 к.

**А. А. Зиновьев.** Логика высказываний и теория вывода. 152 стр. Цена 43 к.

**А. А. Кузин.** История открытий рудных месторождений в России до середины XIX в. 360 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Леса Кольского полуострова и их возобновление.** 188 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Б. Р. Лопухов.** Образование Итальянской коммунистической партии. 132 стр. Цена 41 к.

**Н. М. Постовская.** Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе (1917—1959 гг.). 439 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Б. Т. Рубцов.** Подвиги таборитов. 132 стр. Цена 21 к.

**С. Л. Сосин.** Шерсть и шелк из нефти и газа. 112 стр. Цена 17 к.

**В. Р. Щербина.** Ленин и вопросы литературы. 388 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Экономические проблемы разоружения.** 216 стр. Цена 66 к.

#### ВОЕНИЗДАТ

**Альва Бесси.** Антиамериканцы. Роман. Перевод с английского. 504 стр. Цена 41 к.

**Во славу Родины.** Сборник докумен-

тальных материалов военных музеев (1941—1945 гг.). 344 стр. Цена 71 к.

**И. В. Дубинский.** Трубачи трубят тревогу. 304 стр. Цена 60 к.

**Красный генерал.** Рассказы немецких писателей. Перевод с немецкого. 224 стр. Цена 75 к.

**М. Г. Крошнин.** Человек проникает в космос. 160 стр. Цена 25 к.

**М. С. Маковеев.** Человек готовится к подвигу. Очерки. 132 стр. Цена 29 к.

**М. М. Мальцев.** Высшая награда. 144 стр. Цена 40 к.

**Родина.** Стихи. 216 стр. Цена 52 к.

**А. Г. Рыбин.** Люди в погонах. Роман. 420 стр. Цена 81 к.

**П. Н. Саватеев.** Удары из морских глубин. 136 стр. Цена 14 к.

**Э. А. Фейгин.** Солдат, сын солдата. Повесть. 208 стр. Цена 50 к.

**М. Химэн.** Трудно быть сержантом. Повесть. Перевод с английского. 212 стр. Цена 44 к.

#### ГЕОГРАФИЗ

**Луи Антуан де Бугенвиль.** Кругосветное путешествие на фрегате «Будаз» и транспорте «Этуаль» в 1766, 1767, 1769 годах. 358 стр. Цена 1 р. 37 к.

**Вопросы географии.** Сборник. Природа и сельскохозяйственное районирование СССР. 208 стр. Цена 78 к.

**Города-спутники.** Сборник. 126 стр. Цена 84 к.

**Р. Лускач.** Завещание таежного охотника. 200 стр. Цена 47 к.

**Я. Г. Машбиц.** Мексика. 298 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Э. Мурзаев.** Средняя Азия. 248 стр. Цена 81 к.

#### СЕЛЬХОЗИЗДАТ

**А. Н. Аскоченский.** Орошение и обводнение земель в СССР. 81 стр. Цена 15 к.

**А. А. Байбуртян.** Новый метод повышения продуктивности скота. 138 стр. Цена 18 к.

**И. П. Воловченко, И. П. Ксенз.** Устойчивые высокие урожаи. 108 стр. Цена 18 к.

**З. Н. Глухов.** Кадры решают успех дела. 149 стр. Цена 22 к.

**Д. П. Горин.** Колхоз и наука. 129 стр. Цена 20 к.

**А. И. Осьнин.** Комплексная механизация возделывания пш. 109 стр. Цена 15 к.

**Я. В. Пейве.** Микроэлементы и их значение в сельском хозяйстве. 62 стр. Цена 8 к.

**М. Г. Пруцкова, Р. М. Бляхерова.** Семеноводство зерновых культур. 308 стр. Цена 42 к.

**Транторные работы на повышенных скоростях.** 129 стр. Цена 24 к.

**Хамранул Турсункулов.** Больше хлопка Родине. 78 стр. Цена 10 к.

#### КРЫМИЗДАТ

**Б. П. Азбукин.** Севастопольские ночи. Повесть. 320 стр. Цена 60 к.

**Ю. А. Калугин.** Он между нами жил... Повесть. 278 стр. Цена 41 к.

**Д. М. Холендр.** Там, далеко... Рассказы. 88 стр. Цена 22 к.

#### ЛЕНИЗДАТ

**И. И. Бондаренко.** Горячее дыхание. Повесть. 231 стр. Цена 53 к.

**К. С. Горбачевич, Е. П. Хабла.** Их именами названы улицы Ленинграда. 307 стр. Цена 30 к.

---

---

## СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛУБОВ

Восьмого февраля, на шестьдесят восьмом году жизни, скончался наш друг и товарищ, член редакционной коллегии «Нового мира» писатель Сергей Николаевич Голубов. Скорбное чувство вызовет эта горестная утрата, понесенная нашей литературой, в сердцах советских читателей.

Через всю свою жизнь пронес С. Н. Голубов неиссякаемую страсть к литературе и истории. Она зародилась в нем еще в гимназические годы, окрепла на студенческой скамье и дала богатые всходы много позднее, когда уже немолодым человеком, с большим жизненным опытом за плечами, он обратился к литературно-творческой деятельности. Слитые воедино любовь к литературе и любовь к истории помогли С. Н. Голубову стать одним из признанных мастеров советского художественно-исторического жанра.

Изучение истории никогда не было для С. Н. Голубова самоцелью. Его произведения посвящены рассказу о прошлом ради поисков в нем закономерных связей с настоящим и будущим. Повествует ли он о декабристах («Бестужев-Марлинский», 1938; роман «Из искры — пламя», 1940), воссоздает ли общественно-политическую жизнь России в последние годы царского режима (роман «Сотворение века», 1947), изображает ли национально-освободительную борьбу болгарского народа и его героя Христо Ботева (роман «Птицы летят из гнезд», 1958) — он всюду старается открыть неуклонные «пути движения общественной истории вперед».

Военно-историческая тема всегда занимала особенно видное место в творчестве С. Н. Голубова. Участник первой мировой войны, представитель дореволюционной военной интеллигенции, перешедшей после Октября на службу революции, во время гражданской войны — командир полка, С. Н. Голубов отлично знал военный быт и тонко понимал психологию солдата. Эти качества в полной мере сказались в его литературных произведениях на темы давнего и недавнего военного прошлого.

Своими военно-историческими романами С. Н. Голубов проложил себе верную дорогу к сердцу читателя. У каждого художника есть одно, чем-то в особенности дорогое ему произведение. Для С. Н. Голубова таким любимым детищем была «Солдатская слава» (1939). «Ни раньше, ни после я ничего не писал с такой радостью на душе и с таким теплом в сердце, как этот роман», — вспоминает С. Н. Голубов в «Автобиографии». Большое патриотическое и военно-воспитательное значение имел его роман «Багратион», вышедший в дни Великой Отечественной войны (1943) и принесший ему заслуженную популярность. Роман этот отвечал думам и чувствам защитников нашей Родины и морально вооружал их на борьбу с ненавистным врагом. Воспитанию военного характера посвящен роман С. Н. Голубова «Когда крепости не сдаются»



(1953). В нем писатель, по собственному признанию, задался целью «осмыслить с военно-политической стороны громадную эпоху 1914—1945 годов». Главным героем романа выведен замученный фашистами, но победивший их стойкостью своего характера советский генерал Карбышев.

С. Н. Голубов сравнительно поздно пришел в литературу. Его творческая деятельность продолжалась неполных тридцать лет. Но сделанного им за это время другому хватило бы на всю жизнь. Список литературных произведений С. Н. Голубова содержит около ста названий — романов, повестей, рассказов, очерков, критических и публицистических статей, рецензий. Живое чувство настоящего, историзм в понимании прошлого, опирающийся на прочную основу фактических знаний, наблюдательность художника, чуткость к языку — таковы лучшие особенности писательской манеры С. Н. Голубова. Его романы и повести по многу раз переиздавались, переводились на иностранные языки и языки народов СССР. В 1958 году Гослитиздат выпустил двухтомное издание избранных сочинений писателя.

Заканчивая в 1959 году свою «Автобиографию», С. Н. Голубов писал: «В плане дальнейших работ стоит передо мной роман, которому надлежит явиться свободным развитием темы «Птиц». Место действия — Россия и Париж. Время — 1870—1871 годы. Действуют Герцен, Чернышевский, Герман Лопатин, Ярослав Домбровский, коммунары Жаклар, Софья Ковалевская, Тьер, убийца Пушкина — Дантес и др. Если хватит у меня времени и сил — такой роман будет написан». Уже один этот перечень имен свидетельствует о том, какое широкое художественно-историческое полотно было задумано С. Н. Голубовым. Он просиживал долгие часы в читальном зале Государственной Публичной исторической библиотеки, накапливая материал для новой книги. Но, несмотря на поистине богатырскую борьбу С. Н. Голубова с изнурительным недугом, сил не хватило... Роман написан не был.

Человек большой душевной щедрости, прямоты и честности, С. Н. Голубов умел привлекать к себе людей. От встреч и бесед с ним каждый чувствовал себя внутренне обогащенным. В своих книгах Голубов будет жить как талантливый писатель, в «памяти сердца» тех, кто его знал, — как неизменно отзывчивый товарищ и друг.

Мы глубоко скорбим, прощаясь с нашим дорогим Сергеем Николаевичем, и верим, что вместе с нами эту скорбь разделяют многочисленные читатели его книг, читатели нашего журнала.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов**, **С. Н. Голубов**, **А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов**, **В. В. Овечкин**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются

Сдано в набор 27/II 1962 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 27/II 1962 г.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 92 450.  
 А 02057. Зак. 183.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва Пушкинская пл., 5.

#### **Исправление**

На стр. 225, последняя строка снизу, следует читать: «...и двинул налегке на своих на двох..»

Цена 70 коп.